ISSN 0130–6545

6.1980

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

КУСЛАН БУДИМАН. Индонезия. Море

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ С 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ», МОСКВА

Июнь

1980

Содержание

БЕРНАР КЛАВЕЛЬ — Испанец *(Роман. Перевод с французского Тамары Ерофеевой. Предисловие Григория Бакланова)* 3

ДАНИЛО ДОЛЬЧИ — Стихи *(Перевод с итальянского и вступление Евгения Солоновича)* 124

Рассказы писателей Ирака

МЕХДИ ИСА АС-САКР. БУРХАН АЛЬ-ХАТЫБ. АБДУРРАХМАН МАДЖИД АР-РУБЭЙИ МУХАММЕД ХДЕЙР *(Перевод с арабского Б. Чукова)* 132

ТООМОЙН ОЧИРХУ — Стихи *(Перевод с монгольского Г. Ярославцева)* 150

Литературное наследие

ИВО АНДРИЧ — Рассказы *(Перевод с сербскохорватского и вступление Александра Романенко)* 154

Критика

Н. ЛИТВИНЕЦ — Август Кюн, писатель рабочего Мюнхена 177

Трибуна переводчика

По доброй воле и со скромной надеждой (Из выступлений участников V Международной встречи переводчиков) 184

РОБЕРТ ДАГЛИШ — Переводя «Тихий Дон» *(Перевод с английского Е. Лидиной)* 192

Писатель и время

К 80-летию со дня рождения Робера Десноса

Г. ВАСИЛЬЕВА — «Поэт, неразлучный с вдохновеньем» 194

Культура и современность

Заметки на полях

В. Максименко, В. Шагаль — В поисках путей духовного возрождения (По страницам книги Шазли Клиби) 206

Публицистика

Репортаж из Кабула

АННА СЛЁЗОВА — Вид из окна 210

ФИЛЛИП БОНОСКИ — На той неделе в январе... (Анализ одной фальсификации. *Перевод с английского В. Соковикова)* 218

В. ИОРДАНСКИЙ — Второе дыхание революции 224

Документальная проза

РУТ ВЕРНЕР — Сообщает Соня... *(Окончание. Перевод с немецкого И. Бужинской)* 232

Антирубрика

ЭРНЕСТ СЕТОН-ТОМПСОН — Пижон среди ковбоев (Глава из автобиографии. *Перевод с английского Людмилы Бандеман)* 239

Наши гости

Л. Харлап — Герман Кант, Гюнтер Дайке, Вольфганг Хельд (ГДР) 248

К нашим иллюстрациям

Н. Завадская — Пейзажи Куслана Будимана 250

Среди книг

Издано в СССР

Валентин Курбатов — Перед открытыми дверями времени ✦ Ю. Архипов — «Ботичелли семейного краха» 251

Издано за рубежом

Антон Иванов — Закрыть старую книгу (О произведениях франко-канадской прозы семидесятых годов) ✦ А. Зверев — Фантомы 255

Из месяца в месяц 261

На первой и четвертой страницах обложки — работы КУСЛАНА БУДИМАНА (Индонезия).

© «Иностранная литература», 1980 г.

БЕРНАР КЛАВЕЛЬ

Испанец

РОМАН

Перевод с французского ТАМАРЫ ЕРОФЕЕВОЙ

Какой мерой мерить?

«С героем моей будущей книги я работал вместе на ферме, где укрывался во время оккупации,— пишет в своем послесловии Бернар Клавель.— Но только гораздо позже, в Лионе, в бытность мою журналистом, я вдруг почувствовал непреодолимое желание оторваться от действительности, которая совершенно не соответствовала моим идеалам, захотелось вспомнить Юру, куда я не мог в это время вернуться, и жизнь виноградаря, которая мне так полюбилась. И я принялся за работу над «Испанцем».

Никто не знает, как и когда возникает книга. Даже у одного писателя разные книги возникают по-разному, тем более нет общего рецепта для всех писателей и для всех книг. И хотя Бернар Клавель в одном из интервью, отвечая на вопрос, как рождаются его книги, определенно говорит, что все начинается с какого-нибудь сильного впечатления, например, это может быть встреча с человеком, о котором возникает потребность написать, я думаю, что это не так. Сильное впечатление — это лишь толчок, тот миг, когда захотелось писать. И возникновение замысла — это еще не начало. Книга возникает задолго до всего этого. И возникает она сама, и зреет; мы ничего не знаем о ней и не подозреваем даже, а она уже началась, и это самый ее естественный, «внутриутробный» период, когда она еще не отделилась от жизни. «С героем моей будущей книги я работал вместе на ферме...» Вот оно — начало. Но только у этого начала, как у самой жизни, начала нет. Тут смешано все: и наша собственная жизнь, и жизнь многих, и даже тех, кто никогда не жил, но живы, потому что о них рассказано в других книгах. А потом... Потом происходит вот что: «Я долго общался с Испанцем,— пишет Клавель,— но еще дольше, в несколько другом смысле, с героем моей книги, с тем образом, который вынашивал в сознании по велению сердца».

Жизнь, созданная из воспоминаний и вымысла, становится для писателя реальней той, что была, и даже заслоняет ее собою. А если в итоге и читатель может сказать это, книге суждена долгая жизнь.

Однако, читая книгу, мы, в сущности, читаем и свою собственную жизнь, быть может, заново осмысляем ее и что-то открываем для самих себя. И сравниваем. И сопоставляем. А чем же измеряем мы поступки героев, добро и зло? Наверное, все же собственными представлениями, собственным опытом и теми нравственными мерами, по которым сами живем. Правильны они или неправильны, но других не дано.

«Надеюсь, вы сейчас пишете не только о войне?» — спросил Бернар Клавель, даря мне эту свою книгу. И на чистом ее листе нарисовал фломастером старое корявое дерево, корнями вросшее в землю. Он что-то сказал об этом дереве, но я не запомнил. Я поставил книгу на полку, понимая, что никогда не прочту ее, поскольку не знаю языков. Но вот прочел в переводе. И оказалось, книга эта — о войне. Читая, я все время мысленно соотносил ее с тем, что было в это время у нас, было со мной, с теми, кого я знал. И вот этой мерой мерил.

БЕРНАР КЛАВЕЛЬ — BERNARD CLAVEL (род. в 1923 г.).

Французский писатель, автор более десяти романов. В годы войны был участником движения Сопротивления. Советские читатели знакомы с творчеством Б. Клавеля по переведенным на русский язык романам «В чужом доме», «Тот, кто хотел увидеть море», «Сердца живых», «Плоды зимы» («ИЛ» № 5, 6, 1970), составляющим тетралогию «Великое терпение». За «Плоды зимы» Бернару Клавелю была присуждена Гонкуровская премия; одновременно творчество его было удостоено Большой премии города Парижа.

Мы предлагаем вниманию читателя роман Б. Клавеля «Испанец» («L'Espagnol», Paris, Robert Laffont, 1959).

Итак, два испанца ночью приходят на ферму к французскому виноградарю. Время — конец 1939 года, в Испании — Франко, а они, солдаты республиканской армии, интернированные во Франции в лагерях, отправлены на работу — убирать урожай. У одного из них, у Пабло, война отняла все: и жену с ребенком, и родину, и волю к жизни отняла. Но работать он может, много работать, терпеливо, не спрашивая о том, сколько ему заплатят. Такому работнику нет цены.

А между тем (да, между тем, поскольку здесь это еще не чувствуется) началась вторая мировая война, и линия фронта — на Востоке. Когда в Европе говорят «на востоке», очень часто имеется в виду: у нас. Но линия фронта проходит пока еще не у нас, а по линии Мажино, на востоке Франции. Только странный это фронт и странная война. Сын хозяина фермы ушел туда добровольцем, и хозяин говорит, что лучше бы он убирал виноград, чем там, у линии Мажино, играть в футбол.

Началась зима, все так же от сына приходят письма, по вечерам хозяйка вслух читает их: «Парень всегда писал об одном и том же. Он рассказывал о дележе посылок, об игре в снежки, о гастролях театра в армии. Он жаловался на холод, на отсутствие вина... Не жизнь, а сплошные каникулы, думал Пабло. И много раз говорил себе, что, если бы еще вино пришлось парню по вкусу, он бы не жаловался, что каникулы затянулись».

В дальнейшем, после падения Франции, немцы захватили документы французского верховного командования и опубликовали их. «Это был сенсационный материал,— пишет известный английский военный историк Б. Лиддел Гарт в своей книге «Вторая мировая война».— Документы свидетельствовали о том, что в течение зимы союзное командование обдумывало планы самых различных наступательных операций: план удара по Германии через Норвегию, Швецию и Финляндию; план удара по Рурскому бассейну через Бельгию; план удара по Германии через Грецию и Балканы; план удара по нефтеносным районам на Кавказе с целью отрезать Германию от источников снабжения нефтью. Это был конгломерат напрасных воображений союзных лидеров, которые пребывали в мире иллюзий до тех пор, пока их не привело в чувство наступление Гитлера... Именно французское верховное командование в наибольшей степени способствовало успеху Гитлера».

Так шла пока что эта «странная война», а здесь, на ферме, у времени был свой вечный, не человеком, а природой заведенный ход: осень, зима, весна, лето... И как-то осенью, когда заканчивали убирать виноград и жали будущее вино, хозяин достанет бутылку вина старого урожая — «Это смесь многих сортов, но преобладает Савaньен, правда почти дикий; белый Гамэй и немного черенков Пульсара. Но самое главное земля. Виноград был выращен в Брюли...» — и тут же в подвале они будут пить его с сыром и хлебом, чтобы тоньше почувствовать вкус вина. Знал ли хозяин, что эта бутылка вина — последняя в его жизни, предчувствовал ли? После всегда людям кажется: знал, предчувствовал что-то. Но этот миг, когда они, уставшие выше меры и соединенные общим трудом, пьют вино, этот миг свят, и тишина над ними, и хлеб, и вино — святы.

А потом так же свята была первая борозда весной, и восход солнца, и погода для землепашца, и ветер, принесший эту погоду. И настанет момент, когда Пабло, потерявший все у себя на родине и родину потерявший, не желающий ничего слышать о войне, увидит землю совсем иными глазами, чем прежде видел ее. И тогда он будет убеждать хозяйку, чтобы она купила пустующие, брошенные земли по соседству: «Так или иначе война кончится. И ваши земли всегда будут вашими. Французы, боши или китайцы, какое вам до них дело! В то время как на ваши деньжонки завтра или через год, возможно, и гвоздя не купишь...»

Это происходит весной. А потом: «Одно время года сменялось другим, одна работа влекла за собой другую. Вокруг трудились люди, а где-то далеко была война. Газеты говорили о ней, люди тоже, писали в письмах, но это было далеко. Война обошла их стороной; из-за холма вставало солнце и приземлялось на краю равнины. Война была по ту сторону земли, и ветер, дующий между рядами виноградника, приносил запах влажных конюшен и приятный запах дыма от древесного огня, на котором варилась вечерняя похлебка».

Но что же мешает мне спокойно читать эти так спокойно написанные строки, где все обращено к неизменному и вечному, как восход и заход солнца? Что мешает насладиться этим медленным течением времени, как не спеша наслаждаются старым вином? А мешает мне то, что происходит это не тысячелетие назад, я сам жил в эти дни, в это время. И вот сопоставляю: весна, когда Пабло прокладывает первую борозду... Это ведь весна сорок второго года. Здесь, у нас, «по ту сторону земли», пока «из-за холма вставало солнце и приземлялось на краю равнины», столько жизней успевало оборваться на поле боя, стольким людям не суждено было увидеть новый восход.

Зима. Снег идет на юге Франции. Горит огонь в очагах. Готовят вечернюю похлебку... Все по тому же отсчету времени это — конец сорок второго года, окружение и начало разгрома фашистских армий под Сталинградом. Вскоре, обращаясь к французам, Жан-Ришар Блок скажет: «Слушайте, парижане! Первых трех дивизий, которые вторглись в Париж в июне 1940 года... этих трех дивизий — 100-й легкопехотной, 113-й и 295-й пехотных — не существует более! Они уничтожены под Сталинградом: русские отомстили за Париж. Русские отомстят за Францию».

Нас много, людей, населяющих землю, разъединенных обычаями, языками, предвзятостью, незнанием, предрассудками — чем угодно. Но в роковые мгновения истории становится очевидно, как связаны мы друг с другом, как зависимы друг от друга,

как хорошо, когда мы — едины. Вечность, история — это что-то огромное по сравнению с одной, обычной человеческой жизнью. Но они не творятся без нас — ни вечность, ни история, не движутся и не творятся без каждого из нас.

«Испанец» — это личная драма рабочего-эмигранта,— говорит Бернар Клавель,— но это и проявление ужаса перед войной...»

В масштабах истории что такое личная драма одного человека? Но для искусства человеческая драма — это такая огромная единица измерения, которой, в принципе, можно измерить все: и время, и историю.

«Беря полено из корзины, Пабло с удовольствием его рассматривал. И прежде чем бросить в огонь, спрашивал у полена его историю, и оно ему рассказывало. Поленья знали тайны леса. Одни могли рассказать о жизни животных, которые оставляли следы на коре: вот след от укуса, вот удар клюва, а вот тут — серебристая дорожка улитки».

Вот так и на каждой человеческой жизни, даже если человек захотел отгородиться от всех и от всего, история и время оставляют следы. Читая эти следы, можно рассказывать о многом.

«Думаю, трудно назвать войну, участием в которой человек мог бы гордиться»,— сказал Бернар Клавель в связи с другим своим романом, «Когда молчат ружья». Сам он в прошлом солдат и партизан, и за этими его словами есть и убеждение и опыт. И все-таки участием в войне с фашизмом гордиться можно. В этом убеждает меня опыт и моей жизни, и той единственной, навсегда оставшейся со мною войны, на которой почти целиком полегло наше поколение, этот опыт говорит: когда гибель грозит твоим близким, твоей родине, выбора не оставлено, человек обязан взять в руки оружие. Ведь бой тогда шел ради жизни, а не ради славы.

В своем романе «Испанец» Бернар Клавель милосердней обошелся с Пабло, чем жизнь обошлась с его другом, испанцем. Пабло даруются и некоторое успокоение, и земля для своего виноградника. В жизни же у того испанца, который стал прототипом Пабло, все это было отнято, и он, прочтя роман, скажет: «Моя жизнь — как футбольный мяч. Дадут пинка — и я тут, дадут еще, и я отлетел обратно».

В сущности, роман заканчивается обретением родины. Сухая земля виноградника и дом, в котором поселился Пабло,— это не имущество или недвижимость, измеряемые деньгами, это — обретенная родина. И то, что Бернар Клавель рассказывает в послесловии об испанце, который послужил прототипом, который «научил меня куда больше, чем даже самые лучшие книги», можно отнести и к Пабло: «Изгнанный из своей страны, он открыл здесь новую родину в самом прекрасном, самом благородном и самом забытом смысле этого слова, которое так часто извращают, выводя на знаменах кровью невинных».

Может быть, это так. Но всегда ли мы видим свои создания, своих детей такими, какие они на самом деле? Я несколько иначе понимаю конец романа. Он говорит об одиночестве человека среди людей. Что осталось у Пабло? Земля, брошенная всеми, потому что вода слишком далеко от этого виноградника; лошадь, годная еще, но старая, изработавшаяся; и девочка, дочь хозяйки, Жаннетта, лишенная рассудка, немая, которую мать поместила в приют. Вот к ней приходит Пабло, единственный из людей приходит навестить ее. Он, столько потерявший в жизни, приходит навестить девочку, которой еще хуже, чем ему, приносит ей сладости, гроздь винограда и куски виноградных лоз, формой напоминающие домашних животных и птиц, оставшихся на воле. Человеку необходимо, чтобы кто-то ждал его, чтобы кому-то он был нужен. Эта больная девочка ждет его и будет ждать.

Свидание закончено, закрываются за ним двери дома, похожего на тюрьму. Пабло один выходит на улицу. Впереди — великое терпение, именуемое жизнью.

ГРИГОРИЙ БАКЛАНОВ

◆

Моей жене, делившей со мной четырнадцать лет все горести и радости.

Б. К.

Мои творения, как и сама моя жизнь, направлены на торжество всего гуманного.

ГЕТЕ

Если ваша повседневная жизнь кажется вам обедненной, не вините ее. Вините себя в том, что в вас не сидит поэт, который помог бы вам познать все богатства жизни.

РАЙНЕР МАРИЯ РИЛЬКЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Энрике пробормотал что-то, но из-за шума нельзя было разобрать слов, и, повернувшись, приподнял брезент кузова. Грузовик замедлил ход и свернул на обочину. Пабло в свою очередь нагнулся и тоже выглянул наружу. Фары выхватили из тем-

ноты смутные очертания каких-то предметов, но их тут же поглотила ночь. Порывы ветра, как морские волны, с ревом обрушивались на машину и трепали брезент. Дождь хлестал по крыше кабины.

Раздался всплеск, и грузовик остановился. Дверь кабины открылась, они услышали, как шофер зашлепал по грязи, постоял и куда-то пошел.

— Вот и приехали,— сказал Энрике.

Он снова приподнял брезент, и Пабло, повернувшись в его сторону, выглянул тоже. Шофер стоял на крыльце дома в нескольких метрах от дороги. Одной рукой он опирался о косяк, другой держался за дверную ручку — должно быть, разговаривал с кем-то, кого не было видно, а шум ветра и дождя заглушал слова.

— Кафе,— сказал Энрике, опуская брезент.— Там у них на двери, на стекле, реклама аперитива.

— Если кафе,— сказал другой голос,— то здесь мы наверняка не остановимся.

Еще один ядовито добавил:

— Слишком жирно было бы, если бы нас послали работать в кафе. У меня был приятель, официант кафе в Теруэле,— вот зарабатывал!

— Наверняка твой приятель работал не в таком кафе,— буркнул Энрике.

Тот, очевидно, не понял и промолчал. Прошла минута-другая, все так же хлестал дождь, ворчал мотор.

Пабло сидел упершись подбородком в колени. Ему было почти хорошо. Слева он чувствовал тепло Энрике. Напротив блуждал огонек сигареты, которую поочередно курили двое, передавая друг другу.

Через несколько минут вернулся шофер. И на дороге послышалось шарканье чьих-то сабо. Брезент кузова приподнялся. Трижды взлетали искры, наконец вспыхнул огонек зажигалки. Шофер вытащил из кармана бумагу и заглянул в кузов. Пламя, дрожа, накренилось. Шофер помедлил, затем по складам прочел:

— Педрель Энрик и Саншез Пабло.

Оба поднялись. Попутчики пожелали им удачи. Когда они спрыгивали на землю, один из попутчиков засмеялся и крикнул:

— Если удастся купить кафе, учтите: я умею вино разливать.

Не успели они выскочить, как ледяной ветер хлестнул им в лицо. И все приятное тепло, которое им удалось сохранить, сидя неподвижно в кузове, сразу же улетучилось.

Пабло старался разглядеть того, кто пришел с шофером, но ночь была слишком темная, а свет от кафе не достигал дороги. Он скользил по каменным ступенькам крыльца и застревал в пузырчатой от дождя луже.

— Сейчас вам объяснят, куда идти,— сказал шофер.

— Разве это не здесь? — спросил Пабло.

— Нет, но тут недалеко. Потому как, чтоб добраться туда на грузовике, пришлось бы сделать крюк километра три влево. Но сами понимаете, я не могу разъезжать туда-сюда, это отняло бы слишком много времени.

— Верно,— подтвердил мужчина в сабо.— Отсюда лучше пешком срезать напрямик. Дорога, правда, идет немного в гору, зато не собьетесь. Сейчас я вам все объясню.

Он говорил быстро и неразборчиво.

— Что он сказал? — спросил Энрике.

Пабло перевел, и Энрике ругнулся. А шофер, поблагодарив человека в сабо, попрощался и залез к себе в кабину.

Грузовик тронулся. Желтый свет фар на мгновенье осветил два низких дома, затем ряд помеченных белой краской стволов. Крас-

ный свет подфарников, пританцовывая, отразился в лужах, и снова все исчезло в темноте.

Человек в сабо дошел до тропинки, ведущей к освещенной двери кафе, остановился и спросил:

— Хотите выпить?

Пабло пить не хотелось. Однако он медлил с ответом. В кафе-то, наверно, тепло и сухо. Энрике не понял вопроса. Человек шагнул к дому.

— Зайдем,— пригласил он.

Но Пабло все не решался. Конечно, хорошо бы согреться, но потом ведь придется снова выходить под дождь и ночь покажется еще более темной.

— Нет,— сказал он,— лучше уж сразу идти.

Человек в сабо не стал настаивать, повернулся и пошел по обочине. Пабло так и не удалось увидеть его лица. Он заметил лишь черный дождевик с низко опущенным капюшоном. Так они дошли до едва заметной тропинки, которая сворачивала влево и терялась между двумя приземистыми строениями возле канавы.

— Ну вот,— сказал проводник.— Идите по этой дороге. Не заблудитесь — она все время вьется между изгородей. Потом перейдете мостик. Сразу за ним тропинка разделится. Вы пойдете вправо, все вверх — до другой дороги. Будьте внимательны, там много поворотов. Выйдя на дорогу, опять-таки держитесь правой руки. И первый дом,.. справа — ваш.— Он помедлил, прежде чем сказать последнее «справа». Потом помолчал и, рассмеявшись, добавил: — Возможно, вашему брату и не понравится идти все время вправо. Так должен вам сказать, что мне — тоже, я держусь других взглядов. Но тут уж ничего не поделаешь. Н-да.

Пабло поблагодарил и первым зашагал по тропинке: рядом идти они не могли. Позади снова прозвучал смех человека в сабо и растворился в ночной сырости.

— Чего это он? — спросил Энрике.

Пабло попытался перевести шутку, но тот не понял. Порывы ветра усилились, завывая в изгороди. Отяжелевшие от воды длинные, тонкие ветви деревьев раскачивались и цеплялись за одежду.

Они долго шли молча — только ругались, когда ноги увязали в глубокой грязи.

Пабло чувствовал, как дождь стекает у него с волос на затылок и струится по спине. Потом куртка и рубашка промокли насквозь. И все-таки ему было жарко.

— Что это там шумит? — повысив голос, спросил Энрике.

Пабло остановился. Спереди, из темноты, сквозь порывы ветра доносился гул. Они постояли, послушали и снова двинулись в путь.

— Наверное, река,— немного погодя сказал Пабло.

Дорога пошла вниз, и, по мере того как они продвигались вперед, гул становился все громче. Вскоре он перекрыл шум ветра.

Пабло протянул руку, пошарил в темноте и нащупал каменный парапет. Ветер с дождем хлестал его по лицу. Ветер не ослабел, его просто не стало слышно: шум земной перекрыл шум небесный.

— Ну как,— спросил Энрике,— идем дальше?

Он сделал несколько шагов; Пабло продолжал стоять.

— Что случилось? — спросил Энрике, повысив голос.— Дорогу потерял?

— Нет, просто здесь надо свернуть направо

Они двинулись дальше, и шум реки стал быстро затихать.

Теперь дорога стала более широкой и менее грязной. Вода, наверное, стекала по булыжникам, и ноги лишь изредка попадали в скользкие лужи. Дорога уходила вверх и, без конца петляя, вывела их на шоссе.

Ступив на асфальт, Пабло и Энрике остановились. Оба с трудом переводили дух. Веревки от вещевых мешков натерли им плечи.

— И вещей-то раз-два и обчелся,— заметил Энрике,— а под дождем все промокло и тяжесть стала несусветная.

Они немного отдышались, и Энрике спросил:

— Куда теперь?

Пабло стоял не шевелясь.

— Надо же! Мы ведь свободны! — сказал он.

— Ты о чем?

— Я говорю, ведь, если б захотели, мы хоть сейчас могли бы бежать.

— А куда?

Пабло вздохнул:

— Не все ли равно.

— А знаешь, ведь шофер, которому поручили нас доставить к хозяину, может и вправду не беспокоиться. Он-то знает, что в такую ночь далеко не уйдешь.

Энрике вцепился Пабло в плечо.

— Ладно,— сказал он.— Хватит болтать. Скажи лучше, куда идти!

— Сюда.

И Пабло снова зашагал, пытаясь хоть что-то разглядеть в кромешной тьме. Потом он спросил на ходу:

— А самому-то тебе не удивительно, что мы тут совсем одни и можем идти, куда захочется?

— Ты меня смешишь. Мне, к примеру, хочется только оказаться под крышей, обсохнуть, поесть и завалиться спать. А на остальное наплевать.

Пабло молчал. Время от времени он останавливался, пытаясь хоть что-то разглядеть справа от дороги. Затем подтягивал веревку, которая то и дело сползала с плеча, и шагал дальше.

— Послушай, ты что — серьезно задумал сбежать? — спросил Энрике.

— А ведь, может, сейчас самый подходящий момент.

— И куда бы ты подался?

— Не знаю.

— Ну вот видишь, лучше уж пойдем к этим людям. Удрать и завтра сможешь. Не привяжут же они нас, в самом деле.— Энрике еще пытался шутить.— Сначала надо узнать, что к чему. Кажется, здесь много виноградников — так что вина, можно не сомневаться, будет вдоволь, а это уже кое-что! А как только мы немного поднаберемся силенок, можно подумать и о другом. Присмотреться время есть.

Пабло продолжал идти молча. Немного погодя он вздохнул и сказал:

— Кто знает, что будет потом.

— Послушай, с неделю, во всяком случае, можно прожить спокойно. Что будет потом — неизвестно, конечно. Но одно ясно: у крестьян обычно есть чем подзаправиться. А для нас с тобой в настоящую минуту это главное.

Они продолжали свой путь, все время держась правой стороны. Шли под деревьями, стволы которых едва угадывались в темноте. Наверху трещали ветки, ветер со свистом плясал сарабанду. Падали тяжелые капли. Стреляли мокрые листья, отрываясь от асфальта, и ноги спотыкались о поломанные сучья.

Выйдя из-под деревьев, они почувствовали, что ветер немного утих. Он продолжал дуть, но не так яростно. Тьма казалась еще более непроглядной, звук шагов стал громче — он то сопровождал двух мужчин, то, казалось, опережал. Вскоре Пабло понял, что дорога идет между двумя очень высокими стенами, которые и сдерживают ветер.

— Может быть, это здесь,— сказал Энрике.

— Просто ужас, ни зги не видно.

— Но как же так — там ведь должен быть свет.

— Может, мы идем вдоль забора, а за ним — дом.

— Тогда надо калитку найти.

Пабло поднялся на откос. И медленно пошел по траве, ощупывая рукой стену. Так он сделал с десяток шагов, потом рука его коснулась края стены, и на него вдруг дохнуло ледяным ветром, вырвавшимся из-за угла со всей накопленной силой. Нагнув голову, Пабло продолжал идти на ощупь и наконец наткнулся на металлическую решетку открытой калитки.

— Вот, это наверняка здесь,— сказал он.

— Могли бы все-таки оставить хоть какой-то свет.

— Здесь, наверно, это тоже запрещено.

— Скажешь тоже! Не похоже, чтобы там, в кафе, они очень заботились об этом, а ведь оно на шоссе.

Они прошли еще немного.

— Здесь открыто, можно войти, и, если там есть дом, рано или поздно мы найдем его.

Теперь это был уже не асфальт, а снова грязь, и путь пошел под гору.

— Знаешь, мне чего-то кажется — не туда мы зашли,— сказал Пабло.

— Если ты хоть что-нибудь видишь, то тебе повезло. Лично я, по-моему, в жизни в такую темень не вылезал из дому.

— Ну, если мы на правильном пути, то дом стоит либо дальше, либо где-то в стороне.

— Почему это?

— Да так, судя по ветру.

Сильный ветер бил им прямо в лицо, дождь хлестал по глазам. Должно быть, ветер дул издалека и, не встречая препятствий, набирал скорость, словно готовился пересечь огромные голые равнины.

Пабло вдруг остановился.

— Послушай.

Энрике насторожился, напрягая слух.

— Что это?

— Похоже, засовом двигают.

— Эй! Эй! — крикнул Пабло.— Есть тут кто?

Металлический скрежет повторился.

— По-моему, дверь какая-то скрипит, но это ветер ее раскачивает,— сказал Энрике.

Он прошел немного вперед. Землю развезло совсем, он поскользнулся, но удержал равновесие.

— Бог мой, с меня хватит! — воскликнул он.— Шофер просто мерзавец! Он должен был доставить нас до места. Это же его работа. Все эти французы — мерзавцы.

— Замолчи! Тут, наверное, недалеко, надо только отыскать эту дверь.

Но Энрике не мог успокоиться. Он громко крикнул по-французски, коверкая слова:

— Эй, зажгите свет! Есть тут кто?

Никто не отзывался, и он выпустил залп каталонских ругательств. В эту минуту Пабло позвал:

— Иди сюда, это здесь.

Энрике сделал шаг и уперся в металлическую решетку. Позвякиванье возобновилось.

— Попытайся открыть.

Пабло провел рукой по плоской горизонтальной перекладине и наткнулся на металлический столб. Ветер что-то раскачивал над их головами. Вот откуда, значит, шел тот скрежет.

— Это вовсе не дверь,— сказал Пабло,— здесь вообще ничего нет.

Он шагнул вперед, ощупывая в кромешной тьме землю кончиком башмака.

Нога наткнулась на камень. Он приподнял ее.

— Лестница.

— Осторожнее, может, она ведет в водоем.

— Нет, лестница ведет вверх.

— Ты в своем уме?! Тут же ничего нет.

Пабло пошарил ногой, ища вторую ступеньку, но камень поднимался слишком высоко. Держась одной рукой за шероховатую железную перекладину, он протянул другую вперед, но ничего не нащупал. Тогда он поискал ниже и наткнулся на холодный гладкий камень. Он выпустил железную перекладину, уперся обеими руками в камень и тяжело вздохнул.

— Ну, что там? — спросил Энрике, все еще держась за решетку.

— А то, что мы на кладбище,— прошептал Пабло.

Энрике тоже нащупал надгробный камень. И отошел к калитке, над которой раскачивался подвешенный на проволоке венок в металлической оправе.

Они молча стояли, повернувшись спиной к ветру. Пабло опустился на камень, по которому струилась вода.

Энрике вдруг разозлился.

— Бог ты мой, это же черт знает что, мы никогда отсюда не выберемся. Старик потому и смеялся! Вот гад! Хуже шофера! — Он буквально задыхался, ругал всех и вся: шофера, мужчину в сабо, крестьян, которые не зажигают света. Поносил даже ветер и дождь.— Ты что, хочешь, чтоб мы здесь подохли, да? Ты просто не понял, что он тебе объяснял. Ты нас обоих погубил. Ты всегда делаешь вид, будто все понимаешь, а на самом деле понимаешь не лучше меня!

Пабло с трудом поднялся.

— Он сказал, первый дом справа. Вот и все, что я знаю.

— Сейчас главное — дорогу отыскать.

Пабло промолчал. Он шел, подгоняемый ветром. И чувствовал, что идет прямо к воротам.

Они довольно быстро добрались до дороги и под прикрытием стены снова вслепую двинулись в путь.

Через несколько шагов стена кончилась и они опять оказались во власти ветра. Потом появились стонущие, истерзанные деревья, и вдруг, словно из-под земли, ночную тьму пробил свет. Он горел справа, недалеко от них, и его теплый отблеск зигзагами бежал по дороге навстречу им.

Они зашагали быстрее. Из темноты показались кусты, затем стена на низком фундаменте.

Свет шел от лампочки, освещавшей фасад дома. Она была очень высоко, под самой крышей, откуда свисали початки кукурузы.

Деревянные ворота вели на довольно широкий двор. Энрике начал их трясти.

— Не тряси! Здесь крючок.

Пабло поднял железный крючок, и ворота открылись. Прежде чем пересечь двор, Энрике спросил:

— Ты уверен, что это здесь?

— Все равно идем, там видно будет.

Они сделали несколько шагов, и Энрике опять остановился:

— Как ты думаешь, они нас сразу накормят?

— Не знаю.

— Если сами не додумаются, надо будет потребовать.

Пабло направился к двери.

— Да, конечно,— сказал он,— но сначала надо узнать, здесь это или нет.

— Ясно здесь, раз они лампочку зажгли. Значит, ждут.

Пабло и Энрике были уже в нескольких шагах от двери, когда в темноте, справа от них, раздался стук сабо. Кто-то шел вдоль фасада пристройки, которую они не заметили,— она была продолжением дома и стояла чуть в глубине.

Показалась совсем маленькая женщина. Она шла переваливаясь с боку на бок, неся по ведру в каждой руке. Ее черные волосы были небрежно причесаны, и ветер трепал упавшую на лицо прядь.

Когда она поравнялась с ними, Пабло спросил:

— Здесь живет мосье Биша?

Перед ними был то ли ребенок, то ли очень маленькая женщина. Она не ответила.

Подойдя к двери, она поставила одно ведро, открыла дверь и вошла в дом. У нее были широкие бедра и кривые ноги, торчавшие из-под слишком короткой юбки. Лодыжки были почти одной толщины с коленями.

— Она глухая,— буркнул Энрике.

— Но она же нас прекрасно видела.

Хоть она и вошла в дом, но дверь оставила открытой. Энрике и Пабло подошли к порогу. Из дома послышался мужской голос:

— Дверь, Жаннетта, дверь.

Пабло сделал шаг. И тот же голос крикнул:

— Что там еще?

В освещенной комнате Пабло увидел женщину. Он постучал по косяку и вошел.

2

— Извините,— спросил Пабло с порога,— здесь живет мосье Биша?

Женщина пересекла комнату.

— Да, здесь,— ответила она.

Пабло провел рукавом по мокрому лицу. Рукав его куртки был похож на половую тряпку.

— Бог мой! — воскликнул мужчина.— Да ведь это наши испанцы! Но как же они добирались сюда — на них смотреть страшно! — И, рассмеявшись, добавил: — Ба, ежели придется платить за них по весу, то я — пас. Я — пас.— И снова рассмеялся.

— Как вы сюда добрались? — спросила женщина.

— На грузовике,— ответил Пабло,— но нас высадили на шоссе. И мы поднялись по дороге, нам ее человек из кафе показал.

— Они, должно быть, шли мимо свинарников,— сказала женщина.— В этакую темень хорошо еще, что они в речку не свалились.

Мужчина снова рассмеялся.

— Они бы все равно сильнее не вымокли.

А испанцы, положив на пол возле себя вещевые мешки, стояли неподвижно посреди лужи, которая все увеличивалась на цементном полу.

— У вас есть во что переодеться? — спросила женщина.

Пабло показал на мешок:

— Да, но все, наверное, промокло.

— А вы развяжите, там посмотрим. Вот, идите сюда.

Она отодвинула большой круглый хлеб и две бутылки, стоявшие в конце длинного стола, покрытого выцветшей, изношенной клеенкой в красную и белую клетку. На другом конце стола сидел мужчина.

Пабло и его товарищ положили вещевые мешки на стол. Пальцы у них онемели, а намокшие узлы не развязывались.

— Разрежь,— сказал мужчина,— разрежь.

И он швырнул им через стол перочинный нож. Разрезав веревки, они вытащили из мешков одежду. Дождь промочил все насквозь, и робы, выданные им перед отъездом, были такие же мокрые, как и то, что на них.

Пабло посмотрел на женщину и, как бы извиняясь, развел руками.

— Нельзя им оставаться так,— сказал мужчина.— Что-нибудь сейчас найдем.

Женщина направилась в глубь комнаты. Там на стене висело несколько вешалок с одеждой. Она принесла две куртки: одну — из голубой ткани, другую — из коричневого вельвета.

— Пойдет,— сказал мужчина.— Ну-ка надевайте — сразу согреетесь. То, что исподнее намокло, неважно. Хворь, она сверху наваливается.

Женщина подошла к плите и подбросила в огонь сухую виноградную лозу. Пламя разгорелось, посыпались искры. Испанцы даже сбросили рубашки. Положив локти на стол, уткнувшись подбородком в ладони, мужчина внимательно их рассматривал. Та, кого они видели во дворе, тоже смотрела на них, стоя между двумя ведрами, которые она поставила перед каменной раковиной.

Штаны их липли к ногам, и, когда они встали у огня, от одежды пошел пар. Так они стояли довольно долго, время от времени поворачиваясь и подставляя огню то спину, то грудь.

— Вы оба испанцы? — спросил мужчина.

— Каталонцы,— ответил Пабло.

— Кто?

Пабло, помявшись, ответил:

— Да в общем-то испанцы.

— Но у тебя почти нет акцента, давно по-французски говоришь?

— Давно.

— А твой приятель?

— Тоже говорит немного, но вы говорите быстро, он едва ли понимает.

Мужчина сидел все в той же позе, подперев голову руками. Он был широкоплечий, плотный. С багровым лицом, перечеркнутым густыми светлыми усами, потемневшими от табака. Сдвинутая на затылок фуражка открывала лоб и часть лысины.

— Хотите пропустить по стаканчику? — спросил он.

Энрике понял и сказал Пабло по-каталонски:

— Скажи ему, нам бы сперва поесть.

— Чего он там? — спросил мужчина.

Пабло мялся. Энрике посмотрел на него, потом повернулся к мужчине и, показывая на круглую буханку, сказал:

— Голодный. Есть.

Мужчина рассмеялся:

— Ха! Да он шутник: когда пожрать надо, он все понимает и даже говорит. Этот не пропадет.

Женщина подошла к столу.

— А ну, Жаннетта, помоги мне стол освободить.— Повернувшись к мужу, добавила: — Если они голодные, надо им что-нибудь дать.

— Само собой, надо им что-нибудь дать. Только негоже это — отправлять людей в такую погоду да еще на пустой желудок. Хорошенькие, видно, дела творятся в этих лагерях.

Мужчина выпрямился. На его подбородке какое-то время еще оставались белые следы от пальцев, но вскоре кровь начала циркулировать, и они исчезли.

Девчонка, которую они видели во дворе и которую женщина назвала Жаннеттой, по-прежнему стояла неподвижно. Свесив руки, полуоткрыв рот с очень крупными зубами, она стояла и смотрела на

двух испанцев. Глаза у нее были большие, круглые, застывшие, без блеска. У нее почти не было бровей. Пабло несколько раз поворачивал голову в ее сторону, но не мог выдержать этого безжизненного, пристального взгляда.

— А ну, Жаннетта, ты будешь шевелиться или нет? — крикнула хозяйка.

Девчонка вздрогнула, раза два качнулась из стороны в сторону и направилась к столу. Хотя она не несла ведер, но болтавшиеся вдоль тела руки словно бы притягивали ее к полу. Грудь у нее была совсем плоская.

Пабло наблюдал за ней, пока она убирала со стола. Время от времени она бросала взгляд на испанцев и тут же снова принималась за работу. Когда она понесла тарелки, Пабло показалось, что она вот-вот упадет. Однако девчонка благополучно донесла их до раковины.

Женщина велела ей поставить два прибора, затем, взяв большой нож и тарелку, вышла из комнаты через низкую дверь в глубине, куда не достигал свет лампы.

Жаннетта поставила тарелки, положила вилки и ложки, вернулась к раковине и встала между ведрами. Стояла и пристально смотрела на Энрике и Пабло.

— Идите садитесь,— сказал мужчина.

Они сели за стол. Брюки у них были все еще влажные, но уже не холодили так ноги.

— А из чего они пить-то будут? — крикнул мужчина Жаннетте.— Может, из моих сабо?

Девчонка все так же не спеша подошла к буфету, взяла два стакана и поставила перед тарелками.

— Спасибо, мадемуазель,— сказал Пабло.

Она что-то буркнула, чуть приоткрыв рот.

Мужчина сидел скрестив на столе руки. Он поднес огонек к недокуренной сигарете, которую извлек из-под кожаного ободка внутри фуражки, и закурил.

— Не обращайте внимания,— сказал он,— она у нас не говорит. Такая уж она есть, ничего не поделаешь.— Он немного помолчал, перекатывая во рту окурок кончиком языка, затем, подкатив его к тому месту, где усы у него стали совсем бурые, добавил: — Вроде такой и останется. Не то чтобы она в самом деле была немая, просто не говорит, и все. Зато хорошо понимает и работать может — не всегда, правда, быстро, но старательно.

Он смотрел на девчонку, которая вернулась на прежнее место к раковине.

— Ну, мой же посуду-то,— сказал он,— не жди, пока вернется мать.

Девчонка принялась за работу. Мужчина попытался затянуться, но сигарета погасла, пришлось прикурить от большой медной зажигалки. Затем он налил обоим испанцам в стаканы вина, а остатки вылил себе.

— Сейчас она принесет еду,— сказал он, указывая подбородком на дверь, через которую вышла женщина. И, подняв стакан, предложил: — За вас, ребята!

— За вас,— сказал Пабло.

Женщина вернулась. Она поставила на стол литровую бутылку красного вина, большой нож, тарелку. На тарелке лежали два ломтя сала в руку толщиной и две маленькие, покрытые плесенью головки сыра. Из кармана она извлекла четыре яйца и, показав мужу, спросила:

— Сделать омлет?

— А похлебки больше нет?

— Только на завтра, на утро.

— Тогда яйца приготовь. Утром надо есть похлебку.

Она разбила яйца, вылила их в миску, поставила сковородку на плиту.

— Ну, ешьте, ешьте,— сказала она.— Еда — она лучше всего согревает.

— Еда да стаканчик доброго вина,— сказал мужчина, наполняя стаканы.

Он залпом осушил свой, провел рукой по усам, вытащил из кармана кисет с табаком, пачку папиросной бумаги.

Пабло жевал и разглядывал женщину. Она казалась намного моложе мужа. Крепко сбитая. Голубой лиф плотно обтягивал полную грудь. Руки были круглые, загорелые, с ямочками на локтях. И такая же ямочка — на подбородке. Волосы и глаза у нее были черные. Почти такие же, как у девочки, только сами глаза меньше, а брови — гуще.

Когда они съели сало, она улыбаясь подала омлет. Пабло заметил, что у нее не хватает нескольких зубов, чуть сбоку.

Мужчина снова закурил и стал рассказывать о работе, которая их ждет. Через некоторое время Энрике, очень старавшийся понять, о чем идет речь, сказал, показав на окно с закрытыми ставнями:

— Дождь, дождь.

Мужчина рассмеялся, посмотрел на него, затем повернулся к Пабло:

— Послушай, а твой приятель, оказывается, тип! Не успел войти, говорит: «есть». А как про работу речь зашла, намекает, что, мол, дождь идет слишком сильный. Шутник, скажу я вам!

Пабло улыбнулся. Энрике сидел насупясь.

— Нет, нет,— поспешил заверить Пабло,— о работе вы не беспокойтесь, он просто хочет сказать, что надоела такая погода.

— Завтра погода будет хорошая,— непреложным тоном заявил крестьянин.— А потом, лучше уж я вам сразу скажу: дождь не дождь, а виноград собирать надо. Потому как он уже созрел и при таком ветре весь может оказаться на земле.

Заговорив о плохой погоде и о возможной потере урожая, мужчина стал нервничать. Налил себе один за другим два стакана вина, тут же залпом выпил.

— Иди-ка ты спать,— сказала жена,— уже поздно.

— Ага, сейчас наверх пойду,— согласился он.— Ты покажи им, где лечь. Да чтоб пожара не наделали.

— Уж ты не беспокойся,— сказала жена.

Мужчина обеими руками оперся о стол, наклонился вперед и, отодвинув стул ногой, встал. Взял палку, висевшую на спинке стула, и двинулся в глубь комнаты. Правая нога его совсем не гнулась, и передвигался он явно с большим трудом. Он был гораздо ниже жены, с большим животом, колыхавшимся при каждом шаге. Дойдя до все той же низкой дверцы, хозяин вышел, и Пабло услышал, как он поднимается по деревянной лестнице.

— Два года назад с мужем случилась беда,— пояснила хозяйка.— Возвращался вечером с ярмарки и упал под повозку. С тех пор нога у него и не гнется.

Пабло помолчал, обдумывая, что бы сказать.

— Он еще поправится, такие вещи, знаете ли, иногда налаживаются очень долго.

— Нет, у него дело не идет на лад. Да и он сам никак не наладится. Все не привыкнет. Хочет что-то сделать, а не может, и это его раздражает.

Она замолчала, взяла с плиты чугунок, поставила в раковину.

— Пусть помокнет,— сказала она дочке.— А ты отправляйся-ка спать.

Хозяйка снова подошла к испанцам и, опершись рукой о поручень у плиты, с минуту стояла неподвижно, затем, понизив голос, проговорила:

— Самое страшное — после этого несчастья он совсем пить разучился.

Она смотрела в основном на Пабло. Тот подумал немного и сказал лишь:

— Да... досадно.

— Лучше уж сразу предупредить: ежели он когда начнет сердиться, вы с ним не спорьте. Даже ежели будет неправ. Он как напьется, злой бывает, но как хмель пройдет, и у него все проходит. Быстро самим собой становится.

Мужчины переглянулись. Женщина обернулась. Позади нее попрежнему стояла дочь и пристально смотрела на Пабло. Тот это заметил, хоть и не поворачивал голову в ее сторону.

— Что ты тут торчишь? — крикнула мать.— Приросла к полу, что ли? Я же велела тебе идти наверх, ну и иди.

Жаннетта что-то буркнула, качнулась разок-другой и маленькими, смешными шажками затопталась на месте. Затем, все так же наклонившись вперед, словно под тяжестью болтающихся рук, пересекла комнату и вышла. Они тотчас услышали, как она стала подниматься по деревянной лестнице, тяжело спотыкаясь о каждую ступеньку.

Мать вздохнула, пододвинула скамейку и, сев на нее бочком, оперлась локтем о стол и снова заговорила:

— Сущее наказание, знаете ли. Сущее наказание. В тринадцать лет она ведь как четырехлетняя. А уж упрямая — хуже некуда. Даже когда понимает, о чем ее спрашивают, заставляет повторять по два раза. Просто наказание, знаете ли. Сущее наказание иметь такую дочь. Ничего нельзя ей доверить — все наоборот сделает.

К этому времени Пабло и Энрике покончили с едой, но продолжали сидеть за столом. Наконец Энрике встал и подошел к плите. Пошарив в кармане куртки, он выгреб несколько крох намокшего табака и положил на ладонь.

— Чего вы там ищете? — спросила женщина.— Табак?

— Ну да.

Она встала и взяла с каминной полки красный глиняный горшок, накрытый перевернутой тарелкой.

— Вот, держите,— сказала она,— только бумаги у меня нет.

Энрике обвел взглядом комнату и шагнул к окну. На деревянном подоконнике лежала газета; указав на нее женщине, он спросил:

— Это можно взять?

Она засмеялась.

— Так она же не годится. Надо было у хозяина папиросной бумаги попросить, пока он не лег.

— Да нет,— сказал Пабло,— если эта газета больше не нужна, она вполне нас устроит; мы, знаете ли, привыкли.

Женщина перевела взгляд с одного на другого.

— Можете взять,— сказала она.

Энрике вернулся на свое место, положил газету на стол и оторвал от нее маленький квадратик. Женщина смотрела, как они скручивают цигарки, потом спросила:

— В лагере-то с вами хорошо обращались?

Пабло пожал плечами:

— Так себе.

— А война, какая она на самом деле?

Они переглянулись.

— Расскажите хоть немного,— не отступалась она,— мне интересно из-за мальчишки.

— Из-за сына? — спросил Пабло.

— Да, ему как раз девятнадцать исполнилось, когда немцы вошли в Польшу. Он был очень способный, ходил на сельскохозяйственные курсы. Там им, видно, задурили мозги — вот он и решил записаться добровольцем. Мы все сделали, чтоб его отговорить, но он упрямый — весь в отца. Так что теперь он где-то там, на линии Мажино.

Пабло опустил голову. А Энрике пожал плечами и развел руки. Но женщина не отставала, и он кивнул на Пабло. Решив, что он предлагает ей обратиться к товарищу, она дотронулась до руки Пабло, лежавшей на столе. Тот отдернул руку и, подняв голову, хмуро посмотрел на женщину. Его худое, заостренное лицо дышало гневом. Посмотрел — и снова опустил голову.

Наступила гнетущая тишина — она словно наползла из полутемных углов, куда почти не достигал свет. Потолок, выложенный толстыми балками, тонул во мраке, и только в центре комнаты от абажура на нем лежал светлый кружок. А вокруг все было затянуто пологом ночи. И оттуда нисходила тишина. Ибо полог этот не пропускал ни шум ветра, ни шум дождя.

Пабло поднял голову — губы его улыбались. Медленно, очень тихо он пояснил:

— Понимаете, мы ничего не можем вам рассказать. Война, которую вы ведете, не имеет ничего общего с той, которую вели мы... Едва ли она у вас продлится долго.

— Наш мальчик, ежели дело дойдет до драки, будет сражаться на линии Мажино. Кажется, это очень хорошо, там ведь совсем не опасно.

— Конечно, это лучше, чем воевать за линией. Я слышал, говорили, что немцам не удастся ее прорвать.

— Да, к счастью: невесело будет, коли они попрут к нам, как в четырнадцатом.

Воцарилась тишина; потом женщина спросила:

— Вы правда думаете, что у нас — не так, как в Испании?

— Нет, конечно, сейчас ведь почти не дерутся, и потом, даже когда дерутся, не убивают женщин и детей.

Глаза женщины просветлели. Она облокотилась на стол, налегла грудью на руки.

— И вы сами видели, как убивают женщин? — спросила она.

Пабло снова опустил голову. Некоторое время он сидел неподвижно. Женщина ждала, пристально глядя на него.

Вдруг он отодвинул стул, встал. Лицо его опять стало жестким.

— Хорошо бы лечь спать,— сказал он.

Она растерялась и взглянула на Энрике — тот тоже поднялся.

— Очень устал,— сказал Энрике, указывая подбородком на Пабло.

— Я сейчас провожу вас, вот только зажгу фонарь.

Она подошла к шкафу, открыла дверцу, присела на корточки. Вынув несколько пар обуви и переставив железные коробки, она вернулась с большим квадратным фонарем. Одно стекло у фонаря было красное. Вытащив из ящика свечку, хозяйка зажгла ее и закрепила в фонаре.

— Слышали, что сказал хозяин? Я вам доверяю, но имейте в виду: там фураж, поосторожней с огнем, не то сарай запросто вспыхнет.

— Вы можете быть спокойны, мадам,— сказал Пабло.

Она посмотрела на него, постояла в нерешительности, потом сказала:

— Не зовите меня мадам, говорите «хозяйка».

Они шагнули было к печке за своими робами, развешанными на спинках стульев, но женщина сказала:

— Нет, они еще сырые. Оставьте здесь, я принесу завтра утром, когда приду будить.

Пабло поблагодарил, и они пошли за женщиной. Прежде чем открыть дверь, она набросила на голову черную шерстяную шаль и надела сабо.

Ветер не ослаб, но дождь лил меньше. Они пересекли двор, освещенный лампочкой, которая горела под крышей.

— Хорошо, что вы оставили снаружи свет. А то бы нам непросто было вас отыскать,— сказал Пабло.

— Свет? — спросила женщина.

— Ну да, когда мы пришли.

Она задумалась.

— Ах нет, это девчонка его зажгла, когда ходила в конюшню.— И, словно пожалев о том, что сказала, поспешно добавила: — Понимаете, мы не знали точно, когда вы приедете, а свет зажигать запрещено, мы и не смели оставлять его надолго... И потом, откровенно говоря, так поздно мы вас не ждали. Решили, что вы завтра приедете, на рассвете.

Они пересекли дорогу и шли теперь гуськом по грязной и скользкой тропе. Женщина шла впереди, освещая путь фонарем; пламя слегка дрожало.

Скоро они дошли до сарая. Женщина обернулась и передала фонарь Пабло.

— Подержите минутку,— сказала она,— здесь, как водится, надо приложить силу, чтобы дверь открыть.

Пабло взял фонарь. Энрике, который шел за ними, поспешил к женщине.

— Позвольте,— сказал он,— давайте открою.

Пабло направил на них свет фонаря. Женщина подперла дверь, приподняла и толкнула. Энрике, помогая женщине, крепко к ней прижался.

Дверь отворилась.

Они вошли в помещение с земляным полом. Энрике с хозяйкой могли стоять во весь рост, Пабло же пришлось наклонить голову, чтобы не удариться о балки. Он почувствовал на лице паутину и смахнул рукавом. Тем временем женщина уже взбиралась по скрипучей деревянной лестнице с высокими узкими ступеньками. Забравшись наверх, она повернулась и посветила им. Они поднялись.

— Осторожно,— сказала она и показала в угол чердака,— там пол плохой.— Затем осветила низкую дверь и прибавила: — Эту дверь не открывайте, за ней провал, мы держим там солому.

Потом поставила фонарь на пол, сняла с проволоки два одеяла и положила на солому, сваленную в кучу и кое-где доходившую до крыши.

— Ну, сами устроитесь? — спросила она.— Оставляю вам фонарь, но я на вас надеюсь, будьте уж повнимательней.— Она сделала несколько шагов к лестнице, потом вдруг обернулась и снова заговорила: — Ах да! Хозяин позабыл спросить: если кто носить захочет, пусть скажет.

Испанцы переглянулись.

— Простите? — спросил Пабло.

— Да хоть вы, к примеру. Вы ведь сильный, могли бы носить!

— Что носить-то? — не понял Пабло.

Женщина рассмеялась:

— Да корзину, господи! У нас виноград носят на спине в такой большой железной корзине, на ремнях.

— А...— произнес Пабло.— Я буду делать все, что мне скажут.

— Я не о том. Понимаете, кто носит виноград, получает в день на десять франков больше. Ну, и, если вас это интересует, я не против, пожалуйста, пользуйтесь. Ведь вы небось нуждаетесь в заработ-

ке. И потом, из-за войны в этом году у нас одни старики да дети работают.

— Хорошо,— сказал Пабло,— буду носить. Надеюсь, получится.

— Ну конечно,— сказала женщина,— конечно.

Она начала спускаться по лестнице. Энрике взял фонарь и пошел посветить.

— Не надо, я дорогу знаю. Спокойной ночи, и уж вы поосторожней с огнем. Пожалуйста, поосторожней.

— Спокойной ночи, мадам,— крикнул Пабло.— Не беспокойтесь.

Она с силой захлопнула дверь. Весь сарай задрожал. И они услышали, как, шлепая по грязным лужам, быстро удаляются сабо.

3

По черепице все барабанил дождь, подстегиваемый ветром; Пабло поднял фонарь и осмотрел чердак.

— Что ты там ищешь?

— Ничего, просто смотрю.

Он поставил фонарь и сел на солому рядом с Энрике. Минуту они сидели молча, расшнуровывая промокшие ботинки.

— Надо набить их сухой соломой,— сказал Энрике,— а то завтра не сможем надеть.

Они набили башмаки соломой и поставили на пол. Потом, сбросив непросохшие штаны, развесили на проволоке, с которой женщина сняла одеяла.

— Из куртки старика получится отличная подушка,— сказал Энрике.

Пабло смотрел, а Энрике взял большую охапку соломы и завернул в куртку.

— Хорошенький вид у нее будет завтра утром.

— Подумаешь, а мне плевать. И потом, это ведь не воскресный костюм. Давай не ломайся, сделай, как я, увидишь, как здорово.

Пабло решился и тоже сделал себе подушку. Они завернулись в одеяла, а сверху набросали на себя еще несколько охапок соломы.

— Мне уже жарко,— сказал Энрике через несколько минут.

— Мне тоже. Ну вот, все в порядке.

Пабло протянул руку, взял фонарь, открыл его и задул свечу. Он поставил фонарь на место и стал пристально смотреть на красную точечку — она медленно угасала, пока совсем не исчезла.

— Жаль, не удалось стащить немного табаку из горшка. Я было подумал, да эта сука с нас глаз не спускала.

— Она ведь сама его нам дала, и то хорошо,— заметил Пабло.— Вовсе не обязана была. И потом, знаешь, все равно тут курить опасно.

— Подумаешь! Было бы чего покурить, я бы не стал лишать себя удовольствия.

Пабло промолчал. Ему не спалось, но вместе с теплом пришла усталость, и мало-помалу тело онемело.

— Ну, а как тебе эта баба? — спросил Энрике.

— Вроде они неплохие люди. Могло быть, наверное, куда хуже.

— Да я не про то тебя спрашиваю, я про бабу. Ты как? Не трахнул бы ее?

Пабло молчал, Энрике не унимался:

— Да вот хоть сейчас внизу, когда она открывала дверь, я привалился к ней. Тело у нее такое упругое — в жизни бы не подумал.

— Ты бы лучше не дурил, а то нас в два счета отсюда выставят.

— А знаешь, я сразу почувствовал, что бабенка не прочь. Уверен, старик уже ни на что не годен. Видно же, что́ ей нужно, с первого взгляда видно.

— Да замолчи ты, вобьешь себе в голову чушь и накликаешь беду.

Но Энрике уже завелся. Он ничего не хотел слушать. Приподнявшись в темноте на локте, он снова заговорил:

— Уверяю тебя, она этого хочет, и, держу пари, не пройдет и трех дней, я с ней полажу. Ты только не беспокойся, я вовсе не собираюсь делать ей пассы прямо при старике. Надо будет найти удобный случай и прижать ее в углу.— Он немного помолчал, повернулся и добавил: — Да вот хоть сейчас, когда она нас привела сюда. Будь я с ней один, все было б шито-крыто.

Пабло повернулся и, немного повысив голос, попросил:

— Послушай, отстань ты от меня и хватит об этом, ладно?

— Ты знаешь, что я имею в виду, но в конце концов лучше уж с ней, чем в бордель идти. Не понимаю, что ты против нее имеешь. Недурная бабенка.

Пабло, наконец, разозлился. Поднялся и крикнул:

— А мне плевать! Понимаешь ты или нет? Оставь меня в покое со своими глупостями!

— Ну, не сердись... Просто непонятно, из какого теста ты сделан.

Пабло тяжело вздохнул. Гнев его остыл. Медленно, почти шепотом он сказал:

— Ты же знаешь, была у меня женщина, ее убили. Так что я теперь с этим завязал. Другие...— И умолк, не закончив фразы.

— Знаю,— сказал Энрике, немного помолчав,— знаю. Однако, бог ты мой, прошло уже больше года! Ты бы поменьше об этом думал. Ну что толку все время пережевывать свое горе. Это ни к чему хорошему не приведет.

Пабло усмехнулся:

— Но и хуже не будет.

— Конечно, только с таким настроением и хорошего ждать нечего! По-моему, так рассуждать в тридцать пять лет — идиотизм.

Пабло уже не сердился и все же снова повысил голос:

— Идиотизм — воевать, убивать женщин и ребятишек, которых они носят в животе. И оставлять живыми таких мужчин, как я, для которых жизнь на этом свете все равно кончилась.

Он вдруг умолк и снова улегся, повернувшись спиной к Энрике. Долго слышался только шум ветра, который дул с прежней силой, бросая на черепицы длинные струи дождя.

К плеску воды примешивался другой звук. Водосточная труба с угла крыши, должно быть, спускалась в бочку. Слышалось бульканье — при каждом порыве ветра оно прекращалось, потом возобновлялось опять.

— Спишь? — спросил Энрике после долгого молчания.

— Нет.

— Неужели не понимаешь? Мне нужна женщина.

Пабло еще послушал бульканье воды в трубе и сказал:

— Конечно, я понимаю, но не надо торопить события, а то накликаешь беду.

— Как по-твоему, сколько ей лет?

— Не знаю, лет сорок, наверное.

— Не скажи, наверняка меньше. Крестьянки всегда выглядят старше своих лет. Они не умеют следить за собой, но эта, если ее хорошо причесать и одеть, будет хоть куда.

Пабло молчал. Сейчас ему больше всего хотелось тишины.

Энрике же, видимо, размышлял. И через какое-то время вдруг снова ухватился за прерванную нить:

— Да, но ведь у нее сыну девятнадцать... Хотя она могла родить и в восемнадцать...— Он молча подсчитал и добавил: — Ей, конечно, больше тридцати пяти... Но женщина в тридцать пять еще в соку.

Монолог этот длился довольно долго. Наконец Энрике улегся, набросал на себя еще немного соломы и сказал:

— Ну ладно, старик, спокойной ночи. Вижу, я надоел тебе своими разговорами о бабах. Но все равно я бы предпочел мать, а не дочь.— И засмеялся.

А Пабло не спал. Лежа неподвижно, с широко раскрытыми глазами, он прислушивался к звукам ночи.

Так он лежал долго, чувствуя, как согревается. Вскоре Энрике задышал глубоко, ровно. Он спал.

Одним ухом Пабло слышал, как мелкие капли дождя стучат по крыше, другим — как хрустит, словно разбушевавшееся пламя, солома.

Куртка хозяина пропахла по́том и табаком. Пабло лег на спину. И увидел перед собой девчонку — немую, застывшую, с безжизненно повисшими руками, как бы притягивавшими ее к земле. И этот ее взгляд, пристальный и пустой, и рот, приоткрытый словно в улыбке, которой она никогда не знала.

Пабло лежал, то открывая, то закрывая глаза, пытаясь отогнать от себя образ девчонки.

Жаннетта. Ее звали Жаннетта. По-французски — название цветка [1]. У него приятный запах, он улыбается, как все цветы. Пабло подумал, что нельзя давать имена цветов людям — слишком рискованно.

Девчонка была грязная. Пахло от нее наверняка скверно. Сейчас она, должно быть, спит с полуоткрытым ртом.

Пабло мысленно увидел спящую девчонку, и ему вдруг снова вспомнилась мертвая Марианна. Марианна! Он не видел ее мертвой, но столько раз старался представить себе. Вот и сейчас он увидел ее живую — темноволосую и такую же черноглазую. Но совсем не похожую на эту ужасную девчонку.

Пабло пытался избавиться от этих двух образов. Заставлял себя ни о чем не думать, только слушать стучавший по крыше дождь. Дождь сбегал по черепицам. Пабло видел изнутри, что черепица — плоская, старая и, наверное, поросла мхом. Он заметил несколько новых черепиц. Теперь Пабло согрелся, и ему вспомнилась скользкая дорога. Вспомнил он, как оказался на кладбище. Вспомнил, как сидел на камне. Могильном камне.

А вдруг кто-то чужой придет и сядет на могилу Марианны!

Да, но есть ли у Марианны могила? Разве ее похоронили на кладбище? Разве не осталось ее изуродованное тело под развалинами дома?

Там, может быть, вся деревня, вся Каталония — кладбище.

Мысли опять побежали к впечатлениям минувшего дня.

Свет, незнакомые люди. Лицо девчонки, идиотское, грязное. Полуоткрытый рот.

И снова Марианна. Марианна, у которой были прекрасные, красиво очерченные губы. Они, возможно, приоткрылись в момент смерти, и струйка крови вытекла изо рта.

На войне у мертвых часто из полуоткрытого рта вытекает кровь.

Марианне нужна большая могила, с двумя крестами — один ей, другой малышу, которого она носила под сердцем.

Марианне и малышу нужна могила с надгробным камнем. С солидным надгробным камнем, большим, как крыша, чтобы в землю не просачивалась вода.

4

Пабло заснул очень поздно. Ночью он много раз просыпался и каждый раз завидовал Энрике, храпевшему рядом.

И сейчас Энрике еще спал. Но уже рассвело. Пабло давно наблю-

[1] Поэтическое название нарцисса.

дал за приближением рассвета в щель между дощатым настилом и ставней, которую женщина не велела открывать.

Дождь перестал, ветер тоже стих. Перед рассветом голосили петухи, а сейчас наступила тишина. Полная тишина, и свет медленно пробирался по полу, освещая одну соломинку за другой.

Пабло еще подождал, потом тихонько вылез из-под одеяла. Он спал голый, чтобы белье лучше просохло. Потрогал висевшие на проволоке штаны — еще сырые. Вернулся к соломе, разорил подушку, надел куртку хозяина — она была теплая.

Пабло подошел к ставне, посмотрел в щель, но ничего не увидел. Тогда он посмотрел между черепицами и верхней частью ставни, откуда тоже пробивалась полоска света, которой он не заметил со своего ложа из-за кучи соломы. Крыша, далеко выступавшая за край стены, позволяла увидеть лишь клочок земли, поросший травой, да несколько разбросанных черных веток. Пабло уже хотел отойти, но тут белая курица пересекла наблюдаемое им пространство. Она медленно шагала, высоко поднимая лапы и подтягивая коготки. Огляделась по сторонам, немного порылась в земле, что-то клюнула и ушла.

Пабло пригнулся к ставне и стал искать задвижку. Наконец он нащупал круглую железку и легонько толкнул, но заржавевшее железо не поддавалось. Он толкнул сильнее, задвижка со скрежетом скользнула по пазу. Пабло на секунду замер, но Энрике мирно спал. Пабло потянул ставню на себя, немного приподнял, и она бесшумно открылась. Он встал на колени и, слегка откинувшись назад, посмотрел в окно.

Сначала он увидел землю, поросшую редкой, чахлой травой, и тропинку к дороге. Дальше была низенькая каменная стена, сразу же за ней — широкий луг. Весь луг курился, и чем дальше, тем туман становился гуще, пока луг не исчезал в сплошном белом облаке.

Пабло прислушался. Тишина. Только отрывистое кудахтанье курицы. Он открыл ставню пошире, придвинулся к краю поближе, наклонился вперед. Справа стоял дом, казавшийся на фоне белого тумана серым. Налево тоже были дома, но они стояли дальше и словно расплывались, такие же бесцветные, как и кусты по краю дороги.

Пабло еще раз взглянул на ферму. Старая с виду. Конек на крыше покривился, водосточный желоб пророс травой. По фасаду дома на втором этаже было три окна и два на первом, а посредине дверь, через которую они вошли. Ставни были открыты только на втором этаже. Наклонившись еще немного вперед, Пабло увидел пристройку — продолжение дома, кажется, менее старую, крытую черепицей. Большие ворота, наверное, вели в ригу. Чуть дальше была еще дверь и слуховое окно. Под слуховым окном прямо из стены выходил кран над каменной мойкой. Пабло увидел разбросанный по двору сельскохозяйственный инвентарь: тачку, немного дальше — две большие перевернутые вверх дном бочки. Ворота были открыты. Во дворе куры: одни разгуливали, другие, нахохлившись, неподвижно сидели у кухонной двери.

Пабло вздрогнул. Выпрямился и, растирая голые бедра, отошел на середину чердака. Еще раз пощупал штаны, постоял в нерешительности и, стиснув зубы, натянул их. Когда он застегивал ремень, у него перехватило дыхание — такие штаны были холодные. Затем вытащил из башмаков солому и надел.

— Что ты там возишься? — спросил Энрике, потягиваясь.

Пабло обернулся.

— Ничего. Спуститься надо, вот и одеваюсь.

— А который час?

— Не знаю. Но уже рассвело.

— Дождь перестал, а мне кажется, холодно очень.

— Да, холодновато. Сильный туман.

— За нами уже приходили?

— Нет, никто еще не встал.

— Тогда не шуми, вдруг разбудишь, нам и так придется рано начинать.

Пабло спустился. Едва он открыл дверь, как заскрипели ставни на каком-то окне. Высунулась женщина, помахала рукой, крикнула:

— Доброе утро! Встали? Девочка сейчас принесет вам ваши робы. Они уже высохли.

Пабло пошел через двор. Когда он подходил к дому, хозяйка уже открывала ставни на другом окне.

— Вот и хорошо,— сказала она.— Хозяин как раз сошел в погреб. Сейчас дам вам робы, и вы тоже сойдете туда посмотреть. Вы ему наверняка понадобитесь.

В плите на кухне уже потрескивал огонь и было тепло. Пахло чем-то приятным — смесью дыма и кофе с молоком.

Жаннетта стояла за скамейкой, полускрытая большим чугунным котлом и ивовой корзиной. Девчонка стояла не шевелясь, держа в правой руке нож, а в левой — половинку яблока. Рот ее был полуоткрыт, глаза без всякого выражения пристально смотрели на Пабло. Он кивнул ей, она что-то забормотала, но не шелохнулась.

— Держите, они совсем сухие,— сказала женщина.

Она протянула Пабло робы и сложенное белье.

— Спасибо, мадам,— сказал он.

— Зовите меня хозяйкой.

Пабло пошел было к двери, потом обернулся, спросил:

— Не скажете, где можно умыться?

Хозяйка удивленно с минуту смотрела на него. Она, казалось, раздумывала, затем повернулась к раковине, снова посмотрела на Пабло и спросила:

— Вы хотите сейчас умыться?

— Да, если можно.

— Есть два крана: один во дворе, другой в конюшне. Где вам удобнее, там и умывайтесь.

Пабло поблагодарил и направился к выходу. Женщина сказала ему вслед:

— Только поторапливайтесь: хозяин уже наверняка вас ждет.

Выйдя во двор, он услышал, как женщина крикнула:

— Ты что, заснула, что ли? Можно подумать, никогда мужчины не видела.

Пабло вернулся в сарай. Энрике все еще лежал.

— Вставай, хозяин ждет.

— Для чего? Чтобы перекусить?

— Нет, он в погребе, я не знаю, что там надо делать.

Пабло бросил на солому робу Энрике, снял мокрые штаны, надел сухие. Энрике все потягивался. Пабло оделся и спустился вниз.

— Поторопись,— сказал он,— не надо с первого дня раздражать людей.

— Не волнуйся,— крикнул Энрике.— А ты, я смотрю, решил блеск на себя навести, чтоб со старухой переспать!

Пабло как раз вышел во двор, когда хозяйка появилась из кухни с ведром в одной руке и большим подойником в другой.

— Видите,— сказала она,— кран вон там.

Она указала на кран под окном пристройки, который Пабло и сам уже заметил. Они прошли рядом несколько шагов, услышали голос Энрике, обернулись. Энрике, полуголый, присев на корточки у края чердака, крикнул по-каталонски:

— Когда кончишь с ней любезничать, скажи, чтоб она принесла мне сюда кофе, у меня есть для нее сюрприз! — И громко расхохотался.

— Что он сказал? — спросила она.

— Сказал, сейчас спустится, и извиняется, что немного запаздывает: никак не найдет башмаков.

— Может не спешить: и одного хватит, чтоб хозяину помочь.

— Пойду в подвал к хозяину,— сказал Пабло,— а умоюсь потом.

Хозяйка поставила подойник в каменную мойку, открыла кран. Потом отворила низенькую дверцу и вошла. Пабло последовал за ней. Они очутились в конюшне. В душном жарком воздухе сильно пахло скотиной. Пабло успел заметить корову и лошадь, разделенных перегородкой. В глубине тускло освещенного хлева, позвякивая цепями, блеяли козы.

Женщина сразу толкнула другую дверь, в ригу. Там горела лампа.

— Вот, держите,— сказала она.— Откроете большие ворота, надо выкатить повозку, место освободить. И потом вот так свет погасите.

Пабло открыл обе створки больших деревянных ворот и посмотрел в сторону сарая. Энрике все не показывался.

Пабло направился к двери, из-за которой слышался звон бутылок. Довольно широкая прямая каменная лестница, ступенек двадцать, спускалась в погреб. Справа был пресс для винограда, повсюду стояли разных размеров бочки.

— Проходите сюда! — крикнул хозяин.

Голос шел откуда-то из-за четырех огромных бочек, стоявших в ряд посреди погреба и доходивших почти до черного каменного свода. Пабло их обошел.

— Привет! — сказал хозяин.

— Добрый день, мосье.

— Зови меня хозяином. Ну, а ты — тебя как звать?

— Пабло Санчес.

— Пабло... Пабло. Чудно́! Надо же — Пабло! — И несколько раз повторил имя. Потом спросил: — Пабло, а дальше? Как ты сказал?

— Пабло Санчес.

Хозяин немного подумал, потом лицо его просияло.

— Саншез [1],— сказал он и расхохотался.— Саншез... выходит — сесть не можешь, не на что, а?

Смех его разносился под сводами и отдавался эхом, как в пустой бочке, живот трясся.

— Вот черт! Саншез! — сказал он еще раз и стукнул Пабло по плечу.— А вы — шутники. Мы здесь тоже любим пошутить. Вот увидишь, сейчас придет отличная команда.— Немного помолчал, нагнулся, заглянул в дверь, которую Пабло оставил открытой, потом подмигнул и тихо сказал: — Для сбора винограда всегда задница найдется.— И снова засмеялся, повторяя: — Вот черт, Пабло, поди ж ты! Надо же — Пабло! — Наконец, перестав смеяться, он спросил: — Ну, а твой приятель? Придет?

— Да, сейчас сойдет.

— Этот, похоже, не очень-то гоняется за работой! — Продолжая говорить, он подошел к маленькой бочке, стоявшей на двух других, побольше.— Приподними-ка за дно, чтоб все остатки вылить.

Пабло осторожно приподнял бочку. Хозяин поставил под кран литровую бутылку.

— А как твоего приятеля зовут?

— Энрике Педрель.

— Энрике — ну, это не имя. Будем звать его Анри.

Бутылка наполнилась, хозяин закрыл кран.

— Не опускай!

---

[1] Саншез — по-французски: без стула.

Он взял другую бутылку. Пабло еще немного накренил бочку. Теперь текло густое, мутное вино.

— Это отдадим хозяйке на уксус,— сказал он и поставил бутылку.— Ну, а что ты раньше делал? Какая у тебя специальность была?

Пабло помялся, потом сказал:

— Я в транспортной конторе работал.

— А что ты там делал?

Пабло посмотрел на хозяина, помедлил немного, потом сказал:

— Трудно объяснить... Корреспонденцией занимался, принимал посетителей...

— Выходит, чиновником был?

— Ну, если хотите...

Хозяин усмехнулся.

— Если хочу, если хочу... А что я могу поделать: каков ты есть, таков и есть. Но хозяйка сказала, ты согласен корзины таскать. Так вот, я хочу предупредить тебя сразу: это не девичья работа.

— Я буду делать все, что скажете.

Хозяин поднял руку, как бы обрывая дальнейшие объяснения.

— Нет, нет,— сказал он,— хочешь носить, ну и носи. И получать будешь соответственно, но предупреждаю: не суйся ко мне в полдень с просьбой работу поменять.

Тут на лестнице в погреб показался Энрике. Повернувшись в его сторону, хозяин бросил:

— Гляди-ка, а вот и сам герой! Приходит, когда работа уже кончена. Давайте берите бутылки, сейчас пойдем наверх. Надо приготовить повозку, а потом сойдете вымыть бочку, которую мы опорожнили.

Хозяин пошел первым. Он поднимался медленно, одной рукой опирался на палку, другой цеплялся за железные перила. Не останавливаясь и не оборачиваясь, он спросил:

— Ну, а Анри? Что он делал? А? Небось, жандармом был! — И рассмеялся. Энрике не совсем понял. Когда Пабло перевел ему слова хозяина, объяснил, почему тот спрашивает, Энрике пожал плечами.

— Скажи ему, он мне осточертел, и еще скажи, не пройдет и трех дней, как он станет рогоносцем.

— Чего он там болтает? — спросил хозяин.

Пабло поспешил ответить:

— Говорит, что работал шофером такси. Да, верно, это его специальность.

— Раз он может говорить по-французски, пусть по-французски и говорит.

Они подошли к риге; в этот момент во дворе появились три женщины.

Одна из них, старая, согнувшаяся чуть не пополам, была во всем черном. Другой было лет сорок, а третьей чуть больше двадцати. Все трое в сабо.

— Ой-ля! Маргарита! — крикнул хозяин.

Женщины свернули к риге.

— Вижу, ты получил своих испанцев,— сказала старуха.

— Ага,— сказал хозяин,— чиновник и шофер такси — с ними далеко не уедешь.

Старуха стала их рассматривать. У нее были очень маленькие подвижные глазки, которые быстро оглядели обоих, одного за другим. Она что-то жевала безгубым ртом, и на морщинистой щеке поднималась и опускалась большая бородавка вместе с длинным волоском.

— Высокий — хоть и худой, но, видать, крепкий,— заключила она. Потом, поджав губы, посмотрела на Энрике и прибавила: — А этот на мужа моей внучки похож. Ты ведь знаешь Денизу, кото-

рая живет в Сен-Клоде. У него грудь такая же впалая. Здоровье плохое.— Она направилась было к кухне, потом обернулась и пояснила: — Я хочу сказать, такая болезнь бывает, когда человек живет взаперти. Муж у Денизы аптекарь, так что сам понимаешь.

Женщины ушли, а хозяин, расхохотавшись, повернулся к Пабло и сказал:

— Ну, сейчас будет потеха. Старуха, должно, думала, что вы не понимаете по-французски.— Он по привычке подмигнул и, понизив голос, добавил: — А те две — ее дочь и внучка. Обе сгодятся.

Пабло пожал плечами, повернулся к повозке и спросил:

— Теперь что делать?

Хозяин велел вытащить повозку на середину двора. Они погрузили на нее две бочки — в первую положили маленькую лестницу и корзину, чтоб таскать виноград, другую заполнили деревянными ведрами.

Хозяин за ними наблюдал, отдавал приказания и показывал кончиком палки, что надо делать. Он вскипал из-за каждого пустяка, без конца ругался. Пабло старался понять его, но хозяин иногда употреблял непонятные слова, особенно когда называл разные предметы, инвентарь. Тогда Пабло переспрашивал, а тот начинал сердиться и кричать.

Энрике же не особенно себя утруждал — только время от времени отпускал каталонские ругательства по адресу хозяина.

— Ты видишь, как хозяин злится,— заметил он,— чует, что я хочу у него жену отбить. Утешь его, скажи, мне больше те две нравятся, которые только что проходили. Объясни: я оставляю ему жену и старуху в придачу.

— Да замолчи ты! Он злится, потому что видит, что ты ничего не делаешь да еще болтаешь все время по-каталонски,— сказал Пабло.

Повозка была готова. Все было уложено, даже мешок с сеном для лошади.

— Когда хозяйка приготовит нам обед, привяжешь корзину сзади. Запрягать будем в последнюю очередь. Ну, а теперь пора завтракать,— сказал хозяин и пошел к кухне.

5

Во время завтрака пришел еще старик, он слегка прихрамывал, и хозяин звал его Хромой.

— Понимаете,— пояснил хозяин,— пока он не помер, меня в деревне еще зовут по имени. Двух Хромых ведь быть не может. Но когда его не станет, тогда прозовут так меня. Его лягнула лошадь, вот он и хромает, но уже попривык и без палки обходится.

— И ты тоже привыкнешь, только не спеши: у тебя-то дело посерьезней, чем у меня,— сказал старик.

Старуха Маргарита, стоявшая с девочками и хозяйкой у плиты, подошла к столу.

— Кому это ты, Люсьен, втолковывать-то вздумал? — спросила она.

Глаза у нее были почти закрыты, старое лицо еще больше сморщилось. Хозяин посмотрел на нее, посмотрел на Хромого, потом вдруг повернулся к Пабло и залился хохотом.

Старуха замахала руками.

— Чего ты смеешься-то? А? Что тут смешного? Это ты им объясняешь? А?

— Ну да, а кому же еще?

Она совсем раскипятилась:

— Так чего же ты болтал, будто они испанцы?

— А они и есть испанцы, только говорят по-французски.

Стоявшая у плиты старухина дочка шепнула несколько слов хозяйке, и все три прыснули. Старуха повернулась к ним и что-то прокричала на местном наречии — Пабло не понял. Все громко расхохотались. Старуха передернула плечами и уселась напротив Пабло. Подождала, пока уляжется веселье, потом презрительно посмотрела на хозяина:

— Ну и что? Что я сказала? Ничего плохого. Сказала, что высокий, наверное, сильный, а другой на мужа внучки похож. Мне стыдиться нечего!

Пабло посмотрел на старуху, потом на Хромого. Они были примерно одного возраста.

Пабло долго смотрел на них: ему ужасно хотелось сказать им что-нибудь приятное, но он так ничего и не придумал.

Наконец хозяин перестал смеяться. Женщины на свободном конце стола готовили еду на полдник. Хозяйка развернула чистые тряпки и принялась заворачивать продукты. Кусок ветчины собственного приготовления, две сваренные в супе сосиски, сыр и полный горшок варенья.

Все это положили в большую корзину. Две внушительные буханки хлеба завернули отдельно.

— Надо их в бочку положить,— сказала хозяйка.

Они уже собирались встать из-за стола, когда вошла еще одна женщина. Очень толстая, с зобом такого же размера, как шиньон. Она еле дышала.

— Я думала, мы опоздали,— сказала она.

— Как раз вовремя,— сказал хозяин,— сейчас пойдем.

— С добрым утром,— сказала толстуха.— Мальчишка заставил меня бежать, никак отдышаться не могу.

— Дай ей стакан, Жаннетта,— крикнул хозяин.

Жаннетта вышла из своего угла у раковины, где она стояла не шевелясь, словно напуганная суетой и шумом.

Толстуха залпом выпила стакан красного вина, и все вышли.

Во дворе на дышле повозки сидел мальчик лет пятнадцати.

— А ну-ка, молодец, сбегай за Вороной.

Мальчик побежал в конюшню и скоро вышел оттуда, ведя кобылу за уздечку. Лошадь и в самом деле была совершенно черная, тяжеловатая, с блестящей шерстью. Только грива чуть отливала рыжиной. Она покорно попятилась и дала Пабло себя приласкать, а мальчик помог запрячь ее.

— Лошадей любишь? — спросил хозяин.

— Я всех животных люблю,— ответил Пабло.

— Это еще ни о чем не говорит. Лошади — они другое дело. Я хочу спросить, ты их знаешь или нет?

— Нет,— признался Пабло,— но, ей-богу, хотел бы узнать.

— Ну вот, такой кобылы, как моя Вороная, у меня еще не было.

— Ага,— подтвердил Хромой, подходя.— Редкое животное. Сильная и такая ласковая.

И он скормил ей корочки хлеба, которые собрал со стола.

— Она у нас разумная и кроткая,— сказал хозяин.— Если б в тот вечер, когда случилось несчастье, со мной была эта лошадь, нога у меня и сейчас была б цела.

Запрягши лошадь, он зацепился палкой за край бочки, другую руку положил на круп кобылы, подтянулся и залез на повозку.

— Иди, малыш, садись,— крикнул он.

Парнишка вскарабкался на колесо и устроился в бочке. Хозяин взял в руки вожжи, и все тронулись следом за повозкой.

Туман, казалось, стал еще гуще, и они шли в сплошном белом облаке, которое продвигалось вместе с ними, открывая дорогу метр за метром. Шли под деревьями, вершины которых скрывал туман,— оттуда капала вода на толстый слой грязной слипшейся листвы.

Прошли мимо домов, и сквозь туман на них потянуло приятным запахом дыма. Открылась дверь, на порог вышла женщина.

— Решили все-таки пойти? — спросила она.

— Пойдем попробуем,— ответила хозяйка.— А вы как? Ваши ушли?

— Только что, минут пять назад. Они там утонут в грязи.

Хозяйка на минуту остановилась, и Пабло, проходя мимо, услышал, как она сказала:

— Лишь бы только ветер не обил гроздья, а то ведь команда-то у нас не слишком сильная.

Через некоторое время она их догнала и спросила, не замерзли ли.

— Все в порядке,— сказал Пабло,— на ходу оно теплей.

Она улыбнулась, прибавила шагу, спеша присоединиться к женщинам, которые шли за повозкой, стуча сабо. Пабло слышал, как они без умолку болтали, но были далеко, и он не мог разобрать слов. Время от времени они попадали в пелену еще более густого тумана, тогда повозка скрывалась из виду и силуэты женщин расплывались.

Скоро дорога пошла вверх. Хромой, который до сих пор шел молча рядом с Пабло и Энрике, остановился, глубоко вздохнул, сказал:

— Мне надо передохнуть, а вы идите вперед, вы молодые.— Он снял фуражку. Белая лысина была покрыта капельками пота, он вытер ее рукавом и прибавил: — Теперь уж недалеко, но все равно. Вот Маргарита — та еще бегает проворно. А я подожду Жаннетту и пойду с ней.

По мере того как они продвигались вперед, туман редел. Местами в его клубах уже различались дерево, куст или куча срезанных лоз.

— Ну вот и виноградники,— заметил Пабло.

— Совсем не похожи на наши,— сказал Энрике.

Это были первые виноградники, которые они увидели во Франции. Они различали только начало рядов, уходивших в серый туман. На красных и желтых листьях блестели капли влаги.

Когда дорога подошла к самым виноградникам, они услышали приглушенные голоса, звучавшие, казалось, из-под земли.

— Эй! Ноэми! — крикнула хозяйка.— Не очень осыпалось?

— Это ты, Жермена?

— Я.

— Нет, ничего. Хорошо, дождь вовремя перестал — виноград-то уже созрел.

— Вы все в сборе?

— Да, а вы?

— Мы тоже.

Они не стали останавливаться. В тумане слышны были только этот голос, смех девушки да громыхание деревянных ведер. Они были уже далеко, когда раздался другой голос, еще глуше:

— А как твой малый, Жермена? Есть новости?

— Нет, ничего нет уже третий день,— крикнула в ответ хозяйка.

Пабло обернулся — старика с девочкой еще не было видно. Когда они подошли к повозке, остановившейся у края дороги, хозяин и мальчик уже распрягали.

— Ну-ка, ставьте все на землю.

Хозяин роздал ведра и расставил своих помощников. По двое на ряд. В середине поставил Энрике и хозяйку.

— Покажешь Анри, как надо высыпать виноград из ведер. Ну, вперед!

Команда вошла в виноградник. Хромой и девочка подошли последними и встали в самом конце.

— А ты,— обратился хозяин к Пабло,— оставайся здесь. Сейчас покажу тебе, как надо опорожнять корзину.

Он еще раз проверил, все ли правильно расставлены, и вернулся к повозке.

— Я ставлю старика вместе с девчонкой,— пояснил он, понизив голос.— Только он ее и терпит, другие вечно орут, что она работает медленно. Ну, а я — мне же нельзя сгибаться, так что я иду рядом с ними и срезаю верхние гроздья. Так оно легче старику и никто не отстает.

Он повесил палку на колесо и продел руки в ремни железной корзины, стоявшей на краю повозки.

— Вот,— объяснил он,— ты подходишь, взбираешься по лесенке, одной рукой держишься за край бочки, а другой с силой подталкиваешь дно корзины, а сам наклоняешься набок.— И он несколько раз, держась рукой за кол, показал, как надо делать.— Понял?

— Кажется, понял,— сказал Пабло.

— Ладно, попробуй.

Пабло надел корзину, забрался по лесенке и сделал вид, будто опорожняет ее.

— Больше вперед нагибайся,— крикнул хозяин,— а то все на земле будет.

Пабло долго тренировался.

— Ну хорошо, думаю, у тебя получится. Теперь бы только узнать, выдержишь ли ты.

— Надеюсь, выдержу.

— Я тоже, сам видишь, какая у меня команда, кроме твоего товарища, никто не может носить — разве что хозяйка, да только ежели ее увидят наши деревенские, так осудят.

— Корзину! — крикнула хозяйка.

Они обернулись. В нескольких метрах от них уже стояли сборщики винограда с полными ведрами.

— Давай, шпарь! — крикнул хозяин.

Пабло стал подниматься в гору. Он чуть не бежал. Наконец-то можно было согреться. Земля была мягкая, прилипала к ногам. Подойдя к хозяйке, он повернулся к ней спиной и присел, слегка согнув колени.

— Не нагибайся,— завопил хозяин. Он еще стоял у повозки.— Не то через час колени не сможешь распрямить — как перепиленные будут. Расставь ноги и держись за кол!

Хозяйка опрокинула в корзину первые ведра.

— А теперь вы попробуйте,— сказала она Энрике.

Тот взял ведро, поднял и грохнул о край корзины. Пабло покачнулся. Он почувствовал, как по затылку покатились виноградинки и ледяной сок потек по спине.

— Осторожней,— попросил он.

Все засмеялись.

— Покажи ему еще раз, Жермена,— крикнул хозяин,— и не вздумайте валять дурака, не то все пропадет.

Пабло пришлось встряхнуть корзину, чтобы освободить место еще для двух ведер, и хозяйка сама их высыпала.

— Идите,— сказала она.

Пабло широким шагом начал спускаться. Из-за тяжести ноги теперь увязали сильней, чем при подъеме.

— Ты сразу не поднимайся, сперва почисти подошвы о первую ступеньку, а то свалишься.

Пабло послушался. Поднялся, высыпал виноград, как велел хозяин.

— Хорошо. Получается как надо. Думаю, ты справишься. Главное — выработать ритм. На подъеме не беги, а при спуске иди большими шагами, и пусть груз тебя подталкивает. Потом сам уви-

дишь: когда они будут наверху, у тебя только-только времени хватит ходить туда-обратно.

Пабло пошел назад. Хозяин взял палку и двинулся следом — до того ряда, где работала дочка. Когда Пабло подошел к Энрике, тот спросил:

— Не замерз?

— Нет, ничего.

— А я уже рук не чувствую. Дай-ка я снесу разок, согреюсь.

— Надо хозяина спросить.

— Что он там говорит? — спросила хозяйка.

— Хочет немного корзину потаскать, согреться.

Хозяин выпрямился, потряс секатором, крикнул:

— Э, нет! Нечего! Нечего! Так дело не пойдет! А то я схожу на почту, позвоню, чтоб его забрали.

Энрике не стал настаивать. Потер посиневшие руки и снова принялся срезать мокрые гроздья.

— Потерпите малость,— сказала хозяйка,— скоро солнце взойдет.

С каждым разом расстояние между повозкой и работающими увеличивалось, тем не менее Пабло приходилось еще ждать, пока они соберут достаточно винограда, чтобы наполнить корзину. Сначала он попросил было секатор, хотел помочь Энрике и хозяйке, но хозяин не разрешил.

— Который корзину носит, тот не срезает виноград. Такой порядок. А если тебе делать нечего, скрути цигарку.— И он передал ему кисет и бумагу.— Можешь и приятелю скрутить — пусть согреет себе кончик носа.

Все рассмеялись. Вообще они без конца смеялись по пустякам. И хозяин то и дело покрикивал:

— Меньше слов! Когда язык работает, руки отдыхают.

На несколько минут все замолкали, потом разговоры возобновлялись. Хозяин и сам болтал с Хромым.

И только Пабло и Энрике молчали. Пабло казалось, что он один, сам по себе, а команда сама по себе. Теперь, когда он подходил к повозке и поворачивался, чтобы высыпать виноград, никого уже не было видно, все исчезало в тумане, и только слышался то здесь, то там женский смех или окрик хозяина.

На этот раз, когда Пабло подошел к работавшим, ведра были уже полны.

— Дорога стала длинней,— сказала хозяйка.

Много раз проделал Пабло путь туда и обратно. И вот, когда он поднимался в очередной раз, согнувшись и глядя в землю, ему вдруг показалось, что небо раскрылось и на землю хлынул поток света.

Он остановился, поднял голову.

Но нет, туман плыл под солнцем большими мягкими волнами, цепляясь за виноградные лозы.

Все, кто работал на виноградниках, тоже выпрямились. Стало видно гораздо дальше. Появились первые, еще бледные, но сверкающие контуры деревьев.

Пабло обернулся и замер.

Весь золотистый виноградник светился. Все ожило вокруг. Распрямились листья, окропленные дождем солнечных капель. И так до самой дороги, на которой лишь выделялась Вороная темным пятном, а еще дальше, еще ниже открывались другие виноградники, зеленые изгороди, деревни. У подножья холма расстилалось море белого тумана, голубоватые водовороты, длинные серые проходы. А с другой стороны из пенистой белой массы вставало солнце. Между туманом и небом пролегала граница. Небо, еще бледное, но уже заголубевшее, очищалось от последних облаков.

Все вокруг зашевелилось в раскинувшихся перед Пабло виноградниках, в море тумана, окутывавшего подножье холма. Все задвигалось. Кроме повозки и кобылы.

Пар поднимался от земли, и виноградные лозы словно затрепетали. Все ожило — даже деревья, на которых одна за другой распрямлялись ветки. Все приобретало свой цвет, каждое растение вставало на свое место, отбрасывая голубую тень.

— Эй там! Ты что, спишь на ходу?

Раздался смех — какой-то вдруг более звонкий.

Пабло повернулся, начал подниматься. Его встретили смехом и шутками.

— Ты что, восхода солнца не видел? — спросил хозяин.

Пабло улыбнулся и промолчал.

Нет, такого восхода он не видел еще никогда. Он видел восход в городе, иногда на море, иногда в горах, а такого не видел никогда.

Корзину наполнили, он снова стал спускаться. Он шел навстречу огромной пустоте, простиравшейся до самого солнца.

Пабло выгружал виноград, снова поднимался — много раз проделал он этот путь и каждый раз, поворачиваясь к спуску, открывал что-то для себя новое. Сначала деревенскую колокольню. Чуть дальше — другую, потом — группками или в одиночку тополя. И каждый раз на пелене тумана вытягивалось голубое пятно.

К полудню команда трижды проделала путь до вершины холма. Уже наполнили первую бочку. Хозяин был доволен: буря причинила не такой уж большой ущерб.

Начало припекать. Земля кое-где уже подсохла и меньше прилипала к ногам и к ведрам.

Пабло только раз скинул с плеч корзину, чтобы снять куртку и выпить стакан вина, хотя команда уже во второй раз двинулась наверх. У него болела поясница, жгло плечи. Но время так и летело. Все больше раскрывалась громадная брессанская равнина, она уходила теперь вдаль до самой голубой линии первых отрогов Центрального массива. Перед Пабло открывались километры и километры равнины с разбросанными по ней черными или желтыми полосками дорог, деревнями, одинокими фермами, лужицей света на пруду, еще хранившем легкое покрывало тумана. Километры земли и травы, ликующие под ярким солнцем.

Когда же он шел вверх, то видел прямо перед собой вершину холма. За виноградником до самого леса тянулась рыжая целина и первые деревья опушки четко и ясно вырисовывались на синем фоне неба. А небо было совсем близко — казалось, стоит пройти лес, и можно дотронуться до него рукой. Слева линия холмов заворачивала к равнине и окружала деревню. Там еще клубилась серая масса. Это был север.

Изредка в проходах между виноградниками возникали цветные пятна. На дорогах стояли в ожидании повозки с лошадьми.

Когда Пабло сбросил куртку, хозяин сказал:

— Сними-ка и с Вороной.

Пабло снял со спины кобылы покрывало, которое набросили на нее, когда приехали на виноградник. Вороная даже не дотронулась до сена, которое мальчик положил перед ней,— она предпочитала выдергивать из изгороди ветки или выпрашивать виноград у Пабло, а он, проходя мимо, каждый раз ласкал ее и разговаривал с ней.

Полдничали около повозки. Хозяин поставил три деревянных ведра, подальше — еще три и положил на них доску. Он устроился сам, потом к нему подошел Хромой, сел рядом.

— Идите сюда, Маргарита, места и вам хватит.

Она засмеялась:

— Не такая уж я старая, чтоб мне кресло подавали.

Энрике и Пабло уселись на траве, спиной к склону.

Женщины сели на ведра, хозяйка ела стоя, облокотясь о повозку, на которой разложили продукты. Она отрезала большие ломти хлеба, делала бутерброды с салом, колбасой или сыром и раздавала. И сама разливала вино.

Жаннетта тоже не села. Она стояла у дороги, чуть в стороне, расставив ноги, и, наклонившись вперед, ела, почти не закрывая рта, переводя пристальный взгляд поочередно с Пабло на своего отца, потом на Хромого.

Пабло с минуту наблюдал за ней. Когда она встречалась с кем-то взглядом, у рта появлялся тик, и она сразу отводила взгляд. Пабло поспешил отвернуться: она была омерзительна, когда жевала.

Когда кончили полдничать, хозяйка налила всем еще по стаканчику, хозяин пустил по кругу кисет, и, пока женщины убирали остатки еды в корзину, укладывали стаканы и пустые бутылки, мужчины курили.

Поднявшись, Пабло сразу почувствовал острую боль в пояснице. Он стиснул зубы и пошел к повозке. Все уже работали. Убедившись, что на него не смотрят, Пабло расстегнул рубашку и оглядел свои плечи — они были красные, с четко обозначенными следами от ремней. Даже кожа стерлась до мяса. Он застегнул рубашку, подошел к Вороной и протянул припасенный для нее кусок хлеба. Пока она жевала, качая большой головой, Пабло смотрел на равнину.

Земля еще курилась, но поднимавшийся пар становился прозрачным. Вдали голубая линия вершин колыхалась, то и дело сливаясь с горизонтом. Тени становились менее расплывчатыми, более четкими.

Пабло поискал глазами дом, который он приметил еще утром. Его легко можно было найти: рядом было кладбище. По двору и лужайке передвигались черные пятна — куры, гуси, утки. По дороге проносились машины. Кругом царила тишина. Ни дуновения ветерка. Только позвякивали секаторы, звенела, дрожа, проволока, громыхали ведра, да падали в тишину редкие слова, скупые смешки.

Пабло вздохнул. Еще раз погладил Вороную — она попрошайничала, ударяя его мордой в грудь,— и пошел к повозке. Продел руки в ремни, сжал челюсти и побрел, держа ладони на пояснице, чтобы немного приподнять корзину.

Когда высыпали первое ведро, Пабло чуть не вскрикнул. Ведро высыпал Энрике. Хозяйка, кажется, заметила искаженное болью лицо Пабло.

— Надо поосторожней,— сказала она.— Нельзя ведром по корзине ударять.

Энрике промолчал, но второе ведро опрокинул точно так же.

— Неужели непонятно? — спросила хозяйка, повысив голос.

— Раз не понял, я сейчас приду объясню! — крикнул хозяин.

— Честное слово,— сказал Энрике по-каталонски,— баба в тебя втюрилась.

— Что он там болтает? — спросил хозяин.

— Говорит, с первого раза не понял.

— Встряхните-ка,— сказала хозяйка.

Пабло встряхнул.

— Устали?

Пабло встряхнул сильнее и, не разжимая зубов, ответил:

— Да нет, ничего.

И опять пошел вниз, подталкиваемый тяжестью винограда, чувствуя, как с каждым шагом ремни все сильнее врезаются в тело.

Скоро жечь стало меньше. Он упорно смотрел на равнину, стараясь за что-нибудь зацепиться взглядом и ни о чем не думать.

Так он шагал до самого вечера, словно автомат. Последний подъем был самым длинным. Теперь ему надо было пройти весь

виноградник. Вообще-то пустяк — всего несколько десятков метров, но сильная усталость давала о себе знать. Земля больше не прилипала к ногам, однако с каждым разом подметки у Пабло заметно тяжелели. Колени стали как деревянные. Он шел вверх сгорбившись, оттянув большими пальцами ремни пустой корзины. Пот струился по телу, и каждый раз, когда Пабло выпрямлялся, вечерний ветер прилеплял рубашку к груди. Как приятно было это дуновение ветерка!

При спуске Пабло чуть не бежал, спотыкаясь на ходу, хватаясь за колья; опорожнял корзину, снова поднимался и тотчас пускался в путь, услышав:

— Идите!

Он уже не делал четырех шагов от середины повозки до кобылы. Напрасно она качала головой, бренчала уздечкой — Пабло даже не поднимал глаз.

— Корзину!.. Корзину!..— кричали ему.

Пабло сквозь зубы ругался по-каталонски, а поднявшись наверх, улыбался.

— Тяжело ведь, так больше нельзя,— говорила хозяйка.— Давайте я вас подменю. И осталось-то всего ничего.

— Нет, не надо, все в порядке. Вы не беспокойтесь.

— Хочешь, я тебя подменю? — сказал Энрике.

— Давайте работать! — крикнул хозяин.— Не будем время тратить. Он уже приспособился. Выдержит. Главное, не останавливаться. Баба он, что ли?

Никто уже не смеялся. Усталость утяжеляла ведра, ломила поясницу.

— Ну все,— сказала наконец хозяйка.— Почти ничего не осталось. Больше не поднимайтесь, это мы и в ведрах спустим.

Пабло выпрямился. Они уже работали в нескольких метрах от целины. И как только корзина наполнилась, Пабло спустился вниз. Он высыпал виноград в почти полную бочку и бросил корзину. Потом, сойдя на землю, прислонился к лесенке и, медленно дыша, стал смотреть вдаль на равнину.

Солнце давно спряталось за горизонтом. Зажглись огни. Над деревнями поднимались струйки дыма. И на всю землю легла огромная усталость, затуманившая взгляд. Огромная усталость поднималась от земли, стекала гулкими волнами с холмов. Эти волны поднимались по ногам Пабло, сжимали его тело, отдавались в голове, наливали тяжестью руки.

На всю равнину легла огромная усталость — предвестник полного покоя.

6

Они возвращались на ферму, когда уже наступила ночь. Молча шли за скрипевшей под тяжестью повозкой. При спуске нажатые до отказа тормоза заклинивали колеса, и те оставляли глубокие борозды в земле, вдавливая камни в белую пыль.

Пабло уже не чувствовал усталости, он шел как пьяный. И это было почти приятно. Его немного пошатывало, хотя на плечах ощущалась только одна тяжесть — тяжесть куртки, он даже удивлялся. Шел, пристально глядя на повозку, и не заметил, как от них отделились женщины.

Когда они вошли во двор, за повозкой следовали только хозяйка, Энрике и он. Хозяйка поспешно прошла через конюшню и открыла ворота риги. Хозяин слез с повозки, взял за уздечку Вороную и осадил ее назад, чтобы нагруженная повозка вошла в ворота.

— А Хромой где? — спросил он у жены.— Ты что, отпустила его?

— Нет, он с девчонкой небось сзади идет.

— Ты уж смотри его не отпускай. Пусть сперва поужинает с нами, а потом виноград разгрузить поможет.

Пабло услышал голос хозяина и очнулся. Он обо всем забыл — шел как усталая лошадь, которая может еще бежать трусцой, потому что чует конюшню.

Хозяин распряг и отвел Вороную в стойло. Присев на край каменной мойки, Пабло слышал, как он ее поит.

Скоро показался Хромой. Он еле тащился и хромал сильнее, чем утром. Всю дорогу он опирался на срезанную палку, но как только вошел во двор, отшвырнул ее к стене.

Жаннетта была по-прежнему при нем — все такая же: ничто не изменилось ни в лице ее, ни в походке. Она отправилась на кухню, где ее мать уже гремела кастрюлями. Пабло слышал, как она кричала:

— Поторапливайся — разведи огонь да поставь разогревать похлебку.

Затем хозяйка вышла с двумя подойниками и направилась в хлев.

— Не уходите, Хромой,— бросила она, не останавливаясь.

Старик присел на край мойки рядом с Пабло и Энрике. С минуту он сидел молча, потом вытащил кисет, скрутил цигарку. Протянул кисет и бумагу Пабло:

— Нате, скрутите себе, может, подбодрит.

— Спасибо,— сказал Пабло.

Они скрутили по одной, и старик вытащил зажигалку. Когда они закурили, Пабло спросил:

— А теперь что делать?

— Выгружать виноград.

— Долго?

— Не очень. Сегодня у нас красный виноград, его не давят, прямо в гроздьях оставляют бродить.

— Ну, а потом? — спросил Пабло.

— Потом? С ним хлопот меньше, чем с белым. Пока хозяйка с девчонкой разогревают похлебку, мы уже кончим. А вот когда белый виноград, так еще после ужина надо давить.

Из конюшни вышел хозяин.

— Все в порядке, пошли,— сказал он.

Хромой и Пабло поднялись и пошли за хозяином в ригу.

— Сейчас установим лоток. Вы двое берите...— И, перебив сам себя, поискал глазами Энрике.— Где он?

Пабло позвал:

— Энрике!

Молчание. Пабло подошел к двери. Энрике сидел не шевелясь.

— Давай иди сюда! — сказал он.

— Нет, с меня хватит. Я голоден. Хочу нажраться и лечь спать.

Подошел хозяин.

— Ну, что такое?

Пабло помялся.

— Он очень устал,— ответил он за Энрике.

Хозяин сжал кулаки. Желваки задвигались на челюстях под плохо выбритой кожей. Хромой тоже подошел.

— Оно понятно,— сказал старик,— с непривычки-то. И потом, в этих лагерях их небось впроголодь держали.

Хозяин посмотрел на старика, потом на Пабло, вздохнул. Энрике сидел сгорбившись, неподвижно, положив руки на колени, и только глаза его блестели в царивших на дворе сумерках. Как у больного животного.

Несколько минут все молчали, потом старик снова заговорил:

— Если б он только нам помог лоток установить, дальше б мы и втроем справились.

— Скажи, чтоб минут на пяток пришел,— сказал хозяин.— А потом пусть поест чего-нибудь на кухне и спать отправляется.— И, уже войдя в ригу, пробормотал про себя: — Лучше уж никого, чем который спустя рукава работает.

Пабло объяснил, чего хочет хозяин, и Энрике медленно поднялся. Он с трудом волочил ноги по цементному полу, шел как во сне. Но помог снять с крюка на потолке длинный деревянный лоток и подвести его к отдушине погреба. Лоток положили на пресс и закрепили его в центре, оттуда он спустился к крышке одной из больших бочек, что стояли в ряд посреди погреба. Другой, более короткий, лоток приладили к первому и подвели к бочке, стоявшей на повозке.

Как только желоб установили, Энрике, ни слова не говоря, отправился на кухню. Хозяин посмотрел ему вслед, потом повернулся к Пабло, спросил:

— Ну, а ты? Не устал разве?

Пабло через силу улыбнулся.

— Нет, я ничего,— сказал он.

Хозяин взглянул на Хромого.

— Хорошо еще, кто постарше не сдает.

Они спустились в погреб и помогли хозяину сесть верхом на бочку.

— Главное,— сказал он усмехнувшись,— это устроиться, а там уж действуют только руки, руками же, думаю, я еще неплохо ковыряю.— Ему предстояло проталкивать виноград в огромную воронку, когда гроздья начнут скатываться по лотку.

Старик и Пабло вылезли из погреба, вскарабкались на повозку и встали по обе стороны бочки. Там они вооружились вилами с короткой ручкой и начали выгружать виноград.

— Надо правильный ритм взять,— пояснил Хромой,— а то будем только шлепать поверху да мешать друг другу.

Они начали медленно, потом мало-помалу движения их ускорились. Пабло поддевал вилами виноград и подтаскивал к краю, чтобы левой рукой взять гроздья, с которых стекал сок, а старик швырял вытащенные гроздья на лоток. Виноград скользил по нему, увлекаемый соком, стекавшим фиолетовыми ручьями.

Гроздья были теплые, руки липкие, но работа была приятная, чистая, а от бочки пахло солнцем и туманом.

Когда они добрались до половины бочки, дыхание у старика стало отрывистым. При каждом движении сквозь стиснутые губы вырывался сдержанный хрип. Пабло услышал и замедлил темп, но старик дышал все равно тяжело.

Пабло снова забыл про свою усталость. Она сидела в нем, он чувствовал ее, но она затаилась и молчала.

Вскоре хозяйка вышла из хлева, подошла к повозке.

— Ну, как дела? — спросила она.

— Все в порядке,— ответил Пабло.

Она нагнулась над лестницей, ведущей в погреб, потом обернулась, спросила:

— А ваш приятель?

— Спит.

Она ушла на кухню, оставила там бидоны, вернулась. Ухватившись за край бочки, она поставила ногу на спицу колеса, подтянулась и заглянула в бочку.

— Принеси-ка нам черпаки,— выпрямляясь, попросил старик.

Пабло тоже остановился, провел рукой по лбу. Пот стекал по нему ручьями.

— Как в топке,— задохнулся старик.

Они добрались до дна бочки, где было больше сока, чем вино-

града и вилы уже не могли ничего зацепить. Хозяйка передала два деревянных черпака.

— Ну как? — крикнул хозяин.— Идет дело?

— Идет,— ответила она.— Уже до дна добрались.

Они спустились, чтобы подвинуть повозку и подвести желоб ко второй бочке. Хозяйка приподняла лоток и держала, пока мужчины возились. Когда все было готово, хозяйка, решив подменить старика, залезла на повозку и встала напротив Пабло.

— Послушай, ну-ка спускайся! — крикнул Хромой.

Она рассмеялась, не выпуская из рук вилы.

— Каждому свой черед,— сказала она.

— А я тебе говорю: спускайся!

Старик сердился, подбородок у него дрожал.

— Нет,— сказала она,— дайте уж мне. Хочу посмотреть, может, я и разучилась.

— Да ты что, издеваешься? Или думаешь, я больше ни на что не годен?

— Что он там буянит? — завопил снизу хозяин, поняв, что происходит.— Хотел бы я посмотреть на того, кто помешает моей жене убрать свою долю урожая! А то ведь, пожалуй, ей и вина в этом году пить не придется.

Все рассмеялись. Старик пожал плечами и, ворча, отошел в сторону.

— Пойдите посмотрите, не убежала ли у Жаннетты похлебка. Я боюсь оставлять ее одну у огня,— крикнула хозяйка.

И с этими словами погрузила вилы в виноградные гроздья. Оба сразу взяли более быстрый темп, однако их вилы ни разу не коснулись друг друга. Слышалось только размеренное чваканье вил да журчание сока и шорох ягод, скользящих вдоль лотка. Скоро оба прерывисто задышали.

К запаху винограда теперь примешивался острый запах пота женщины. А на Пабло снова навалилась усталость. Он стиснул зубы, чтобы сдержать стон. Усталость мучила, она засела в пояснице, глубоко внутри.

Когда они добрались до дна бочки, надо было наклоняться ниже. И каждый раз Пабло чувствовал на щеке легкое прикосновение пушистой пряди волос. Он чуть отодвинулся.

Вылили последний черпак и со вздохом распрямились.

Хозяйка улыбалась. Пот струился по ее вискам и щекам, из прически выбились темные пряди.

— Ну, кажется, хорошо справились,— сказала она и перевела дыхание.

— Я тоже так думаю.

— Все?— крикнул хозяин.

— Да, все, все!

— Тогда идите помогите мне.

Они вместе спустились помочь ему слезть с бочки. Очутившись на земле, он снял фуражку, облепленную паутиной, и почистил ее рукавом.

— Здесь бы надо метлой вымести,— пошутил Пабло.

Муж и жена переглянулись и рассмеялись.

— Что такое? — спросил Пабло.

— В погребе никогда не снимают паутины, в нее попадают насекомые, которые портят вино.

Пабло улыбнулся и сказал:

— Я ведь городской.

— Понятно,— сказал хозяин.— Но по правде говоря, оно не заметно по твоей работе.

Они поднялись, закрыли ригу, затем вымыли во дворе под краном руки до самых плеч и пошли на кухню.

— Твой приятель небось дрыхнет как сурок,— сказал хозяин.

— Да, конечно, он очень устал.

— Даже похлебки дожидаться не стал, только попросил у девчонки кусок хлеба и сала,— сказала хозяйка.

Когда они вошли на кухню, Хромой спал, положив руки и голову на стол.

Стоя у очага, на котором кипел котел с похлебкой, Жаннетта ждала, свесив руки, полуоткрыв рот, глаза ее были прикованы к двери.

7

На следующее утро, когда Пабло проснулся, день уже наступил, свет проникал во все щели. Он не сочился из-под ставни, как накануне. Чувствовалось, что за окном яркий день. По-прежнему дул ветер, но не гремел по крыше, не рвал конек, а пел, кружа вокруг сарая.

Пабло подумал, что уже, наверное, поздно. И решил встать.

— Ай! — вскрикнул он.

И снова уронил голову на солому.

Сразу проснулась острая, задремавшая было боль. Как безумная, она пронзила все его тело, рассыпалась на тысячи мелких болячек. Боль шла от кончиков ног к запястьям, к затылку, к груди. После первого приступа она чуть поутихла — теперь болели только плечи и поясница. И не просто болели, а казалось, там была глубокая рана. И в ней будто поворачивали острый нож. Или какой-то зверь грыз тело, рвал кожу и мясо.

Пабло медленно повернул голову. Энрике лежал на спине и смотрел на него. Лицо его было искажено гримасой. Когда их взгляды встретились, гримаса стала еще выразительнее, и он захихикал.

— Я вижу, ты тоже не можешь пошевельнуться, а? — спросил он.

— У меня все болит,— сознался Пабло.

— Ну так вот, с меня хватит! Мосье, видите ли, хотел показать себя сильным. Носильщик! Мосье, видите ли, хотел пустить пыль в глаза бабам! Ну ничего, ничего! Сегодня утром они подохнут со смеху, эти бабы! Хотелось бы мне знать, кто сегодня будет таскать ихнюю лохань на ремнях!

Пабло промолчал. Он рассматривал балки и черепицы над головой и слушал, как по дороге стучат сабо.

Он вздохнул. Острая боль затаилась. Но не успокоилась. Теперь он знал: она подстерегает каждое его движение.

— Ты хоть спал? — спросил Энрике.

— Да, спал без просыпу.

Энрике снова усмехнулся. Пабло молчал. Что правда, то правда — спал он без просыпу.

Он вспомнил ужин, закончившийся быстро и в полном молчании. Вспомнил, как хозяйка приготовила ему фонарь; лестница, спящий Энрике, и потом он провалился в черную пропасть. Тяжелый сон без мыслей. Уже много месяцев он так не спал. Каждый вечер перед ним долгими часами стояло лицо Марианны. Мертвая Марианна. Искалеченная. Под развалинами. Ночь выгоняла Марианну из темноты, толкала к Пабло. Марианну, пугающую болью и тайной, которая окружала ее.

Но вчера вечером она не провожала его на чердак. Правда, она от него не отходила, но и ее сморила усталость. Она спала таким же крепким сном, как он.

Сегодня утром Марианна оказалась рядом. Ее лицо витало над Пабло. Но оно не было в слезах. Не было на нем и грязи или крови.

Со двора донесся шум шагов, голоса — Пабло узнал их. Это пришла женщина со своим мальчишкой. Мальчишка отчаянно топал по булыжнику, и мать кричала, что он разобьет сабо.

Пабло закрыл глаза. Он медленно согнул колени и встал на солому. Некоторое время он оставался в таком положении, потом, не разжимая губ, сосчитал:

— Раз... два... три!...

Солома разлетелась, одеяло соскользнуло на пол — Пабло закусил губы, чтобы не закричать.

Вот он встал. Он знал, что с честью выиграл партию.

— Подъем, Энрике, пошли.

Но тот продолжал насмехаться.

— Подыхай сам, если тебе нравится,— заключил он и закрыл глаза.

Пабло распахнул ставню.

— Не надо,— крикнул Энрике.— Я всю ночь не мог заснуть — так болели ноги и поясница. Оставь меня в покое.

Пабло промолчал, но ставню не закрыл. Натянул штаны и обулся, потом, повесив рубашку и куртку на руку, спустился вниз и пошел во двор умываться ледяной водой из-под крана.

Хозяин вместе с мальчишкой и толстухой вышел из риги.

— А я собирался тебя звать,— сказал он Пабло. Потом повернулся к мальчику и, показывая на холодную воду, прибавил:— Видишь, малыш, как надо умываться, чтобы стать настоящим мужчиной!— Он направился было к кухне, но, сделав несколько шагов, обернулся и спросил: — А где же работяга?

Пабло, продолжая намыливать руки, указал подбородком на сарай.

— Постарайся втолковать ему, чтобы он поторапливался,— похлебка горячая, и если вы хотите поесть перед уходом, сейчас самое время.

Хозяин ушел, а Пабло поспешил подняться на чердак. Развешивая полотенце на проволоке, он сказал:

— Вставай-ка лучше, а? Умойся холодной водой, и усталость как рукой снимет.

— Надоел ты мне. Ты, видно, намерен войти в долю на этой ферме, ну а я нет.

Пабло уже сделал было два шага к лестнице, но тут обернулся и спросил:

— Ну так как? Сказать, что ты не придешь?

— Сами увидят, не слепые.— Энрике злился.

— Я считал тебя более мужественным,— помолчав, сказал Пабло.

Энрике приподнялся на локте и закричал:

— Мужественным! А по-твоему, очень мужественно — уехать и спрятаться на ферме, когда другим сворачивают головы?

Пабло вздрогнул. Он некоторое время раздумывал, потом сказал:

— Ты хорошо знаешь, что для нас война кончилась, Энрике. Надеяться уже не на что.

— Легко сказать. Послушать тебя, так никогда не подумаешь, что ты был подрывником на мадридском фронте. Мы во Франции, Пабло, но и здесь нам не запрещено продолжать борьбу против фашистов. Скорее даже рекомендуется. Надо только это осознать.

Перед Пабло снова возникли страшные картины войны. Он отвернулся к слуховому окну. По другую сторону дороги простиралась равнина, она уходила вдаль и поднималась до самого выступа крыши. Равнина жила. Она была полна сиреневых и голубых испарений, а над ней пылинки танцевали в широких лучах солнца.

Пабло повернулся к Энрике. Тот уже снова лег.

— Ну что ж! Хорошо. Как хочешь,— сказал он.

— Понимаешь, ты ведь можешь не обращать внимания на то, что я сказал,— уже примирительным тоном заметил Энрике.— Делай что тебе угодно. Каждый поступает так, как считает нужным.

Пабло хотелось объяснить свою позицию. Он подошел к Энрике.

— Знаешь,— начал он медленно, понизив голос,— для меня война...

— Эй! Эй! — раздался голос хозяйки с порога кухни.

Пабло нагнулся и крикнул:

— Сейчас!

Затем вернулся к Энрике; гневно сверкая глазами, тот спросил:

— Ну так что — война?

— Война для меня, ты понимаешь...— Пабло запнулся, подыскивая слова.— Я не могу тебе объяснить,— сказал он.— Не могу, не могу.— Голос его внезапно оборвался. Он нагнулся к товарищу и протянул слегка дрожавшую руку.— Прощай, Энрике, желаю удачи!

Энрике пожал ему руку.

— В добрый час, Пабло! — Глаза его уже не сверкали, голос смягчился.— У тебя нет денег? — спросил он.

— Нет,— сказал Пабло,— но я могу попросить, чтоб тебе заплатили за вчерашний день. И потом, может, они дадут мне небольшой аванс, тогда я подкину тебе из своих.

Он взмахнул рукой и спустился по лестнице.

— Попроси, чтобы они оставили мне кусок хлеба,— крикнул Энрике.

В кухне на столе дымились две тарелки похлебки.

— Господи, да что вы там делали? — крикнул хозяин.— Пора двигаться.

Он доедал кусок сала. Все остальные были уже готовы отправиться в путь — стояли и смотрели на хозяйку, которая укладывала последние свертки с провизией в корзины.

Пабло сел и начал есть.

— Ну, а тот хулиган,— спросил хозяин,— он что, ждет, чтоб я сходил за ним?

Пабло перестал есть. Он помялся, потом сказал:

— Он не придет. Не хочет больше здесь оставаться. Хочет пойти на войну, добровольцем.

Пабло произнес это с опаской, боясь, что хозяин вспылит. Но никто не проронил ни слова. Сначала все посмотрели на Пабло, потом переглянулись между собой, как бы спрашивая: «Неужели правда? Мы правильно поняли? А?»

Пабло застыл, держа ложку на весу, не спускал с них глаз.

Первой заговорила старуха Маргарита.

— А где же,— спросила она, и лицо ее сморщилось еще больше,— где же он воевать-то хочет, у вас или у нас?

— У них война кончилась,— сказал хозяин.— Они не могут вернуться в Испанию. Там теперь хозяйничает Франко.

— Ну так, значит, у нас. Хочет пойти туда, где твой парень и все остальные?

— Конечно.

Воцарилось долгое молчание. Маргарита покачала головой. Маленькие глазки совсем скрылись в глубоких орбитах.

Хозяйка снова принялась укладывать корзину. Хозяин отодвинул пустую тарелку на середину стола, скрутил цигарку. Жаннетта стояла позади отца и пристально глядела на Пабло — тот взглянул на нее и снова принялся есть.

Хозяин закурил, передал кисет Хромому, потом сказал:

— Да, значит, ему приспичило! Как будто помочиться захотелось.

— Болезнь,— проворчал старик,— грязная болезнь.

Старуха подошла к столу.

— Помолчал бы ты, Хромой,— сказала она,— если б все этой болезни боялись, боши давным-давно были бы уже здесь. Ясно, из-за хромой лапы тебе-то самому не пришлось воевать!

Хромой смолчал. Даже не взглянул на Маргариту.

— Надеюсь, вы не собираетесь начинать здесь перебранку! — вмешалась хозяйка.— Ей-богу, как дети малые!

Тут все разом заговорили о войне и о тех, кто ушел воевать добровольцем или по призыву.

Пабло доел похлебку и, положив кусок сала между двумя ломтями хлеба, сказал, что съест по дороге, чтобы никого не задерживать. Прежде чем выйти, он попросил у хозяина немного денег в счет будущего.

— Для приятеля просишь?

— Да, не может же он уйти без гроша.

Хозяин подошел к буфету, выдвинул ящик, взял из черного портмоне банкнот в пятьсот франков и протянул Пабло.

— Но...— пробормотал Пабло,— но...

— Беги отдай ему. И пошли его к черту: мы, французы, считаем, что это приносит счастье.

Пабло побежал к Энрике — тот лежал все так же, не шевелясь.

— Спасибо. Старик оказался не таким занудой, как я думал,— сказал Энрике.

Пабло еще раз пожелал ему удачи и, спустившись с чердака, присоединился к команде.

Повозка была уже запряжена, хозяин уселся на свое место, Вороная тронулась. Пабло помог хозяйке закрыть ворота риги, и они бок о бок пошли догонять остальных.

Проходя мимо маленького сарая, Пабло посмотрел на открытое слуховое окно. Энрике не было видно. Они немного прошли, потом Пабло вытащил из кармана хлеб и стал жевать.

— Все же странно, что он вот так уезжает,— заметила хозяйка.

— Да.— Дожевав хлеб, он прибавил:— Хозяин добрым оказался.

— А-а, пустяки.

— А я боялся, что хозяин рассердится.

Женщина рассмеялась, посмотрела на Пабло и произнесла:

— Да что вы! Чего ему сердиться? Да он вчера вечером мне сам сказал: «А тот, другой, не очень-то вынослив, он и день-то свой не выработает, неохота мне его оставлять».

— Значит, вы думаете, он бы и сам его отослал?

Она посмотрела на Пабло, пожала плечами.

— Кто ж его знает. С ним не угадаешь. Вечером скажет про что-то — белое, а наутро глядишь — оно черное. Он такой после несчастного случая стал. Я уж с ним и не спорю, только так и можно мир в доме сохранить.

Она умолкла. Они почти догнали Хромого и Жаннетту, которые шли последними. Пабло почувствовал, что хозяйка немного замедлила шаг, и, чтобы идти вровень с нею, тоже пошел медленнее. Шел, дожевывая на ходу хлеб с салом.

Солнце еще пряталось за холмом, но чувствовалось, что оно совсем рядом с вершиной: все деревья окружал ореол света.

— Сегодня будем собирать белый виноград,— сказала хозяйка.

Пабло молчал. Так они прошли несколько шагов, потом хозяйка снова заговорила:

— Сегодня нам придется поздно лечь спать. Когда вернемся, виноград давить будем. Вот тут-то ваш приятель пригодился бы.— Она вздохнула и, так как Пабло продолжал молчать, добавила:— Что ж, раз хочет на войну...

Они подошли к домам. Та же женщина, что и накануне, вышла на порог, поздоровалась. Хозяйка остановилась. Пабло прошел несколько шагов, обернулся и услышал, как женщина спрашивала:

— Только один испанец остался?

Хозяйка принялась объяснять, что произошло, а Пабло пошел дальше. Он даже прибавил шагу, чтобы догнать Хромого и Жаннетту. Остальные ушли довольно далеко вперед, и Пабло решил держаться

этих двоих. Он боялся вопросов хозяйки. Знал, что она опять начнет расспрашивать про войну. А с Хромым и Жаннеттой можно молчать: старик на ходу задыхался и не мог говорить.

Вскоре хозяйка догнала их, пошла рядом. Потом ускорила шаг и ушла вперед. Два раза она оглянулась на Пабло. Наконец, видя, что он все идет рядом со стариком и девчонкой, пошла быстрее и скоро нагнала женщин.

Пабло вздохнул. Посмотрел направо. Они дошли до склона холма, и, по мере того как поднимались, равнина простиралась все дальше. Солнце еще не взошло, но вся равнина уже купалась в золотистом свете.

Тень от холмов суживалась, скоро луч солнца коснулся ручья, и он тут же запылал.

Лицо Марианны, прозрачное, золотистое, стояло перед Пабло. Оно было серьезное, как всегда, но Пабло уже не боялся смотреть на него.

Нет, в такое утро, видя такую красоту вокруг, он не мог говорить про войну. Хозяйка шла впереди, болтая с товарками. А Пабло шел рядом со стариком и девчонкой. Они ему не мешали. Они не говорили про войну.

Пабло еще раз взглянул на равнину, потом, когда повозка остановилась у подножья виноградника, вытянувшегося по крутому склону, посмотрел на холм.

Бессознательно он поднес руки к плечам. Здесь были глубокие, незажившие ссадины. Лицо Пабло исказилось от боли. Он подумал об Энрике, который сейчас, наверное, снова уснул на соломе. А сам он, подумал Пабло, взглянув на повозку и бочку, откуда торчала корзина, будет, изнемогая от усталости, до вечера карабкаться между рядами виноградных лоз, глядя в желтую землю, а потом снова спускаться под тяжестью ноши, глядя вдаль, на голубую линию, где равнина встречается с небом. И так до самой ночи, без единой мысли, с единственной целью — шагать и шагать.

А потом он снова упадет на солому, сморенный усталостью и сном. Уснет, и боль затихнет. Усталость опять принесет глубокий сон, и, сам того не ведая, он проникнет в тайну ночи и в одно мгновенье окажется в прохладной свежести утра.

8

День был очень жаркий. Как только первый луч солнца коснулся земли, она тут же стала пыльной. Ноги больше не увязали в грязи, глина не прилипала к подошвам, под ногами катались камни.

Склон был круче, чем накануне, вода размыла почву, проделав в ней глубокие борозды, обнажив камни. Надо было все время ощупывать землю ногами, прежде чем сделать шаг. Кочки дымились. Южный ветер дул вдоль склона и нес с собой пыль.

— Белый ветер,— сказала старуха Маргарита.— Если три дня будет дуть, оставит нас без единой капли воды.

— При таком солнце,— заметил Хромой,— виноград набирает по градусу в день.

Хозяин смеялся. Он без конца шутил:

— Знал бы я — подождал бы недели три, и тогда из-под пресса текло бы больше вина. А какое винцо было бы! И перегонять не надо, и забот никаких, и можно не думать, купят или нет. Не жизнь, а малина!

Пабло опять ходил вверх и вниз, лишь время от времени останавливаясь, чтобы отщипнуть несколько ягод с забытых гроздьев. Они были сладкие, теплые. Вороная, привязанная под тенью молодого вяза, опять звала Пабло, она качала головой и била копытом о землю. И Пабло опять носил ей виноград.

Хозяин шутил и много пил. Каждый раз, когда работники спускались вниз, чтобы начать новый ряд, он предлагал им выпить. Все отказывались, кроме толстухи — та почти не отставала от него.

— Ты слишком много пьешь,— говорила хозяйка мужу,— вредно на таком пекле.

— Ежели б ты на себя посмотрел,— добавляла старуха Маргарита,— испугался бы. Красный как рак. Честное слово, не удивлюсь, коли лопнешь.

Все засмеялись, даже хозяин. Он сказал:

— Вино мне душу бодрит, а это не мешает, когда в команде столько юбок.

Пабло почти не пил. Он вообще не очень любил вино, да к тому же знал, что лучше продержится на голодный желудок. Он с беспокойством следил за хозяином, но, слыша, как над ним шутят и подсмеиваются, решил, что хозяин привык столько пить.

Когда настало время возвращаться, хозяйке самой пришлось запрягать Вороную да еще помогать хозяину залезть на повозку.

— Вот так и происходят несчастья,— проворчал Хромой.

Хозяйка на всякий случай шла рядом с повозкой.

— Хорошо, что с нами Жермена — она за всем присмотрит,— продолжал старик.— Энергичная женщина, умная. С виду будто ничем и не занята, а ведь делает все она.

Дома надо было еще разгрузить виноград, и, чтобы не терять времени, хозяйка сама залезла на повозку и встала напротив Пабло. Для белого вина хватало и двоих: виноград ссыпали прямо под пресс.

Пока они работали, хозяин сидел на связке соломы рядом с Хромым и то и дело покрикивал:

— Да не так! Бог ты мой! Вы же ничего не умеете. Зря только время теряете! Если б я мог подняться... Вот мы с Хромым вам бы показали, будь у нас ноги крепкие.

Пабло нервничал, терял ритм.

— Да не обращайте вы на него внимания,— прошептала женщина,— он же пьяный, вот и все. Пусть его поорет. Небось устанет.

И она не ошиблась. Скоро хозяин растянулся на соломе и захрапел.

— Пошли бы взглянули на Жаннетту,— попросила хозяйка Хромого.— Скажите ей, чтоб приготовила мне подойники.

Хромой тихо встал и вышел из риги.

Пабло и хозяйка остались вдвоем. Они продолжали молча трудиться. К шуму работы и звуку их дыхания примешивался храп хозяина.

Время от времени он сквозь зубы ругался во сне.

— Только бы он не слишком донимал нас, когда будем давить виноград. Правда, после еды он, может, немного протрезвеет.

— В общем-то,— сказал Пабло,— можно и без него обойтись. Пусть сразу после ужина спать идет.

— Нет, не согласится он. И потом, работа ведь не легкая. Пресс плохой. Будь Хромой такой же сильный, как вы, мы бы втроем справились, да старый он, быстро устает.— Она немного помолчала и добавила: — Хозяин со своей одной ногой, конечно, немного стоит, зато вдвоем они почитай целый мужчина.

За ужином хозяин сначала дремал, но, пропустив стаканчик-другой, снова принялся болтать без умолку.

Утром пришло письмо от сына, хозяйка прочла его вслух, пока мужчины ели похлебку. Сын по-прежнему служил за линией Мажино. Он рассказывал, что они все время играют в футбол да радио слушают. У хозяина это вызвало лишь раздражение.

— Безобразие,— кричал он,— ведь он так нужен нам здесь, а его держат там, чтоб он целыми днями гонял мяч!

Хозяйка долго сидела молча. Пабло наблюдал за ней. Лицо ее исказилось от гнева, который она не могла скрыть. Она съела ложки три-четыре похлебки, потом вдруг остановилась и впилась взглядом в мужа — точно кошка, подумал Пабло, у которой отняли котят и которая готова, царапаясь и кусаясь, броситься на кого угодно. Никто не поддержал хозяина. Он замолчал, и надолго воцарилась тишина, прерываемая лишь стуком ложек о тарелки да чмоканьем губ, хлебавших суп.

Покончив с супом, хозяин разлил вино и залпом выпил. Потом вытер рот тыльной стороной руки и заговорил про войну.

— По правде сказать,— заметил он,— меня не удивляет, что твой приятель уехал. Собирать виноград куда тяжелее, а риску там едва ли больше.— Начинал хозяин всегда спокойно, но быстро возбуждался. И руки его сразу приходили в движение.—Война — как казарма,— уже крича, продолжал он.— Настоящий рассадник зла. Ни черта там не делают, только лоботрясничают. Вот и возвращаются шалопаями, и уже их за работу взяться не заставишь.

Он говорил еще долго о том, какими опасностями для молодых ребят чревата война; потом остановился на минутку, выпил еще и заорал:

— Надоело мне все! Почему это я должен подыхать от работы, стараться ради детей, а потом видеть, как правительство портит их.

Хозяйка побледнела; затем щеки ее вдруг покраснели, и она тоже закричала:

— Дурак ты, больше никто! Можно подумать, тебя бесит, что твой мальчишка ничем не рискует. Видно, хочешь, чтоб его убило или покалечило!

Хозяин молча смотрел на жену. В налитых кровью глазах было удивление и гнев. Потом он стукнул кулаком по столу и заорал:

— Черт побери, нечего мне всякую гнусь приписывать!

Тарелки подпрыгнули, а Жаннетта при первых же словах отца заплакала. Она плакала с открытым ртом, почти не моргая. Все умолкли; потом мать повернулась к ней и, не повышая голоса, сказала:

— Замолчишь ты ли нет?

Но Жаннетта сидела все так же и горько плакала.

Тогда мать, повысив голос, повторила:

— Замолчишь ты или нет?

На этот раз отец сказал спокойно:

— Нечего ругать ее. Ревет-то она не по своей вине, а по моей. Так что, ежели хочешь что сказать, обращайся ко мне.

Хозяйка только плечами пожала. Потом встала и поставила на стол большой чугунный котел. Когда она подняла крышку, запах рагу распространился по комнате, а пар поднялся к потолку, вмиг разогнав бабочек, которые порхали возле самой лампы. Хозяйка положила всем рагу и села на свое место. Она ела и то и дело сердито поглядывала на мужа и дочь. Хозяин ел не поднимая глаз, что-то цедя сквозь зубы. Жаннетта жевала картошку и продолжала плакать. Пабло казалось, что она никогда не остановится, что горе живет у нее внутри и будет вечно изливаться вот так, ничего не меняя в ее жизни.

Ужин закончился в полной тишине. Хромой и хозяин выпили еще, и все вышли из-за стола.

— Уберешь со стола, посуду помоешь и отправишься спать,— сказала мать дочери, которая все продолжала плакать.

Уже в дверях хозяин обернулся, и Пабло слышал, как он сказал дочке:

— Не плачь, малышка, перестань. Ей-богу, я не хотел тебя пугать.

Перед ужином они отжали пресс до отказа и опорожнили чан.

Теперь чан наполнился на три четверти. Они заняли свои места у пресса: с одной стороны — хозяйка с мужем, с другой — Хромой и Пабло. Хозяин скомандовал:

— Начинай! Раз... два... взяли!

Они нажали на рычаги, продвинулись на десять сантиметров, остановились перевести дух и снова нажали, а хозяин продолжал командовать:

— Ну! Раз-два — взяли!

Когда больше одного-двух сантиметров выжать уже не удавалось, хозяин отпустил рычаг и взял палку.

— Теперь надо из чана вылить. Помогите-ка мне на бочку залезть.

— Нет,— отрезала хозяйка,— там тебе не место.

— Слушай, надоела ты мне: только на бочке я и могу что-то делать — там ведь одними руками работать можно.

— Ты туда не полезешь,— сказала она сурово.— Полезет Хромой, Пабло встанет на лестницу, а я буду ведра ему передавать.

Хозяин, брюзжа, пошел и сел на ступеньку.

— Выходит, я ни на что больше не годен. Уж лучше подохнуть.

Пабло помог старику устроиться на доске, положенной на бочки. Потом, следуя указаниям хозяйки, встал на лестницу и уперся спиной в рычаги.

— Ты только поднимай ведро над головой, вот и все, остальное тебя не касается,— сказал старик.

Хозяйка черпала ведром из чана и передавала Пабло, тот поднимал его над головой, старик принимал ведро, выливал содержимое и снова отдавал Пабло. Пабло наклонялся и передавал ведро хозяйке, и каждый раз при этом взгляд его помимо воли останавливался на вырезе ее кофты. За отворотом кожа была белой, и легкая тень отмечала округлости грудей.

Время от времени хозяин кричал, что тяжко, мол, эдак работать ради жалких грошей, которые они получают. Он поносил всех: правительство, сборщиков налогов, Гитлера, деревенского кюре и еще множество людей, которых Пабло не знал. Потом сказал:

— Как подумаю, до чего все было бы просто, кабы иметь насос для такой работы. У всех есть насосы, а у нас ничего нет. Только на то и годны, чтоб надрываться.

Хозяйка вздохнула, пожала плечами.

— Послушай,— сказал старик,— у тебя же был насос, он что — сломался?

— Тут все сломалось. Четыре руки надо иметь, чтобы со всеми делами управляться.

— Не использовал бы его для навозной жижи,— заметила хозяйка,— он бы еще послужил, он еще хорошо работал.

— Работал! Да он весь тек! И трубы на стыках пи́сали! Я и взял-то его для навозной жижи, потому как он ни на что больше не годен. Надо было другой купить, да где деньги взять, пойди хоть су найди, ты, умница!

Хозяйка смолчала. Чан был пуст, и они помогли старику спуститься.

Из желоба сок стекал теперь совсем тоненькой струйкой.

— Надо в последний раз отжать,— сказал хозяин.

Он встал, опершись одной рукой на палку, другой держась за перила. Они опять заняли свои места у пресса, и хозяин снова скомандовал:

— Пошли! Раз-два — взяли!

Нажали раз-другой, сок потек сильнее.

— Вот и хорошо,— сказал хозяин и взял палку.— Теперь надо выпить пойти.

— Ну, нет,— сказал Хромой,— сейчас уже поздно.

— Выпить никогда не поздно!

— Но раз никто не хочет,— возразила жена.

— А я говорю, для выпивки любое время годится. Любой час хорош для выпивки.

И, громко смеясь, исчез за бочками. Скоро он вернулся, неся покрытую пылью бутылку с горлышком, залепленным желтым воском.

— Не будешь же ты ее сейчас открывать? — спросил Хромой.— Глупо ведь. Тебе сказали, никто не может больше пить.

— Ну, это мы еще посмотрим.— Он вытащил из кармана нож и принялся сбивать воск с горлышка.— Хотелось бы мне знать, кто откажется выпить вино урожая двадцать третьего года. Священный год. И сделано оно из винограда Брюли.

— Брюли,— повторил старик и покачал головой.— У тебя еще осталось?

— Бутылок двадцать.

Глаза у Хромого сверкнули. Он переводил взгляд с бутылки на хозяина. Облизнул губы, пожевал усы беззубыми деснами. Потом посмотрел на хозяйку. Она стояла неподвижно, прислонившись спиной к рычагу пресса, положив на него раскинутые руки. Губы ее были плотно сжаты. Старик повернулся к хозяину:

— Послушай, Люсьен, зря ты ее открываешь, ей-богу, зря. Такие вещи хранят для торжественных случаев.

— Сбор урожая — тоже случай.

— Нет,— настаивал старик,— крестины, причастие, свадьба — вот это подходящий случай.

Хозяин остановился, держа в руках бутылку с ввинченным в пробку штопором. Он внимательно посмотрел на старика, потом на жену и сказал:

— Крестины, брат, нам больше не угрожают. По крайней мере, я так надеюсь. Ну, а свадьбы — так не грех и по десять бутылок на каждого сохранить. Не жалко. Только ведь девчонка-то замуж не выйдет...

Он умолк, опустил голову и, прислонившись к бочке, стал тащить пробку. На шее вздулись жилы, лицо побагровело. Наконец пробка поддалась.

— Давай стаканы,— сказал он жене.

Хозяйка взяла с полки три стакана, выполоскала под краном и раздала мужчинам.

— А ты?

— Мне пить не хочется.

Хозяин, поднявший было бутылку, замер.

— Да ты в своем ли уме? Разве это вино пьют, чтоб жажду утолить?

Она пошла, сполоснула еще стакан и вернулась.

Пабло тоже не хотелось пить, и даже не было желания пробовать вино, но ему показалось, что в эту минуту происходит нечто важное. Тишина погреба, где скрипела каждая доска и был слышен каждый шаг; заботливость, с какою разливал вино хозяин; лица обоих мужчин, постепенно смягчавшееся лицо женщины — все было важно. Как цвет вина, как его аромат.

Аромат — на него Пабло прежде всего обратил внимание, но не сразу понял, откуда он исходит. Вино так не пахнет. Странный запах, какого он никогда еще не встречал и который не был похож ни на что знакомое ему.

Хозяин и Хромой поднесли стаканы к лампе, Пабло последовал их примеру.

Лампочка через стаканы казалась золотистым солнцем, как то, которое только что село за равниной. Толстое стекло стакана отливало синевой холмов.

— Ну как? — спросил хозяин.

— Да,— сказал старик,— да...

Они не пили — они стояли и глядели друг на друга, подносили время от времени стакан к носу, осторожно вдыхали аромат вина, потом снова отстраняли стакан. Хозяин повернулся к Пабло и спросил:

— Ну, что ты скажешь?

— Я никогда не видел вина такого цвета,— ответил Пабло.

— Это желтое вино. Такого больше нигде нет. Вино Ревермона,— сказал старик.

— Единственное вино, которое слегка его напоминает, это греческое,— сказал хозяин.

— Та, та, та. Так говорят, да оно вряд ли,— возразил Хромой.

Они еще не начинали пить, а аромат вина все усиливался, заполнял погреб. И вместе с ним будто растекалось тепло и умиротворение. Даже хозяин смягчился, говорил почти шепотом и словно протрезвел.

Наконец, он поднял стакан, сказал:

— Ну, за наше здоровье!

— Правильно, и чтоб мальчик скорей вернулся! — сказал старик.

— За ваше здоровье! — добавил Пабло.

И они выпили.

Пабло попробовал вино, оглядел всех. Все тоже отпили по маленькому глотку и подержали во рту, смакуя.

Проглотили, потом отпили еще по глотку, и старик сказал:

— Да, вот это вино!

А Пабло, сделав первый глоток, подумал: «А ведь это не вино».

Он нашел напиток странным. Его вкус был так же необычен, как и запах. Напиток был хорош, бесспорно лучше, чем вино, но лишь после нескольких глотков Пабло сумел по-настоящему оценить его.

Хозяин снова налил. С этим вином он обращался иначе, чем с красным,— наливал до половины стакана.

— А ведь горячит,— сказал старик.— С ним надо поосторожнее.

— Да, это от солнца. Весь Брюли — сплошное солнце,— сказал хозяин и покачал головой.

Старик вздохнул, посмаковал еще глоток, потом прибавил:

— Как подумаю, что ни одного арпана земли не обрабатывают больше в той стороне...— Посмаковал еще, потом подошел к хозяину и спросил: — Ты хоть соображаешь, сколько теперь такое вино стоит?

Хозяин задумался, потом пожал плечами и сказал:

— Да кто ж его знает. Нет ему цены. То, что у меня осталось, я за все золото в мире не продам.

Хозяин поставил стакан рядом с бутылкой, взял палку и направился к прессу.

— Давайте отожмем еще маленько,— предложил он.

Они снова заняли свои места и принялись нажимать на рычаги по команде хозяина. Становилось все тяжелее и тяжелее, и надо было браться три-четыре раза, чтобы продвинуться на несколько сантиметров. Но сок все еще тек.

— Опорожнить чан? — спросил Пабло.

— Нет, погоди. Выльем перед тем, как спать пойти.

Хозяин снова наполнил стаканы.

— Не надо. На завтра оставь чуток,— попросил старик.

— Господи, Хромой, да кто ж такое вино оставляет недопитым? Не допьете, я подумаю: «Гляди-ка, значит, не нравится».— Хозяин пошел и сел на маленькую пустую бочку.— Садитесь,— предложил он всем. Затем попросил жену принести орехов и хлеба.

Хозяйка ушла.

Теперь Пабло ощущал во рту странный вкус вина. Чтобы почувствовать этот вкус, надо сделать глоток, потом пососать язык. Вот тогда узнаешь настоящий вкус. Горячий, немного похож на вкус пара, поднимающегося от красной земли, если полить ее в самый пол-

день, и еще похож на горелый порох. Так вот в чем дело. Вот почему Пабло сначала отнесся к вину с недоверием. Теперь он лучше его распробовал. Язык пропитался его вкусом, заполнившим нёбо. Нет, это был не мерзкий вкус военного пороха, а почти неощутимый, смутный вкус праздничного фейерверка.

Пабло чувствовал приятное тепло; мышцы, затвердевшие от усталости, расслабились.

— Ну как? Нравится? — опять спросил хозяин.

— Да, необычное вино.

— А у вас там бывает похожее?

— Нет.

— Что же, наше лучше или хуже вашего?

— Оно такое необычное, что трудно решить.

Все засмеялись.

— Нет, правда, очень, очень хорошее,— сказал Пабло.

Он посмотрел на чан, куда капал сок из пресса.

— Это из того же винограда? — спросил он.

— Да, почти.

— А как называется сорт?

— Это смесь многих сортов, но преобладает Саваньен, правда почти дикий; белый Гамэй и немного черенков Пульсара. Но самое главное — земля. Виноград был выращен в Брюли...

Вернулась хозяйка, дала каждому по ломтю хлеба, поставила корзину с орехами и яблоками.

Пабло удивился: зачем снова есть через два часа после ужина.

— Я не голоден, честное слово,— сказал он, когда хозяйка протянула ему кусок хлеба.

— Поесть надо не потому, что ты голоден, а чтобы лучше вино распробовать.

Пабло расколол несколько орехов и начал есть. Потом он снова выпил, и вино показалось ему еще вкуснее.

Они долго ели, молча.

Слышен был лишь хруст орехов, которые они раскалывали один о другой, сжимая в кулаке. Они медленно жевали, пили маленькими глотками, потом долго сидели, прежде чем снова начать есть, чтобы насладиться вкусом этих трех превосходно сочетавшихся компонентов — орехов, хлеба и воспламеняющего вина.

Но вот хозяин заговорил, и слова его отдались странным эхом под сводами погреба.

— Этого вина боши пить не будут,— сказал он,— и знай я, что они посмеют выпить оставшиеся бутылки, я бы все прикончил сегодня же ночью — сдох бы, а прикончил.

Он снова повысил голос, и хозяйка поднялась.

— Пошли,— сказала она,— может, пора отжать да освободить чан, а потом и спать идти.

— Дай хоть допить,— сказал хозяин, поднося бутылку к лампе.— Здесь еле на стакан наберется, сейчас разольем.

Он поднял бутылку, но все отстранили стаканы, и он вылил остатки себе.

— Не хотите, ну и пейте дрянь,— сказал он,— а меня-то уж не надо упрашивать.

И двумя-тремя глотками осушил стакан.

9

В этот вечер Пабло опять быстро уснул. От усталости, конечно, а может, и от вина. Все вместе странно на него подействовало. Когда он выпил вино, усталость как будто притупилась. Ноги и плечи уже не болели, боль перешла в тяжесть. Он уже не спотыкался, но поднимался на чердак гораздо дольше, ступеньки казались ему намного выше.

Швырнув одежду куда попало, он рухнул на солому, и, едва задул свечу, сон заполнил все клеточки его существа так же быстро, как тьма затопила чердак.

Вдруг сквозь сон ему показалось, что кто-то кричит:

— Пабло! Пабло!

Но он даже не шевельнулся и сумел стряхнуть с себя сон, только когда внизу заскрипела дверь. Но даже и тогда, уже приоткрыв глаза, он подумал, что это ему снится. Тем не менее прислушался... По лестнице стучали сабо.

Пабло приподнялся на локте.

— Что случилось? — спросил он.

— Идите скорее, скорее!

Шаги остановились, Пабло узнал голос хозяйки. Часто дыша, она снова позвала:

— Идите... Идите быстрее. Хозяину плохо, надо вызвать доктора. Спускайтесь быстрее.

— Сейчас иду,— сказал он.

Хозяйка в темноте уже спускалась вниз. Наверное, бежала бегом, так как говорила быстро, отрывисто.

Пабло зажег фонарь, нашел одежду, торопливо оделся. Голова у него была тяжелая, язык еле ворочался.

Ночь стояла тихая и светлая. Луны не было, но ярко светили звезды. Пабло пересек двор. На кухне горел свет, дверь была открыта настежь. Жаннетта стояла у стола в большой черной шали, накинутой на плечи, и в белой ночной рубашке, спускавшейся до самых сабо.

— Куда идти? — спросил Пабло.

Жаннетта что-то забормотала, лицо ее задергалось, и она направилась к двери в глубине комнаты, тоже открытой. Пабло еще никогда не переступал этого порога. Он поднялся по лестнице следом за девочкой, цеплявшейся своими сабо за каждую ступеньку.

Наверху на квадратную площадку выходили три двери.

— Быстрей,— позвала женщина.

Пабло обогнал Жаннетту и вошел. Хозяин лежал посреди комнаты. Около него на коленях стояла хозяйка. Рядом был тазик, и она смачивала лицо хозяина кончиком салфетки.

В комнате стоял запах, от которого Пабло затошнило. Хозяина вырвало.

— Помогите мне положить его на кровать.

Стиснув зубы, Пабло подхватил хозяина под мышки, жена взяла его под колени.

Жаннетта все стояла у двери, свесив руки, полуоткрыв рот. Она наблюдала. Пабло видел ее как в тумане.

Когда он поднимал хозяина, поясницу пронзила острая боль. Кровать была высокая, хозяин — тяжелый. Кое-как им удалось его уложить.

— Что с ним случилось? — спросил Пабло.— Упал?

— Его замутило, он попытался встать, но ему стало дурно.

Хозяин хрипел, выпученные, налитые кровью глаза были полузакрыты.

— Где живет доктор? — спросил Пабло.

— У нас здесь нет врача, его вызывают из Сент-Анье, а для этого надо разбудить мэра, чтоб он позвонил по телефону.

— А где живет мэр?

Женщина повернулась к застывшей у двери девочке.

— Ты пойдешь с Пабло к Мужен,— сказала она.— Ты знаешь, к папе Денизы Мужен?.. Поняла?

Жаннетта забормотала.

— Идите,— сказала хозяйка,— да побыстрее. Я не могу оставить его одного.

Пабло пошел за девочкой, она шла своим обычным шагом. Только руки не болтались. Она скрестила их на плоской груди, придерживая концы шали.

До первого перекрестка они шли по той же дороге, по которой ходили на виноградники. Затем свернули налево, к домам. Звезды хорошо освещали путь, но Пабло взял фонарь. Свет его казался грязным.

Много раз Пабло пробовал ускорить шаг, но Жаннетта отставала, и ему приходилось ждать.

Они прошли мимо церкви — Пабло знал только колокольню, он раньше видел ее издалека. На площади был большой круглый водоем, вода в него поступала из железного рожка, торчавшего из замшелого цоколя. Водоем был полон, и вода выплескивалась через край на мостовую. Журчание ее преследовало их до самого перекрестка. Там они свернули направо в переулок, взбиравшийся между домами с балконами и каменными лестницами, со стенами, увитыми диким виноградом. Когда они подошли к металлической решетке, Жаннетта забормотала и остановилась. Схватившись обеими руками за прутья, она начала трясти калитку. Выскочила собака, с лаем бросилась к воротам. Жаннетта отошла от калитки и стала барабанить ногой в сабо по железным воротам.

В открытом окне зажегся свет, и почти тотчас из окна высунулся мужчина.

— Что случилось?

Собака перестала лаять, начала обнюхивать под воротами.

Пабло объяснил, зачем они пришли.

— Видно, здорово он нализался! — крикнул мужчина.

— Надо позвонить,— повторил Пабло.

— Ну хорошо, стойте, сейчас позвоню.

Ждать пришлось довольно долго. Пабло слышал, как мужчина ходил звонить. На первом этаже сквозь щель в ставнях пробивался свет, и Пабло услышал голос. Наконец свет погас, и мужчина снова показался в окне второго этажа.

— Все в порядке, доктор сейчас приедет,— сказал он.

Пабло поблагодарил.

— Думаю, я там не нужен? — спросил мужчина.

— Спасибо, нет, наверное.

И Пабло вместе с Жаннеттой вернулись на ферму. Она шла своим обычным шагом, и, хотя ему хотелось идти быстрее, он не смел оставить девочку на дороге одну.

С виноградника Хромой показывал ему все деревни в округе, и он вспомнил Сент-Анье — это было недалеко. Может, доктор еще не лег. Тогда он скоро приедет. Пабло не знал, который был час.

Невольно он замедлил шаг. Свежий ночной воздух, дувший с равнины, окончательно его разбудил. Голова была уже не такая тяжелая. Он опять подумал о докторе. Если ехать на машине — это быстро, он же наверняка приедет на машине.

На этот раз девочка опередила его. Она шла переваливаясь, волоча ноги. Белая рубашка выделялась странным пятном, а плечи и голова почти тонули в ночной темноте.

Пабло ее догнал. Хочешь не хочешь — придется подняться в комнату хозяина. И прежде чем войти в дом, он обернулся и глубоко вдохнул свежий ночной воздух.

Хозяйка была на кухне. Нагнувшись над раковиной, она полоскала половую тряпку.

— Ну что? — спросила она.

— Сейчас приедет.

— Хорошо.

— А как дела?

— Да все то же. Оставила его на пять минут, чтоб рвоту убрать, пока доктора нет.

Пабло задышал чаще. Едкий запах проник, кажется, уже и на кухню.

— Чем бы я мог помочь? — спросил он.

Женщина бросила на пол отжатую тряпку, вытерла руки о фартук, сказала:

— Вряд ли доктору что-то понадобится. Сейчас поднимусь к хозяину. А вы, если хотите, спать ложитесь.

Пабло взглянул на открытую дверь, через которую в кухню проникал свежий ночной воздух.

— Я подожду. Посмотрим, что доктор скажет.

— Тогда оставайтесь здесь, а как он приедет, проводите его наверх. Хотя он дорогу и сам знает.— И хозяйка направилась в глубь комнаты.— Иди, Жаннетта, ложись спать.

Они еще не дошли до двери, когда послышался шум мотора.

— Вот и он,— сказал Пабло, подходя к порогу.

Между двумя кладбищенскими стенами показался свет фар. Свет подсек деревья при дороге. Машина остановилась перед домом.

Как только доктор вошел в кухню, Жаннетта, стоявшая у стола, забормотала и расплакалась.

— Замолчи,— крикнула хозяйка.

Доктор покачал головой. Маленький старичок, во всем черном, сгорбленный и худой. У него были длинные белые руки. В левой он держал полотняную сумку с инструментами, правой быстро и мягко жестикулировал.

— Бедная малышка,— сказал он.— Со смерти бабушки она всегда так. Как увидит меня — в слезы. Думает, я прихожу, чтобы кого-то в доме обидеть.

Он медленно подошел к ней, продолжая размахивать рукой, летавшей в воздухе как белая птица. Жаннетта не шелохнулась, но еще больше зашлась от плача. Она пристально смотрела на доктора широко раскрытыми глазами, а слезы лились и стекали по бледным щекам.

Рука доктора упала, плечи еще больше ссутулились, и, вздохнув, он направился к двери, ведущей на второй этаж.

— Бедная Жаннетта, даже не знаешь, что тебе и сказать... Ведь неизвестно, к чему ты как отнесешься.— Уже подойдя к двери, он остановился и повернулся к хозяйке, следовавшей за ним.— Что с ним такое? — спросил он.

— То же, что и в прошлый раз, только приступ сильный. Его вырвало.

— Кровь из носа не текла?

— Нет, ни капли.

Они поднялись. Пабло постоял в нерешительности и вышел за порог кухни.

Небо дрожало. Ночь тихо дышала. Холма не было видно, но он был здесь, близко — он начинался там, где кончались звезды.

Пабло походил по двору и, проходя мимо двери, каждый раз прислушивался. Жаннетта плакала. Пабло вошел в кухню, подошел к ней.

— Не надо так,— сказал он.

Щеки у нее были мокрые. Из носа текло. Пабло опустил глаза. Его опять затошнило. И он отошел к двери. Спустилась хозяйка, открыла шкаф, взяла тряпку, снова поднялась.

Проходя мимо, бросила Жаннетте:

— Перестанешь ты выть или нет?

Пабло обернулся. Хозяйка говорила жестким голосом, глаза у нее были злые.

Как только она вышла, Пабло подошел к Жаннетте.

— Не плачь,— сказал он,— не плачь! — Он говорил тихо. Никогда еще он не стоял так близко, совсем рядом с ней.— Ты бы высморкалась,— сказал он.

Она провела рукой под носом.

— Не плачь,— сказал Пабло.— Ничего не случилось. Не надо.

Он смотрел на нее с улыбкой. Она несколько раз мотнула головой и еще сильнее зарыдала. Пабло тяжело вздохнул. Посмотрел в сторону двора, потом, повернувшись к девочке, поднял руку.

— Не надо так, не плачь, тебе будет плохо.— И, собравшись с духом, дотронулся до волос Жаннетты. Потом погладил ее по голове.

Она все плакала, но уже тише.

Так они стояли какое-то время, пока по лестнице не спустились врач и хозяйка. Жаннетта снова зарыдала. Мать смотрела на нее стиснув зубы.

— Иди спать,— проворчала она.

— Ничего не случилось,— сказал доктор.— Не надо так плакать, ничего ведь не случилось.

Пабло направился к двери, доктор и хозяйка — следом за ним. Он шагнул за порог, чтобы дать им пройти. Во дворе они остановились.

— Ну что? — спросил Пабло.

— Удар, вот что,— сказал доктор.— Я сделал все необходимое, но пока ничего определенного сказать не могу. Завтра вернусь.

— А как с парнем быть? — спросила женщина.

— На вашем месте я бы его вызвал. Разрешение на отпуск он всегда получит. И потом, неизвестно еще, чем кончится, все-таки дело очень серьезное. Советую подумать. Завтра утром, если хотите, я напишу вам справку.

Он пошел к машине.

— Как вы думаете, на сколько дней его отпустят? — спросила хозяйка.

— Этого я не могу вам сказать. Вообще-то, думаю, не так уж они великодушны.

Пройдя еще несколько шагов вместе с доктором, хозяйка пробормотала:

— Надо ж было такому случиться в самый разгар уборки.

Доктор остановился.

— Послушайте, я ведь знаю, что это такое, верно? Так вот, прямо вам скажу: в этом состоянии он не может двигаться, он даже с кровати упасть не может. Так что с ним не надо все время сидеть. Найдите только кого-нибудь, кто бы мог прийти раза два-три за день взглянуть на него, и спокойно идите работать.

— Но все же оставить так больного, совсем одного...

— Ну это уж как вам будет угодно. Только на вашем месте всякий поступил бы именно так — во всей округе никто не поступил бы иначе. Работа есть работа, все это знают, и никто не станет порицать.— Он сел в машину, включил мотор и, прежде чем тронуться с места, сказал:— Завтра я приеду рано утром, чтобы не слишком вас задерживать.

Машина поехала и скоро исчезла из виду.

— Я вам нужен? — спросил Пабло.

— Нет,— сказала она.

— Если буду нужен, позовите.

— Хорошо, спасибо.

Пабло пересек двор. Хозяйка же вернулась в дом и сразу начала кричать. Пабло остановился, прислушался. Она кричала на Жаннетту, которая стояла посреди кухни и, наверное, все еще плакала. Хозяйка хлопнула дверью, и Пабло больше ничего не слышал.

Тогда медленно, устало, еле передвигая ноги, он отправился спать. Но на этот раз он долго не мог заснуть. Снова перед ним стояло лицо Марианны. Лицо Марианны опять было такое, каким оно являлось ему каждый вечер в течение долгих месяцев после того, как он получил известие о ее смерти.

Как часто ему тогда хотелось умереть. А сейчас умирать не было никакого желания. Хотя перед ним и стояло потрясенное лицо Марианны.

10

Когда Пабло проснулся, была еще ночь. Он плохо спал. Усталость не прошла. Но все же он решил, что заставит себя пролежать до утра, чтобы хоть немного отдохнуть. Он закрыл глаза и постарался ни о чем не думать. И вдруг почувствовал, как на него навалилась тяжесть, мешая дышать. Он сразу понял, в чем причина. С этой ночи в доме поселилась смерть.

Слишком долго Пабло жил с ней рядом. Он был с нею хорошо знаком и чуял ее издали. Ему не надо было ждать, когда трижды прокричит сова или, предвещая ее появление, станут летать вокруг дома вороны.

Энрике — тот уехал...

Вот Энрике создан для жизни. Для жизни, а не для смерти. Возможно, он почуял смерть, потому и уехал.

Пабло иногда повторял слова старика Переса, которого знал еще в Мадриде: «Если делаешь вид, будто не замечаешь смерти, она обижается и уходит. Оставляет тебя в покое. Любит работу полегче».

В ту пору Пабло вместе со стариком Пересом частенько подшучивал над смертью. Над смертью можно шутить, пока она тебя не коснулась.

Теперь с этим кончено. У него была Марианна.

Смерть связана с Марианной. И война связана с Марианной.

Теперь Пабло — вроде собаки. Смерть мешает собакам спать, и они воют, пока она делает свое дело,— воют до тех пор, пока все не кончится.

Хозяин скоро умрет, это ясно. Только неизвестно, сколько времени он протянет.

Пабло подумал: может, это он таскает за собой смерть?

В детстве он слышал, как старухи говорили, что бывают такие люди, которые приносят несчастье.

Пабло встряхнулся, сбросил одеяло и рывком вскочил. В темноте нашарил ставню, открыл, высунулся из окна и посмотрел на ферму. В кухне горел свет. Еще не рассвело, но небо уже побледнело; Пабло оделся и спустился, не зажигая фонаря.

Было холодно. По краям канав трава побелела от инея, а за кладбищенской стеной над ручьем поднимался туман.

Хозяйка была одна на кухне. В очаге уже потрескивал огонь и закипала вода для кофе.

— Добрый день,— сказал Пабло.

— Добрый день, встали уже?

— Как дела?

— Всю ночь хрипел, сейчас спит. Боюсь, болезнь затянется.

Хозяйка насыпала кофе в ручную мельницу.

— Дайте-ка сюда,— сказал Пабло.

Пабло сел у плиты, зажал мельницу между колен и стал крутить ручку.

Хозяйка поставила на плиту кофейник.

— Кофе приготовить сумеете? — спросила она.

— Думаю, да.

— Тогда я корову пойду подою. Не хочется поднимать девчонку. Хорошо бы она поспала, пока не уедет доктор... Если она его сегодня утром увидит, пропал весь день. Начнет выть — не остановишь.— Она вымыла в раковине подойник и бидон и, прежде чем выйти, прибавила:— Пока кофе варится, позавтракайте. Если мало, сварите себе пару яиц. Все мне дел будет меньше.

Как только она вышла, Пабло высыпал кофе в фильтр и начал заваривать. Впервые он остался на кухне один. Совсем один, и лишь бульканье кофе в кофейнике да песня огня и воды нарушали его одиночество.

Все это и есть жизнь.

Пабло посмотрел в глубь комнаты — дверь, ведущая на лестницу, осталась полуоткрытой. Он бесшумно встал и подошел к ней, потом просунул голову и прислушался.

Хозяин тихо стонал.

Пабло открыл дверь пошире и вернулся к плите. Приподнял крышку на кастрюле с похлебкой — вкусно запахло копченым салом. Пабло взял из буфета миску и тарелку с салом, поставил на стол, потом добавил воды в кофе, налил в миску похлебки и стал есть.

Он был голоден, но ел через силу. Ему все время мерещился распростертый в комнате хозяин и запах рвоты. Пабло посмотрел на то место за столом, где тот обычно сидел. Затем медленно поднялся, поставил миску в раковину, а сало отнес в буфет.

Едва хозяйка вернулась с бидоном теплого, пенящегося молока, как у ворот остановилась машина доктора. Пабло пошел открыть ворота, и старый медик появился на кухне, потирая руки.

— Здравствуйте, как приятно пахнет кофе. Налейте-ка мне чашечку, я дома не успел выпить.— Он подошел к огню, вытянул белые руки над плитой.— Ну как? — спросил он.

Хозяйка начала было рассказывать о состоянии мужа, но доктор ее перебил:

— Раз я приехал, то не уеду, пока его не осмотрю. То, что вы мне говорите, я сам знаю... А то, чего не знаю, сейчас увижу. Я вас спрашиваю, что вы относительно сына решили.

Хозяйка сразу ответила:

— Надо, чтоб приехал, так лучше будет.

— Я тоже так думаю.— Маленькими глотками он быстро выпил горячий кофе, вытащил из кармана записную книжку, ручку, составил справку.— Держите. Подпишете ее у мэра и отправите в часть.

Хозяйка положила бумагу на буфет и направилась к двери, за которой была лестница, ведущая на второй этаж.

— Только, пожалуйста, уж не разговаривайте на лестнице. Не хочется, чтобы девчонка вас видела. Сами знаете, какая она.

Они с доктором молча поднялись, и почти тотчас сверху до Пабло донесся голос хозяйки. Она не кричала, но в голосе был еле сдерживаемый гнев. Пабло подошел к двери: Жаннетта спускалась вниз. Он отошел в сторону. Жаннетта вошла на кухню и встала у раковины, широко расставив ноги, свесив руки. Она плакала.

Плакала, как накануне, и Пабло подумал, что, возможно, она вовсе и не спала и ни на минуту не переставала плакать.

Она пристально смотрела не на него, а на дверь, ведущую на второй этаж.

Он тихо подошел к ней. Лицо ее было все такое же грязное, стало больше полосок от слез. На месте размазанных капель грязь напоминала прожилки на древесине.

— Почему ты так плачешь? — спросил Пабло.— Не надо!

Он говорил ласково, очень ласково, но Жаннетта, казалось, не слышала. Только мельком глянула на него и снова уставилась на открытую дверь.

На лестнице послышались шаги матери и доктора, и девочка зарыдала громче. Плоская грудь вздымалась, шея раздулась, голова тряслась.

Доктор посмотрел на нее, покачал головой. Мать тоже смотрела на дочь. Она стиснула руки, и на челюстях задвигались желваки.

— Девочка погубит себя,— сказал доктор.

— Но что я-то могу сделать? — сказала мать.— Вы же ее знаете.

— Надо заставить ее принять успокоительное. Это все нервы, может, лекарство немного ее успокоит.— Он повернулся к хозяйке:— Я приеду сегодня вечером или завтра утром. Ему-то ведь ничем уже особенно не поможешь. Сердце выдержало, работает, он еще немного продержится. Это вопрос времени.

— Значит, останется парализованным?

Старый врач колебался. Руки пытались что-то выразить множеством неопределенных жестов, но что именно, так и осталось неясным.

— Утверждать ничего не могу,— сказал он,— но очень опасаюсь.

Хозяйка глубоко вздохнула, еще раз глянула на дочь и направилась к двери.

— Не надо меня провожать,— сказал доктор,— не теряйте времени. У вас и так много дел впереди.

Хозяйка вернулась к плите. Доктор сделал несколько шагов, потом обернулся к Пабло и сказал:

— Вот что, молодой человек, пойдемте-ка со мной. У меня в машине есть набор лекарств. Сейчас посмотрим, не найдется ли чего-нибудь для малышки.

Они пересекли двор. Солнце вот-вот должно было взойти. Вся вершина холма окрасилась в красное, а небо над ним, все в мелких облачках, начало светлеть.

Доктор открыл багажник, вытащил старый чемоданчик, перевязанный веревочкой. Белые руки запорхали, вынимая и складывая разноцветные коробочки. Наконец одну из них он протянул Пабло.

— По десять капель во время завтрака и вечером во время ужина, чтоб лучше спала.— Закрыл багажник, выпрямился и, протянув Пабло руку, прибавил:— Не знаю, представляете ли вы себе, что это такое — иметь такую дочь.

Пабло утвердительно кивнул, и доктор добавил медленно, как бы подыскивая слова:

— Разума у малышки меньше, чем у собаки, а вот инстинкт — такой же. У меня была собака, и я вынужден был избавиться от нее, так она чувствовала смерть. Как только я возвращался от пациента, конец которого был близок или который только что умер, она принималась выть и выла часами... И вот, видите, эта девочка тоже: она чувствует смерть.

Пабло покосился на дом, спросил, понизив голос:

— Думаете, в самом деле конец?

Доктор сделал неопределенный жест.

— Не могу сказать точно, но, видите ли, все-таки второй удар.

— А что, разве у него один уже был?

Доктор, казалось, удивился:

— Вы же видели, как он ногу волочит.

— Но я думал, это из-за несчастного случая.

— Несчастный случай, несчастный случай, легко сказать. Согласен, он упал под повозку, но я-то хорошо знаю, почему упал. У него был удар. Нога не осталась бы в таком состоянии из-за простого перелома берцовой кости. У него был удар, а потом он не хотел меня слушать, пил по-прежнему.— Врач сел в машину и, нажав на стартер, прибавил:— Все они такие! Думают, сильные. И у всех был дедушка, который жил до ста лет, а пил, как сапожник. А про тех забывают, кто сыграл в ящик в пятьдесят и у кого печень стала как губка.— Машина, дав задний ход, медленно двинулась. Доктор крикнул: — По десять капель утром и вечером.

Пабло улыбнулся и кивнул. Машина скрылась из виду, и Пабло вернулся в дом с маленькой коробочкой в руке.

Он подумал о собаке доктора. Собака чуяла смерть, девочка чует смерть, и он, Пабло, тоже всю ночь чуял смерть.

Лекарство было без запаха, Жаннетта, ничего не заметив, выпила его вместе с кофе. Но продолжала скулить, и мать работала одна, пока не пришли остальные.

Тетушка Маргарита и Хромой прибыли первыми. Старуха, как только вошла, сказала:

— Надо будет потуже завязать волосы: к полудню поднимется сильный ветер...— И замолчала. Только теперь она заметила, что Жаннетта плачет.— Что это с ней? — спросила она.

Хозяйка объяснила, что произошло накануне, и старуха начала ругать злую судьбу, которая всегда обрушивается на одних и тех же.

Хозяйка предоставила ей ругаться, а сама продолжала готовить корзину с едой для полдника.

— Можно запрягать? — спросил Хромой.

— Да, я думаю, сейчас все подойдут.

Пабло вышел со стариком, и тот объяснил ему, как запрягать кобылу.

— Кто знает, вдруг и со мной что случится. Будет лучше, если ты сам научишься запрягать.

Когда все собрались, повозка была готова, и Хромой сел впереди. Хозяйка немного отстала: ей надо было забежать в деревню и отдать ключ женщине, которая обещала зайти днем взглянуть разок-другой на хозяина.

Пабло шел за повозкой вместе с тетушкой Маргаритой и толстухой. В нескольких шагах от них брела рыдающая Жаннетта.

— Вот ведь беда,— сказала толстуха.— Отец при смерти, а дочка в таком состоянии! Только бы с парнем ничего не случилось!

Маргарита обернулась и посмотрела на Жаннетту.

— Не надо ее дожидаться,— сказала она,— ее ведь все равно не успокоишь.

А Пабло не покидала мысль о смерти. И он невольно пересказал им, что говорил доктор.

— Значит, это она смерть чует? — воскликнула старуха.— Наверняка чует. Странно было бы, если б не чуяла. Вот и я говорю: беда вошла в этот дом с того дня, как слуга повесился, которого дедушка нанял в помощь хозяйке.

— Это верно,— подтвердила толстуха,— с тех пор у них беда за бедой.

— Если уж кто в доме себя порешил, на три поколения беды хватит,— сказала старуха.

— Да ведь, рассказывают, он не в самом доме повесился.

— Нет, но на этой же ферме, так что все равно.

Какое-то время они шли молча. Пабло долго колебался, потом не выдержал, спросил:

— А где же он повесился?

Старуха взглянула на него из-под полуопущенных век и пожала плечами, а толстуха уточнила:

— Он в старой конюшне повесился, под чердаком с соломой, где вы спите.

Пабло тотчас пожалел, что задал вопрос. Толстуха же, казалось, смутилась и поспешно добавила:

— Так рассказывают. Сама я там не была, не видела. Да это было-то уж больше пятидесяти лет назад.

Весь остаток пути они прошли молча. Хозяйка их догнала, когда они уже пришли на виноградник.

Она сразу же набросилась на плачущую Жаннетту, но Хромой вступился за девочку.

— Не надо,— сказал он,— я лошадь распрягу и займусь Жаннеттой.

Пабло помог ему, отвел Вороную к изгороди и привязал. Когда он вернулся к повозке, сборщики уже вошли в виноградник. Хромой

с Жаннеттой работали в последнем ряду. Долго еще слышал Пабло тихий шепот старика, монотонный, как неутомимое жужжание шмеля. И когда девочка выпрямилась, передавая ведро с виноградом, Пабло увидел, что она уже не плачет. Только лицо было выпачкано землей да под носом сверкала на солнце длинная капля.

11

Все утро они молча собирали виноград. В полдень хозяйка открыла корзину, дала необходимые указания тетушке Маргарите, оставила всех завтракать, а сама, положив кусок сала на хлеб, пошла на ферму. Старуха распределила еду, а бутылку протянула Пабло.

После полудня немного разговорились. Сначала о хозяине, о работе, а потом, как и раньше, обо всем. В деревне не нашлось свободного мужчины, и толстуха предложила свою помощь на прессе. Хозяйка согласилась, и сбор винограда продолжался. Каждый день возвращались с двумя доверху наполненными бочками. Хозяйка и Пабло разгружали, Хромой занимался скотиной, а толстуха готовила с Жаннеттой ужин.

Хозяин пришел в сознание, но двигаться не мог. Говорить тоже не мог, только бормотал что-то. Пабло его не навещал — он слишком уставал за долгие рабочие дни.

Жаннетта уже не плакала. Доктор приезжал еще раз, когда все были на винограднике.

Вечерами Пабло быстро засыпал. Сейчас они собирали виноград на очень пологом склоне, и каждый день он пьянел от усталости и солнца. Все время дул ветер, по утрам было свежо, у Пабло потрескались губы и руки. Но теперь он вошел в ритм этой жизни, тело привыкло к ушибам и ссадинам, так мучившим его в первые дни. Усталость стала неотъемлемой частью существования, он свыкся с нею. Порой еще случалось, что прежде, чем подняться по лестнице, он освещал фонарем потолок старой конюшни. Теперь ему уже не надо было искать: красноватый свет сразу выхватывал из темноты толстый железный крюк, который он обнаружил в первый же вечер. Да, вот здесь, именно здесь повесился слуга дедушки.

В первый вечер Пабло долго рассматривал крюк. Захотелось даже взять одеяло и пойти лечь спать под изгородью или в конюшне рядом с Вороной. Но он принудил себя подняться по лестнице, а в голове звучали слова старика Переса: «Смерть. Да плевать я на нее хотел!»

Теперь это уже стало почти ритуалом. Входя, он машинально смотрел на крюк, но не задерживался, а сразу поднимался, ложился и тотчас засыпал.

По утрам, проснувшись рано, Пабло, случалось, мог еще полежать немного, следя сквозь щель в ставне за рассветом. Тогда он думал о Марианне. Но думал о ней, только когда хотел. Он мог по желанию вызывать ее образ из-за балок чердака.

Он вставал, умывался во дворе и давал сено скотине. Потом завтракал, пока хозяйка доила коров и готовила еду на кухне. Пабло привык сам обслуживать себя, и хозяйка никогда ему ничего не говорила. Они вообще мало разговаривали. Входя, Пабло справлялся о здоровье хозяина, и она неизменно отвечала:

— Ничего нового, все то же.

Так прошло четыре дня. Но вот однажды вечером, когда они только сели за стол, распахнулась дверь, и в комнату вошел солдат.

— Добрый вечер,— сказал он и закрыл за собой дверь.

Хозяйка вскочила, подбежала к нему и обняла. Когда она вместе с сыном вернулась к столу, Пабло заметил, что глаза у нее влажные. Она отвернулась к плите и вытерла их кончиком фартука.

Парень пожал руки толстухе и Хромому, потом чмокнул сестру, которая сидела неподвижно, не спуская с него глаз.

— Ты что,— спросил он ее,— никогда солдата не видела?

Жаннетта забормотала. Парень подошел к Пабло.

— А это наш испанец,— сказала хозяйка.— Я тебе писала.

Пабло пожал руку парню.

— Меня зовут Пабло.

Парень усмехнулся.

— Я знаю.

— А нашего мальчика зовут Пьер,— сказала мать.

Пьер снял куртку и вместе с пилоткой бросил на подоконник.

— Ну вот что,— сказал он,— надо воспользоваться тем, что я здесь, и выстирать это, а то все жутко грязное.— И, сев на место хозяина, он спросил: — Так что же все-таки случилось?

Мать рассказала о том, что произошло; когда она умолкла, сын поинтересовался, спит ли отец.

— Может, и не спит еще. Если хочешь, мы сейчас к нему поднимемся.

Она поставила тарелку для сына, разлила похлебку, и они поднялись наверх.

Все сидели молча и ждали их, никто не прикасался к еде.

Спускаясь, сын сказал беспечно:

— Да, этот удар, видно, здорово его тряхануп.— Они начали есть, потом сын спросил:— Ну, а работа? Сколько вы уже сделали?

— Работа идет хорошо,— ответила мать.— Уже около трех четвертей сделали. Еще два дня — и с сортовым виноградом покончим.

— Да,— подтвердил Хромой,— можно сказать, с погодой нам подфартило, да и виноград набрал «градус».

— Ну, а по количеству? — спросил Пьер.

— Недурно. Не то чтоб очень богатый урожай, но все же выше среднего.

— Сколько бочек?

— На сегодня три. Вот оберем весь склон полностью — будет почти четыре.

Сын, казалось, остался доволен. Еще поговорили о сборе урожая, потом парень объяснил, что отпуск ему дали всего на два дня, но если доктор согласится выдать справку, он мог бы остаться до конца уборки.

— Тогда иди к нему завтра же утром,— сказала мать.

— Завтра утром пойду в Курлан. А там видно будет.

Мать колебалась:

— Но ты же не собираешься торчать там все утро?

Сын рассмеялся:

— Думаешь, они оставят меня до обеда?

— Послушай, ты здесь очень нужен. Я могла бы тогда выйти попозже, кое-что сделать по дому. Столько дел накопилось.

— Ну чего ты пристала к парню,— вмешался Хромой,— раз уж приехал, конечно, хочется ему на невесту поглядеть...

Они поужинали, встали из-за стола.

— Я пошла домой,— объявила толстуха, набрасывая на плечи шаль.— Раз парень здесь, у пресса обойдетесь и без меня.— И вышла.

Пьер скорчил гримасу.

— Вот черт! — сказал он.— Я ведь целый день ехал и жутко устал.

Однако он спустился вместе с ними и встал у пресса, но при каждой остановке наведывался в погреб, барабанил по бочкам, шарил в гнездах, где хранились бутылки. Он тоже много пил, черпая вино прямо из бочонка.

— А вы не пьете? — часто спрашивал он Пабло.

— Нет, спасибо.

— Господи, это куда лучше, чем ихняя мешанина с бромом.

Хозяйка только смотрела на него, но ничего не говорила. Время от времени она спрашивала:

— Вас там хорошо кормят? Мои посылки получаешь?

Потом спросила:

— А это правда, что вы там ни разу не дрались?

Парень громко рассмеялся:

— Дрались? Разве что между собой, когда есть охота. Никто ни одного боша в глаза не видел.— Потом он повернулся к Пабло и спросил:— Ну, а лично вы дрались в Испании?

Пабло утвердительно кивнул.

— И это правда неприятная штука, да?

Пабло колебался, но все смотрели на него, и он ответил:

— Да, иногда бывало довольно тяжко.

Парень задал еще несколько вопросов, но, так как Пабло больше только кивал в ответ, он оставил его в покое и снова принялся шагать по погребу.

Он был почти такого же роста, как отец, но тоньше, лицо худощавое и взгляд, похожий на материнский.

Когда они кончили давить виноград, сын, прежде чем подняться из погреба, сходил за бутылкой.

— Зачем это тебе? — спросила мать.

— Это же марочное.

— Сама вижу, но на кухне уже початая литровая бутылка стоит.

— А я не для того, чтоб пить,— хочу к ним отнести, ее отец очень это любит. И еще хочу им курицу отнести. Не могу же я прийти к ним с пустыми руками.

Хозяйка смутилась. Но когда проходили через ригу, сказала:

— Если хочешь курицу отнести, надо ее сейчас ловить, пока они спят.

— Вот и лови,— сказал парень,— можешь не давать мне лучшую наседку, но старую тухлятину мне тоже не надо.

Все вернулись на кухню, кроме Хромого, который, выйдя за порог, исчез в темноте.

Пабло зажег фонарь. Сын открыл рюкзак и стал раскладывать вещи.

— Прежде чем пойдете спать,— сказала хозяйка, обращаясь к Пабло,— посветите мне, раз уж фонарь горит, пока я буду курицу ловить.

— Кстати,— спросил Пьер,— а где он спит?

— Там, напротив,— ответила мать, указав подбородком.

Сын рассмеялся:

— А призрак висельника — ничего? Не тревожит?

Пабло промолчал.

— Хотя, правда, вы небось и не такое видели. Но меня мальчишкой за все золото мира в этот сарай бы не заманили.

Пабло вышел вслед за хозяйкой. Они обогнули угол дома и подошли к курятнику. Хозяйка открыла дверь и вошла.

— Светите сюда, на насест.

Пабло осветил птиц, сидевших на насесте. Послышалось кудахтанье. Хозяйка брала птиц, по очереди ощупывала, снова сажала на место. Куры качались, кудахтали, били крыльями, но потом успокаивались и засыпали. Наконец она выбрала жирную белую курицу с серой шеей и схватила ее за лапы.

— Вот эта подойдет,— сказала она.

Они вышли. Хозяйка закрыла дверь, прошла несколько шагов рядом с Пабло, потом остановилась и повернулась к нему:

— Я хотела рассказать вам эту историю — насчет того, который повесился...— и замолчала, подыскивая слова.

— Да,— сказал Пабло,— я уже знаю.

Он плохо видел женщину при бледном свете фонаря. Но ему показалось, что она волнуется.

— А! Вы знаете?

— Да, женщины как-то на днях говорили.

— И вам не страшно там спать?

— Нет, я про это не думаю.

Хозяйка сделала несколько шагов, подошла к углу дома, спросила:

— Так что же они говорили?

Пабло смутился, растерялся, но потом, взяв себя в руки, пробормотал:

— Не знаю, я не все слышал... Просто болтали, наверное.

Они молча сделали еще несколько шагов, и хозяйка снова остановилась. Они стояли посреди двора. Ночь была темная, и от северного ветра, дувшего из-за угла конюшни, дрожало пламя фонаря. Хозяйка посмотрела в сторону кухни, где каждая дощечка на ставнях была очерчена светом, потом, подойдя к Пабло, тихо спросила:

— А когда они вам это сказали — до болезни хозяина или после?

— Не помню, не могу вам сказать.

— Нет, уж вы вспомните.

— Да нет, не помню, забыл.— Немного подумав, Пабло добавил:— Какая, собственно, разница.

— Вот именно. Какая разница, что люди болтают.

Пабло хотелось повернуться и уйти, но он не посмел.

— А больше они про наш дом ничего не рассказывали?

— Нет,— уверенно сказал Пабло,— больше ничего не рассказывали.

— Ну ладно. Спокойной ночи.

— Спокойной ночи.

Они разошлись, он нес фонарь, у нее в руке болталась сонная курица.

12

Сборщики винограда выходили из ворот следом за повозкой, а сын взял велосипед и поехал по направлению к шоссе.

— На обратном пути поезжай через Сент-Анье и зайди к доктору,— крикнула мать.

Не оборачиваясь, он помахал рукой в знак того, что понял.

— И не задерживайся там, слышишь! — опять крикнула мать.

Он обещал, что, как только вернется, поднимется на виноградники. И вот сразу после полудня хозяйка стала посматривать в ту сторону, где между двумя акациями открывалась дорога. Когда Пабло поднимался с пустой корзиной, он видел, как она, выпрямившись и приставив к глазам ладони козырьком, пристально наблюдала за лесом. Пабло не понимал, почему она так беспокоится. Когда парень был на фронте, она мало о нем говорила. Казалось, она вообще редко вспоминала о сыне.

Наступил вечер, и солнце раньше, чем в предыдущие дни, скрылось за большой тучей, которая уже маячила в глубине равнины. Горизонт зажегся, и земля на несколько минут окрасилась в красный цвет.

— Вечерняя зарница наполняет корытца,— сказала старуха Маргарита.

Хозяйка рассердилась:

— Да, слишком уж хорошая стояла погода. Теперь не обойдется без дождя.

— Нам осталось убрать только несортный виноград, а он весь на ровном месте. И если дождь начнется, нам грязь месить до конца уборки.

Когда они спускались, северный ветер совсем стих, и старуха сказала, что это тоже плохой признак. Да и другие сборщики, которых они встречали на дороге, тоже сетовали на недоброе небо.

— Кровавый закат — к долгому ненастью,— сказал, подходя к ним маленькими шажками и волоча по камням огромные сабо, сгорбленный старичок с вислыми усами.

Пабло шел рядом с повозкой, положив руку на тормоз. Он чувствовал, как его охватывает тревога. Октябрьский вечер не был похож на другие. Красное небо и внезапный мрак предвещали зловещие перемены.

Подойдя к тому месту на равнине, откуда был виден дом, Пабло подумал о хозяине. Может, хозяин умер.

Теперь Пабло уже не надо было следить за тормозом, и он отпустил повозку. Толстуха с Маргаритой ушли в деревню. Жаннетта, как всегда, должно быть, отстала, и хозяйка шла одна за повозкой.

И вдруг, пока Пабло смотрел, как она идет посреди дороги по равнине, где только цоканье копыт и скрип повозки нарушали тишину, ему показалось, будто она идет за похоронными дрогами.

Он подождал ее и пошел рядом. Даже в сумерках повозка с двумя бочками на похоронные дроги была ничуть не похожа.

Когда они вошли во двор, Хромой, открывая ворота риги, заметил:

— А парень-то вернулся: велосипед его тут. Должно, к отцу поднялся.

Хозяйка сразу ушла, а Пабло взял Вороную под уздцы и стал ее осаживать. Старик научил его обращаться с кобылой, и она слушалась.

Едва они поставили повозку на место, вернулась хозяйка. Она быстро сбежала по лестнице и теперь задыхалась.

— Нет его там,— сказала она.— Пойду посмотрю в деревне. Начинайте вдвоем разгружать.

Они распрягли Вороную, чтобы Пабло отвел ее в конюшню. Потом дали скотине сена и вернулись к повозке.

— Не понимаю,— сказал Пабло,— почему она так волнуется из-за этого парня?

— Боится, что запьет. Пьер в отца, от вина звереет. Как напьется, тянет его на драку.

Начали разгружать. Старик сказал:

— Не люблю россказни старых баб, но если присмотреться — оно правда: несчастья на этот дом так и сыплются.

Они почти опорожнили первую бочку. Вернулась хозяйка с сыном. Тот громко говорил, смеялся.

— Спускайтесь, Хромой,— крикнул он.— Не для вас эта работенка, оставьте уж ее мне!

Старик спустился, вытирая взмокший лоб. Пьер забрался на повозку и схватил вилы. Темп сразу возрос. Пабло стиснул зубы. Парень хорошо отдохнул. Более того, от него несло вином, и винные пары, должно быть, ударили ему в голову. С первой бочкой было скоро покончено, и мужчины спрыгнули на землю, чтобы передвинуть повозку.

— Я думаю, из нас бы вышла отличная команда,— сказал Пьер, смеясь.

— Да, дело двигается,— согласился Пабло. И прежде чем продолжать работу, спросил:— Получили отсрочку?

— Нет, этот доктор — просто старый дурак. Сказал, что если даст справку, я должен весь день просидеть дома, а то вдруг жандармы нагрянут. Чихать я на все это хотел. Раз такая канитель, лучше уеду.— Уже взявшись за вилы, сын добавил:— В общем-то лучше туда вернуться. Меня скоро в капралы произведут, и тогда я, как младший офицер, буду служить в батальоне.

— Вы хотите стать кадровым военным?

— А почему бы нет? В мирное время у них жизнь неплохая. И потом, сегодня я говорил с Денизой. Она ведь работает теперь на заводе и в деревню не хочет возвращаться; вот и выходит — либо гни

тут спину, либо бегай ищи работу в городе. Да чихать я на все это хотел.

Он умолк и с удвоенной силой взялся за дело. Когда они кончили, Пабло был весь мокрый, в висках стучало.

— Ох, господи,— сказал парень, прыгая на солому,— ну и работенка! Подохнуть можно!

Они спустились в погреб и взялись за пресс.

— Заниматься этим делом хорошо,— сказал Пьер,— когда есть большое хозяйство с современной техникой и команда сильных работников. Тогда еще куда ни шло. Но все делать самому — слишком это тяжело, да и труд такой не окупается. Старики никак не хотят этого понять, но я-то вкалывать не намерен.

Выдавив весь виноград и вылив сок из чана, они вернулись на кухню. Похлебка была готова.

— Может, хочешь проведать отца до ужина? — спросила хозяйка.— Кажется, сегодня ему чуть лучше. Правда, говорить он еще не может, но когда я ходила его кормить, он что-то глазами показывал, все чего-то шевелил здоровой рукой. Я не поняла, чего это он. Может, тебя требовал?

Парень уже сел за стол. Он медленно встал и нехотя поплелся наверх. Был он там недолго.

— Смех да и только,— сказал он, вернувшись,— и мне он тоже показывал всякие фокусы, а когда я уже выходил, даже вроде что-то забормотал. Интересно, чего ему надо?

— Может, его интересует, как работа идет,— сказал Хромой.

— А что? Может, и так,— согласилась хозяйка.— Ежели думаете, что сумеете его понять, поднялись бы, а?

Старик встал.

— Можно, я тоже пойду? — спросил Пабло.— Я не видел его с того самого вечера.

— Ну конечно, идите.

Пабло последовал за Хромым.

Хозяин лежал посреди деревянной, широкой и очень высокой кровати. Когда они вошли, он, казалось, им обрадовался. И попытался что-то сказать, но из его полуоткрытого рта вырвалось только хриплое бессвязное клокотанье:

— Э-э-э-э! Э-э-э-э! — Как будто он звал кого-то.

— Ты не тревожься,— сказал Хромой и взял его за руку.— Все в порядке будет. Через несколько дней будешь на ногах.

— Э-э-э-э! Э-э-э-э!

— Не понимаю я,— сказал старик.

— И я тоже.

Пабло пожал левую руку хозяина — правая лежала под простыней.

Хозяйка крикнула снизу:

— Идите же, похлебка разлита!

— Ну ладно, отдыхай хорошенько,— сказал старик.— Мы снова зайдем... Этот — он хороший работник.— И старик указал на Пабло.— Очень он тут на месте.

Они уже спускались по лестнице, а хозяин продолжал кричать им вслед:

— Э-э-э-э! Э-э-э-э!

— Закройте дверь,— крикнул Пьер,— не то устроит он нам концерт.

— Ну как? Поняли что-нибудь? — спросила хозяйка.

— Нет, ничего,— сказал Пабло.

— Я думаю,— предположил Хромой,— он об урожае тревожится. Хочет небось знать, хорошее получится вино или нет, успеем ли мы закончить.

— Может, он и не слышит, что ему говорят,— заметил Пабло,— но видит, кажется, хорошо. Может, написать на бумаге, что работа идет хорошо, и дать ему прочесть?

— Так и сделаем. Только в другой раз. А сейчас надо поскорее поужинать да сразу к прессу. Неохота мне ложиться спать на рассвете.

Пьер говорил сухо. Никто не проронил ни слова, и ужин быстро закончился. Когда они стали спускаться в погреб, хозяйка пропустила вперед старика и Пабло.

— Идите вперед и вылейте то, что набралось в чане. Мы сейчас придем.

— Какие у тебя еще дела? — спросил Пьер.

— Задержись со мной на пару минут.

Пабло спустился, старик — следом за ним. Через несколько минут пришли и хозяйка с сыном. Они сразу же заняли место у пресса, и хозяйка задала темп.

— Начинай... эй... эй...

Журча, потек сок. Они нажимали на рычаги до тех пор, пока винт не дошел до упора. Тогда они сели и стали ждать. Хозяйка несколько раз бросала взгляд на сына и дважды кашлянула. И когда сын пошел со стаканом налить из бочки вина, она неуверенно заговорила, обращаясь к Пабло:

— Так вот! Хозяин, конечно, быстро не оправится — так доктор сказал. Да и война тоже может затянуться.— И умолкла, глядя на Пьера, как бы ища у него поддержки.

— Да,— сказал парень,— я простой солдат и на этот счет ничего сказать не могу. Только на меня, во всяком случае до будущего лета, нечего рассчитывать. Офицеры так считают, что до весны большого наступления не будет. Да и потом еще месяца два-три пройдет, пока мы разделаемся с бошами.— Он выпил стакан вина, потряс его, выливая последние капли, вытер рот тыльной стороной ладони и добавил:— К тому же я ведь еще не знаю, что после буду делать. Так что...

— Это еще что за история? — перебивая его, спросила мать.

— Никаких историй. Что хочу, то и буду делать! — не сказал, а выкрикнул он.

Хозяйка выдержала несколько секунд, потом очень спокойно сказала:

— Конечно, ты что захочешь, то и будешь делать, но сейчас речь не о том.

— А о чем же — говори, чего ты ждешь.

Она опять повернулась к Пабло.

— Сами видите,— сказала она,— в доме трудоспособного мужчины нет. Надо кого-то нанимать, вот мы и подумали, может, вы захотите остаться...

Пабло молча смотрел на них.

— Смотрите сами,— выждав немного, сказал сын.— Оплата будет, конечно, меньше, чем за уборку винограда,— зимой ведь дни короче и дел не так-то уж много; словом, мы могли бы платить вам как прислуге.

Пабло все не отвечал, и хозяйка прибавила:

— Само собой, зимой вы не будете спать на чердаке. Что-нибудь придумаем.

— Да чего тут придумывать,— сказал сын,— пусть спит в моей комнате.

Пабло подумал еще немного, потом, поднимаясь, сказал просто:

— Хорошо, договорились.

И снова они встали у пресса.

13

Ночью небо затянуло тучами, а к утру подул западный ветер. Он принес с равнины низкие облака, давно собиравшиеся на горизонте. Время от времени сквозь щель в тучах пробивался солнечный луч; тогда часть равнины освещалась резким и ярким светом. Освещенный кусок равнины, казалось, стремительно двигался на вас, увеличивался в размерах, а потом вдруг сжимался и исчезал.

К полудню упали первые капли дождя, который вскоре перешел в ливень, и вся команда укрылась под повозкой, чтобы закончить обед.

Они, согнувшись, сидели на перевернутых ведрах и молча ели, глядя в землю, по которой между комьями земли и пучками травы ручейками потекла вода. По другую сторону дороги под проливным дождем неподвижно стояла Вороная; спину ей покрыли куском зеленого брезента; время от времени она поворачивала голову в их сторону.

Ливень продолжался недолго, и они скоро вернулись к работе. Но не было уже того увлечения, как в былые дни. С мокрых виноградных лоз ветер стряхивал капли, они стекали прямо за шиворот, и все промокли насквозь.

— Сегодня носильщику лучше всех,— заметила старуха Маргарита.

Пабло и сам это понимал. Земля еще не раскисла, и по ней нетрудно было ходить, а плечи за много дней попривыкли к ноше. Виноград они собирали спелый, гроздья были крупные, быстро заполняли ведра, Пабло не приходилось ждать. Только он один, наверное, не страдал от холода.

Ливень трижды заставлял их прерывать работу, но все же они наполнили две бочки до темноты и вернулись домой.

Дома их ждал Пьер, уже в форме. День он провел в Курлане.

— Тебе правда завтра утром уехать нельзя? — спросила мать.

— Нет, мне что-то неохота сразу по приезде сесть на гауптвахту.— И он стал прощаться.

— Но у тебя же время еще есть, поезд только в девять.

— Надо с приятелями попрощаться.

Он поцеловал мать и сестру, взял рюкзак, повесил через плечо флягу и пошел в деревню.

Хозяйка, Жаннетта, Хромой и Пабло стояли у ворот и смотрели ему вслед. На перекрестке он обернулся и, прежде чем завернуть за угол, помахал рукой. Все подняли руки, даже Жаннетта, а хозяйка крикнула:

— До свидания!

Она выкрикнула только эти два слова, но Пабло посмотрел на нее почти с ужасом. В этом хриплом, чуть приглушенном крике был заключен целый мир. Крик пронесся над равниной, где уже не было солдата. Сейчас этот крик замрет у подножия холма и ему не ответит даже эхо.

Они повернулись и, не смея взглянуть друг на друга, медленно побрели к дому.

Как только они вошли в ригу, хлынул дождь.

Когда виноград был сгружен, хозяйка и Пабло вернулись на кухню, где Хромой и Жаннетта заканчивали приготовления к ужину и уже накрыли на стол. Толстуха ушла к себе, сказав, что придет позже давить виноград.

— Идите,— сказала хозяйка,— садитесь, ужинайте, а я пойду хозяина покормлю.

Это были первые слова, которые она произнесла с тех пор, как уехал сын. Она трудилась больше часа напротив Пабло, стиснув зубы,

сжав губы, на лбу ее образовались даже морщины. Голос ее не изменился, но слова странно звучали в тишине кухни.

— Он все пытается что-то сказать? — спросил Пабло.

— Не знаю, я к нему с утра не поднималась.

Она взяла миску, налила бульон и вышла через маленькую дверь. Теперь мысли Пабло обратились к хозяину. В течение дня он много раз о нем вспоминал.

— Если он снова будет чего-то просить, я напишу ему, что все идет хорошо,— сказал Пабло Хромому.

— Конечно,— откликнулся старик,— ему будет приятно.

Хозяйка спустилась сверху, и Пабло спросил:

— Ну как?

— Да так же. Все время вертит глазом и что-то бубнит.

— Попробовать написать ему? — спросил Пабло.

Хозяйка пожала плечами.

— Пишите, если хотите, да только все без толку.

Она дала Пабло лист бумаги и карандаш и принялась за похлебку.

Старательно выводя четкие большие буквы, Пабло написал: «Все идет хорошо. Урожай прекрасный. Вино будет отличное. Вы скоро поправитесь».

— Очень хорошо,— сказал Хромой.— Я с тобой поднимусь. Пусть видит, что его не бросают.

Как только они вошли в комнату, хозяин закричал, шаря левой рукой по одеялу:

— Э-э-э-э! Э-э-э-э!

Хромой пожал ему руку, а Пабло показал бумагу. Он умолк, просмотрел ее, потом, отчаянно жестикулируя, закричал еще громче:

— Э-э-э-э! Э-э-э-э!

Мужчины переглянулись.

— Странно как-то! — сказал старик.— Ясное дело, он хочет что-то сказать.

— Несомненно! Похоже, что он прочел бумагу. Я почти уверен, что прочел.

Пабло устало опустил руку, в которой держал лист бумаги. Хозяин неотрывно глядел на бумагу, продолжая что-то бормотать. Приподнял левую руку и, перебирая пальцами, как животное — лапой, стал двигать руку к бумаге.

— Ему нужна бумага,— сказал Пабло.

Пабло протянул ему лист, хозяин оставил его на одеяле и опять протянул руку, пытаясь с грехом пополам изобразить, что хочет писать.

Пабло повернулся к старику. Они молча посмотрели друг на друга. Оба поняли. Пабло спустился в кухню.

— Что случилось? — спросила хозяйка.

— Карандаш,— ответил Пабло. И взял со стола карандаш.— Дайте мне что-нибудь твердое, на что можно положить бумагу.

— Зачем вам?

— Хозяин хочет написать. Ему надо сказать что-то.

Хозяйка встала и вынула из ящика большую черную книгу, где она вела счета.

— Хорошо, я поднимусь вместе с вами.

Они положили книгу на кровать, сверху — лист бумаги, который Пабло придерживал пальцем, затем хозяйка вложила в руку мужа карандаш и положила ее на бумагу.

Молча, пристально следили они, как медленно задвигалась онемевшая рука. Снаружи шумел дождь, подгоняемый ветром.

Рука дрожала. Все взгляды были прикованы к кончику карандаша, чертившему неровную черту. Она пересекла первую, немного поднялась, потом снова опустилась. И, как бы устав, замерла.

— «Ж»,— сказал Хромой.— Видите, он пишет «Ж» — значит, чего-то желает.

А тем временем хозяин, казалось, выбился из сил. На лбу у него блестели крупные капли пота и скатывались на щеки, заросшие многодневной щетиной. Он глубоко перевел дух, сжал губы, и рука его снова задвигалась.

Все молчали. Только дождь стучал по стеклам. После передышки рука снова пришла в движение, и вдруг Пабло воскликнул:

— Жанн! Он хочет видеть Жаннетту, это же ясно!

И хозяин тотчас выпустил карандаш. Рука задрожала, и он снова затянул:

— Э-э-э-э! Э-э-э-э!

Пабло был уже на лестнице.

— Жаннетта! Жаннетта! Иди скорей! — крикнул он.

Пабло поднялся вместе с девочкой. Она встала у кровати, как обычно, свесив руки, раскрыв рот. Хозяин больше не кричал. Рука его, лежавшая на одеяле, слегка дрожала. Крупные слезы, смешиваясь с потом, текли по лицу.

— Поцелуй отца,— сказала хозяйка.

Девочка нагнулась и поцеловала хозяина в заросшие щетиной щеки. Потом выпрямилась. Он еще с минуту смотрел на нее. И закрыл глаза.

Пабло и Хромой переглянулись и покачали головой. Молча постояли еще немного. Хозяин, казалось, уснул. И они тихо вышли из комнаты.

14

В эту ночь Пабло спал в комнате Пьера, находившейся как раз напротив комнаты хозяйки.

— С тех пор, как он заболел,— пояснила хозяйка,— я сплю с девочкой. Ему лучше спать одному, да и я так лучше отдыхаю.

— А если он ночью позовет, вы услышите?

— Да, я оставляю открытой дверь. А вы свою закрывайте — совсем не обязательно просыпаться обоим.

Оставшись один, Пабло сел на кровати и осмотрелся. Больше двух лет он не спал на кровати. Простыни были чистые, но от одеяла пахло другим мужчиной. Пабло широко открыл окно в ночной мрак. Налетели бабочки. Он погасил свет и долго сидел, облокотившись о подоконник.

Под окном был цементированный водоем, в котором днем барахтались утки, когда их не пускали плавать в ручье. Немного дальше были виноградники, с которых еще не собрали урожай.

Пабло подумал об урожае. Этот виноград у них звался несортным. Из него гнали обычное вино и водку. А все ценные сорта с привитых культивированных лоз, предназначавшиеся для хорошего желтого вина, были уже собраны.

Пабло еще раз глубоко вздохнул и ощупью добрался до кровати. Не зажигая света, он разделся и лег, но уснул не сразу. Он лежал с открытыми глазами, прислушиваясь к шуму дождя, который только и оживлял ночь, когда стих ветер.

Сначала он думал о Марианне — Пабло заметил, что вот уже несколько дней посвящал ей совсем мало времени. В этот вечер она встала перед ним спокойная, будто отдохнувшая.

Пабло лежал в очень мягкой постели, тихо, не шевелясь, всем телом осязая тепло. Он долго лежал так и наконец прошептал:

— С войной покончено.

Но слово «война» тотчас воскресило в темноте образ Пьера. Эта кровать, в которой Пабло было так хорошо, принадлежала солдату. Солдату, который уехал сегодня вечером с полной флягой и двумя сумками, набитыми бутылками с вином.

И Пабло вновь увидел множество солдат. У одних висели через плечо фляги, другие несли в руках бутылки. Все они издали махали руками, а женщины глядели им вслед.

Вот уже много месяцев Пабло не вспоминал о войне. Война для него была всегда одинакова — окровавленное лицо, истерзанное тело Марианны. И еще развалины, множество дымящихся развалин. Но солдат никогда не было.

До сих пор Пабло об этом не задумывался. В сущности, он еще никогда не вспоминал войну по-настоящему — он постоянно думал о Марианне. Только о Марианне. И вот в этот вечер, когда Пабло подумал, что покончил с войной, он увидел ее по-настоящему.

Заснул Пабло поздно. И снова увидел во всех подробностях то, что пережил на войне. Он вспоминал все это почти без мук.

А рядом стояла Марианна. На лице ее не было следов страданий. Напрасно он старался представить себе, как она умирала. В конце концов он понял, что это не важно. Он знал, что Марианна мертва,— вот и все.

И лицо ее запечатлелось в его памяти навсегда. Пабло ничего не сумел взять с собой. Даже фотографий Марианны. Первое время он готов был все отдать за один ее портрет. И вот в тот вечер он, наконец, нашел ее фотографию в глубине своей памяти.

Лежа в мягкой постели, погружаясь в сон под монотонную песню дождя, Пабло подумал, что здесь, в этой комнате, он остался наконец наедине с Марианной. Здесь они дома. А война далеко.

15

Сбор винограда заканчивали под дождем. Два последних дня выдались особенно трудные. Виноград был на ровном участке по другую сторону ручья. Земля была желтая, настоящая глина, липла к ногам и ведрам.

Пабло уставал гораздо сильнее, чем на склоне холма, тут приходилось ходить по ровному месту, а он привык к длинным спускам, где шел большими шагами, подталкиваемый тяжестью корзины. Здесь напряжение было иное, усталость охватывала тело, ноги не слушались.

К счастью, виноград, который они теперь собирали, пойдет на красное вино, его не надо давить. Дома они спешили разгрузить бочки и шли переодеваться. Потом снова спускались на кухню, и хозяйка принималась за свои дела. А Пабло усаживался у огня, протянув ноги к теплой плите. Хромой был уже здесь. Ему переодеваться было не надо. Он собирал виноград в большой непромокаемой накидке. Он только ставил ноги на открытую дверцу очага, чтобы просушить носки, а сабо дымились на крышке котелка.

Получив деньги за первую неделю, Пабло купил себе трубку и табак. Одну трубку он выкуривал после завтрака, вторую — когда нес первую корзину после обеда, но приятнее всего было, конечно, курить вечером, в ожидании похлебки.

Хозяйка отправлялась доить. Хромой начинал клевать носом, и в комнате слышно было только шарканье Жаннетты, накрывавшей на стол. Закончив работу, она становилась у раковины и ждала. И вот тут наступала полная тишина. Пабло, прикрыв глаза, потягивал трубку. Дым медленно поднимался, смешивался с выходившим из котелка паром. Время от времени слышался глухой стук — это Вороная била копытом.

Хозяйка решила оставить у себя Хромого, пока Пабло не научится выполнять работу посложней.

— Вы будете учителем,— говорила она.— Понимаете, работать вам не придется, только показывайте, что ему надо делать.

— Говори, говори,— отвечал старик, подмигивая.— Я-то вижу, куда ты клонишь.

— Ей-богу, Хромой, сами ведь знаете, я не могу платить сразу двум работникам.

— Я же тебе сказал: будь по-твоему. Ты не сердись, меня это устраивает. Знаешь ведь, для самого себя мне делать больше нечего. А пока я у вас, я дрова экономлю, я сыт, а больше мне ничего и не надо.

Таким образом, сделка была заключена. Старик потребовал только десять франков в неделю на табак.

— Видишь,— объяснил он Пабло,— рабочих рук не хватает, я бы и в деревне мог устроиться, там мне заплатят больше, но там надо работать, делать что попало, а я этого не люблю. Старый стал, не хочу лезть из кожи вон. А когда мне платят за рабочий день, я люблю, чтоб люди, которые меня наняли, не могли пожаловаться на плохо сделанную работу... Здесь же хоть сыт буду каждый день.

— Здесь,— заметил Пабло,— с едой все в порядке. По-моему, жаловаться не на что.

Старик покачал головой.

— Скажу тебе по-честному: я тут работал в каждом доме. И не подыхал с голоду. Но лучше, чем здесь, нигде не едят. Так что считай, парень, тебе повезло... Да и мне тоже.

Когда прекратились дожди, стали убирать свеклу и кукурузу. Пабло научился править Вороной и пахать плугом. Он был сильным и к работе относился очень добросовестно. Но не всегда у него сразу все получалось, и это раздражало его. Он злился, начинал ругаться по-каталонски, и хозяйка с Хромым смеялись.

— Ты научишься,— говорил старик.— Научишься! Чтоб работать на земле, силу надо иметь и смекалку. У тебя есть и то и другое, не хватает только терпения. Но это придет.

Однажды они пахали на скверной земле, где за плуг цеплялись корни плохо выкорчеванных яблонь, и Пабло нервничал сильнее обычного. Он бросил ручки плуга и принялся колотить ногой пень, за который зацепился лемех. Плуг перевернулся, и старик, который вел за уздечку Вороную, остановился. Подождал, пока Пабло поостынет, потом подошел к нему и сказал:

— Ты ж видишь, толку мало, а риск большой. Не будь Вороная такой спокойной, она понесла бы и покалечилась.

Пабло подошел к кобыле, погладил по мокрой, потной шее.

— Если бы она из-за меня покалечилась,— сказал Пабло,— я б себе в жизни не простил.

— С животными гнев — штука опасная,— сказал старик.

Пабло подошел к плугу и снова взялся за ручки. Хромой последовал за ним. И прежде чем взяться за уздечку, добавил:

— И смекалка у тебя есть, и сила, и желание, только...— Он умолк и посмотрел на Пабло с бесконечной добротой и укоризной.

— Говорите, говорите. Скажите все, что думаете. Может, это мне на пользу пойдет.

— Конечно, я, может, и ошибаюсь. Только сдается мне, не любишь ты землю.

Пабло ничего не ответил, да старик и не ждал ответа. Он уже вернулся к Вороной. Держась за ручки плуга, Пабло стоял и глядел на простиравшуюся вокруг землю. Она казалась тусклой, мрачной, будто спала под низким небом. Все было печальное, даже дым, поднимавшийся над полями там, где крестьяне жгли сухую траву.

— Ну как? Все в порядке? — крикнул Хромой.

— Пошли, но!

Вороная медленно тронулась, напрягая хребет. Затрещали колючки, лемех врезался в почву, и плуг начал прокладывать борозду. Большая красноватая рана ложилась вдоль такой же раны. Трава приподнималась, вновь падала, уходила под землю, а из земли торчали белые корни. Каждый раз, когда они натыкались на пень, Пабло силь-

нее стискивал ручки плуга и плотно сжимал губы, чтобы удержаться, не выругаться. Толчок ударял в голову, отдавался электрическим током в руках и плечах. Несмотря ни на что, после обеда он вспахал весь клочок плохой земли и ни разу не выругался.

Домой они возвращались, когда уже наступила ночь. Оба взобрались на повозку. Позади них, ударяясь о доски, бренчал плуг. Вороная шла медленно по узкой, ухабистой дороге. Старик правил. А Пабло, положив локти на колени, смотрел перед собой на спящую землю.

«Любить землю,— повторял про себя Пабло,— любить землю...»

Да как ее по-настоящему любить-то?

И опять встало перед ним лицо Марианны. Он знал, что никогда больше не сможет полюбить. Он любил Марианну, любил ребенка, которого она носила под сердцем и которого смерть унесла вместе с ней. Теперь — какая уж любовь... Он жив. Он согласился жить — вот и все. Вот он и живет здесь, потому что случайно здесь оказался. И ему хорошо. Он не страдал ни от холода, ни от голода, а усталость стала его верной подругой.

Конечно, он любит все, что его окружает. Например, Вороную или Хромого, но это — другая любовь.

Порой, когда они возвращались с поля пораньше, Хромой и Пабло поднимались навестить хозяина. С наступлением холодов доктор посоветовал обогревать его комнату. Однажды утром они установили там старую железную печку, в которой жгли большие поленья. На Жаннетту была возложена обязанность поддерживать огонь в течение дня, и она ни разу не дала ему погаснуть. Хозяин уже не кричал. Просто, когда она подкладывала в печь дрова, он тихонько повторял:

— Э-э-э-э!

Девочка подходила к нему. Он начинал шевелить здоровой рукой, и она брала ее в свои руки. Так они застывали на несколько минут, потом хозяин произносил:

— Э-э-э-э!

Жаннетта спускалась на кухню и вновь принималась за работу.

Если Пабло и Хромой были возле хозяина, он смотрел на них и моргал. Мужчины улыбались: по взгляду больного ясно было, что он счастлив.

Однажды вечером, когда в корзине оставалось всего одно полено, Пабло пошел за дровами и, вернувшись, обнаружил, что хозяин взволнован и хочет что-то сказать. Пабло поставил корзину и спустился за книгой, бумагой и карандашом. С большим трудом хозяин написал: «Дрова».

Хромой сначала нахмурился, а потом крикнул:

— Все в порядке, я понял. Он о дровах беспокоится.

Хромой подошел к корзине, взял полено, вернулся к хозяину и поставил полено стоймя у ножки кровати. Потом, придерживая его одной рукой, другой сделал движение — так срубают дерево.

Рука хозяина тотчас задвигалась, и он заморгал.

— Скоро, скоро! Мы с Пабло поедем на Вороной в лес. Не беспокойся, мы тебе не дадим замерзнуть.— И, обращаясь к Пабло, добавил: — Как-нибудь на днях шепну хозяйке пару слов. Думаю, на той неделе можно съездить. Но смотри-ка, вот ведь странно: он понимает, что дрова, за которыми мы поедем, пойдут на будущий год. Он ведь знает, что дровяной сарай полнехонек. И все же боится — а вдруг не хватит. Надо думать, еще долго жить собирается.

16

Погода установилась тихая, сильный, порывистый ветер дул редко, он лишь слегка разрывал тучи, не обнажая голубых просветов между ними. Иногда на заре или по вечерам выглядывало солнце, но

лишь на короткий миг. Подбирались холода, и однажды утром хозяйка, давая пить курам, которых держала на откорме, увидела тоненький слой льда в солдатском котелке.

— Пора за дровами ехать,— сказал Хромой.— По небу чувствую — будет снег, и лучше раньше ехать, пока слишком много не навалило.

На полях все было убрано, в погребе срочной работы не было — там медленно шел процесс брожения,— вот и решили ехать на другой же день. Вечером, отправляясь спать, Хромой потирал руки, глаза у него блестели.

— Будь готов к рассвету,— сказал он Пабло.— Будь готов к рассвету.

Пабло проснулся очень рано, и, когда пришел старик, Вороная была уже запряжена. Они быстро поели горячей похлебки и отправились в путь.

Едва начинало светать, и различать дорогу было трудно, но как только они выбрались за деревню, ехать сразу стало просто. Вороная знала дорогу. Ей можно было довериться.

— Куда ведет эта дорога? — спросил Пабло.

— В сторону Жерюж.

Чем выше они забирались, тем извилистей становилась дорога. Обработанная земля встречалась все реже, и вскоре они въехали в рощу. Деревья стояли невысокие — в основном саженцы молодого ясеня и акация. Чуть ниже, рядом с дорогой, бежал ручеек; то и дело он перепрыгивал через пороги, и тогда в сероватых предрассветных сумерках белело пятно пены.

Пабло наблюдал за стариком. Взгляд его переходил с одной стороны дороги на другую, пробегал по лесной поросли, следил за течением ручейка, возвращался и терялся в лесной чаще. Он часто дышал, как собака, напавшая на след. Заметив, что Пабло за ним наблюдает, старик улыбнулся.

— Сейчас сам увидишь, милый. Это лес! Конечно, не то чтобы настоящий. Его называют рощей виноградаря. Понимаешь, из акации самые что ни на есть наилучшие колья делают для виноградников. Потому-то ее и сажают. Как акацию срубают, отделяют что пригодно для виноградников, остальное распиливают на дрова.

Лицо его оживилось, руки пришли в движение.

Он стал объяснять, что такое настоящие леса, где он провел молодость, работая лесорубом.

— Когда-нибудь сам увидишь. Это отсюда не так далеко.— Немного помолчал, пристально глядя перед собой, потом повернулся к Пабло и сказал: — Но и здесь тоже хорошо. Вот увидишь, за весь день ни души не встретим.

— Почему же вы ушли из леса?— спросил Пабло.

Старик похлопал по одеялу там, где у него было колено.

— Из-за ноги. Понимаешь, в лесах надо быть в полной силе, чтоб проработать целый день. Там работают командами, и, ежели кто не дотягивает, за него выкладываются другие. А в деревне все иначе.

Рассвело. Голые деревья купались в тусклом свете. Все было серое, все будто вымерло. Лишь порой, хлопая крыльями, взлетала птица и исчезала меж стволов. Очень высоко, почти под самыми облаками, каркали на лету вороны.

Вскоре старик подхватил вожжи и повернул Вороную влево, на грунтовую дорогу, которая шла между двумя рядами пней. Они немного проехали, остановились на просеке и слезли с повозки. Старик развернул повозку и стал распрягать кобылу. Пабло, прежде чем дать ей сена, накинул одеяло и брезент на ее дымящуюся спину.

— Ну, а теперь перво-наперво надо похлебку сварить,— сказал старик.

— Уже? Но ведь до полудня еще далеко,— заметил Пабло и засмеялся.

Старик тоже рассмеялся.

Взяв садовый нож, он начал срезать сухие ветки, оставшиеся от прежней заготовки, и складывать на открытом месте для костра. Вскоре поднялось и загудело пламя, поглощая горсть сена, похищенного у Вороной, и охватывая ветки. В неподвижном воздухе дым поднимался до верхушек деревьев, затем, охлаждаясь, вытягивался длинными водорослями и плыл, цепляясь за ветки. Пабло и Хромой, потирая руки, грелись у костра.

— Понимаешь,— говорил старик, подбрасывая более толстые поленья в костер,— через час у нас будет куча горячих углей, и тогда можно похлебку варить.

Они сбросили куртки, положили их на телегу и, взяв топоры, начали рубить лес. Пабло все было в новинку, и вскоре он понял, что орудовать топором труднее, чем заступом. Более того, плуг не огрубил его рук, как он думал, и уже к полудню на ладонях образовались и прорвались огромные волдыри.

— Ты смотришь на свои руки,— сказал Хромой, когда они вернулись к огню.— Я тебя не неволю, но все же дам совет: перебори себя. Если ты остановишься хоть на день, придется начинать сначала. Словом, работай не надрываясь, и все образуется. За какую-нибудь неделю, не больше.

И в самом деле, руки Пабло быстро изменились. Ладони стали твердыми и вскоре перестали болеть. Кожа покрылась царапинами, потрескалась. По вечерам, куря у костра трубку, Пабло часто смотрел на них. Ощупывал мозоли, потирал руки.

Постепенно он начал проявлять интерес к работе, сделанной за день, и к той, которая предстояла на завтра. Теперь Пабло понимал любовь, которую старик питал к лесу. Порой он даже спрашивал себя, сумел ли бы он один, без Хромого, почувствовать очарование лесной тишины.

Больше всего он это чувствовал во время еды.

Иногда выше или ниже их по склону работали другие лесорубы. Стук топоров и крики перемежались с ударами топоров Пабло и Хромого — многоголосое эхо, переплетаясь, уносилось вдаль, и все же долина окончательно не просыпалась.

Вечером они спускались вниз с повозкой, груженной очищенными от веток стволами, старик брал Вороную за уздечку, а Пабло шел рядом. В руках он держал крепкую палку, чтобы при необходимости вставить ее между спицами и затормозить колесо. Время от времени он оборачивался. Позади них изо всех складок земли поднималась ночь и словно накрывала долину, окутывала глубоким сном.

Наступила зима. Земля обнажилась.

И вот однажды, когда они были в лесу и уже заканчивали обед, пошел снег. Старик предсказал его еще накануне вечером и утром, перед тем как отправиться в путь, подтвердил:

— Сегодня вечером возвращаться будем уже по снегу.

Сначала упало несколько шальных хлопьев — они словно высматривали на земле местечко поудобней. Те, что падали возле огня, тут же таяли, не долетев до земли.

— Сейчас очистим стволы, которые лежат на земле, и поедем.

— Вы шутите. Не уходить же нам в три часа.

— Давай работай, потом поговорим.

И они снова принялись за работу. В какую-то минуту Пабло, подняв глаза, увидел, что все вокруг белым-бело.

— Ну как? Что скажешь? — спросил старик и засмеялся.

— Ваша правда, задерживаться нельзя.

Они все же очистили все стволы от сучьев, но погрузили их с

большим трудом. Мокрые руки одеревенели, стволы скользили, на хлопья снега больно было смотреть.

Ехали они медленно, и, когда вернулись домой, на дворе уже была ночь. Хозяйка, услышав скрип телеги, вышла на порог.

— Ну как? — крикнула она.

— Ты что, за свою скотину беспокоишься? — сказал старик.— Можно подумать, ты меня не знаешь!

Он был весь в снегу, голова ушла в плечи, капюшон наполз на глаза, но он смеялся.

Они обтерли лошадь, дали ей сена и уж потом отправились греться у огня.

— Ну вот и пришла настоящая зима,— сказал Хромой.

Зима выдалась холодная, снег держался хорошо. Он лежал толстым слоем и был твердый, как лед. Пришлось надолго отказаться от всех работ вне дома.

Но мужчины не бездельничали. Надо было заготовить колья, обтесать их, заострить, обжечь, а также напилить дров и сложить под навес. Когда же сильный ветер выгонял их из-под навеса, они спускались в погреб, где всегда находилась работа. Пабло многому научился у Хромого, а тот умел делать все.

— Я думаю, хозяйка довольна,— говорил старик.— Понимаешь, все, что мы тут делаем, кажется сущей ерундой, пустой тратой времени, а сделать все равно надо. Хозяин после того, как с ним случилась беда, ничем ведь не интересовался. Да и парень, можно сказать, тоже. Когда в доме такой беспорядок, это плохо.

В конце концов дом стал выглядеть чище и солиднее.

— Погоди,— говорил старик хозяйке,— мы тебе тут настоящий дворец устроим.

Все было проверено: конюшня, рига, погреб, сарай, где хранился инвентарь, да и сам инвентарь отремонтировали, отточили, заострили, опробовали плуг и борону, вычистили и смазали косилку.

Казалось, уже все сделали, и, однако же, находилась еще какая-то работа.

Хозяйка связала два шарфа и подшлемник для сына, который жаловался в письмах на холод, называя его злейшим врагом. Каждый раз, когда приходило письмо, хозяйка сначала читала его про себя, потом звала Хромого и Пабло и говорила:

— Идите сюда, есть письмо от мальчика.

Тогда они снимали у плиты сабо и следовали за хозяйкой в комнату хозяина. Там она читала письмо вслух. Часто останавливалась и глядела на мужа, а тот в ответ глазами показывал, понял он или нет.

Сидя на стуле возле хозяина, Пабло тоже слушал. Слушал и смотрел на огонь сквозь решетку печки или на великолепные узоры, нарисованные морозом на оконных стеклах. Его мало интересовало содержание письма. Парень всегда писал об одном и том же. Он рассказывал о дележе посылок, об игре в снежки, о гастролях театра в армии. Он жаловался на холод, на отсутствие вина, настойчиво требовал посылок, и каждый раз письмо заканчивалось одной и той же фразой: «Я вас обнимаю и надеюсь, что весной отцу будет лучше».

Не жизнь, а сплошные каникулы, думал Пабло. И много раз говорил себе, что, если бы еще вино пришлось парню по вкусу, он бы не жаловался, что каникулы затянулись.

Хозяин находился в прежнем состоянии. Он очень похудел. Щеки ввалились и побледнели. Он выглядел стариком. С наступлением холодов хозяйке пришлось надеть на него колпак. Теперь видно было только лицо — голова, тонувшая в подушках, казалась совсем ма-

ленькой. Он никогда ни о чем не просил. Жаннетта по-прежнему заботилась о том, чтоб у него не затухал огонь. Когда погода была ветреная, дрова прогорали быстрее, и ей приходилось подниматься чаще. Как только она входила в комнату, взгляд отца оживал. Лицо оставалось неподвижным, но его словно бы озарял внутренний свет. А когда девочка уходила, он снова становился угрюмым.

Однажды при виде хозяина у Пабло возникло странное ощущение. Казалось, ему было глубоко безразлично, что творится в доме. Словно он оледенел, а люди изо всех сил старались удержать его среди живых, согревая теплом.

Словом, такое было впечатление, будто нет никакой войны, будто хозяин оледенел от дыхания зимы, проникшей в дом, и они старательно приводили все в порядок, готовясь встретить весну, которая зрела в земле под ледяным покровом сна.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

17

Хозяйка и старуха Маргарита остались в комнате, а Пабло вместе с доктором спустился вниз.

Ставни были закрыты, в кухне было темно и прохладно. У раковины плакала Жаннетта.

— Бедняжка,— прошептал доктор.

Он пересек комнату и вышел во двор. Пабло проводил его до ворот.

— Вы пешком?

— Интересно, как бы это я проехал на машине. Вы видели дорогу?

— Нет,— сознался Пабло,— я уже два дня из дома не выходил. Ночью было слышно, как беспрерывно ехали машины.

— Сегодня утром еще хуже. Можно подумать, все с ума посходили.

Пабло молча опустил голову.

Было очень жарко. Полуденное солнце слепило, озаряя пыльную дорогу. Воздух застыл.

— Ночью я занимался ранеными,— сказал доктор.— Среди них был один парень. На велосипеде приехал из Домбаля с осколком бомбы в руке. Я не хотел его отпускать, да куда там! Тотчас уехал. Вот они и пугают людей. Конечно, они навидались ужасов, но вряд ли боши будут здесь бомбить. Это же бессмысленно. Но все решили спасаться. Когда раненый кончил свой рассказ, моя служанка, а ей шестьдесят семь, тоже решила удрать.

Доктор немного помолчал, потом посмотрел на кладбище. За ним, у подножия склона, проходила дорога. Пабло тоже посмотрел туда, но увидел лишь стену, из-за которой торчало несколько ослепительно белых крестов, выделявшихся на фоне чистого, голубого, неподвижного, тяжелого неба. От кладбища должна быть видна дорога. Пабло хотел проводить доктора до поворота, но тот, подавая руку, сказал:

— Вам надо немедленно заняться похоронами. В такую жару лучше с этим поторопиться, тем более люди в панике и еще до наступления темноты все могут уехать.— Доктор пошел было своей дорогой, потом обернулся и добавил: — На время похорон девочку лучше бы куда-нибудь убрать.

Пабло постоял еще немного у обочины, провожая глазами черный силуэт доктора, удалявшегося своей чуть подпрыгивающей походкой. Через некоторое время доктор вдруг замахал руками. Наверное, заговорил сам с собой.

— Поднимитесь-ка, помогите нам его обрядить.

Пабло вздрогнул. Хозяйка, высунувшись из окна своей комнаты, звала его.

— Сейчас,— сказал он.

Пабло вошел в кухню и остановился возле двери, ожидая, пока глаза привыкнут к полумраку. Затем подошел к плачущей Жаннетте.

— Не плачь,— прошептал он,— не плачь.

Но девочка все рыдала. Он погладил ее по волосам и пошел к лестнице.

— Вот хотим вас попросить, да не очень это приятно,— сказала хозяйка, когда он вошел в комнату.

— Пустяки.

Он подошел к кровати, на которой, вытянувшись, лежал хозяин. Женщины подвязали ему челюсть белым платком. Искаженное лицо его было почти такое же белое, как платок.

— Его надо приподнять, а мы одевать будем,— сказала Маргарита.

Пабло подошел ближе и наклонился над кроватью. Ему уже давно не приходилось дотрагиваться до мертвецов.

— Сперва ноги,— сказала старуха.

Сердце у Пабло сильно заколотилось. На висках выступил пот. Он чувствовал, как пот течет вдоль спины и по груди. Пабло взял хозяина за лодыжки. Они были еще теплые. Пабло вдруг затошнило — надо было что-то сказать, прийти в себя.

— У нас вдовы никогда этим не занимаются.— Он сказал первое, что пришло на ум.

— У нас тоже,— сказала старуха,— но сейчас-то ведь ничего уж не разберешь. Такое творится... кто не работает на виноградниках, все уехали.

Они обрядили покойника, потом уложили его на кровать, покрытую белой простыней, и Маргарита вложила ему в руки черные четки.

— Теперь можешь закрыть,— сказала она.

Хозяйка закрыла ставни. Несколько минут они стояли молча. Женщины шевелили губами — должно быть, молились.

— Ну все, пошли.

Как только ставни закрыли, старуха стала говорить шепотом.

Они спустились вниз. Хозяйка сказала, что пойдет займется приготовлениями.

— Вы пообедаете с нами? — спросила она старуху.

— Как хочешь.

— Тогда накройте на стол, а я пойду.— Проходя мимо раковины, она остановилась и сказала Жаннетте: — Ты поможешь Маргарите, да?

— Оставьте ее,— сказал Пабло,— я помогу.

Хозяйка ушла. Девочка не двигалась и все плакала. Накрывая на стол, старуха и Пабло время от времени посматривали на нее. Глаза ее были прикованы к двери, ведущей на второй этаж, только рыдания, ритмично сотрясавшие ее тело, указывали на то, что это живое существо.

— Я заболею, глядя на нее,— сказала старуха.

— У меня тоже все внутри переворачивается, когда я это вижу.

Маргарита положила на стол буханку хлеба и подошла к Пабло. Глянула на дверь и, понизив голос, сказала:

— Можно подумать, она понимает.

— Ну конечно,— сказал Пабло,— конечно, понимает.

— Она, ясное дело, понимает, что отец умер. Но сдается мне, понимает и то, что она потеряла.

Пабло пожал плечами:

— Разве ты не видел, как он смотрел на нее в свои последние часы? Хозяин-то хорошо знал, что теперь никто не будет относиться к ней так, как он.

Старуха устало махнула рукой и заходила по комнате. Через некоторое время она снова подошла к Пабло.

— Оно, конечно, не сладко иметь такое дитятко.

Пабло тоже заметил, что в предсмертные часы у хозяина в глазах появлялся ужас всякий раз, как в комнату входила девочка.

Агония длилась всего несколько часов, а Жаннетта ничего не замечала, пока не приехал доктор. Но как только она его увидела, тут же задрожала и заплакала.

Пабло снова подошел к Жаннетте.

— У тебя есть платок? — спросил он.

Девочка не шевельнулась. Пабло подошел к шкафу, открыл дверцу, взял платок, вернулся и вытер ей нос и глаза.

Старуха наблюдала за ним.

— До чего противная,— сказала старуха.— Можно подумать, ей три года. Три года!

Пабло промолчал. Он заткнул платок девочке за фартук.

— Поди сядь,— сказал он.

Взял ее за руку, и она покорно пошла с ним и села на тот стул, который он указал.

Пабло присел на край стола рядом с Жаннеттой. Медленно и нежно рука его гладила волосы девочки.

Теперь она почти не вызывала у него отвращения. В первый раз он решился вытереть ей нос.

Вскоре вернулась хозяйка. Она, видимо, бежала: по лицу струился пот. Она раскраснелась, запыхалась.

— Ну как? — спросил Пабло.

Она немного отдышалась и одним духом выпалила:

— Я видела мэра. Он звонил, узнавал насчет похоронных дрог... Ничего не выходит. В похоронном бюро никого — один старик остался. А двое факельщиков сегодня утром уехали.

— Ну, как-нибудь двух мужиков найдем, чтоб гроб принести.

— Трудновато будет: старик не хочет идти. Говорит, дорога слишком загружена. И мэр то же сказал. Даже пешком и то не пройдешь.

— Но надо же принести гроб-то.

— Ну да, конечно, да только гроба тоже нет. Столяр уехал. Мэр ходил сам смотреть, ни одного нет готового. Прямо не знаю! Не знаю, что делать! — С этими словами хозяйка упала на стул и разрыдалась.

До сих пор она не плакала, а сейчас все накопившиеся слезы прорвались сразу, тело сотрясали рыдания. Маргарита бросилась к ней, пытаясь утешить, но что бы она ни говорила, хозяйка твердила лишь:

— Просто ужас... Не знаю, что делать... Не знаю...— Говорила отрывисто, слова перемежались рыданиями.

Пабло долго стоял молча. Пытался собраться с мыслями, что-то придумать. Машинально подошел к двери, отдернул портьеру, бросил взгляд на залитый солнцем двор, потом вернулся к хозяйке, сказал:

— Вы бы поели — сразу почувствуете себя лучше, а я пойду схожу за Хромым.

— За Хромым?

— Да, мы подумаем, что можно сделать.

Хозяйка перестала плакать и сквозь слезы посмотрела на Пабло. Глаза ее блуждали, она словно видела его в первый раз.

— За Хромым? — пробормотала она и снова разрыдалась.

— Верно,— сказала Маргарита,— сходите-ка за ним. Все лучше будет.

Пабло налил в стакан вина, разбавил холодной водой и, прежде чем выйти, выпил.

На пороге он обернулся. Жаннетта сидела все в той же позе. Она смотрела на дверь в глубине комнаты и плакала. Позади нее, положив локти на стол, обхватив ладонями голову, рыдала хозяйка.

Старуха Маргарита сделала ему знак, чтобы он поторопился, и пошла к буфету.

Пабло задернул за собой портьеру и очутился один под палящими лучами солнца.

18

Пабло шел долго, не поднимая головы. Он смотрел перед собой на белую потрескавшуюся дорогу. Время от времени в сухой траве скользила ящерица, и Пабло каждый раз вздрагивал.

Он обогнул деревню и вскоре дошел до тропинки, которая вилась между виноградниками.

Поднявшись до третьего поворота, он остановился и с пригорка осмотрел равнину. Она сверкала на солнце. Над горизонтом колыхалось марево, и холмы, казалось, висели между небом и землей. Они тянулись длинной, неровной лентой и местами поднимались, напоминая огромного зверя, улегшегося отдохнуть.

Пабло вспомнил последний прерывистый, хриплый вздох хозяина. Вновь увидел его скрюченную, цеплявшуюся за простыню руку.

Пабло внимательно осмотрел равнину, но никаких изменений не обнаружил. Теперь надо только сделать несколько шагов до поворота, подняться на пригорок, и тогда откроется вся равнина от подножия холма до горизонта. Он увидит деревню, еще скрытую за виноградниками. Увидит дорогу.

Теперь перед ним открылась вся панорама. При беглом осмотре у Пабло создалось впечатление, что никаких изменений не произошло.

Он стал пристально смотреть на дорогу.

Но и дорога была почти такая же. Только под двойной вереницей деревьев играли пятна света и тени. И тысячи точечек безостановочно, медленно двигались по ней.

Пабло посмотрел в сторону деревни.

Ничего.

Под палящими лучами солнца спали полуденным сном сгрудившиеся дома. Между раскаленными крышами виднелись белые или фиолетовые улочки.

Вот черная кошка пробирается по коньку чьей-то крыши. Вот исчезла за трубой, снова появилась, прыгнула на другую крышу, пониже, скользнула в темную дыру слухового окна.

Он еще раз взглянул на дорогу. Длинная вереница продолжала двигаться, пытаясь увлечь за собой солнечные пятна, но те упрямо оставались на своих местах. Пабло напряг слух, уловил гул, такой смутный, что его заглушал даже стрекот кузнечиков.

Пабло вытер рукой потный лоб и снова двинулся в путь.

Дойдя до виноградника, он вскарабкался между двумя рядами посадок и осмотрел весь участок. С утра старик хорошо поработал. Больше половины лоз были подвязаны, шалые ветки переброшены через проволоку и привязаны к ней ивовыми побегами. Выйдя на открытое место, Пабло сразу увидел Хромого, сидевшего в тени буковой рощи. Старик поднял руку.

— Я слыхал, как ты поднимался,— сказал он.

Пабло, запыхавшись, упал на траву рядом со стариком и вытер лицо.

— Раз уж ты поднялся сюда в такой час, можно не спрашивать зачем,— сказал старик.

Пабло кивнул.

— На-ка держи, выпей.

Хромой протянул ему флягу, завернутую в мокрую салфетку. Пабло выпил целый стакан. Вино было еще прохладное.

— Вчера вечером я подумал, что он и ночь не протянет,— сказал Хромой.— Давно он помер?

— Часа два назад.

— И мне надо спуститься вместе с тобой?

Пабло рассказал про отъезд столяров и всех остальных.

— Выходит, что ему и гроб надо делать?

— Боюсь, что да...

Старик вздохнул, приподнял фуражку, поскреб лысину.

— Бедняга Люсьен,— сказал он,— эдак помереть, а?

Он долго молчал, укладывая в сумку остатки еды. Изнемогая от жары, Пабло смотрел на него невидящими глазами.

— Ну ничего,— сказал старик, поднимаясь.— Много я переделал всякой работы, а вот гроб мастерить еще не приходилось.— Он вдруг осекся, посмотрел на дорогу, сжал кулаки и, стиснув зубы от гнева, не повышая голоса, прибавил: — Черт бы побрал эту мерзость! Война... Война... теперь мы даже мертвых хоронить не имеем права из-за этой войны!

Пабло поднял голову. Слова старика пробудили его.

Война. Мертвецы. Тысячи мертвецов, которых уже никогда не удастся похоронить. Мало-помалу их источат дождь, ветер и солнце. Они сами себе выроют могилу в обожженной земле.

— Ну, идешь? — спросил старик.

Пабло очнулся. Хромой уже спускался между рядами винограда; в одной руке он держал корзину, в другой — связку золотистых блестящих прутьев. Он быстро шел, и оплетенная фляга, как котелок солдата, ударяла его по ягодицам.

19

Было уже семь часов вечера, когда они кончили мастерить гроб. Пришлось отказаться от намерения сделать его как надо. Не умели они. Да и мэр, открывая им мастерскую, сказал:

— Можете пользоваться инструментами, но машины не трогайте.

— Не беспокойся,— сказал Хромой,— там, где касается техники!..

Оставшись одни, они начали осматривать мастерскую. Много инструментов было развешано на щитах и разложено на полках.

— Н-да, непросто это,— пришел к заключению старик.— Я думаю, лучше взять доски да гвозди и самим дома сколотить гроб.

Все время после обеда они трудились на старом расшатанном верстаке, стоявшем под навесом. Рядом кружком расположились утки и искоса посматривали на них, не переставая, однако, следить за полетом синих мух, которых они заглатывали, когда те, зазевавшись, пролетали слишком близко. Хозяйка часто навещала их, приносила прохладное вино. Она уже не плакала, но глаза были красные, а на лице лежала печать усталости.

— Думаете, у вас получится? — спрашивала она.

— Надо, чтоб получилось,— отвечал Хромой.

Наконец дело было сделано. Они просверлили дырки и привинтили крышку. Им не хотелось стучать, забивая гвозди, когда покойник будет лежать в гробу.

Пабло отошел на несколько шагов. Солнце уже низко опусти-

лось и светило под навес. В его лучах белый деревянный гроб казался желтым.

— В общем-то, ящик, и все,— сказал Пабло.

Старик тоже отошел. Он беспомощно махнул рукой и вздохнул.

— Сделали, как сумели. Все лучше, чем ничего. И потом, ты знаешь, Люсьен не больно гонялся за роскошью. Ей-богу, ему бы гроб очень понравился.

Пабло посмотрел на старика — тот уже начал отвинчивать крышку. Он не шутил. Он был убежден, что хозяин остался бы доволен гробом.

— Кстати,— спросил Пабло,— может, сделаем сверху крест?

Но старик, видимо, крепко задумался о хозяине.

— Ты знаешь, для него кресты...

— Это скорей для хозяйки. И потом, так больше будет похоже на гроб.

Нашли два деревянных обрезка. Старик их чисто обстругал. Тот, что подлиннее, прибил к крышке, а другой распилил на две части и прикрепил по обе стороны так, чтобы получился крест.

— Верно,— сказал старик,— так оно лучше.

Они убрали инструменты под верстак. Пабло взял гроб на плечо, старик понес крышку. Подойдя к углу дома, Пабло поставил гроб у стены.

— Подожди минутку.

Он вошел в кухню.

— Готово,— сказал он, отодвигая портьеру.

Старуха Маргарита подмигнула. Она была одна с Жаннеттой, та перестала наконец плакать, но была словно в столбняке.

— Пойдем, Жаннетта, возьми корзинку, надо кроликов покормить.

Старуха схватила котелок с кормом. Девочка взяла корзину с очистками, и они вышли.

Пабло знаком показал старухе, с какой стороны обогнуть дом, и как только они исчезли, вернулся к Хромому.

— Все в порядке, можно идти.

— Бедняжка Жаннетта,— вздохнул старик.

Наверху их ждала хозяйка.

— Мэр должен прийти помочь уложить его в гроб,— сказала она.

— А кюре? — спросил Пабло.

— Он приходил два раза, вернется к восьми.

— Что нужно сделать, пока будем ждать?

Хозяйка стояла в нерешительности. Она посмотрела на Пабло, потом на старика, потом на гроб.

— Неважно получилось,— сказал, как бы извиняясь, Хромой.— Но что ты хочешь, не наше это ремесло.

— Все война,— просто заметила хозяйка. Она немного помолчала, потом повернулась к покойнику и тихо спросила: — Кажется, запах появился, да?

— Да,— сказал Пабло,— по такой жаре разложение идет быстрее.

— Тогда, может, лучше положить его в гроб сейчас же, прикрыть крышкой, но не завинчивать?

Хозяйка открыла шкаф, достала из кипы белья большую простыню и развернула.

— Это еще его мать к нашей свадьбе вышивала,— пояснила она.

Пабло увидел монограмму из двух переплетенных букв, украшенных цветочками. От простыни приятно пахло сухой травой.

Пока они заворачивали труп в саван, хозяйка несколько раз всхлипнула, но как только гроб закрыли крышкой, сразу успокоилась.

Гроб поставили на стулья посреди комнаты.

Пабло показалось, что старик сейчас расплачется. Он взглянул на него — подбородок у старика дрожал. Однако, оторвав взгляд от гроба, он повернулся к хозяйке и сказал:

— Больше мы, наверно, ничего не можем сделать. Солнце зашло, неплохо бы открыть окна, и надо подумать, как лучше устроить ночное бдение.

Две деревенские женщины вместе со старухой Маргаритой пришли на ночь посидеть возле покойника, а хозяйка, Пабло и Хромой пошли отдыхать.

В два часа ночи Маргарита разбудила их. Как всегда аккуратный, появился Хромой. Три женщины окропили гроб еще раз святой водой и молча ушли.

— Я приготовлю кофе,— сказала старуха перед уходом.

Хозяйка взяла с сушилки три стакана, Пабло достал из буфета сахар. Они выпили кофе и долго сидели молча, положив локти на стол. Дверь была открыта, и время от времени в кухню, приподнимая портьеру, врывалась струя свежего воздуха.

Они решили не сидеть около покойного, а лишь по очереди подниматься к нему в комнату. Первой пошла хозяйка, затем Хромой. Каждый пробыл наверху всего несколько минут.

Вскоре наступила очередь Пабло. Он встал и бесшумно вышел. Подойдя к гробу, освещенному дрожащим пламенем полуобгоревшей свечи, он перекрестил его самшитовой веточкой и долго стоял неподвижно. Окно было широко открыто. Ночные бабочки кружились вокруг пламени.

Через полуоткрытые ставни доносился глухой шум. Пабло подошел ближе и прислушался. По дороге все так же размеренно и медленно продолжалось движение. Пабло вернулся на кухню. Немного помолчав, он окинул взглядом хозяйку и Хромого, сказал:

— А по дороге все едут и идут.

— Да, Маргарита сказала, сегодня много народу уехало из деревни. Похоже, вчера боши вошли в Париж,— заметила хозяйка.

— Ноэми говорит, будто один солдат сказал им, что к рассвету они в Безансоне будут.

— А солдат много идет? — спросила хозяйка.

— Кажется, немало,— ответил старик.— Но ты же знаешь, сам-то я не видел.

— Если бы только знать, где он! — В словах хозяйки послышалось с трудом сдерживаемое рыдание.— Если бы только... знать!

И, опустив голову на скрещенные руки, она тяжело завздыхала, бесшумно заплакала, тело ее сотрясалось, две черные пряди, выбившиеся из прически, прилипли к вискам.

20

Мало-помалу хозяйка успокоилась. Они немного поговорили. Хромой хотел было сказать, что с виноградником все в порядке, но разговор не клеился. Все трое чувствовали необходимость поддерживать беседу, но не могли найти нужных слов. Несколько раз Хромой начинал клевать носом.

— Пошли бы и легли на мою кровать,— предлагал Пабло.

Но старик и слушать не хотел. Дважды он выходил подышать свежим воздухом. На третий раз Пабло вышел вместе с ним. Они дошли до дороги. Облокотившись о каменную изгородь, Пабло скрутил цигарку. Старик последовал его примеру, и некоторое время они молча курили.

— А по дороге все едут и идут,— сказал старик немного погодя.

С дороги в самом деле доносился гул. Пабло старался выбросить из головы картины бегства, которые вновь предстали перед ним с

самого начала этого бесконечного ночного бдения. Он вновь видел границу, женщин, ребятишек. Голод. Раненые. Мертвые. Мертвых заворачивали в одеяла и оставляли на обочине. Полуголые мертвецы лежали головой в грязной канаве. Истощенные, распухшие и такие, которые, казалось, вот-вот поднимутся и продолжат путь. Были и другие — те еще шли, цепляясь за живых. Лица у них были как у покойников, и лишь горящие угольки глаз продолжали лихорадочно жить. Но вот глаза угасали, и достаточно было положить человека на обочину, как становилось ясно, что жизнь уже давно покинула его. Этих война не убивала прямой наводкой, она их медленно глодала, опустошала, изнашивала.

Никто уже не знал, где кончается жизнь, где начинается смерть. Много живых оставалось лежать среди мертвых, а мертвых подхватывали под руки и тащили по дороге.

— Скоро рассвет,— сказал Хромой.

— Да, сейчас часа три.

Выкурив цигарки, они вернулись на кухню. Хозяйка спускалась по лестнице.

— Хотите еще кофе? — спросила она.

Мужчины утвердительно кивнули, но едва хозяйка успела накрыть на стол, как послышались шаги: кто-то шел по булыжникам двора. Все замерли. Хозяйка держала кофейник, рука ее дрожала.

— Это мэр,— сказал Хромой, когда шаги приблизились.

Все вздохнули с облегчением, и хозяйка поставила кофейник на стол. Вошел мэр. Раскрасневшийся, задыхающийся. Еще с порога он крикнул:

— Боши в Полиньи!.. Мне только что звонили.

Никто не отреагировал, и он повторил:

— В Полиньи!.. А это значит, они могут быть здесь через несколько часов.

— Кто тебе звонил? — спросил Хромой.

Мэр тут же взорвался, начал кричать, махать руками.

— Откуда мне знать? Какой-то офицер. И какая разница? Важно не дать им деревню разорить.

— Ну, а что делать-то? — спросил Хромой, не повышая голоса.

Мэр посмотрел на хозяйку, потом на Пабло.

— Нельзя, чтобы они его здесь нашли.

— А почему? — спросил Пабло.

Мэр снова принялся кричать, размахивать короткими, толстыми руками.

— Как это — почему? Господи, можно подумать, вы не знаете, что они заодно с Франко! Найдут одного испанца-республиканца в наших местах, все разрушат и подожгут деревню с четырех углов.

— Но они же не знают, кто я,— заметил Пабло.

Мэр, казалось, даже немного растерялся, однако закричал еще громче:

— Это ничего не значит, все равно вам надо уезжать. Они могут дознаться. Я не хочу рисковать жизнью всех людей нашей коммуны. Выйдите на дорогу и идите со всеми. Там легко найдете грузовик, который захватит вас. Их там много едет почти пустых!

Ему дали выкричаться. Когда он успокоился, Хромой, подождав немного, сказал:

— А ты найдешь людей, чтобы его похоронить?

— Есть Жюно, он уже вчера вечером вырыл могилу. Да и я приду помочь.

— Я думаю, и кюре сможет прийти?

— Безусловно.

Хозяйка казалась спокойной. Она встала, подошла к буфету, вынула чашку, поставила перед мэром.

— Выпейте чашечку кофе,— предложила она.

Мэр сел, вытащил платок, долго вытирал жирное лицо. Затем он повернулся к Пабло и сказал уже спокойно:

— Честно говоря, я думаю, и для вас тоже лучше не оставаться. Слишком рискованно. Не стоит искушать судьбу — беда и сама придет.

— Я уеду, если вы требуете, но только после похорон.

Мэр повысил голос:

— Но я же вам говорю, они могут быть здесь через два часа, если ничто их не задержит!

— Да что их теперь задержит-то? — усмехнулся Хромой.

Хозяйка подала кофе.

— Пейте, не очень горячий.

— Я уеду после похорон,— повторил Пабло.

— Тогда,— сказал мэр,— его надо похоронить немедленно. Ждать больше нельзя, иначе вы вообще не сможете уехать.

— В такой час не хоронят,— заметил старик.— Смысла нет.

Мэр стукнул кулаком по столу.

— А война,— заорал он,— она имеет смысл? А удирать вот так, как они,— имеет смысл? Из трехсот сорока шести жителей осталось пятьдесят, как будто конец света! Это имеет смысл?

Никто не шелохнулся. Старик снова подождал, пока восстановится тишина, потом заметил все так же спокойно:

— Во-первых, что уж действительно не имеет смысла, так это орать во всю глотку, как ты в доме покойного. И потом, ты сидишь и ругаешь тех, кто бросился бежать, а сам пришел сюда и заставляешь Пабло уехать. Я что-то не пойму.

Мэр кивнул, как бы говоря: «Ну и не понимай. От вас все равно толку чуть». В этот момент заговорил Пабло:

— Послушайте, а может, правда похоронить его на рассвете? Вдруг потом что-нибудь случится, тогда хоть здесь все будет в порядке.

Мэр, казалось, успокоился:

— Верно, надо так и сделать. Я пойду предупрежу кюре.

Он встал, но, прежде чем выйти, сказал Пабло:

— Вы понимаете, я ведь не прошу, чтоб вы уходили далеко. Главное, чтоб вы покинули деревню, а потом поглядим, как оно обернется, и тогда посмотрим, что можно будет сделать.

Как только он вышел, старик проворчал:

— Можешь отправляться в любое другое место, даже по соседству, пусть другой расхлебывает, только не он.

Пабло пожал плечами. До сих пор он не чувствовал никакой усталости. Но вдруг она навалилась на него: он почувствовал ее во всем теле. Он устал, очень устал от этих картин массового бегства, толкотни, теснившихся у него в голове.

— Вы правда думаете, что здесь оставаться опасно? — спросила хозяйка.

Старик взглянул на нее и бросил:

— А тебе что, тоже удрать захотелось? Судя по всему, через неделю война кончится. И может, мы вообще ни одного немца в деревне не увидим... Мы ведь в стороне от дороги, да и что немцам-то здесь делать? Их интересуют большие города.

— Это еще неизвестно. Про них такое рассказывают... Сущие дикари, говорят.

— Послушай, Жермена, бросить дом недолго — да ведь разграбят его. Лично я уверен: если они мчатся с такой быстротой, некогда им будет заглядывать в каждый погреб. Так что можешь быть спокойна.— Старик немного помолчал, затем, уже направляясь к двери, добавил: — А теперь, если хочешь уехать, я не стану тебе мешать.— Подойдя к двери, он приподнял портьеру и повернулся к Пабло: —

Ты идешь? Если не хочешь терять время, надо пойти почистить Вороную да приготовить повозку.

Они вышли вместе. Рассвет уже окрасил край неба над холмом.

— Понимаешь,— пояснил он,— раз уж мы не можем похоронить его как следует, надо хоть почистить щеткой Вороную да пыль с повозки обтереть.

— Какую возьмем?

— Думаю, старую бричку. Если ее почистить, она будет поприличней, чем рабочие телеги — они все землей перемазаны.

Им пришлось отодвинуть две другие повозки, чтобы вытащить бричку, стоявшую в глубине риги. Они выкатили ее во двор, и Пабло, взяв метлу, стал сметать пыль, а Хромой вывел из конюшни Вороную и принялся чистить ее щеткой.

Уже рассвело, хотя солнце еще не всходило. Чувствовалось, что оно совсем рядом и вот-вот брызнет на землю ярким светом.

Как только работа была закончена, старик отошел на несколько шагов. Он посмотрел на кобылу. Шерсть у нее блестела. Потом осмотрел бричку, с которой Пабло смел пыль.

— Знаешь,— сказал старик,— уйти из жизни вот так, чтобы тебя везла твоя лошадь в тот час, когда мы обычно уходим работать на виноградники,— по-моему, такие похороны не хуже любых других. Треском мертвого не воскресишь, а семье дорого стоит — вот все, что я хотел сказать.

Вскоре пришел мэр вместе с кюре. Кюре не смог найти ни одного мальчика из хора и сам нес крест. За ними следовали две женщины из деревни: одна несла ведро со святой водой и кропило, другая — кадило.

— Я подумала было взять Маргариту,— сказала одна из женщин, входя в комнату,— но она была уже тут ночью и, наверно, спит, я не посмела ее будить.

— И правильно сделали,— сказала хозяйка.

Потом все постояли молча, обмениваясь взглядами, в ожидании распоряжений. Первым очнулся кюре. Поставив крест в угол, он направился к двери, ведущей на второй этаж. Это был маленький мужчина, коренастый, лет сорока.

— Идите,— сказал он.

Мужчины последовали за ним.

— Только не шумите,— попросила хозяйка,— если девчонка проснется, ужас что будет.

Они медленно поднялись. В комнате окно оставалось открытым, но ставни были прикрыты и сквозь них едва просачивался бледный свет. Восковая свеча догорела.

— Лучше открыть ставни, а то в темноте шума наделаем,— сказал кюре.

Он осветил гроб, задул свечу, а Пабло тихо открыл ставни.

— Спускаться можно только по двое, лестница узкая,— заметил мэр.

— Тогда,— сказал кюре,— большой возьмет гроб спереди, а я сзади.

И указал на Пабло. Пабло схватил гроб снизу и отошел к двери. На лестнице было очень неудобно. Пабло чувствовал, как дерево выскальзывает у него из пальцев. Не было ни ручек, ни граней, за которые можно было бы уцепиться. Пабло подумал, что они допустили ошибку, обстругав доски так старательно. Когда они спустились вниз, тут уж помогли все остальные и было куда легче уложить гроб в бричку. На пороге стояла хозяйка и плакала, две другие женщины наблюдали за ними.

Хозяйка не переодевалась — лишь сняла фартук и повязала голову платком. Две другие женщины были тоже в черных платках.

— Кто поведет лошадь? — спросил кюре.

— Я,— ответил Хромой.

— Хотите нести крест, господин мэр? — спросил кюре.

Мэр вернулся на кухню и вышел с крестом.

— Вы могли бы нести кадило,— сказал кюре Пабло.— Святую воду поставим в повозку.

Он передал ведро Хромому, который уже сидел в бричке.

— Смотрите, как бы ведро не перевернулось.

— Нет, я его ногами зажму.

Кюре пошел вперед. Рядом шли мэр и Пабло. Кюре читал молитвы. Чтобы выиграть время, решено было идти прямо на кладбище.

— А уж мессу отслужите в другой день,— сказала хозяйка.

До кладбища добрались за пять минут. Могила, где были похоронены родители хозяина, находилась в старой его части. Когда они входили в ворота, Пабло вспомнил вечер своего приезда и подумал об Энрике. Где-то он сейчас? Потом посмотрел поверх могил и увидел равнину. Чтобы дойти до дороги, надо лишь пересечь два пологих луга, ручей, еще два луга и поляну. А с дороги отчетливо слышался гул моторов. Пабло посмотрел между крестами. Колонна всех видов транспорта медленно двигалась вперед; было много пешеходов. Вдоль дороги в канавах лежали люди, они провели там ночь. Чуть дальше группа людей сидела у костра. И опять Пабло подумал о мертвых. Нет, не о тех, кто лежал в траве, а о тех, кто сидел у огня. Он подумал о леденящем холоде смерти. О холоде, который ей предшествует, предупреждая тех, кто ею отмечен.

Подойдя к могиле, они поставили гроб на землю, и Хромой отвел Вороную в сторону.

— Могильщика еще нет? — спросил кюре.

— Не знаю,— сказал мэр.— Обещал прийти. Я вижу — здесь веревки, должно быть, и сам он где-то поблизости.

Кюре поставил ведро и кропило около могилы.

— Мы не можем стоять и ждать его,— сказал кюре.

— А что, он очень нужен? — спросил Хромой.

— Нет, конечно. Мы и сами вчетвером можем справиться.

Они обвязали гроб веревками и опустили его в могилу. Потом кюре еще раз окропил гроб, прочел молитвы и протянул кропило хозяйке. Все по очереди окропили гроб. Церемония быстро закончилась. Все ждали. Мэр надел фуражку, спросил:

— Сможете обойтись без меня? Мне бы надо вернуться в мэрию. Там телефон не работал; мало ли что, может, я нужен.

Могильщик оставил около могилы мотыгу и лопату.

— Если б найти еще две лопаты, втроем бы мы быстро закончили,— сказал кюре.

— Пойдите посмотрите,— сказал мэр,— наверное, в кладовой есть.— Сделал было несколько шагов, обернулся и посмотрел на Пабло.— Так договорились? Вы дали слово. Как только закончите, сразу же уедете?

— Договорились,— ответил Пабло.

Кюре поспешил за мэром и тотчас вернулся с двумя лопатами.

— Женщины пусть отправляются домой,— сказал он.

Хозяйка плакала. Она подошла к Пабло.

— Ну как? — спросила она.— Что вы делать-то будете? Уедете?

— Я обещал.

— Что это еще за разговоры? — спросил кюре.

Пабло объяснил, чего боится мэр.

— Думаю, он преувеличивает. Лично я делал все возможное, чтобы удержать людей, и если бы все действовали так же, мы бы не были свидетелями этого столпотворения.— Он указал на дорогу.

— Все это так, но надо подумать о молодых. Рассказывают такие вещи! — сказала одна из женщин.

— Конечно, рассказывают много чего, но лучше оставаться дома. Сейчас даже молодым уже поздно уезжать. Куда они денутся? В Бург? В Лион? Или еще дальше? И вы, что же, думаете, там они будут вне опасности?

— Что же делать-то? — спросила хозяйка.

— Я вернусь к себе,— сказала одна из женщин.— Мой сын вчера уехал вместе с женой и дочуркой. Соберу пожитки и уйду в леса долины Жерюж. Никто туда за мной не придет.

Она повернулась и пошла. Другая молча последовала за ней. Пабло посмотрел на раскрытую могилу, взял лопату.

— Так как же? — спросила хозяйка дрожащим голосом.— Уезжаете? Это решено?

Пабло беспомощно махнул рукой.

— Послушайте,— сказал кюре,— раз уж обещали, я понимаю, надо уйти. Но вы поступите, как эта женщина: поднимитесь в леса и, как только сможете, возвращайтесь в деревню. Но не делайте глупостей, не вздумайте бросаться в эту толчею. Только панику усилите. А что толку? Можно еще понять тех, кто, спасаясь, бежит с севера, но сейчас в центре Франции все сбились в кучу. Либо войну надо кончить, либо дальше к югу давать генеральный бой, и тогда гражданское население будет только мешать солдатам. Лично я считаю, что разумнее не впутываться в эту мешанину.

— Ну хорошо,— сказала хозяйка,— я возвращаюсь к себе. Как бы девочка не проснулась.

— Уведи с собой Вороную, она больше не нужна,— сказал старик.

Она взяла кобылу за уздечку — Пабло посмотрел ей вслед.

Солнце взошло и осветило холм, обведя золотым контуром упряжку.

21

Когда мужчины зарывали могилу, над ними пронеслись три самолета.

Сначала с холма брызнул раскат, как будто их ударили. Когда гул стих, мужчины посмотрели на равнину. Самолеты скользили вдоль дороги, словно хотели сбрить стальными крыльями верхушки деревьев.

Все трое переглянулись и, не сказав ни слова, снова принялись за работу.

Пабло молча работал. Но когда гул моторов прокатился по холму, он почувствовал, как холодный пот покрыл все тело. Он подумал о еще не зарытой могиле, и ему пришлось сделать над собой усилие, чтобы не соскользнуть в нее. Этот страшный гул вонзился в него словно пуля и заполнил его, как заполнил все пространство между небом и равниной.

Пабло судорожно сжимал лопату. Скрюченные пальцы дрожали.

Обливаясь потом, он спешил, спешил.

Прошло несколько минут, гул утих, и вдруг над равниной прокатились взрывы. Все трое оглядели ее, но ничего необычного не заметили.

— Вот видите,— сказал кюре,— опасней всего на дороге.

Закопав могилу, они расстались.

Пабло и Хромой вошли во двор. Вороная, все еще запряженная в бричку, стояла у двери на кухню. Подойдя ближе, они увидели кастрюли и белье, сложенные на дне брички. Они переглянулись, но тут хозяйка позвала их из окна второго этажа.

— Поднимитесь-ка, вы мне нужны.

Проходя через кухню, они увидели Жаннетту, которая ела похлебку. Для них тоже были поставлены приборы. Хозяйка была в комнате. На ночном столике еще стояли свеча и блюдце с веточкой

самшита. Хозяйка доставала из распахнутого шкафа кипы белья и складывала на одеяло, разостланное на полу.

— Что ты делаешь? — спросил старик.

— Сами видите: отбираю то, что надо взять с собой.

— Вы правда хотите уехать? — спросил Пабло.

— Правда. Разве вы не слышали, как рвались бомбы? Нет? Если они бросают бомбы, то что же нам делать? Оставаться и ждать, пока убьют?

— Но куда ж ты собралась ехать? — спросил старик.— Ты же видишь: они бомбят дороги и города! Я, к примеру, уверен, что эти бомбы они сбросили на Бург!

— А кто вам сказал, что они деревню не захотят разрушить? Один проезжий солдат рассказывал Мелани Бушо, что на севере они сожгли все дотла. Ни одного дома не осталось. Даже фермы пострадали.

— И ты думаешь, что сможешь далеко уехать по дороге в этой толпе?

— А я и не собираюсь ехать по дороге, я хочу подняться в леса. Уезжать уже поздно.— Она потопталась в нерешительности и, указав на кровать, где еще оставалась вмятина от тела покойного, сказала сдавленным голосом:— Если бы не он, мы бы уже давно были далеко.— Вынула еще две кипы белья и положила на одеяло. Вдруг разозлилась: — Берите же, спускайте в повозку, потом поднимитесь за матрацами.

Пабло сошел вниз и, забравшись в бричку, принялся укладывать вещи.

— Оставайся здесь, мы тебе матрацы через окно спустим,— сказал старик.— Ах ты господи, глаза бы мои не глядели.

Надо было удержать хозяйку. Она просто обезумела, ей все хотелось взять, она готова была перевернуть весь дом вверх дном. Старик, наконец, рассердился.

— Ты совсем рехнулась,— сказал он.— Знаешь ведь сама, у тебя всего одна кобыла с бричкой. Это ведь не две пары быков, запряженных в телегу. Конечно, если хочешь через двести метров выбросить половину своего добра, делай как знаешь!

Хозяйка была сама не своя. Лицо искажено, волосы растрепались. Она металась по комнатам, хватала вещи, переставляла с места на место.

— Послушай,— сказал Хромой,— если боши войдут в дом, им достаточно будет дверь открыть. Увидят такой беспорядок и уберутся ко всем чертям. Подумают, здесь уже до них все разграбили.

Хозяйка упала на стул и разрыдалась. Пабло подошел к ней.

— Хозяйка,— сказал он тихо,— если вы решили ехать, ждать больше нельзя.

Старик сел рядом с ней и заговорил тихо, почти шепотом:

— Вот что надо сделать. В моем домишке беречь нечего. Оставишь мне ключи, и я здесь поселюсь. Если они придут, не надо, чтобы дом пустой был.

Хозяйка перестала рыдать. Со слезами на глазах она посмотрела на старика и покачала головой.

— Вы понимаете, какой опасности себя подвергаете? — спросил Пабло.

— Да что мне сделается? Такого старика они не тронут, бояться мне нечего. Итак, вы меня оставляете, только не надо уходить в Жерюжские леса. Ни к чему такой длинный путь. И потом, по этой дороге боши тоже могут идти.

— Но куда же нам деваться?

— В Брюли. Правда, дорога наполовину заросла ежевикой, но бричка по ней должна проехать. Вороная крепкая, нога у нее твердая, и я еще не видал, чтобы она упрямилась на косогоре. Пусть Паб-

ло на всякий случай захватит садовый нож — вдруг трудно будет проехать. Вот и все.

— Вы думаете, место надежное?

— Самое что ни на есть наилучшее. Как до переката доберетесь, очутитесь в роще из буков и акаций, а дальше там будет небольшое ущелье с источником Ружен, метрах в пятистах пониже. На самом верху — старый виноградник, оттуда вся равнина видна, будете в курсе событий.

Хозяйка встала, подошла к буфету, открыла дверцу и вскоре вернулась, неся кожаный футляр.

— Это полевой бинокль хозяина. Надо взять с собой.

Она вытерла слезы. Лицо еще оставалось напряженным, но во взгляде уже не было такой растерянности.

— Вы же ничего не ели,— сказала она Пабло.

— Обойдусь, я не голоден.

Теперь уже Пабло самому хотелось поскорее уехать.

— А скотина? — спросил старик.— Ты ведь знаешь, я доить не умею.

— Мы ее с собой уведем. Так надежнее,— ответила хозяйка.

— Что ты там будешь делать с молоком?

— Видно будет.

Жаннетта неподвижно сидела за столом перед пустой тарелкой и во все глаза смотрела на них.

— Пошли,— сказала хозяйка.

Девочка встала и последовала за ними. Скотина была еще в хлеву. Хозяйка пошла и выгнала ее.

— Берите Вороную и ступайте вперед,— сказала она Пабло,— а я со стадом пойду вслед.

— Нет, нет,— крикнул старик.— Наоборот. Пропустите стадо вперед. Они путь протопчут, и Вороной будет легче.

Подгоняя перед собой пять коз и корову, хозяйка и Жаннетта вышли со двора. Пабло пропустил их немного вперед.

— Послушай меня,— сказал старик.— Я уверен, вам ничто не грозит, но ведь всякое может быть, и если я вдруг ошибусь и мне надо будет вас предупредить, я попрошу Маргариту, чтоб она меня тут заменила, и поднимусь к вам.— Он пожал руку Пабло, потрепал по шее Вороную, прибавил: — При подъеме держи ее крепче и, если почувствуешь, что она слабеет, сунь задок повозки в кусты. Этак лучше, чем калечить животное.

Пабло поблагодарил старика и повел Вороную. На перекрестке он обернулся. Хромой стоял у ворот и махал ему рукой.

22

Земля Брюли превратилась в настоящую целину. В течение многих лет виноградник оставался заброшенным, плетни повалились на дорогу, по которой больше не ездили телеги. Но, несмотря ни на что, они довольно легко добрались до рощи из буков и акаций на самой вершине холма.

На верхней площадке Пабло остановил Вороную в тени и вытер потный лоб. Дорога сильно заросла, и Пабло часто приходилось прибегать к садовому ножу, чтобы расчистить путь. Было еще и другое. Во время длинного подъема он все время беспокоился за кобылу: боялся, что ее перегрузили, что она не выдержит. Лошадь с трудом переступала по камням, катившимся из-под копыт. И еще он все время думал о тех трех самолетах. Старался не думать, гнал эти мысли, но ничего не получалось.

До самого сегодняшнего утра еще был хозяин. А потом хлопоты, связанные с похоронами. Была смерть, которой занимались все. И пока хозяина не похоронили, война оставалась на втором плане.

И вдруг в одно мгновенье она пришла сюда. Как только пролетели три самолета, как только вдали раздались взрывы, война пришла сюда. Пабло чувствовал, что она идет за ним по пятам.

Он чувствовал ее, как чувствовал усталость в течение долгих дней. Бороться бесполезно, Пабло знал. Это устойчивая болезнь, одна из тех, про которые врачи говорят: «Пусть течет своим чередом».

Только что ему хотелось бежать. Он чувствовал, что это необходимо. А теперь уже спрашивал себя, зачем они сюда забрались.

Решив дать кобыле передохнуть, Пабло вернулся к тому месту, где вдоль заброшенного виноградника росли кусты. Отсюда и в самом деле открывался вид на всю равнину.

Далеко внизу вилась дорога.

Пабло, затаившись, смотрел поверх неподвижных веток.

Его наполняла тревога. Он знал, что через мгновенье все может измениться. Давящая солнечная тишина может разорваться, и небо покроется пылью и дымом. Вдруг он ощутил страшный вкус пороха, и у него возникло странное ощущение, будто он поднялся сюда, чтобы лучше увидеть то, что произойдет. Увидеть войну.

— Пабло!

Он вздрогнул, сердце бешено заколотилось. Он обернулся. Хозяйка поднималась к нему. В маленьком ущелье, сплошь заросшем кустарником, опираясь на палку, неподвижно стояла Жаннетта. Она стерегла корову и коз.

Он вернулся к повозке, к нему подошла хозяйка.

— Ну как,— спросила она,— что скажете?

Он посмотрел вокруг. Лесок, в котором они расположились, находился на самом гребне.

— А источник? — спросил Пабло.

Хозяйка протянула руку и показала туда, где паслась скотина.

— Видите дорожку, она зеленее, чем все остальное. Там он и прячется. Весь зарос травой, но вода чистая, холодная. Видите, вода бьет из-под земли за скалой, чуть выше того места, где стоит девчонка.

Пабло осмотрелся еще и сказал, вспомнив, что им объяснял Хромой:

— Честно говоря, старик прав, здесь спокойнее. Ну кто сюда пойдет?

— Кроме охотников, здесь никто не бывает.

— Самое бы лучшее устроиться на опушке леса. Солнце не печет и с равнины не заметят.

Здесь была тишина. Слышалось только жужжание мух, привлеченных Вороной. Взяв лошадь за уздечку, Пабло медленно повел лошадь вперед. Здесь уже не было дороги, и повозка подпрыгивала на неровной земле. Немного проехав, Пабло остановился и спросил:

— Где будем устраиваться? Здесь?

Хозяйка осмотрелась.

— Все равно, здесь или дальше, какая разница?

Пабло распряг кобылу.

— Мне кажется, можно оставить ее на свободе. Далеко не уйдет.

Они начали устраиваться, а Вороная, словно удивляясь, что ее не привязали на этом незнакомом лугу, долгое время стояла и смотрела на них.

— Ну иди же, иди! — сказала хозяйка.

Очистив землю от колючек и больших камней, они натянули большую брезентовую палатку. На это у них ушло все время до полудня. Потом хозяйка позвала Жаннетту и вынула провизию. Разморенные жарой, они молча поели.

После еды делать было нечего. Сначала Пабло, растянувшись на траве под деревьями, попытался уснуть, но было очень жарко, и на-

зойливые мухи не давали ни минуты покоя. Сквозь полузакрытые веки он наблюдал за хозяйкой. Сидя под деревом, она развернула старую газету, извлеченную из кучи вещей. Просмотрела ее и положила рядом. Потом вошла в палатку, но там было, наверное, еще жарче. Она сразу вышла и принялась ходить под деревьями, отошла подальше, села на сваленное дерево. Кончилось тем, что Пабло тоже встал. Подошел к Вороной. Кобыла уже не щипала траву, а стояла неподвижно под деревьями. Он погладил ее, дал корочку хлеба и, подойдя к хозяйке, по привычке спросил:

— Что мне теперь делать?

Хозяйка посмотрела на него. На лице ее появилась чуть заметная грустная улыбка, она подняла было руки и тотчас со вздохом опустила на фартук.

— А что здесь можно делать?

— Да, конечно, конечно,— согласился Пабло.

Некоторое время они стояли неподвижно, опустив руки. Они смотрели сквозь деревья вниз, в ущелье, где Жаннетта в тени кустарника караулила маленькое стадо.

Через несколько минут хозяйка, вздохнув, посмотрела на Пабло. Пабло тоже вздохнул. Затем, будто сговорившись, они направились к гребню холма. Шли они медленно, словно несли огромную тяжесть. Добравшись до опушки, они пошли вверх меж кустов к самой высокой точке заброшенного виноградника.

Здесь было настоящее пекло. Между старыми виноградными лозами, кое-где еще цеплявшимися за колья, росла порыжевшая трава. А внизу расстилалась серая равнина. И по ней пролегала дорога, шевелившаяся словно живая.

— Движение как будто стало меньше,— заметил Пабло.

— Да, надо было бинокль взять.

— Хотите, схожу?

— Да мы и так увидим — только приглядеться надо.

— Нет, я лучше схожу.

Пабло быстро проделал обратный путь до повозки. Пока он шел, рылся в вещах, искал бинокль, ему как будто дышалось легче. Но как только вернулся к хозяйке, его снова охватило смятение.

Они по очереди рассматривали дорогу. В основном шли пешеходы, ехали велосипедисты да повозки, запряженные лошадьми. Автомобилей и грузовиков было мало, а солдат вообще почти не было. В канавах валялось множество брошенных вещей.

— Если бы только узнать, где он,— сказала хозяйка.

— Вы же знаете, раз он не был на фронте, значит, они давно уже все уехали. Может, ему сейчас спокойней, чем нам.

И снова воцарилась тишина. Тишина, обступившая их, как только они оказались здесь. К тяжести тишины прибавлялась тяжесть жары — потому-то и было так трудно дышать. Даже когда они разговаривали, тишина не исчезала. Лишь отступала немного, но чувствовалось, что она здесь, окружает их, подстерегает. Она была под кустами, в лесу, лежала на раскаленной земле.

Даже дорога как будто вымерла.

Взглянув на склон холма, на котором они стояли, Пабло спросил:

— Почему это место называют Брюли?

— Точно не знаю. Отец говорил, что урожаи здесь всегда получались очень хорошие из-за воды. Здесь ведь под горой вода. Но когда наступало время уборки, все сгорало. Да и сейчас старики утверждают, что сгорало не от огня, а от солнца. Наверное, и от того, и от другого. Ведь холм смотрит на юг, он единственный в наших краях такой, сами видите, как здесь печет. Так что вода водой, а виноград все равно сгорает.

Они медленно вернулись в лес, и сначала им показалось прохладно в тени деревьев.

— Ну, а виноградник? — спросил Пабло.

— Теперь забросили его. Подъем слишком крутой. Лошади, запряженной в плуг, не подняться. Надо все делать руками. И слишком далеко от деревни. А жаль: из этого винограда самое лучшее вино в округе делали. И потом после каждого дождя почву смывает и ее надо носить сюда на своем горбу. Это уже не работа в наше время.

Вернувшись к палатке, они растянулись в теплой траве.

Пабло закрыл глаза. Время остановилось. Все остановилось. И война тоже, должно быть, остановилась, не успев докатиться до равнины.

23

С тех пор, как Пабло приехал на ферму, время впервые как бы остановилось. Пабло был будто слепой, у которого ни на что не натыкается палка. Никогда еще с ним этого не случалось. Даже в лагере в дни полного безделья с ним была Марианна. Конечно, она и сейчас не покидала его. Она всегда была рядом, но образ ее расплывался, словно подернутый туманом. Часы шли, а в бездонном небе невидимо перекатывалось время.

Пабло продолжал лежать на земле. Лежал долго. И чувствовал, как в нем что-то растет, пробивает дорогу, точно кровь — в венах. И когда это что-то заполняло его целиком, он вставал и шел по лесу к гребню холма. Иногда хозяйка сопровождала его, но чаще предоставляла ему одному подниматься.

Шел он уверенно, большими шагами, как человек, который знает, куда идет, и не может терять времени. Он продирался сквозь кусты и останавливался на гребне.

Пабло тщательно осматривал равнину. Смотрел на нее долго. Но особенно пристально смотрел на дорогу. И всегда на север.

И всегда перед ним расстилалось безжизненное, неподвижное пространство, а шум на дороге скорее напоминал гудение насекомых, мерное, монотонное, не похожее на жизнь.

И ночь была такая же пустая, как день. Теперь усталость уже не сваливала Пабло, не заставляла его засыпать. Он ходил в каком-то полусне, ему никак не удавалось уснуть по-настоящему.

Так прошло два дня и две ночи.

Три раза в день они ели, по вечерам привязывали животных к деревьям и ложились спать под брезентом. Там было много места. Они не касались друг друга, но Пабло часто бесшумно выходил и ложился на голой земле. Но и там была та же пустота. В небе, в которое ему так хотелось погрузиться, лишь безжизненными туманностями светили звезды.

На третье утро, как только хозяйка вылезла из-под брезента, Пабло поднялся.

— Ну что? — спросила она.

— Пойду посмотрю,— сказал Пабло.

Это были почти единственные фразы, которыми они обменивались за весь день. И Пабло знал, что, когда он вернется, хозяйка еще раз спросит: «Ну что?», он ответит: «Ничего» — и снова сядет на траву.

Пабло отвязал Вороную, погладил ее и, как только она направилась к источнику, пошел вверх по лесу. Было уже жарко, нигде никаких признаков росы.

Продравшись сквозь кусты, Пабло остановился и окинул взглядом дорогу: сначала посмотрел вправо, потом прямо до деревни и дальше — до того места, где все сливалось, смешивалось в серо-зеленую массу.

Ничего. Дорога была пуста. Лишь несколько брошенных машин. На проселках тоже не было признаков жизни.

Пабло недоумевал. Снова вернулся в лес, еще раз посмотрел на дорогу, обвел взглядом равнину и, затаив дыхание, прислушался.

Ничего.

Тогда он спустился к палатке. Он шел быстро, и, увидев его, хозяйка спросила:

— Ну что?

Но задала свой вопрос не так, как всегда. В голосе что-то изменилось. Пабло снял висевший на дереве бинокль.

— Идемте,— сказал он,— идемте.

Жаннетта стояла у палатки и смотрела на них.

— Надо скотину отвязать,— сказала хозяйка.

Почувствовав себя на свободе, маленькое стадо двинулось в ущелье.

Жаннетта подобрала палку и пошла следом.

— Быстрее,— попросил Пабло.

— Что случилось?

Пабло не ответил. Хозяйка молча шла за ним. Поднявшись на гребень, они увидели, что дорога пуста. Некоторое время они молча смотрели, потом хозяйка спросила:

— Как вы думаете, что это значит?

— Не знаю.

— Думаете, они придут?

— Безусловно.

— Значит, их ничем не остановить?

Пабло напряг слух, постоял в нерешительности. Потом сказал:

— Ничего не слышно.

— Дойти бы по гребню до Журденских лесов. Оттуда деревня видна, может, я что увижу.

Пабло посмотрел на нее. Она казалась спокойной. Странно. Сам он весь дрожал, обливаясь потом.

— Нет,— сказал он.— Если хотите, пойду я. Но думаю, лучше оставаться здесь. Не надо показываться.

— Но можно незаметно идти вдоль гребня.

— Так всегда думают. А потом попадают под пулю.

Хозяйка была явно удивлена. Посмотрела на него и спросила:

— Кто же стрелять-то будет? Ведь никого нет.

Пабло попытался взять себя в руки. Надо совладать с собой, унять дрожь. Но что-то поднялось в нем вдруг. То, что давно уже тлело, как огонь в мокрой траве.

Он схватил хозяйку за руку и потащил в кусты, крича:

— Нет! Нельзя! Вы не знаете, что это такое. С минуты на минуту они могут появиться здесь и начнут стрелять во все, что движется, без разбора. И в домах тоже всех убьют. Всех! Всех! Они убивают всех! Это и есть война! А на войне надо убивать! Убивать все живое! Это закон войны, вы не понимаете... Убивать! Так надо!

Он задохнулся. Гнев застилал ему глаза, сжимал горло. Он стоял перед хозяйкой, продолжая крепко держать ее за плечи, а она с недоумением смотрела на него. Порывисто дыша, он кричал хриплым голосом. И видел себя со стороны. Смешной, нелепый.

Они были единственными живыми существами на огромном пространстве, и ему было страшно. Страшно до ужаса. Ему не было стыдно за свой страх — он видел все это как бы со стороны. Глупый страх, беспричинный, но он ничего не мог с собой поделать.

Хозяйка дала ему выговориться. Слова выскакивали, как бьющая через край вода. Внезапно он замолчал. Пальцы его разжались, отпустили плечи женщины — на них остались красные пятна. Руки Пабло бессильно повисли вдоль тела. И снова воцарилась тишина,

еще более гнетущая; теперь уже хозяйка взяла Пабло за руку и повела к палатке.

— Идемте,— шептала она.— Идемте. Сейчас поедим... Вам надо подкрепиться.

А Пабло словно выпотрошили. Внутри ничего не осталось: ни страха, ни гнева, ничего — только шум в ушах, более глухой, чем жужжание насекомых, только белый туман, более слепящий, чем солнце.

Он позволил ей вести себя, как ребенка, до самой палатки.

24

Хлеб, хоть и был завернут в салфетки, но начал черстветь, хозяйка и Пабло кусали его маленькими кусочками, медленно жевали. Лишь время от времени останавливались отхлебнуть глоток прохладного вина, принесенного хозяйкой из-под скалы у источника.

Пабло ни о чем не думал. Голова его по-прежнему была пуста, но кровь постепенно успокоилась. Он смотрел на хлеб и сало. Смотрел на нож с лоснящимся от жира лезвием. Смотрел на вино, в котором играло солнце.

Все это — мир. Предметы мирного времени. Предметы, которые войне не знакомы, у войны нет времени замечать их. И пока Пабло ел, мир постепенно входил в него. Входил медленно, а прохладное вино, проникая внутрь, тут же согревалось.

Пабло посмотрел вниз, в ущелье, на склоне которого, у куста, стояла Жаннетта. Палка лежала рядом, девочка тоже ела хлеб с салом, который отнесла ей мать, когда спускалась за вином.

Жаннетта — это тоже мир.

Потом Пабло посмотрел на хозяйку. Она улыбнулась ему, как бы спрашивая: «Ну как? Лучше стало?» Он опустил голову и снова принялся за еду.

Пабло почти доел хлеб, когда услышал блеяние коз. Он поднял голову. Животные мчались галопом. Две козы летели прямо к палатке, другие карабкались по противоположному склону.

— Что это с ними? — воскликнула хозяйка.

Они оба вскочили. Жаннетта тоже бежала по противоположному склону, но не так быстро, как козы.

Пабло положил хлеб и кинулся к источнику.

Спускаясь вниз по склону, он повстречался с двумя козами, удиравшими сломя голову. Внизу Пабло перепрыгнул через ручей и очутился на том месте, где Жаннетта оставила палку. Он уже собрался лезть на косогор следом за ней, как вдруг в нескольких шагах от него зашевелилась трава. Он постоял в нерешительности, потом подобрал палку Жаннетты, подошел к змее,— та замерла. Он видел только ее тело и хвост, голова спряталась за большим камнем.

Пабло напрягся, затаил дыхание и стал медленно-медленно поднимать руку. И палка, рассекая воздух, вдруг со свистом ударила по земле. Змея дернулась, закрутилась и начала извиваться, показывая белый живот. Палка ударила еще дважды. Пабло посмотрел дальше — там тоже что-то шевелилось. Еще одна змея скользила, извиваясь, между пучками травы. Пабло прыгнул и трижды ударил — ловко, точно, стремительно. Однако еще две змеи показались в нескольких шагах от него и смотрели на Пабло блестящими глазами.

— Хозяйка! Хозяйка! — кричал он.— Быстрее, быстрее сюда с палкой.

Она уже бежала по склону с двумя толстыми ветками. Взяв себя в руки и не теряя из виду обеих змей, Пабло стал ждать. Подходя к нему, хозяйка замедлила шаг. Он протянул руку и помог ей перепрыгнуть через ручей. Она раскраснелась, порывисто дышала. По лицу ее струился пот.

— Много их? — спросила она.

— Вот здесь две и там еще ползут.

Ветки были более гибкие, чем палка Жаннетты. Пабло взял одну. Протянув руку, он указал на пучок шевелящегося пырея.

— Видите? — спросил он.

— Да.

— Идите туда, а я постараюсь одним ударом убить этих двух.

Они прикончили всех змей, затем внимательно огляделись. Ничто больше не шевелилось в траве. Тогда они посмотрели друг на друга и, расхохотавшись, принялись вытирать пот с лица.

— Невероятно,— сказал Пабло.— Я никогда ничего подобного не видел.

— Молоко,— сказала она, едва переводя дух,— молоко... Я про него вспомнила, когда увидела, как вы их лупите.

— Молоко? — переспросил Пабло.

— Ну да, я здесь доила, вот они и приползли.

В первый день хозяйка попыталась сделать сыр из козьего молока, но из этого ничего не вышло. С тех пор она доила коз даже без ведра. Набирала молока, сколько нужно на день, а остальное лилось на землю.

— Что это за змеи? — спросил Пабло.

Хозяйка посмотрела на них.

— Один — уж, остальные гадюки. Вы их не различаете?

— Нет, не очень.

Они обернулись и посмотрели на откос. Козы стояли на опушке леса и рядом с ними Жаннетта. Мать поманила ее, но девочка не сдвинулась с места. Оба с улыбкой переглянулись, и хозяйка стала ворошить змей концом палки, объясняя, как их можно распознать.

— Думаете, они еще приползут? — спросил Пабло.

— Может, и приползут. Надо следить.

— Это хорошо, что удалось их всех перебить.

Хозяйка рассмеялась:

— Вы же понимаете, в мирное время никто не станет выливать молоко на землю, чтоб истреблять змей!

Они пошли наверх к лесу.

— Надо будет спуститься и зарыть их в землю,— сказала хозяйка.— А то при такой жаре как бы зараза от них не пошла.

Подойдя к палатке, Пабло подобрал остатки хлеба и снова принялся есть. Было очень жарко, но он чувствовал себя хорошо. Тяжесть, которая томила его много дней, исчезла.

Когда хозяйка вместе с Жаннеттой и козами подошла к нему, он сказал:

— Немного погодя я спущусь посторожу. Если они еще вылезут, надо воспользоваться случаем и избавиться от них.

— Я пойду с вами. Сегодня вечером оставим молоко. А завтра разольем в тарелки, чтобы не сразу на землю выливать.

— Уверен, что мы еще не одну убьем.

— Только вот там внизу сейчас очень жарко.

— Можно сделать навес из веток у источника.

— Это правильно, надо попробовать.

Они оживились и еще долго разговаривали. Мало-помалу разработали план кампании по уничтожению всех гадюк в ущелье.

— Вот никогда бы не подумала, что их так много,— сказала хозяйка.— Но если пораскинуть мозгами, так для змей здесь самое место. Им тут спокойно.

— Из-за скотины надо быть внимательней.

Они нашли такое место, где стадо будет в большей безопасности, и хозяйка позвала Жаннетту.

— Видишь,— объяснила она,— с этой стороны ручья нет камней. Лучше, чтобы скотина отсюда не уходила.

Девочка направилась туда со своим стадом, а они стояли и смотрели ей вслед.

— Вот что,— сказал Пабло,— нужны хорошие прутья, чтоб их удобно было в руках держать и чтоб были гибкие.

Пабло взял садовый нож и пошел на опушку леса, где рос орешник. Выбрал ветки, нарезал, очистил от листьев. И каждый раз, когда прут был готов, он со свистом рассекал им воздух, ударяя несколько раз по земле. Трава ложилась как скошенная.

Когда он вернулся к палатке, хозяйка сама проверила несколько прутьев.

— Хорошие,— сказала она,— то, что надо.

— Теперь пойду нарежу веток для навеса, чтобы у нас тень была.

— Я пойду с вами. Разложу их по размерам,— сказала она.

Они углубились в лес, и Пабло принялся срезать ветки.

Хозяйка собрала порядочный пучок, затем, подойдя к Пабло, крикнула:

— Стойте-ка!

Пабло замер, не выпуская из руки надрубленную ветку. Гул последнего удара унесся в глубь ущелья и там затих, словно поглощенный жарой, источаемой землею и небом. Глядя друг на друга, оба напрягли слух.

С равнины поднимался глухой грохот.

Пабло вонзил нож в ветку и сказал:

— Пошли.

Проходя мимо палатки, хозяйка взяла бинокль, и они быстро поднялись на вершину холма.

Не успели они выйти из кустов, как перед ними открылась дорога. Она была пуста. По-прежнему ничего, кроме брошенных машин. Они сделали несколько шагов вперед, чтобы взглянуть на север.

Там, по шоссе, от которого дальше отделялась дорога к деревне, медленно двигалась колонна машин.

С минуту хозяйка смотрела в бинокль. Потом передала его Пабло, подождала, пока он настроит его по глазам, и спросила:

— Ну что? Что это?

Несколько минут Пабло стоял неподвижно, потом опустил бинокль и, повернувшись к хозяйке, просто ответил:

— Я думаю, сомневаться нечего: это они.

— А что там впереди — танки?

— Да, четыре легких танка, а сзади грузовики...

— Смотрите, смотрите,— шептала хозяйка.

Пабло снова повернулся. На дороге показались два мотоциклиста в серых касках — они явно поджидали колонну.

— Эти точно из деревни приехали,— сказала хозяйка.

И оба, не сговариваясь, посмотрели на выступ холма, загораживавшего от них деревню. Они так стояли долго, затаив дыхание. Наконец, хозяйка спросила:

— Думаете, они там что-нибудь натворили?

— Во всяком случае, дыма не видно и не было слышно выстрелов.

Подъехав к мотоциклистам, передние танки приостановились. Вся колонна замедлила движение. Потом, как только мотоциклисты тронулись, колонна снова двинулась в путь. Мотоциклисты вынырнули напротив холма Брюли и исчезли в южном направлении.

Пабло снова поднес бинокль к глазам и поверх кустарника смотрел на движущуюся колонну. Он отчетливо видел людей, торчавших из башенок танков. Видел тех, кто вел грузовики. Пабло передал бинокль хозяйке, и та следила за солдатами, пока они не исчезли. Долго они с Пабло стояли неподвижно. Проехали еще

два грузовика, быстрее предыдущих. Подъехав к брошенным автомобилям, они остановились, и солдаты столкнули машины в канаву. Через несколько минут проехала еще группа мотоциклистов. И все.

Солнце жгло равнину, танцевали дали. Давно затих гул моторов, и лишь нескончаемо жужжали насекомые.

Пабло и хозяйка постояли еще друг против друга, потом, ни слова не говоря, опустив глаза, пошли в свой лагерь.

25

Остаток дня тянулся бесконечно долго. Сперва они начали мастерить навес около источника. Потом, перед обедом, поднялись на гребень и посмотрели на дорогу. Транспортной колонны больше не было — лишь время от времени проедет легковая машина или грузовик. Покончив с едой, они опять поднялись на гребень, потом вернулись под навес и больше часу сидели там молча, отгоняя слепней. Вся дневная жара сгустилась на дне ущелья. Свет нестерпимо резал глаза, раскаленный воздух жалил, жег вспотевшую кожу.

Первой не вытерпела хозяйка, она быстро сняла сабо и ступила в прохладную воду.

— Нет нужды задыхаться здесь,— сказала она.— Они больше не появятся.

Зачерпнув пригоршню воды, она сполоснула лицо. Пабло последовал ее примеру, потом они снова вернулись в лес.

В лесу было легче, не так жарко, да и вода, стекавшая по спине, немного охлаждала.

Однако они уже не могли сидеть спокойно. Раз двадцать поднимались на гребень и осматривали дорогу, и каждый раз хозяйка говорила:

— Все же очень хочется пойти взглянуть, что там у нас делается.

И каждый раз Пабло повторял, что не стоит рисковать.

Он уже не испытывал непреодолимого страха, но его лихорадило и решительно все раздражало; раздражение усиливала жара, все более изнуряющая, назойливые мухи, преследовавшие их, и время, утратившее свое нормальное течение. То оно мчалось галопом, то останавливалось и возвращалось назад.

Наконец солнце начало опускаться к равнине и ушло в плотный фиолетовый туман. Пока хозяйка занималась скотиной и готовила еду, Пабло несколько раз проделал путь от их стоянки к вершине. Когда он объявил, что на горизонте скапливаются тучи, хозяйка сказала:

— А я и не сомневалась, что так будет. Сегодня день был ужас какой. Ночью наверняка налетит гроза.

Они поели, хозяйка уложила спать Жаннетту и, убедившись, что она спит, снова вышла из палатки.

— Ну вот,— прошептала она,— теперь можно и сходить.

Сначала они шли вдоль ущелья, постепенно поднимаясь к вершине. Хозяйка шла впереди, время от времени останавливалась и прислушивалась. Луны не было, но небо, усеянное звездами, источало свет, не дающий теней.

Подойдя к Журденскому лесу, они долго стояли и прислушивались. Деревня была совсем рядом. Только пересечь лес и сбежать вниз по склону. Но за деревьями — темная ночь, там неизвестность, там прячется тайна дней, в течение которых могло произойти много всякого. Они еще раз прислушались, потом хозяйка начала искать тропинку через лес.

Найдя ее, она снова остановилась. Пабло подошел к ней вплотную и прошептал:

— Это единственная тропинка?

— Да.

— Тогда давайте я пойду вперед. Я не ошибусь.

— Почему вы?

— Пропустите.

Он слегка отстранил ее и углубился под темный свод деревьев. Здесь было черным-черно, и он шел почти наугад. А когда останавливался, всякий раз чувствовал на шее учащенное дыхание хозяйки, которая шла, чуть не тыкаясь ему в спину.

— Я думаю, теперь направо,— шепотом говорила она.— Или налево. А может, и прямо.

Она шептала Пабло в самое ухо, чуть не касаясь его губами.

То и дело вспархивали испуганные птицы, и каждый раз Пабло вздрагивал. Внезапно между веток и стволов впереди мелькнул яркий свет.

Пабло пригнулся, но хозяйка тотчас сказала:

— Это молния, только она далеко, в долине Соны.

Наконец они вышли на вершину холма.

Внизу едва угадывалась тонувшая во тьме равнина.

— Надвигается гроза,— сказала хозяйка.

И в самом деле, на горизонте сверкали бесшумные молнии, и с неба исчезли звезды. Они немного прислушались, потом хозяйка пошла направо вдоль кромки леса.

— Надо дойти до луга Бриодов; оттуда хорошо видно.

Через несколько минут они дошли до пустоши и, цепляясь за кусты ежевики, пересекли ее. Перед ними возникла живая изгородь выше человеческого роста.

— Тут где-то есть проход, надо его найти.

Вскоре хозяйка остановилась, встала на колени и скользнула в гущу кустов боярышника. Пабло в свою очередь наклонился и попытался пролезть следом за ней. Она пододвинулась, давая ему место, затем взяла за руку и поташила вперед.

— Ползите рядом, здесь спуститься нельзя — крутой откос.

Пабло полз бок о бок с женщиной. Немного продвинувшись вперед, он увидел, что луг — далеко внизу, а живая изгородь посажена по краю почти вертикального откоса. Дальше за лугом спускались виноградники, а сразу за ними виднелись деревья, посаженные вдоль дороги, что вела к мельнице и в деревню.

Крыши домов едва угадывались, но Пабло казалось, что они здесь, рядом. Стоит только раздвинуть ветки, наклониться немного вперед, протянуть руки — и до них можно дотронуться.

Рядом зашевелилась хозяйка. И прошептала ему в ухо:

— Кажется, будто мы совсем рядом, но ночью в темноте и ошибиться можно.

— Ни одного огонька не видно.

— Нет, хотя прежде люди не очень-то стеснялись зажигать свет.

— Должно быть, боши отдали приказ гасить свет,— немного подумав, сказал Пабло.

— Так что же они — там, у нас?

— Возможно.

Они помолчали. Медленно приближались молнии, и тьма, уходя с равнины, поднималась в небо и постепенно гасила звезды.

— Может, там караульные,— прошептал Пабло.

Хозяйка снова пошевелилась, и он повернулся на бок, чтобы дать ей больше места. Теперь они лежали почти лицом к лицу. Он чувствовал своей щекой дыхание женщины, а телом — ее тепло.

Внизу не было заметно признаков жизни.

Хозяйка положила ладонь на руку Пабло. И вдруг стиснула ее.

— Посмотрите туда,— прошептала она.

Пабло повернул голову. Слева далеко, очень далеко поднималось фиолетовое с оранжевым отливом пламя.

— Что там? — спросил он.

— Там Лион, но я не знаю, где пожар — ближе или дальше города.

Они молча смотрели, потом она сказала:

— Должно быть, город горит.

— Нет,— ответил Пабло,— судя по цвету пламени, пожар не обычный, скорее всего горит склад с горючим.

Целых полчаса глаза их были прикованы к этой точке на горизонте, где дрожало пламя большого пожара, освещавшего порой снизу облака.

Наконец пожар стал затихать. Послышались раскаты грома, и вскоре порыв ветра пронесся по холму. Изгородь ожила, зашевелилась, зашептала, потом все стихло и снова началось с прежней силой.

Пабло почувствовал, как дрожит женщина.

Она прижималась к нему все сильнее. Ее горячая грудь касалась его груди, лица их то и дело соприкасались.

— Надо возвращаться,— сказал Пабло,— гроза приближается.

— Она еще далеко.

— Вам не холодно? — спросил он.

— Нет.

Пабло поднялся первым. Потом наклонился и подал руку хозяйке, чтобы помочь ей встать на ноги. Рука у нее была влажная и слегка дрожала.

— Скорее,— сказал он.— Если разразится гроза, девочка проснется, увидит, что осталась одна, и еще испугается.

Хозяйка молча пошла вперед.

Теперь земля пела. Все двигалось, все жило. Ветер дул со всех сторон, лес шелестел листвой.

Они пересекли его не останавливаясь. Молнии освещали стволы, на мгновенье вырывая их из темноты и выстраивая длинными шеренгами.

Затаившаяся в ущелье между двух холмов жара ударила им в лицо. На миг у них перехватило дыхание. Но тут сверкнула молния, и почти сразу раздался треск, как будто огромное дерево рухнуло на кучу сухих сучьев. Они побежали, но дождь уже начался. Сначала ударило несколько крупных, точно градины, капель, потом дождь полил как из ведра.

К палатке они прибежали уже мокрые насквозь.

Нырнув под брезент, Пабло чиркнул зажигалкой. Хозяйка упала рядом с ним. Она полулежала на земле, опершись на локоть, стараясь отдышаться. Вода струилась по лицу, пряди волос прилипли к щекам, ко лбу. Мокрое платье плотно облегало порывисто вздымавшуюся полную грудь. Глаза блестели в пламени зажигалки.

— Вот видите,— просто сказал Пабло.

Она, все еще не отдышавшись, улыбнулась.

— Да, гроза пришла быстрее, чем я думала.

Пабло посмотрел в глубь палатки. Там, завернувшись в одеяло, в том же положении, в каком ее оставила мать, с открытым ртом спала Жаннетта.

Порыв ветра приподнял брезент. Пламя накренилось и погасло. Напрасно Пабло щелкал зажигалкой.

— Кончился бензин,— сказал он.

— Неважно, делать-то сейчас все равно нечего.

Пабло услышал легкий шорох. Должно быть, хозяйка раздевалась.

— Не ложитесь в мокрой одежде,— сказала она,— так и простудиться недолго.

Пабло пошел к выходу.

— Куда вы? — спросила она.

— Пойду на скотину взгляну.

Он вышел. Дождь окутал его, ветер прилепил мокрую рубашку к телу. Он отошел на несколько шагов и остановился. Мало-помалу прохладная вода охладила его. Кровь меньше стучала в висках.

Гроза пронеслась, умчалась к горе. Но молнии продолжали пронизывать тучи и ударяли в землю, где бесновались деревья.

При вспышках их Пабло старался разглядеть животных. Привязанные на опушке леса козы и корова стояли неподвижно. Но Вороная нервничала. Она ходила взад и вперед, натягивая веревку.

Пабло подошел к ней и погладил, чтобы успокоить. Вода стекала по шее и крупу лошади, и Пабло чувствовал, как дрожит она под его рукой. Он отвязал ее и подвел к палатке. Там долго говорил с ней шепотом. Потом, когда гроза стала уходить, он выждал, пока кончится ливень, сходил за охапкой сена и долго вытирал Вороную.

Почти насухо вытерев лошадь, он погладил ее, еще немного поговорил вполголоса и, наконец, почувствовав, что она успокоилась, вошел в палатку.

Тихо разделся и завернулся в одеяло.

26

Улегшись, Пабло почувствовал, что дрожит. Вскоре, однако, ему стало жарко, он весь покрылся потом. Тем не менее он продолжал лежать, прислушиваясь к шуму ветра, сотрясавшего деревья и палатку. Дождь прекратился, но при каждом порыве ветра по брезенту стучали капли.

Жаннетта продолжала храпеть, но хозяйка долго не могла заснуть. Пабло слышал, как она вздыхает, ворочается. Ему хотелось встать и уйти в лес, побыть одному, растянуться на мокрой траве.

Он задыхался под брезентом. Воздух здесь был насыщен запахом тел, пота, дыхания.

Особенно тел — они дышали, жили, занимали место.

Но кроме распростертых тел здесь была еще Марианна.

В этот вечер Марианна возникла в палатке, более реальная, чем когда-либо. Пабло долго боролся с наваждением, боролся с воспоминаниями, с той лихорадкой, которая временами обрушивалась на него, как горячий ветер, проникший в дом.

Устав от этой борьбы, он в конце концов заснул.

И спал долго.

Когда Пабло проснулся, уже наступил день, и под брезентом он был один. Снаружи царила тишина. Одежда его была еще влажной. Он поискал другую среди тряпья, кучей сваленного в палатке, поспешно оделся и вышел.

Хозяйка поднималась из ущелья, где Жаннетта уже пасла стадо. Увидев Пабло, она улыбнулась.

— Добрый день...— сказал Пабло.— Я долго спал. Вам надо было меня позвать.

Хозяйка вздохнула, пожала плечами.

— Да нет, зачем же!

Лицо у нее сморщилось, она часто заморгала глазами. Пабло смотрел на нее, пока она вынимала хлеб из тряпки.

Ему хотелось сказать ей что-нибудь, но он не находил слов. Он повернулся к ущелью, где солнце разгоняло между кустами остатки прозрачного тумана.

— Гроза была недолгая,— наконец сказал он.

— Недолгая.

Снова наступила тишина. В воздухе уже стоял треск от насекомых. Прохлада, шедшая от земли, быстро испарялась под знойным небом. Снова предстояла жара. Пабло чувствовал ее кожей, чувствовал нутром вместе с тяжестью, которая давила его все предыдущие дни. И еще было что-то необъяснимое, порожденное одновременно

тишиной, хозяйкой и возвратившейся Марианной. Особенно возвратившейся Марианной.

— Вот,— сказала хозяйка,— ешьте.

Он вздрогнул, однако подошел и взял хлеб с сыром, который она протягивала ему.

— Спасибо,— сказал он и сел на пень в нескольких шагах от палатки.

Он жевал, не отрывая глаз от ущелья. Через несколько минут он повернул голову и взглянул на хозяйку. Она смотрела на него, но тотчас отвела глаза. Он нехотя ел сыр. Во рту была горечь, которая только усиливалась по мере того, как он ел. Он встал и направился к Вороной. Как только он подошел к ней, она уперлась мордой ему в грудь. Пабло посмотрел в сторону палатки — хозяйка сидела к нему спиной. Тогда он, продолжая смотреть на хозяйку, разломил хлеб на несколько кусочков и дал Вороной. Когда она все съела, он бросил остатки сыра в заросли ежевики. Потом долго гладил кобылу и, наконец, вернулся к палатке.

Хозяйка неподвижно сидела у входа и, положив локти на колени, пристально смотрела в одну точку на холме по другую сторону долины. Лицо у нее было по-прежнему жесткое, напряженное.

Пабло снова сел на пень. Порывшись в карманах, он нашел три окурка, вырвал листок из записной книжки и принялся скручивать цигарку. Но когда хотел чиркнуть зажигалкой, вспомнил, что в ней нет бензина. Он подумал о спичках, но они были в палатке, а он не мог туда войти, не побеспокоив хозяйку. Тогда он вынул цигарку изо рта и, чтобы не высыпался табак, скрутил ее с двух сторон и сунул обратно в карман. Потом вырвал травинку и стал жевать стебелек.

Так они сидели около часа.

Наконец, слева от них на гребне послышался шум скатывающихся камней. Пустяк, но они все-таки вздрогнули. Оба сразу повернули головы.

За кустами кто-то шел.

Пабло почувствовал, как забилось у него сердце. Он затаил дыхание. Чья-то тень скользнула за ветками и исчезла. Потом тень переместилась, и ветки раздвинулись.

— Хромой! — крикнула хозяйка.

Они одновременно поднялись и пошли навстречу старику, а тот, завидя их, замахал руками.

— Ну что? — спросили они.

Старик снял фуражку, вытащил из кармана большой клетчатый платок, вытер голову — редкие седые волосы его слиплись от пота.

— Дайте сначала дух перевести,— сказал он, тяжело дыша.— Бог ты мой, как высоко... Нет, я б сюда не стал подниматься ни за какие деньги.

Они дошли до палатки. Старик сел на пень, на котором прежде сидел Пабло, и залпом выпил стакан вина, который ему поднесла хозяйка.

— Ну что? — снова спросила она.

Старик вытер усы. В глазах светилась улыбка. Он еще раз глубоко вздохнул и сказал:

— Ну так вот, ей-богу, почти все по-прежнему.

— А боши?

— Во-первых, лучше вроде говорить «немцы» — так оно спокойнее.

— Но они там? У нас?

— Немало их приехало. И сразу все в мэрию.

— Что же они там делают?

Старик поколебался, посмотрел на хозяйку, перевел взгляд на Пабло, потом сказал:

— Едят.

Наступило молчание.

— Едят?

— Да, главным образом едят. Но, надо сказать, платят. И французскими деньгами, между прочим.

— Но что же они едят? — опять спросила хозяйка.

— А я почем знаю? Все, что попадет под руку, черт побери! Говорят, вчера в полдень четверо из них пришли к Жюльетте Руссэ. У нее была корзина, а в ней три дюжины яиц. Все купили. Потом пошли в кафе, велели приготовить омлет. Хотите верьте, хотите нет: омлет из трех дюжин яиц.

Пабло и хозяйка переглянулись.

— Из трех дюжин? — переспросила она.

— Жюльетта божится, что так. И служанка из кафе Нану сама показала нам скорлупки... Три дюжины — это не шутка... И съели запросто, без хлеба.

Хозяйка немного подумала, потом спросила:

— Ну, а как там дома-то?

— Твоя большая наседка, черная с белым, ты еще решила, что она пропала, так вот, она вернулась и привела за собой четырнадцать цыплят. Как раз вчера я нашел, где она их высидела. В жизни не угадаешь.

Хозяйка отрицательно покачала головой.

— В железном ломе, который в кучу за дровяным складом свален.

— Вот уж никогда бы не додумалась там ее искать... Да только четырнадцать цыплят в такое время все равно что ничего. Теперь уже хороших кур из них не получится.

— Подожди, ты вперед посмотри на них — такие крепенькие. Подкормить их немного, и они до первых холодов успеют подрасти.

Они помолчали, потом Пабло спросил:

— Немцы приходили на ферму?

— Нет, только проехали мимо, когда на шоссе возвращались. Я как раз во дворе был. Посмотрели на меня, но не остановились.

— А документы у населения не проверяют?

Старик, казалось, не понял.

— Чего-чего?

— Ну, не спрашивают у людей фамилию, документы?

Хромой явно удивился. Немного подумал, потом сказал:

— Ну чего ты мелешь-то. Ведь их там человек двадцать, не больше. Да если б они стали выяснять имена всех людей в округе, они б никогда не кончили. И потом, зачем им это?

— Значит, можно спускаться?

— Еще спрашиваешь! А то как же. Я-то нисколечко не сомневаюсь, что они нас не сожрут. Словом, кто уехал, пусть кусает себе локти, потому как неизвестно ведь, что теперь с ними будет.

Хозяйка встала, сделала несколько шагов, потом снова подошла к Хромому и спросила:

— Ну, а с войны вести есть?

— Много ходит разных слухов, но правды никто не знает.

Они снова помолчали. Хромой поднял стакан, стоявший в траве рядом с пнем, и протянул хозяйке. Она налила ему вина и спросила:

— А сейчас кто же дома-то остался?

— Да никого. Я запер двери, вот и все.

— Так ведь...

— А что может случиться, я же тебе сказал: все как было, так и есть.

Хозяйка заткнула бутылку и поставила ее в траву.

— Ну вот что,— сказала она,— нечего рассусоливать. Надо все

собрать и спускаться вниз. Не могу я быть спокойной, когда дома никого нет.

Она засуетилась — схватила корзину, переставила ее на другое место, забегала от палатки к повозке, потом, так ничего и не сделав, вернулась к мужчинам.

— Бог ты мой,— сказал старик,— да ты, я вижу, совсем растерялась, как в тот день. Послушай, если ты будешь так суетиться, то лучше забирай девчонку и скотину да иди вперед. А мы с Пабло соберем барахло и спустим все вниз.

Она посмотрела на Пабло.

— Хромой прав,— сказал он,— ясно, что вы торопитесь домой. Вот и идите, а мы займемся всем остальным.

Хозяйка спустилась к источнику и вскоре вернулась с Жаннеттой. В руках у них были прутья, и они погнали стадо к гребню.

— И приготовьте нам хорошей похлебки,— крикнул старик.— Она будет очень кстати, когда мы вернемся.

Мужчины стояли у палатки и смотрели вслед удалявшемуся маленькому стаду. На вершине холма хозяйка, подгоняя скотину, опередила Жаннетту и исчезла за кустами, а девочка еще поднималась вдоль леса. Она шла своим подпрыгивающим шагом, раскачивая плечами, и, тоже как бы подгоняя, время от времени помахивала прутом.

Вот на мгновенье силуэт ее задержался на фоне неба, еще раз прут рассек воздух, и все исчезло — остались лишь освещенные солнцем кусты.

27

Понадобилось добрых два дня, чтобы все привести в порядок. Целых два дня, так что едва хватало времени бросить беглый взгляд в окно или выйти во двор, когда раздавался треск мотоцикла.

— Видите,— говорил старик,— они на нас даже не смотрят.

И это была правда. Солдаты в серой или зеленой форме, в касках или пилотках, проезжавшие на мотоциклах или в легковых машинах, никогда не останавливались у фермы. К тому же к концу недели немцы вообще исчезли.

Война прошла мимо. Прошла по большой дороге. И лишь глубокой ночью, когда разразилась гроза, зажглись огни, отмечая место расположения войск. Вот и все.

Несколько человек отправились в Лон-ле-Сонье; вернувшись, они сказали, что и там все спокойно. Немцы заделали вырытые французами ямы возле старой городской стены Монморо, взяли в плен нескольких схваченных на месте солдат, но в общем ничего не изменилось.

Обитатели фермы, наведя порядок в комнатах, сразу вернулись на виноградники, чтобы наверстать упущенное время.

Весть о перемирии дошла до них, когда Пабло и Хромой вторично опрыскивали купоросом лозы. Перемирие произвело не больше шума, чем война,— никто не испытал особой радости, ни один виноградарь даже не прервал работы.

Хромой и Пабло возвращались домой в своей старой, потрепанной одежде, все голубые от купороса. Переодевались, умывались под краном во дворе и в ожидании ужина садились на пороге кухни.

Они молча сидели, не замечая, как постепенно надвигается ночь и сковывает воздух, а усталость сковывает им ноги.

Позади них две женщины сновали по кухне, готовя ужин и корм для скота. Порой хозяйка что-то отрывисто приказывала Жаннетте. Если девочка не понимала, она повышала голос и кричала, потом опять все замирало и только шарканье сабо по цементному полу нарушало тишину.

Дважды, когда хозяйка слишком долго кричала на девочку, та принималась плакать; тогда Пабло, не вставая, отодвигал занавеску и

заглядывал в кухню. И хозяйка тут же умолкала, зато Жаннетта если начинала плакать, то не унималась целый вечер. Она плакала весь ужин, глотая слезы вместе с едой. Пабло старался не смотреть на нее, но один звук ее рыданий портил ему аппетит.

Хозяйка, сумрачная и раздражительная, говорила только о работе.

Первое время старуха Маргарита приходила каждый вечер. Прямо с порога она спрашивала:

— Ну как? Есть новости?

Хозяйка качала головой, бурчала:

— Нет, ничего.

Потом однажды, когда Пабло был во дворе, старуха перед уходом сказала:

— Пожалуй, не стоит мне больше приходить, только бередить ей раны. Как будут вести, дай мне знать.

Так прошло много недель. И вот однажды вечером, вернувшись домой, мужчины почувствовали: что-то изменилось. Хозяйка, услышав скрип повозки, тотчас вышла на порог и пошла им навстречу со словами:

— Все в порядке, я получила письмо. Он в плену.

Мужчины спрыгнули с повозки.

— Ну вот видишь!— сказал старик.

И это было все. Как и в прежние вечера, ужин прошел спокойно. Время от времени Пабло бросал взгляд на хозяйку. Лицо ее стало менее напряженным, на лбу разгладились морщины.

Когда они кончили ужинать, Пабло спросил:

— Тетушка Маргарита об этом знает?

— Да,— сказала хозяйка.— Я сходила и известила ее.— Помолчала, посмотрела на Пабло, потом на старика, потом опять на Пабло и прибавила:— Когда я ей сказала, она заплакала... Поплакала, а потом мы вместе сходили на кладбище.

Во время работы мужчины часто вспоминали хозяина. Они говорили о нем без грусти. Чаще вспоминал его Хромой.

— Будь он здесь,— говорил Хромой,— остался бы доволен своим виноградником.

Дальше этого дело не шло. Работа подгоняла, каждое движение было рассчитано, и мозг подчинялся рукам. Не было времени горевать о мертвых. Сейчас — другое дело. Они посмотрели на конец стола, на пустое место хозяина, потом старик сказал:

— На днях выберем время и сходим туда.

— Да,— сказал Пабло,— сходим.

В тот же вечер, когда Хромой ушел, а Жаннетта поднялась к себе в комнату, хозяйка задержала Пабло.

— Мне надо спросить вас кой о чем.

— О чем же?

Она казалась смущенной. Они стояли между столом и плитой.

— Вы...— проговорила она наконец.— Я знаю, вам неприятно вспоминать об этом, но надо, чтоб вы мне сказали, как там, в этих лагерях для пленных.

Пабло глубоко вздохнул. Лицо его немного просветлело, но сразу же морщины снова прорезали лоб.

— Видите ли,— ответил он,— это вам ничего не скажет. Лагеря для французов в Германии, конечно же, совсем другие, чем те, в которых были мы.

— Вы думаете, с ними не будут плохо обращаться?

Пабло колебался. В глазах хозяйки было что-то такое, что говорило: она верит ему. Она в самом деле ждала от него правды.

— Конечно, им будет хорошо. Существуют ведь законы. Пленных должны щадить. И потом, лагеря наверняка находятся под контролем Красного Креста.— Он немного подумал и добавил:— К тому же, вот увидите, он скоро вернется: война ведь кончилась.

Пабло пожелал ей доброй ночи и поднялся к себе в комнату.

Закрыв за собой дверь и не зажигая лампы, он сел на кровать. Перед ним было широко раскрытое окно. Тихо дышала летняя ночь. Пабло встал и бесшумно подошел к окну. Он сел, положив локти на подоконник.

Пабло долго сидел неподвижно. Из-за холма вышла луна и постепенно осветила равнину. Он еще чувствовал дневную усталость, но спать ему не хотелось. Долгие недели он жил словно машина — одуревал от работы и почти разучился думать. Но в этот вечер целый рой мыслей теснился у него в голове. Вместе с картиной лагеря перед ним проносились и другие воспоминания — более далекие, однако более страшные.

Одно за другим возникали лица людей, которых уже не было в живых. Их было так много, что Пабло увидел всю свою страну опустошенной. Пустыня. Без признаков жизни. Здесь вот тоже прошла война. И ничего не тронула. А там — ничего не оставила, только мертвых. Те же, кто выжил, тоже мертвы или скоро умрут.

Вдруг Пабло вздрогнул. Позади него заскрипел пол. Он обернулся и пошел к кровати. По лестничной площадке шла хозяйка. Он слышал, как закрылась дверь в ее комнату, и снова воцарилась тишина.

Мертвые, тысячи мертвых ушли. Здесь остались живые. Были и такие, которые могут вернуться со дня на день.

Пленного могут освободить. Можно и сбежать.

Пабло лег, не зажигая света. Теперь он хорошо знал эту комнату, каждую вещь в ней, каждый предмет. Тело уже освоилось с кроватью, которая приняла его очертания.

Он повернулся на бок лицом к окну.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

28

Оставалось больше часа до конца рабочего дня, когда они добрались до последнего ряда виноградника. На холме еще сильно припекало: небольшой ольховый лес мешал проникновению дувшего с гор свежего ветра.

— Мы выиграли добрый час,— сказал Хромой, выпрямляясь и кладя руку на поясницу.

— Верно, мы быстро прошли,— подтвердила хозяйка.

Старик подмигнул и, указывая на Пабло, сказал хозяйке:

— Видала, как ловко парень научился обрезать виноград, а ведь это только вторая его весна.

Хозяйка улыбнулась и кивнула.

— А все благодаря вам, Хромой,— сказал Пабло, засовывая секатор в карман.— У вас есть педагогический талант. Из вас бы вышел отличный учитель.

Старик рассмеялся:

— Скажешь тоже, я и читать-то почти не умею!

Они начали спускаться. Между рядами виноградника на земле лежали срезанные ветки. Жаннетта начала их собирать в охапки, которые она перевязывала прутиками.

— Жаннетта,— крикнула хозяйка,— спускайся!

Девочка бросила работу и присоединилась к ним в конце виноградника.

— Одной ей ни за что не справиться,— сказала хозяйка.— Когда мы кончим обрезать побеги, их надо будет собрать в один-два дня, иначе виноградники никогда не расчистим.

Она пошла осмотреть те ряды, где работала Жаннетта.

— Ты оставляешь ветки, это не дело! Если еще надо ходить и подбирать за тобой, какой от тебя толк.

Пабло подошел к хозяйке. На земле действительно валялось несколько веточек, но, по правде говоря, совсем мало. Хозяйка подошла к первой лежавшей посреди прохода вязанке. Она подняла ее и встряхнула. Несколько веточек выскользнуло. Тогда она положила вязанку и, повернувшись к девочке, закричала:

— Это что же за работа! Можно подумать, ты в первый раз этим занимаешься.

Жаннетта стояла неподвижно. Руки болтались как плети, в правой она держала еще открытый секатор, связка золотистых прутьев свисала с пояса ее фартука. Она молчала и пристально смотрела на мать. Пабло увидел, как у нее задрожал подбородок, а полуоткрытый рот начал кривиться.

— Остались сущие пустяки,— сказал он.— Это не помешает рыхлить землю. Вороная тут конечно же пройдет.

Подошел и старик.

— Вот что надо сделать,— сказал он.— Пусть девочка собирает ветки и не перевязывает, а просто складывает в кучки. Нам ведь все равно укладывать их в повозку, так что я пройду по рядам и быстро все перевяжу. Так мы выиграем время.

Хозяйка, ворча, пожала плечами и удалилась.

Хромой подошел к Жаннетте. Тихо, почти шепотом, он объяснил, что́ она должна делать. И для большей ясности, сняв с ее пояса пучок прутьев, заткнул себе за пояс. Жаннетта кивнула и забормотала. Вернувшись к хозяйке, старик со смешком сказал:

— Не понимаю, зачем тебе учить ее побеги обрезать? Или ты находишь меня слишком старым и хочешь, чтобы я занял ее место и делал вязанки?

Хозяйка даже не улыбнулась. Посмотрела на Хромого, потом на Пабло и бросила:

— Она чувствует, что вы всегда за нее заступаетесь, как заступался отец, и тут уж с ней сладу нет!

С минуту они молчали. Пабло стоял, прислонившись к колу, и скручивал цигарку. Потом передал кисет старику.

— Ну так что? — спросила хозяйка.— Пошли?

Пабло взглянул на нее, потом повернул голову к югу — туда, где холм плавно спускался к равнине,— и сказал:

— Я думаю, надо воспользоваться тем, что мы раньше кончили, и пойти взглянуть на землю тетушки Перрен.

— Зачем это? — спросила хозяйка.

— Да так, просто из любопытства, посмотреть, что там за земля.

— Ее не обрабатывали лет пять,— сказал старик,— и должно быть, не очень там красиво.

— Еще бы,— согласилась хозяйка.— И так как я не собираюсь ее покупать, то нет смысла ходить и смотреть.

Они опять помолчали, потом Пабло сказал:

— Мы бы тогда могли вернуться нижней дорогой, а заодно посмотреть, какова пшеница. Это ведь не намного будет дальше.

Хозяйка пожала плечами, затем подняла корзину с остатками провизии и пустую литровую бутылку и двинулась в путь.

— Ну, раз уж вам так хочется...— буркнула она.

Часть дороги они прошли молча. Тропинка вилась меж двух склонов, где густая трава торчала из-под наполовину сгнившего за зиму соломенного ковра. День клонился к вечеру, и на горизонте равнина подернулась пушистым сиреневым туманом.

Они подошли к винограднику, на котором работали две женщины.

— Ну как? — крикнула хозяйка.— Справляетесь?

— Сделали что смогли, остальное подождет.

Одна из женщин выпрямилась. Другая продолжала работать.

— Есть вести от твоего парня? — спросила хозяйка.

— Да, он все еще в Восточной Пруссии. Ну, а как твой-то?

— Все в порядке. Я ведь посылки ему посылаю, так что ему вроде не слишком там худо. Вот только работа уж больно тяжелая на этом заводе.

— А что они делают?

— Точно не знаю. Какую-то технику, что же еще. Но, кажется, не так уж это ему тошно.

Хозяйка помолчала, потом, когда женщины снова принялись обрезать побеги, прибавила уже на ходу:

— Ну, всего вам доброго. А мы хотим пройти нижней дорогой, на пшеницу взглянуть.

Они двинулись дальше гуськом. Впереди шла хозяйка, за ней Пабло — он смотрел на ее широкую спину и окрашенный заходящим солнцем затылок. За ними шагал Хромой и, наконец, Жаннетта. Она их догнала, пока они разговаривали с женщинами.

Выйдя на дорогу, Пабло и Хромой пошли рядом с хозяйкой.

— Этим женщинам одним никак не справиться с работой на своей земле,— заметил Хромой.

— Так оно везде — на всех фермах, везде ведь не хватает одного-двух мужиков,— сказал Пабло.

— Да, у всех одна и та же беда,— прошептала хозяйка.

— Верно,— подтвердил старик.— Конечно, лучше б твой муж был здесь и парень бы вернулся, но ты же знаешь, у тебя есть мы и земля твоя не пострадает.

— Знаю, знаю.

Теперь с одной стороны у них поднимался холм, по которому рядами шли виноградники, в большинстве своем еще не обработанные, а по другую сторону тянулись ровные поля, на которых всходил овес, пшеница, ячмень. Между большими квадратами зеленых полей длинные коричневые полосы свежевспаханной земли выглядели как островки ночи в угасшем дне. То там, то здесь еще виднелась засохшая трава, ботва кукурузы, сложенная в кучи или разбросанная, колючий кустарник, который, продираясь между бороздами, карабкался по кочкам.

— Смотрите,— сказал старик,— все уже зарастает. Затянись война еще года на два — и землю сожрут сорняки. Тем, кто вернется, придется попотеть, чтоб привести ее в порядок.— Старик покачал головой. На лбу его залегли морщины, косые лучи заходящего солнца лишь ярче подчеркивали всю скопившуюся в нем боль.— Я уже не говорю про тех, кто вообще ничего не найдет.

— Вы думаете, женщины начнут продавать земли? — спросил Пабло.

— В четырнадцатом году многие кое-как тянули. Но многие не выдерживали. Ты уж мне поверь: было время, когда гектар земли стоил совсем недорого. Нашлись такие, которые сумели этим воспользоваться. Война — это ведь всегда так: одни теряют, другие наживают.

Они молча пошли дальше. Дорога теперь тянулась вдоль трехлетнего, никак не огороженного виноградника. Земля была каменистой, и пырей уже начал въедаться в крайние ряды, а побеги ежевики, скользя по склону, выпускали свои крошечные листочки между кочками. Обвивая молодые лозы, прошлогодние вьюнки, засохшие и скрюченные, гремели на ветру. Старик остановился.

— Да, невеселая картина,— сказал он.

— Последняя посадка Леона Буассо? — заметила хозяйка.

— Да,— сказал старик,— последняя.

— Им до сих пор ничего не известно?

— Нет. Сама понимаешь, был бы он в плену или бы его перебросили в Англию, как других, про это бы узнали. Когда немцы вломились к нам, их полк стоял на севере, так что их, кажись, чуть не всех перекосило. А жена-то у него совсем больная. Да, пропадет земля.

Хозяйка пошла дальше.

— Лучше бы ее продать, пока виноградник еще можно спасти, а потом за нее уж ничего не дадут.

— Что ж ты хочешь, она ведь еще надеется. И потом, смешно, ей-богу,— продать, продать! Надо еще покупателя найти!

Они пошли дальше. Пабло молчал. Он осматривал каждый кусок обработанной земли, каждый виноградник, каждый пустырь. За эти полтора прожитых здесь года он узнал всю округу. Он часто колесил по ней, когда шел работать на участках, разбросанных в разных местах. Он знал здесь все, но в этот вечер смотрел так, будто видел впервые. До сих пор он хорошо знал границу каждого участка, на котором работал, а другие его не интересовали. Теперь же у него появилось желание узнать их получше. Узнать, кому они принадлежат.

Он то и дело посматривал на старика. Наконец, когда они проходили мимо виноградника, который начал зарастать сорняками, он сказал:

— Да, грустно, когда земля в таком состоянии.

Старик покачал головой.

— От этой земли толку не будет,— сказала хозяйка.— Слишком далеко от деревни. Старики Равье не могут больше сюда приходить.

После продолжительного молчания Пабло спросил:

— Вот вы сказали: «Одни теряют, другие наживают». Вы, что ж, считаете, это плохо, если люди покупают землю?

— Ну, это как повернуть,— заметил Хромой.— Но все одно, всегда тяжело видеть землю заброшенную.

Вскоре они подошли к месту, где дорога шла вдоль изгороди из боярышника, росшего по другую сторону канавы. Там, где изгородь подходила к пустырю, они сошли с дороги и перепрыгнули через канаву.

— Ну вот,— сказала хозяйка,— пустошь доходит вон до тех двух вишен, что там наверху.

С минуту они молча смотрели. Половина надела была занята под виноградник, на котором колья уже превратились в кусты. Все остальное, должно быть, давно не обрабатывалось.

— Эх, уверен, прекрасная была земля,— сказал старик.

— Да, верно, но с ней поступили жестоко. Спрашивается, почему ее не продали еще до войны.

— Что ты хочешь, молодые уходят, а старики не решаются послать все к черту. Оно понятно.

— Если есть хорошая лошадь, которая только и ждет работы,— заметил Пабло,— ничего не стоит добраться сюда.— Он постоял в нерешительности, посмотрел на Хромого, потом на хозяйку и добавил: — Особенно вам, раз у вас уже есть тут наделы.

Хозяйка промолчала. А старик приподнял фуражку, почесал голову и, покусав усы, сказал:

— Конечно, но это с какой стороны поглядеть. Земля, она всегда земля, только с этой войной никогда не знаешь, что тебя ждет.

— Земля, земля,— сказала хозяйка.— Оно конечно. Только вот, если уходить придется, ее ведь не потащишь с собой. А когда наступит такое время, будешь рад, если хоть несколько су в кармане есть.— Она умолкла, сделала два-три шага, раздвинула сухую траву и нагнулась, чтобы посмотреть лозу.— Виноградник даже не старый. Ежели с годик за ним поухаживать да покороче обрезать, я уверена, он мог бы еще воспрянуть. Только нельзя с этим тянуть.

— Вот именно! Чего тут еще ждать, бог ты мой,— сказал Пабло.

Он говорил сквозь стиснутые зубы. Хозяйка повернулась к нему, пристально посмотрела и твердым голосом сказала:

— Не понимаю, чего это вам так хочется, чтоб я выбросила свои деньги на эту пустошь. Можно подумать, будто сами не знаете, каково это — все потерять. Если бы у вас там, в вашей стране, была земля, много было бы пользы вам от нее сейчас?

— Пользы никакой, но и вреда тоже нет,— отрезал Пабло.

Он замолчал. Старик, казалось, был удивлен. Хозяйка шагнула было, собираясь идти дальше, но Пабло встал перед ней. Кровь вдруг ударила ему в лицо, и он закричал:

— Не понимаю, чего теперь-то опасаться! Так или иначе война кончится. И ваши земли всегда будут вашими. Французы, боши или китайцы, какое вам до них дело! В то время как на ваши деньжонки завтра или через год, возможно, и гвоздя не купишь, а из векселей вы сможете развести огонь, чтобы согреться. Да что там говорить, вы все равно ничего не поймете.— С минуту он колебался. Хозяйка стояла неподвижно. Лицо ее тоже пылало, но она молчала. Внезапно Пабло повернулся и, уже направляясь к дороге, пробормотал: — В общем-то зря я вам стараюсь что-то втолковать. Пустая трата времени. Уверен, все напрасно!

Выйдя на дорогу, он замедлил шаг, чтобы хозяйка и Хромой могли его нагнать. Они присоединились к нему и молча пошли рядом.

Проходя мимо пшеницы, они немного постояли и, не сказав ни слова, двинулись дальше. Девочка чуть отстала, и старик задержался, чтобы ее подождать.

Пабло шагал, время от времени искоса поглядывая на хозяйку. Он стиснул зубы, чтобы сдержать подступавший гнев. В нем все кипело, а запах возрождающейся земли усиливал его волнение. За каждым поворотом дороги, от каждого дерева, каждой изгороди исходил крик, шелест, дуновение ветерка, которые говорили о том, что земля вновь оживает.

Пабло сжал кулаки, призывая на помощь всю свою волю, чтобы только не закричать.

29

Ужинали молча. Два-три раза Пабло, не поднимая головы, бросал на них беглый взгляд. Только одна Жаннетта по-прежнему смотрела на него ничего не выражающим, застывшим взглядом. Для нее ничто не изменилось. Хозяйка и старик ели, не отрывая глаз от тарелки.

Наконец Хромой закурил сигарету и встал.

— Значит, договорились, завтра беремся за виноградник, что у леса Рулё.

— Да, договорились,— подтвердила хозяйка.

— Спокойной ночи всем,— сказал старик,— я приду прямо туда.

Он вышел. Со двора послышался стук удалявшихся сабо, и снова наступила тишина. Хозяйка встала из-за стола и начала убирать посуду, Пабло докуривал сигарету. Выбросив окурок в поддувало плиты, он встал и направился к двери в глубине комнаты.

— Спокойной ночи,— сказал он.

— Спокойной ночи,— ответила хозяйка.

Пабло медленно поднялся по скрипучей деревянной лестнице. Войдя в комнату, тотчас разделся и лег. Окно было открыто, и свежий ветерок врывался в комнату. Пабло чувствовал его на своем лице, словно прикосновение нежной руки. Он попытался уснуть, но его слишком переполнял гнев. Не тот гнев, который кипел в нем тогда, когда он кричал возле пустыря. Теперь он злился в первую очередь на себя самого. Ну что ему за дело до этого — ведь это его не касается. Снова и снова вспоминал Пабло то время, когда поселился в деревне. Вспоминал страшную усталость, отбивавшую всякую охоту думать. Теперь тело его уже привыкло к работе на земле. Руки затвердели, окрепли ноги. В иные вечера он еще здорово уставал, но уже не был тем животным, которое ходило, ело и падало как подкошенное, едва добредя до постели.

Пабло крутился в постели, ища на подушке прохладное место для головы. Поднялись хозяйка и Жаннетта. Под их ногами скрипели сту-

пеньки и пол на лестничной площадке. В доме все замерло, и только порывы ветра приносили в комнату запах земли.

Пробило десять, потом половину, затем одиннадцать. Он все еще не спал. Даже не задремал. Наоборот. Мысли теснились в голове. В нем все бурлило. На лбу выступил пот. Пабло лежал только под простыней, но и это казалось лишним.

Много раз к нему возвращался образ Марианны. Но он гнал его от себя, стараясь занять мысли другим.

По правде говоря, он вообще ни о чем не думал. В голове скорей кружил ветер, вроде того ветра, что гулял вокруг кровати. Смесь всего, что не поддавалось никакому определению. И еще был весенний воздух, пьянящий, как вино. Он ударял в голову и путал мысли.

Пабло еще долго ворочался. Он слышал, как пробило половину, и вдруг, прежде чем тишина снова окутала дом, раздались глухие удары. Будто дом затрясся где-то глубоко, в фундаменте.

Пабло сел на кровати. Снова послышались удары, заблеяли козы.

— Скотина!

Пабло сразу решил: пожар! Вскочил, натянул штаны и вышел.

Не открывая двери, хозяйка спросила:

— Посмотреть идете?

— Да. Что-то там случилось?

— Я думаю, какая-нибудь скотина отвязалась. Вороная, наверное. Когда я ходила доить, она уже волновалась. Это все весна. Вы ворота закройте и выведите ее во двор, ночь свежая — глядишь, кобыла и утихнет.

Голос у хозяйки был спокойный. Пабло сошел вниз. Пол холодил босые ноги. У лестницы он нашел сабо, надел их. Рубашку он надеть забыл и, выйдя во двор, вздрогнул от холодного ветра.

В самом деле, кобыле удалось освободиться от цепи. Почувствовав свободу, она подошла к козам, и те начали метаться в загончике. Теперь Вороная вернулась к себе, но встала задом к яслям. Когда Пабло вошел, она шагнула к нему и обдала его грудь пеной.

— Спокойно, моя хорошая, спокойно.

Он потрепал ее по шее, и скоро она успокоилась. Пабло отвязал болтавшуюся на уздечке цепь и, когда относил ее в глубь стойла, заметил, что доски у яслей висят оторванные, разбитые. Он тотчас вывел Вороную во двор и оставил одну. Она от удивления сначала пошла за ним до порога кухни. Пабло еще раз погладил ее и поднялся.

Наверху на площадке окно, выходившее во двор, было открыто. Пабло подошел. Хозяйка стояла, облокотившись на подоконник. Она обернулась.

— Не озябли? — спросила она.

— Нет, на улице хорошо.

Снаружи слышались удары копыт.

— Подойдите взгляните!

Пабло подошел к окну и, наклонившись, увидел, как Вороная бьет копытами у ворот, выбивая из булыжников пучки искр.

— Она ноги не расшибет? — спросил Пабло.

— Нет, скоро устанет, успокоится.

Хозяйка шевельнулась. Пабло чувствовал ее рядом, кровь снова забурлила. Ветер пахнул влагой — настоящий южный ветер, как в Каталонии.

— Вы не спали? — спросила она и повернулась к нему.

— Нет, а вы?

— Нет.

Немного помолчали. Внизу все еще резвилась Вороная.

— Вы правда не озябли?

Хозяйка положила ладонь на руку Пабло почти у самого плеча. Пабло медленно наклонился. Он раскрыл объятья, хозяйка припала к нему, их губы слились.

Так они стояли долго, пока у них не перехватило дух, потом Пабло обнял ее за плечи и повел к себе в комнату.

Они предались любви без слов, страстно, неистово, будто хотели изранить себя и друг друга. Потом лежали рядом, прислушивались к биению крови, которая побежала быстрее под влажной кожей. Наконец хозяйка вздрогнула и приподнялась на локте.

— Тебе холодно? — спросил Пабло.

— Да, немного... И потом надо пойти дверь закрыть в моей комнате.

— Лежи спокойно.

Он встал и пошел закрыть дверь. А когда вернулся, запер на ключ свою комнату.

Хозяйка натянула на себя простыню и одеяло. Он лег рядом и прижал ее к себе.

— Я не очень старая, как по-твоему? — прошептала она.

— Нет,— сказал он,— мы оба молодые.

Несколько минут они лежали молча, потом Пабло прошептал:

— Вороная тоже молодая.

— Молчи! С этим ты не шути.

— Ты не дала мне договорить. Я сказал: Вороная молодая. Она полна сил. Мы все полны сил. У нас так много сил, что это не дает нам спать.

— Ты еще и недоволен?

Они рассмеялись и поцеловались.

— Ты затыкаешь мне рот, потому что знаешь, о чем я хочу сказать. Но будь спокойна, я все-таки своего добьюсь.

Она стала искать его рот, чтобы закрыть поцелуем, но он не давался. Отбиваясь, он продолжал:

— Есть земли, на которые надо употребить всю нашу силу. Они только этого и просят.

Она поняла, что не заставит его замолчать, даже закрыв рот поцелуем.

— Если тебе нужна земля,— сказала она,— можешь купить, ты ведь ни су не потратил из заработанных денег, только на табак тратился. А если тебе не хватит, я помогу.

— Нет,— сказал Пабло.

— Почему?

Он колебался.

— По многим причинам. И самое главное — я не имею права.

Ей все же удалось его поцеловать. Он не сопротивлялся, но как только она отняла губы, сказал:

— А если сделать наоборот?

— То есть как — наоборот?

— Я отдам тебе все свои деньги, ты добавишь и купишь землю на свое имя.

— Говорят, жители Франш-Конте упрямые, но я вижу, испанцы еще упрямее.

— Это точно. Впрочем, к тому времени, когда они стали испанцами, у французов из Франш-Конте уже были упрямые головы.

Снова воцарилась тишина, только ветер бил по коньку крыши.

— Послушай,— сказал Пабло,— я сейчас постараюсь тебе объяснить: у тебя есть деньги, и сегодня они имеют цену. Ну, например, на двадцать франков ты можешь купить...

— Помолчи. Уже говорил. Война — это всегда девальвация. Ну, а вдруг тебе придется уехать, что я тогда буду делать со всей этой землей?

Пабло вздохнул.

— Ты, значит, думаешь, я уеду.

Она навалилась на него, сжала в объятьях, сказала:

— Нет, нет, я не хочу, чтобы ты уезжал. Я просто так. Я б тебя и от бошей спрятала.

— И потом, видишь ли, даже если я уеду, даже если ты оставишь землю в залежи, обрабатывай лишь то, что тебе будет необходимо, чтобы прокормиться, но никогда не продавай свою землю. Наоборот, покупай столько, сколько сможешь.

Она молчала. Он немного подождал, потом сам поцеловал ее. Когда их губы разъединились, она сказала медленно, будто про себя:

— Завтра утром я пойду к тетушке Перрен. Я схожу. Обещаю тебе.

И тогда Пабло снова стал целовать ее, сжимая до боли в объятьях, словно хотел показать силу, которую чувствовал в себе.

30

Утренняя свежесть разбудила Пабло. Он приподнялся на локте, и хозяйка сразу открыла глаза.

— С ума сойти, уже день!

Она вскочила с постели и теперь стояла в длинной белой ночной рубашке, которая ниспадала с плеч до самых пят, обрисовывая широкие, сильные бедра. Она подошла к двери, тихо повернула ключ, потом, прежде чем открыть дверь, шепотом сказала:

— Лучше, чтобы никто не знал. Будем жить как раньше.

— Ну, разумеется.

Она уже хотела было выйти, но он сделал ей знак:

— Поди сюда.— Привлек ее к себе и поцеловал.— Помнишь, что ты мне обещала?

— Да.

Она еще раз улыбнулась и вышла. Пабло поспешно спустился вниз и, очутившись во дворе, долго держал голову под краном, из которого лилась ледяная вода. Когда он вытирался, из-за угла дома показалась Вороная и рысью направилась к нему.

— Ну что, успокоилась?

Он смеялся, лаская ее. В это время из кухни вышла хозяйка с подойниками. Она подошла и тихо спросила:

— Ты поблагодарил ее?

Они посмотрели друг на друга и засмеялись.

— Да, я ей сказал, что она в выигрыше: теперь ей будет на что употребить свою силу — хорошую землю надо еще обработать.

Хозяйка надула губы.

— Ну, а ты,— спросила она,— у самого-то хватит сил землю обрабатывать? Еще не всю израсходовал сегодня ночью?

Пабло выпятил грудь. Капельки воды стекали по волосам.

— Я еще тебе покажу! Погоди маленько, сама увидишь!

Хозяйка вошла в хлев. Пабло натянул рубашку, взял мыло и полотенце и вернулся на кухню. Вороная брела за ним до самого порога.

— Постой, я пойду тебе корочку принесу.

Он вошел. Жаннетта собиралась ломать виноградные ветки, которые потом бросала в огонь. Обычно Пабло говорил: «Доброе утро, Жаннетта». Она бормотала что-то в ответ, скривив рот. Но на этот раз Пабло ничего не сказал. Остановился и стал пристально смотреть на девочку. Ему вдруг показалось, что он не видел ее с давних пор. Она тоже смотрела на него. Так они постояли немного. Наконец, услышав, как Вороная бьет копытом о каменную ступеньку, Пабло сказал:

— Доброе утро, Жаннетта.

Девочка забормотала, скривив рот. Пабло отрезал кусок хлеба и вынес его кобыле.

Затем он приготовил толстый ломоть хлеба, кусок сала, положил все это вместе с литровой бутылкой вина в сумку и вышел. Во дворе, повернувшись к хлеву, он крикнул:

— Я пошел. Когда вернетесь, приходите сразу к нам.

— Хорошо,— крикнула хозяйка.— До скорого.

Пабло торопливо пошел к холму, который еще купался в тени, вырисовываясь на фоне неба, окрашенного в золотистый цвет. Он глубоко дышал. В ногах чувствовалась тяжесть, но это нельзя было назвать усталостью. Пабло улыбнулся. Он посмотрел в сторону фермы, где около риги Вороная щипала траву, и снова пустился в путь.

Старик уже был за работой. Он обрезал с десяток черенков, и Пабло подумал, как давно он здесь не был.

— Ну как, пойдет дело? — крикнул он.

Хромой обернулся:

— Что-то ты не больно спешил из кровати вылезать.

Пабло рассмеялся, вытащил свой секатор и взобрался на склон.

— Да, но...— начал было он.

Старик засмеялся.

— Я по три ряда зараз обрезал, чтоб работать всем вровень.

Они привыкли начинать вместе и продвигаться вперед с одинаковой скоростью, чтоб можно было разговаривать, а когда Пабло был нужен совет, чтобы старик и хозяйка были рядом. Но обрезать три ряда одновременно! Значит, старик приступил к работе очень рано.

— Надеюсь, хоть ничего не порушилось? — спросил Хромой.

— Нет, все в порядке. Вот только ряд хозяйки нам обрезать не надо: не скоро придет. Мы наверняка успеем пройти половину до ее прихода.

Пабло умолк. Взял черенок, обрезал. Еще два-три раза лязгнул секатор. Потом Пабло вдруг остановился, положил руку на плечо Хромому. Тот обернулся:

— Что случилось-то?

Пабло смотрел вдаль. Он поднял руку и указал концом секатора на пустошь. Старик посмотрел туда же.

— Решено,— сказал Пабло.— Сегодня утром она пошла к тетушке Перрен.

Старик покачал головой:

— Ну, старина, ты можешь себя поздравить! Потому что у Жермены репутация упрямой женщины.

Пабло почувствовал, как кровь ударила ему в лицо.

Старик отвел глаза, посмотрел вниз, сказал:

— Уж не знаю, как тебе это удалось, но ты молодец. Тут уж ничего не скажешь... Молодец!

Они снова принялись обрезать побеги, повернувшись друг к другу спиной. Спустя некоторое время Пабло спросил:

— Вы думаете, я это зря?

Старик ответил не сразу. Он обрезал еще несколько веток, потом сказал:

— Нет, почему же... Ты совершенно прав. Вы оба еще молодые, а молодым земля никогда не лишняя.

Пабло пытался заглянуть в глаза Хромому, но старик наклонился и повернулся к нему спиной. Так они молча работали до прихода хозяйки.

Они дошли уже почти до верха виноградника, когда услышали, что она идет. Они выпрямились. Хозяйка запыхалась, должно быть бежала. Пабло улыбнулся, потом посмотрел на дорогу; Жаннетта была еще далеко. Она шла обычным шагом и несла корзину с провизией.

Поначалу хозяйка ничего не могла сказать. Она взялась за кол и провела рукой по лбу. Пабло ее не торопил. Да ей и незачем было говорить, глаза сами все за нее сказали.

Хромой первый подал голос:

— Жермена, ты, по-моему, задумала хорошее дело. По твоему лицу видать — ты довольна, а раз довольна, значит, дело стоящее.

Затем повернулся к Пабло, похлопал его по плечу, подмигнул, покачал головой.

— Но этот,— сказал он,— уж этот если что заберет в голову, то не выколотишь.

Все дружно рассмеялись. Потом, еще не отдышавшись, хозяйка заметила, указывая на Пабло.

— Если вам рассказать, что он мне устроил, вы бы не поверили. Знаете, я только для того согласилась, чтоб он отстал.

Пабло нахмурился: напрасно она шутит по этому поводу. И, не дав ей прибавить ни слова, спросил:

— Ну так как, все в порядке?

— Конечно, в порядке. Пошли вдвоем на почту, нотариусу позвонили. Завтра поедем в Лон бумаги подписывать.

Пабло глубоко вздохнул. Еще раз посмотрел на хозяйку, повернулся в сторону склона, сбегавшего к равнине. Найдя рыжее пятно, полыхавшее на солнце, Пабло полузакрыл глаза и прошептал:

— Послезавтра можно начинать. Послезавтра.

И, наклонившись к следующей лозе, снова принялся за работу.

31

На следующий день вскоре после полдника хозяйка ушла с виноградника. Пабло взобрался на пригорок и долго смотрел ей вслед. Много раз она оборачивалась и махала рукой. Остановившись в последний раз, долго стояла посреди дороги, которая сразу же после поворота исчезала за изгородью. Как только хозяйка скрылась за поворотом, Пабло вернулся и сел возле Хромого докурить сигарету. Жаннетта стояла рядом, свесив как всегда руки, держа в правой открытый секатор. Как только они поднялись, чтобы продолжать работу, она пошла за ними и принялась собирать ветки. Пабло следил за ней. Она работала медленно, но останавливалась редко. Лишь порой вдруг замирала, держа в руках кусок обрезанной лозы, и пристально его рассматривала. Когда мать бывала здесь, она обычно кричала:

— Ты что, Жаннетта, заснула?

Девочка вздрагивала, иногда даже роняла ветку из рук и снова принималась за работу. Пабло никогда ничего не говорил, но заметил, что девочка обычно рассматривает наиболее кривые ветки. Вот опять остановилась и стала рассматривать кривую ветку. Он перепрыгнул через два ряда и тихо подошел к ней. Когда Пабло был в нескольких шагах, девочка подняла глаза. Взгляд у нее был не такой, как всегда. В глубине зрачков зажегся слабый проблеск жизни и тут же исчез. Пабло подошел ближе и протянул руку к кусочку дерева, который она держала. Рот у Жаннетты начал дрожать, она забормотала и протянула лозу. Он принялся ее рассматривать со всех сторон, поворачивая так и эдак. В одном положении лоза немного напоминала сидящую кошку. Пабло сказал:

— Кошка... Кошка... Котенок...

Девочка не отозвалась, он повторил слово «кошка» много раз и даже попытался мяукнуть. Потом, видя, что она его не понимает, снова начал рассматривать кусочек дерева. Через минуту он показал его Жаннетте:

— Кролик? Кролик?

Девочка кивнула. Рот приоткрылся еще больше. И Пабло опять увидел свет, промелькнувший в глубине ее глаз. Тогда он нагнулся, приставил кусочек дерева к земле и показал, как кролик прыгает с кочки на кочку. Жаннетта присела на корточки и стала следить за рукой Пабло. Да, в глазах девочки была жизнь.

Пабло выпрямился и засмеялся. Жаннетта забормотала, и впервые он подумал, что рот у нее не просто кривится, а что это — тик, напоминающий улыбку. Он отдал ей кусок лозы и снова взялся за работу.

— Видели? — спросил Пабло Хромого.

— Видел. Ей было приятно, что ты пришел. Она на тебя так смотрит, я не замечал, чтоб она на кого другого так смотрела.

— Может, она и не полная идиотка, как все считают.

Старик приподнял фуражку и почесал голову, потом долго стоял, покусывая ус.

— Что ты сейчас сказал, ее отец мне часто говорил. Только отец-то — он и есть отец. Он своих детей не знает, думает, лучше они, чем на самом деле. А он много раз мне говорил: «Было б у меня время с ней заняться, я бы из нее сделал девочку не хуже других».

— Да, я знаю, он очень ее любил.

Старик посмотрел на девочку, потом на Пабло и сказал:

— Только вот Жермена никогда не верила. И это, по-моему, главное.

После обеда Пабло еще много раз начинал игру с куском дерева. Он находил кусок подходящей формы, но часто ему приходилось называть несколько предметов, чтобы напасть на тот, который вызывал живой блеск в черных глазах Жаннетты,— тогда она улыбалась и жадно ловила каждое слово. Напрасно Пабло называл людей, предметы — Жаннетта видела в лозах только животных, за которыми ежедневно ухаживала на ферме, которых видела в деревне, в полях.

С наступлением темноты они спустились вниз. Шли молча. Пабло думал о земле тетушки Перрен, но больше о Жаннетте. И он думал о ней так, как человек, который только что нашел странный предмет и прикидывает, на что бы его употребить, но толком не знает.

Когда они вернулись на ферму, хозяйка едва успела распрячь Вороную. Они поставили бричку на место, и Пабло подумал, что они не пользовались ею со времени возвращения с Брюли. А в первый раз он увидел ее, когда они везли хозяина на кладбище.

Приведя все в порядок, они вошли на кухню.

— Ну как? — спросил Пабло.

— Все подписано,— сказала хозяйка.— На обратном пути я поехала через деревню, завезла тетушку Перрен домой. Она очень довольна. Ей не на что было жить, а так еще какое-то время продержится. На улице я встретила Маргариту. У меня не было времени ей объяснять, в чем дело, и я ее пригласила поужинать.— Она помолчала, потом заговорила снова: — Работы прибавится, вот я и хочу ее попросить: пусть на несколько дней придет — подсобит нам обрезать побеги и собрать ветки.

Вскоре пришла старуха. И как только хозяйка рассказала, какое дело она только что провернула, та подмигнула Хромому:

— Ну, а ты как думаешь? А?

— Я уже сказал: правильно поступили. Хорошо, когда у молодых хороший аппетит.

Старуха долго смотрела на них, и снова Пабло почувствовал, как краснеет. Чтобы скрыть смущение, он вынул кисет и скрутил цигарку. В комнате нависла давящая тишина, все сидели и ждали, что скажет старуха. Наконец, придвинув стул и сев у стола, она бросила:

— Земля никогда не лишняя, и, если руки чешутся, работать хотят, чего ж сомневаться... Ну, а теперь, Жермена, ты откроешь бутылочку? Знаю, твоего парня здесь нет, но ты работаешь прежде всего для него, и надо, чтобы твоя новая землица хорошо в дом вошла. Ну, значит, чтобы ни в чем недостатка не было, надо бутылочку распить.

Хозяйка улыбнулась и спросила у Пабло:

— Вы знаете, где бутылки с Брюли?

— Да.

— Сходите, принесите одну. Только когда будете нести, не встряхивайте.

Пабло спустился в погреб. Впервые он брал здесь бутылку. Со времени смерти хозяина сюда ведь никто не входил, и паутина рвалась, как серая вуаль, когда он отодвигал скрипучую решетку. Вино с Брюли было в нижнем ряду. Пабло нагнулся, вытащил бутылку и, наклонив, осторожно поднес к лампе. Вино казалось прозрачным, но на бутылке было слишком много пыли, и нельзя было разглядеть как следует. Он закрыл решетку и, держа бутылку в том же положении, медленно поднялся наверх.

— Поставьте на буфет,— сказала хозяйка,— пока мы ужинаем, она согреется.

Все сели за стол. За ужином много говорили. О войне. О немцах, которые становились все хуже и грозили вернуться, перейдя демаркационную линию; но особенно много говорили о земле, о работе. Время от времени Пабло поглядывал на Жаннетту. У нее уже не было живой искры в глазах, но она казалась ему не такой отталкивающей. Теперь, даже когда она ела с открытым ртом, он мог спокойно смотреть на нее.

Зато хозяйка в этот вечер отличилась. Надела кофту поверх серого воскресного платья. Вышитый ворот открывал шею, позволяя видеть впадину между грудей. Не знавшее косметики лицо не выглядело усталым, кожа была чистая, матовая. Она зачесала волосы назад, так что ни одна прядь не выбивалась из прически. Взгляд ее то и дело встречался со взглядом Пабло, и каждый раз в их глазах можно было многое прочесть. Наконец Пабло посмотрел на будильник и подмигнул в сторону стариков. Хозяйка улыбнулась, встала и пошла за сыром.

— Ну, кажется, настало время открыть бутылку,— сказала она.

— Самое время,— подтвердил Хромой.

Хозяйка поставила бутылку и положила штопор перед Пабло, тот встал и осторожно начал ломать желтоватый воск, которым было залито горлышко. Покончив с этим, он ввинтил штопор, и старуха Маргарита, качая головой, проговорила:

— А он дело знает.

Потом, когда Пабло наполнил стаканы, она прибавила:

— Скажи-ка, парень, а тебе известно, что это обязанность хозяина? А?

Пабло рассмеялся. И снова лицо у него залилось краской. Хозяйка поскорей подняла стакан и выпила за новую землю.

— И за возвращение всех, кто не с нами,— сказала старуха.

— А также за окончание войны,— добавил Хромой.

Поговорили о вине, опять о земле. Хозяйка и Пабло все так же часто переглядывались, но теперь уже не спешили. Надо было допить вино, а они хорошо знали, что бутылку с Брюли не разопьешь впопыхах, как бутылку красного вина.

Старик начал жаловаться на тяжкий труд, которого требует виноделие: как же будет-то — ведь мужчин в деревне остается все меньше; тут Пабло встал и, не сказав ни слова, поднялся к себе в комнату. Все удивленно переглянулись, но Пабло тут же вернулся. Положил на стол толстый каталог и раскрыл.

— Вы его где нашли? — спросила хозяйка.

— В комнате на комоде, тут есть печать, наверное, он из сельскохозяйственной школы, которую посещал ваш сын.

— Конечно.

Начали рассматривать каталог.

— Вот это нам было бы нужно,— сказал Пабло.

— А что это? — спросила старуха.

— Вы же видите — пресс.

— Пресс? Да он же ни на что не похож.

Пабло рассмеялся:

— Здесь все хорошо объяснено. Видите эту большую круглую клетку в деревянном корпусе?

— Да, как будто пресс лежит, только тут он длиннее.

— Совершенно верно. Клетка эта вращается вокруг своей оси, и по мере того, как она вращается, два диска с каждой стороны приближаются друг к другу. Они сжимают виноград в закрытом сосуде, и сок стекает в большой чан, который находится внизу.

— А как его оттуда выливают?

— Не выливают, он сам выходит. На электромоторе, который вращает пресс, есть насос; видите, вот эту трубку вставляют в бочку, и дальше уже все делается автоматически.

Они долго молча рассматривали каталог, затем старик сказал:

— Если я верно понимаю, так с ним и один человек управится.

— Даже и одного не надо. Когда виноград выжат и сока больше нет, мотор сам останавливается.

Маргарита усмехнулась:

— Это барахло на бумаге красиво выглядит, но стоит столько, что глаза на лоб полезут, а как поставишь его в погреб, окажется, что он никуда и не годен.

— Ну нет, вовсе нет,— сказал Пабло.— В районе Бордо все солидные погреба оборудованы таким образом.

— Кто это тебе сказал?

— В тетради написано, она там же в комнате.

— А твой парень тебе про это говорил? — спросил старик.

Хозяйка отрицательно покачала головой.

Они еще долго спорили, но оба старика не хотели сдаваться. Они признавали единственный пресс — такой, как во всех погребах деревни.

— Но послушайте,— сказал Пабло,— поймите же, наконец: вот вы возвращаетесь с уборки урожая, нажимаете на кнопку, спокойно ужинаете и ложитесь спать. А пока вы спите, пресс работает.

— Ну вот что,— сказала старуха,— не знаю, может, кто и уснет, когда такая машина вращается у него в погребе, а я — нет. Я со страха не засну, как бы она дом не развалила.

Вино всех развеселило, все смеялись. Потом старики встали.

— А теперь,— заметил Хромой,— если хотите завтра с утра пораньше взяться за новую землю, хватит за столом рассиживать.

Старики ушли, и как только Жаннетта поднялась к себе, Пабло и хозяйка поцеловались.

Завтра их ждала целина, но они знали, что не станут откладывать до завтра, и спешили растратить силы, которые им дало вино, сжигавшее их тела.

32

Они решили собраться все вместе в пять утра, и на другой день, едва забрезжил рассвет, появился Хромой. Пабло умывался во дворе под краном.

— Погодка будет подходящая,— сказал старик.— Доброе солнце, небольшой ветерок — не жарко.

— Вы думаете?

— Уверен. Сам увидишь, как солнце взойдет, сразу поднимется ветерок.

Пришла старуха, и старик тут же спросил:

— Маргарита, какая будет погода?

Она даже не взглянула на небо.

— Погода для землепашца.

— Вот видишь, Маргарита говорит то же, что и я.

Пабло повернулся к старухе.

— Ну, а какая?

— Хорошая погодка с ветерком, он и свежит, и пыль уносит.

— Мне бы тоже надо научиться погоду угадывать.

— А чего тут трудного,— сказал старик.

— Объясните, по каким приметам вы решили, что ветер поднимется с восходом солнца?

Старики переглянулись, и Маргарита ответила:

— Да как тут объяснишь? Понимаешь, это надо чувствовать. Ну, по росе, и какого цвета небо, и как дышится; даже не знаю, не объяснишь.

Старик молча кивнул.

Одеваясь, Пабло вопрошал небо, холм, равнину. Он принюхивался, как собака, напавшая на след, но ничто не подсказывало ему, что ветер поднимется вместе с солнцем. Тогда он посмотрел на стариков, и ему стало немного завидно.

Сразу же после завтрака они запрягли Вороную в повозку, погрузили туда борону, плуг, лопаты, вилы, секаторы, ножовки и корзину с провизией. Когда дело было сделано, хозяйка заперла двери и все сели на повозку. Разместились по краям, свесив ноги, а старик взялся за вожжи.

Солнце еще не взошло, но небо уже окрасилось в золотистый цвет над зубчатой линией холмов. Повсюду таились остатки ночи, и на полях не было ни души. Над каждой крышей поднимался белый дымок, и эти большие светлые нити были единственными признаками жизни на земле.

Вороная шла ровным шагом, таща повозку, которая раскачивалась, как пароход. Ехали молча. Маргарита дремала, Хромой и Жаннетта не спускали глаз с блестящего крупа кобылы, из ноздрей которой валил пар. Хозяйка и Пабло, сидя бок о бок, то и дело переглядывались. Выбрав момент, она наклонилась к нему и прошептала на ухо:

— Я не могу, у меня поясница разламывается.

Пабло улыбнулся. Он тоже чувствовал тяжесть во всем теле после бурной ночи, но чувствовал и дремавшую силу, готовую вылиться в работе. Он разжал кулаки, осмотрел и потрогал мозоли на ладонях. Потом повернулся и взглянул на плуг, позвякивавший цепями. Лемех блестел, будто на повозку бросили кусочек небесной сини.

Так, не проронив ни слова, доехали до самого пустыря. Когда прибыли на место, солнце еще не взошло. Чувствовалось — оно вот-вот покажется, но Пабло решил, что успеет еще до восхода распрячь Вороную и запрячь ее в плуг. Солнце будет сигналом. Он будет следить за восходом и, как только оно появится, крикнет: «Пошли!» — и со всей силой наляжет на ручки плуга.

Пабло начал спускать плуг с повозки, и хозяйка подошла, чтобы ему помочь.

— Подождите меня,— крикнул старик.

— Распрягайте,— крикнул Пабло.— Распрягайте!

Старик стал высвобождать ремни подпруги.

— Можно подумать, тебе пятки поджаривают,— сказал он и засмеялся.

Пабло поставил плуг в начале первой борозды. Хозяйка с улыбкой смотрела на него.

Теперь Вороная стояла на месте. Они наметили ряды. Пабло закинул вожжи, но не двигался с места. Он чувствовал шеей прохладную кожу вожжей, вскоре они будут его обжигать. Старик молчал. Вороная уже вытягивала шею, стараясь дотянуться до овса, зелень которого пробивалась сквозь сухие колючки.

— Ну что? — спросил старик.— Чего ждешь?

— Сейчас,— ответил Пабло,— еще несколько минут.

Пабло все смотрел на вершину холма. Он отметил место, откуда должно показаться солнце. Как раз между двумя рощами акаций, ко-

торые бежали по гребню, открывая бледный просвет. Все стояли в недоумении. Подошли хозяйка и старуха. Пабло сказал:

— Ну, значит, как договорились. Для начала я пройду один раз, а остальное вы доделаете заступами, затем граблями надо собрать весь мусор...

Гребень холма озарился, Пабло замолк... Время досчитать до четырех. Желтый цвет неба перешел в белый. Сердце Пабло учащенно забилось.

— Ну пошли, Вороная, пошли!

Пабло приподнялся на цыпочки и всей своей тяжестью налег на плуг. Сила шла от бедер. Она поднималась вдоль тела, стекала по плечам, как вода, движимая водоворотом, и спускалась по венам вдоль рук до самых кистей. А оттуда она шла на дрожащие ручки плуга. И весь плуг трепетал от его силы. И сила переходила в блестящий лемех, открывающий в земле длинную рану. Плуг питался соками Пабло и Вороной. Они втроем сливались в единую силу, впивающуюся в землю.

Земля была твердая, уплотненная, и трава расставляла ловушки на каждом шагу. Лошадь продвигалась медленно, но не останавливалась. Репейники тянулись за плугом, соединяясь по три-четыре и даже больше, и образовывали жгут, который тормозил плуг, но Вороная напрягала чуть больше блестящий круп, и жгут сразу же лопался. Все старые виноградные кусты дрожали, и будто сигнал бежал по проводам вперед, к колючкам: «Внимание! Берегитесь, на вас движется тот, кому не страшны трудности!» Но как много требовалось силы! Вороная шла по колено в траве, будто пароход рассекал спокойные воды.

Так они двигались вперед без остановки до самого верха виноградника.

И только там Пабло поднял голову.

Солнце сидело на вершине холма. Оно было наполовину спрятано за пылающим лесом. Широкие золотые потоки струились по всему холму, бушевали вокруг Пабло в винограднике. Все ожило. Ветер дул. Но Пабло раньше не замечал и только сейчас его почувствовал. Он подставил ветру лицо и глубоко вздохнул.

А когда повернулся, увидел движущуюся фигуру.

Он еще повернулся. Сзади стояла хозяйка и смотрела на него.

Они помолчали. Оба старика и Жаннетта ждали внизу.

— Ты шла за мной? — спросил Пабло.

— Да.

Пабло не знал, что еще сказать, и тогда заговорила хозяйка:

— Поверни Вороную, я хочу пройти обратный путь.

— Ты?

— Да.

— Нет.

— Я хочу.

— Но это же не женское дело.

— Только один ряд... Если я буду делать плохую борозду, неглубокую, ты меня остановишь.

Пабло улыбнулся. Ему захотелось ее поцеловать, но снизу на них смотрели старики. Он повернул Вороную и поставил плуг на место. Потом снял вожжи, надел хозяйке на шею и встал позади нее. Он видел, как приподнялись ее плечи. Ей пришлось набрать в легкие побольше воздуху.

— Ну, Вороная, пошла! — крикнула она.

Голова у нее ушла в плечи, тело качнулось справа налево, как будто она собиралась лечь на бок. Плуг углубился в почву, она, напрягая спину и бедра, согнулась, придавленная непосильной тяжестью.

В нескольких шагах за ней шел Пабло, устремив взгляд на ее шею, на которой черный ремень оставил красные полосы.

Когда она остановилась в конце борозды, лицо у нее было залито потом. Она смеялась. Смеялась старуха и даже Хромой. Он подошел и сказал:

— Ну вот и сделала свою борозду! И верно. Хорошее дело — со своей землей познакомиться.

— Да, правильно,— сказала старуха.— Самой борозду пропахать в новой земле — это не помешает, добрая примета!

Они снова засмеялись, но Пабло уже повернул Вороную и снова зашагал к холму, где солнце преобразило лес.

Повсюду лился свет, на всей земле смеялся ветер, он бежал по дикой траве. Здесь он встречал больше препятствий и задерживался. Ветер прыгал по виноградным лозам, падал в узкие проходы, шарил в колючках и, пробежав за плугом, снова мчался к равнине.

33

Пять дней они работали на пустоши. Хозяйка говорила:

— Мы просто с ума сошли. Уже давно время обрезать виноградники, а у нас еще четыре участка не закончены.

Но Пабло увлекся. Он шутил, что с такой молодежью, как Маргарита и Хромой, гектар земли не больше носового платка. Все смеялись и с еще большим рвением принимались за работу.

Пять дней от зари до поздней ночи. Пять дней они боролись против сорняков, цепляющихся за землю и виноградные лозы, спиливали упавшие, старые колья. Наконец к вечеру пятого дня работу закончили. Перед возвращением домой молча постояли несколько минут, потом перешагнули межу, отделявшую виноградник от дороги. Солнце уже село, но были еще видны все борозды, проложенные до самых вишен. Так они стояли ни слова не говоря, наконец старик подал голос:

— Это хорошо. Гораздо лучше, чем я думал. Теперь разве что какой недоброжелатель скажет, как поглядит на этот виноградник: «А ведь он столько лет не обрабатывался».

Это была правда. Земля была чистая. Опрятная. Без единой травинки. Они даже заменили сгнившие колья, и новые из светлого дерева были видны далеко-далеко, как указывающие на опасные места буи на спокойном море.

Ничего не осталось от мусора, только куча пепла еще тлела посреди поляны, примыкающей к винограднику. Пабло все перекопал, даже там, где не было посадок.

— И хорошо, что все перекопал,— сказал старик,— и не сей ничего раньше чем через год. Перекопай еще раз, и тогда вся трава будет уничтожена. Будет прекрасная земля, чистая, жирная, отдохнет как следует. Вот и засеешь. Я бы здесь клевер посеял. Оставил бы его на два года и свежим перекопал. Всем известно — это лучшее удобрение.

Они отправились домой. На телегу погрузили старые колья, которые могли еще послужить для растопки печи. На обратном пути, когда ехали мимо земли, принадлежащей ферме, старик сказал:

— Пшеница твоя хороша, но на будущий год я бы здесь картофель посадил.

Проехали дальше, и опять он заметил:

— А вот этот виноградник немного завалился, надо будет прийти сюда днем посмотреть.

Пабло засмеялся:

— Вы правы, но интересно, как это вам удается все разглядеть в такую темень?

И действительно, уже наступила ночь. Они ехали по дороге, Вороная чувствовала ее, но вокруг по земле расстилалось широкое темное покрывало и уходило до самого горизонта, где еще виднелась чуть заметная полоска света. Холм справа от них казался сплошной серой

массой, потерял очертания. Медленно приближавшаяся деревня была как щель в плохо закрытой ставне. Время от времени открывалась дверь, на миг загорался большой золотой прямоугольник, и снова все погружалось во тьму.

Все подшучивали над стариком, а он все рассказывал о полях и виноградниках, которые шли вдоль дороги.

— Смейтесь, смейтесь. Если я о них говорю, так это потому, что знаю их как собственный карман. Когда я прохожу мимо земли, я всегда у нее новости спрашиваю, а сегодня утром я здесь проходил, вот и могу вам сказать, как идут у них дела, как они себя чувствуют.

Он делал вид, будто сердится, но на самом деле был счастлив. Пабло это чувствовал. И поощрял старика к разговору. Пабло любил слушать, когда говорили о земле. Во-первых, все, что рассказывал старик, было полезно, а кроме того, доставляло ему удовольствие. Старик умел говорить только о земле и рассказывал о ней интересно. Речь его текла как чистый родник из скалы. Случалось даже, что Пабло слушал его, не обращая внимания на слова. Это было как музыка вокруг — она шла от земли, из ночной тьмы, ее посылало небо, нес ветер. И Пабло погружался в мечты. Он говорил себе, что прошедший день сопровождает его и рассказывает ему свои истории. Остальные тоже слушали, и только когда стали видны первые дома, чары развеялись. Многие уже закончили доить коров и несли бидоны, как корзины с фруктами. Поравнявшись с телегой, они кричали:

— У вас что, другого времени нет? Может, вам фонарь одолжить? Видали, они вслепую работают!

И все смеялись, но Пабло чувствовал, что те, у кого война отняла работников, немножко завидуют.

Иногда он об этом задумывался, но ненадолго. Его тянула работа, она не оставляла времени на раздумья. И потом, он высматривал другие земли. Теперь он знал всю территорию коммуны и знал участки, которые рано или поздно пустят в продажу. Пабло никогда об этом не говорил. Так кошка выжидает, потому что такова уж ее натура — ждет, когда надо бежать.

Земле надо было дать то, чего она настойчиво требовала,— побольше труда, больше, чем ты можешь выжать из своих рук. А потом надо ждать урожая, готовить бочки. И надо надеяться, они будут полнехоньки, и от года к году их потребуется все больше.

Кроме работы в поле у Пабло был еще каждодневный тяжелый труд: хозяйка, как и все местные крестьяне, предпочитала копить деньги. Каждый раз, продав бочку вина, теленка или козлят, она смотрела на банкноты, пересчитывала их много раз и уносила в свою комнату. Никакое вложение денег не было для нее надежным, надежным был только шкаф. И вот надо было бороться, спорить, объяснять, все время твердить одно и то же. И каждый раз Пабло начинал сначала. И всякий раз часть банкнотов становилась новым плугом, клочком земли, соковыжималкой.

В конце концов хозяйка всегда соглашалась. В ней было что-то молодое, живое, что-то такое, что помогало ей понять. Но одним глазком она все поглядывала на шкаф, где под кипой простынь пряталась кипа банкнотов. Трудность заключалась в том, чтобы втолковать ей, что банкноты в несколько часов могут потерять всю свою ценность. И даже тогда, когда она следила за мыслью Пабло, она не могла поверить ему до конца.

Старик тоже не понимал. И каждый раз, когда он видел вновь приобретенное оборудование или купленную землю, он повторял:

— Какие деньги! Хорошо. Очень хорошо. Я очень люблю, когда покупают землю... Но надо же что-нибудь и на черный день оставить.

Пабло улыбался. Старик — тот пусть думает что хочет.

Жизнь шла спокойно. Одно время года сменялось другим, одна работа влекла за собой другую.

Вокруг трудились люди, а где-то далеко была война. Газеты говорили о ней, люди тоже, писали в письмах, но это было далеко. Война обошла их стороной; из-за холма вставало солнце и приземлялось на краю равнины. Война была по ту сторону земли, и ветер, дующий между рядами виноградника, приносил запах влажных конюшен и приятный запах дыма от древесного огня, на котором варилась вечерняя похлебка.

Вечера сливались в один вечер. Дни были наполнены долгим и тяжким трудом. Даже в плохую погоду им хватало домашней работы, накопившейся за долгие солнечные недели.

Иногда в дождливые вечера, когда Пабло приходил раньше и садился на кухне, ему приходилось поддерживать огонь или варить корм скоту. Беря полено из корзины, Пабло с удовольствием его рассматривал. И прежде, чем бросить в огонь, спрашивал у полена его историю, и оно ему рассказывало. Поленья знали тайны леса. Одни могли рассказать о жизни животных, которые оставляли следы на коре: вот след укуса, вот удар клюва, а вот тут — серебристая дорожка улитки. На других не было ничего, кроме живого рисунка, в котором, может быть, заключался целый мир. Рисунок походил на все и ни на что. Пабло задерживал на них взгляд, потому что они рассказывали все, что ему хотелось услышать.

Особенно интересны были поленья, у которых было две жизни. Первая — жизнь в дереве, но это уже давно и не о чем говорить. Но была и другая жизнь, и она отдавалась теплом в сердце Пабло. Ведь эта вторая жизнь проходила на винограднике. В ней была своя тайна, и она оставалась между Пабло и этим старым, изношенным куском дерева, расколотым, источенным дождем, хранящим еще следы железных скоб или намотанной проволоки. Дерево, может быть, пришло с недавно купленного участка, где заменили колья, вновь обрезали черенки, омолодили лозы.

Немного, кажется, но достаточно, чтобы песенка поглощавшего полено огня звучала совсем по-другому.

Пабло долго сидел с полузакрытыми глазами, слушая эту песенку, а вокруг в большой кухне сновали Жермена и Жаннетта.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

34

К четырем часам пополудни пошел снег. Уже с неделю небо обещало его, но дул слишком сильный ветер.

Поначалу, когда в воздухе закружились первые хлопья, никто не придал этому значения, но когда мороз начал пощипывать шею и уши, они посмотрели на север.

— Да, видно, зима наступила,— сказала хозяйка.

— Да,— подтвердил Хромой.— Знаете, как говорят: «На колкий снег закона нет».

Пабло посмотрел вокруг. Снег крутился в воздухе, почти не касаясь земли, но все кругом было бело, не видно горизонта, равнина исчезла. Едва можно было различить конец виноградника — он уже растворился во мгле, стал серо-белой массой. Небо слилось с землей.

Они собрали моток проволоки, молоток и крючки и отправились обратно в деревню. Шли молча, втянув голову в плечи, чуть наклонившись вправо, в ту сторону, откуда дул ветер.

Когда подошли к дому, старик сказал:

— Теперь уж все равно. Самая трудная работа сделана. С этого виноградника вы будете собирать урожай, даже когда я буду лежать в сырой земле.

— Может, и так,— сказала хозяйка,— но ничего, еще успеете попить с него вина. Такие посадки, такая земля, столько труда вложено! Хорошо бы вышло доброе вино.

Во дворе крутился снег, оседая у стены дома. Возле угла, где ветер, разбиваясь о камень, дул двумя потоками, земля оставалась голой.

Они обили сапоги у порога, и, как только хозяйка открыла дверь, в лицо им повеяло теплым воздухом, приятно пахнувшим древесным углем.

Но вернулись они слишком рано, и старуха еще ничего не успела приготовить на ужин. Когда они вошли, она посмотрела на них, не поднимаясь со стула. Огрубевшие руки лежали на коленях, вязанье покоилось в углублении фартука. Выражение лица было у нее необычное, глаза быстро бегали под полуопущенными веками. Она смотрела на них так, будто они вернулись после долгого путешествия.

Они стряхнули снег и, вытянув руки, подошли к огню. Тогда, не вставая с места, старуха спросила:

— Вы его видели?

Они переглянулись. Она повторила

— Анри. Вы видели его?

— Анри?

— Да. Приятеля Пабло. Вы его не встретили?

Наступило долгое молчание. Пабло обвел глазами комнату. Было уже темно, и на цементный пол от плиты падал большой прямоугольник света. Отблеск очага освещал ножку стола. Дерево поблескивало в темноте.

Вдруг хозяйка спросила:

— Он правда приходил?

— Да, он ищет Пабло. Я хотела, чтобы он здесь подождал, но ему тут нечего было делать. Наверно, в кафе пошел.

— А что ему надо? — спросила хозяйка.

— Не знаю... Он немного выпил, кажется.— Старуха помолчала, потом вздохнула и добавила: — Теперь он хорошо говорит по-французски. Можно понять. Только не понравился он мне. Рассказал, что был в плену у немцев, они его заставляли работать. Сумел бежать. Вроде скрывается. Ничего хорошего.

— И он вам сказал, что вернется? — спросил Пабло.

— Как только стемнеет, он сказал. Я объяснила ему, что вы раньше не вернетесь. Я не знала, что снег так рано пойдет.

— Ветер,— сказал Хромой,— сама понимаешь...

— Да, знаю, но все же...

Хозяйка повернулась к Пабло.

— Ну так как? — спросила она.— Что теперь делать?

Пабло спросил у старухи:

— А в каком он кафе? В том, что у дороги, или в здешнем?

— Не знаю. Не спросила.

— Тогда лучше подождать. Я не собираюсь бегать за ним в такую погоду.

— А если немцы правда его разыскивают? Что тогда будет?

— Ну, сегодня-то вечером они его искать не станут,— сказал Пабло.— Надо подождать, а там увидим.

В комнате будто стояло что-то и мешало. Будто давно дремало и вдруг проснулось. Но Пабло был спокоен. Странно. Он вдруг словно раздвоился и был сразу в двух местах.

Хозяйка повернулась к двери, зажгла свет. Сначала все зажмурились, но потом, немного привыкнув, взглянули друг на друга. Напрасно Пабло искал то, что стояло в комнате; при свете все исчезло. Не осталось ничего.

Пабло сел напротив Жаннетты. Какое-то время он с улыбкой смотрел на нее. Девочка забормотала и тоже улыбнулась.

Хозяйка стала готовить еду. Старуха снова принялась за вязанье.

— А сама-то ты что об этом думаешь, Жермена? — спросила она после долгого молчания.

— А что тут думать? Надо подождать.

— Ну так вот что я скажу: этот парень приносит несчастье. Вид у него больной, это сразу видно. Я ведь тогда тут же сказала: этого парня лучше держать подальше. Пусть сам устраивается. Он-то выйдет сухой из воды. А другим плохо будет.

— Да, но нельзя же выгонять людей за то, что у них вид больной,— заметил Хромой.— Может, ему просто нужно немного денег. Мы же не знаем. А потом он уйдет.

— Он уйдет и всюду будет говорить, что здесь живет испанец,— бросила старуха.— И через неделю Пабло схватят.

Пабло обернулся.

— Вы думаете, никто не знает, что я живу здесь? Или, может, вы думаете, за год, что немцы тут, во всей деревне не нашлось ни одного доброго человека, который бы им об этом сообщил? До сих пор никто не приходил за мной только потому, что желания такого не возникло. Сейчас у немцев дела поважнее. В Африке у них на шее американцы, а здесь маки.

— Верно,— сказала старуха.— Они с каждым днем делаются все нахальнее. Но ведь вы же сами никогда ни с кем не разговариваете. Вы только работаете, а не задумываетесь, что рядом-то делается. И ничего не видите.

Пабло молчал. Да, он знал, война теперь другая. Он знал, она идет повсюду, но всегда делал вид, что ничего не знает. Кроме того, что говорилось в письмах сына Жермены, а больше почти ничего.

— Мы уж тут думали — может, вы просто притворяетесь, что ничего не знаете,— прибавила старуха.

Пабло посмотрел на нее, посмотрел на хозяйку и опустил голову. Так он сидел долго. Все молчали. Ветер тряс ставни и двери. Огонь гудел, поглощая толстые поленья.

Война пришла. До сих пор Пабло поворачивался к ней спиной, но вот она вошла в дом. Уже нельзя делать вид, что он не знает о ней. Эта мысль мешала ему слушать песенку зимы и огня.

Так он сидел, не шевелясь, до тех пор, пока кто-то не потянул его за рукав. Он вздрогнул и поднял голову.

Жаннетта внимательно смотрела на него. На столе лежала сложенная из фасоли большая белая голова и смеялась.

35

Они уже почти поужинали, когда стук башмаков по каменным ступенькам лестницы заставил их замереть — ножи застыли в руках, рты перестали жевать. Пабло почувствовал, как кровь быстрее побежала по жилам. Хозяйка побледнела, руки у нее дрожали.

— Их много, — прошептала она.

В дверь трижды постучали. Наступила тишина. Пабло поднялся, посмотрел на входную дверь, потом на дверь в глубине комнаты. С быстротой молнии в голове пронеслась мысль: надо подняться по лестнице в комнату Жаннетты, открыть окно и прыгнуть на крышу дровяного сарая. Оттуда через луг — к холму. Снежная буря спрячет его. Его не догонят.

Мысль пронеслась очень быстро, очень четко. Но он не двинулся с места.

Снова постучали, и дверь отворилась. Хозяйка крикнула:

— Входите и быстрее закрывайте дверь, на улице собачий холод!

Вошли двое мужчин, и с ними ворвался порыв холодного ветра, внеся блестящие снежинки.

Пабло почувствовал, как кровь ударила ему в голову.

Энрике и мэр, опустив воротники, стряхивали снег.

— Грейтесь,— сказала хозяйка и встала.

Они поздоровались. Сначала заговорили все сразу, потом наступила тишина, только ветер спорил с огнем. Вот они отогрели окоченевшие руки и сели к столу.

— Ужинали? — спросила хозяйка.

— Нет,— ответил мэр,— но меня ждет жена. Я долго не задержусь, я вот только его проводил.

— А я бы с удовольствием поел, если позволите,— сказал Энрике и улыбнулся.

Он говорил по-французски, правда, с очень сильным акцентом, но его без труда можно было понять. Хозяйка поставила перед ним тарелку. Принесла два стакана, и Пабло налил вина.

— Спасибо,— сказал мэр.— За ваше здоровье.

Они осушили стаканы, и, пока хозяйка ходила за остатками похлебки, мэр заговорил медленно, подбирая слова:

— Я не хочу задерживаться... и потому скажу сразу... если вы не возражаете.— Он посмотрел на Хромого и на тетушку Маргариту, поколебался, еще раз взглянул на них, потом, указывая на Энрике и Пабло, добавил: — Я бы предпочел поговорить втроем...

Хромой большим и указательным пальцами вытер лезвие ножа, закрыл его и положил в карман. Потом протянул Пабло свой стакан, сказал:

— Хорошо. Мне все равно пора домой.

Пабло налил ему полстакана, и он залпом выпил.

— Вы понимаете,— пробормотал мэр,— это не... Мне бы не хотелось...

Но старуха перебила его. Поднялась и насмешливо бросила:

— Ну, если уж нас тут за шпионов принимают!..

Пошла к двери, накинула на голову шаль, надела сабо. Хромой завернулся в свою накидку и вышел следом.

— Со стариками просто беда,— сказал мэр.— На все обижаются, прямо не знаешь, как себя и вести.

— И мне тоже уйти? — спросила хозяйка.

Мэр пожал плечами.

— Конечно, нет. Я же хорошо знаю, что ты не побежишь болтать направо и налево. Только старики, без злого умысла, могут ненароком распустить язык.

— Вы бы могли сказать им по-другому.

Мэр вздохнул:

— Думаешь, это так просто!

Хозяйка налила в тарелку похлебки для Энрике, и тот спокойно стал есть, будто все, что здесь говорилось, не имело к нему отношения. Мэр оглядел всех троих, потом раз-другой кашлянул и сказал:

— У меня нет времени объяснять вам. Он сам расскажет, что с ним произошло. Мне важно только одно — чтобы он здесь не задерживался. Слишком много народу в курсе дела. Прежде всего ему не надо ходить в кафе и разговаривать там с кем попало. Тем более в кафе, которое у шоссе. Когда я туда вошел, в зале были люди из Лона, я их не знаю. Еще неизвестно, кто они. Нет, так негоже! — Голос его по мере того, как он говорил, становился все громче, круглое лицо багровело, толстые руки пришли в движение.

Энрике перестал жевать, посмотрел ему в лицо и бросил:

— Надеюсь, вы не собираетесь начинать все сначала? Я вам уже сказал: ваши разглагольствования мне надоели.

Потом, все так же спокойно, снова принялся за еду. Мэр умолк. Пабло с минуту смотрел на него, потом сказал:

— Господин мэр, я думаю, лучше бы объяснить нам, чего вы хотите. Что сделано, то сделано, и бесполезно снова возвращаться к этому.

— Да, но если завтра за ним придет гестапо и они узнают, что я здесь возился с ним, неприятности-то будут у меня.

Энрике засмеялся:

— А вы сделайте, как я: идите в маки́, и будет там на одного больше.

Мэр сжал кулаки. Видно было, как под кожей задвигались желваки.

— Я не нуждаюсь в советах. Я сам знаю, в чем мой долг. Я несу ответственность за жителей целой коммуны и... и... — Он замолчал, поглядел на одного, на другого, потом добавил: — Да и маки́ на меня не жалуются. В противном случае меня бы тут не было, да и вас тоже.

Энрике повернулся к Пабло и бросил по-каталонски:

— Нет, ты только посмотри на эту толстую тыкву! Хочет получить медаль за то, что привел меня сюда из кафе! Ну надо же, а? — Энрике засмеялся. Наверное, хватил лишнего.

— Что он там еще болтает? — крикнул мэр.

— Ничего,— сказал Пабло.— Просто перебрал немного. Вот и все.

Энрике нахмурился и, сжав кулаки, повернулся к Пабло. Но Пабло смотрел на него с улыбкой.

— Поешь,— сказал он,— и тебе станет легче.

Энрике отрезал кусок хлеба и начал есть картошку.

— Итак,— спросил Пабло,— точнее: что он должен делать?

Мэр еще раз кашлянул.

— Ну так вот. Он хочет идти в Сопротивление. Лично я согласен. Только, видите ли, такие вещи требуют особой осторожности. Повторяю: я полностью — за. Могу даже сказать ему, куда надо идти, только вот, не зная здешних мест, глубокой ночью и в такую погоду он наверняка заблудится.

— Но ему же не обязательно сейчас уходить,— заметила хозяйка.— Не придут же они за ним в такую ночь!

Мэр снова закричал:

— Ну уж нет! Увольте! Никаких разговоров. Я не хочу его больше тут держать. Если бы он мог посидеть спокойно, там было б видно, но он такое трепло! Нет, это невозможно!

Энрике все ел, время от времени посмеиваясь и бормоча ругательства по-каталонски.

— А куда вы хотите, чтобы он пошел? — спросил Пабло.

— В сторону Эпесских лесов, на плоскогорье.

Хозяйка рассмеялась.

— И вы б хотели, чтобы он пустился туда темной ночью? В такой снегопад? Да вы в своем уме? Тут же не меньше пятнадцати километров по прямой, да надо еще дорогу знать!

— Не об этом речь — пусть только доберется до просеки Во. Там есть пустые бараки, там он мог бы переночевать. А завтра не спеша проделает остаток пути. Вы понимаете, ему надо только залезть повыше, и он уже в безопасности... И лучше даже уйти в снегопад — следы тут же заметет. А там уже другое дело.

— Ты только послушай,— усмехнулся Энрике.— Все продумал. А он голова, этот тип!

Снова Энрике заговорил по-каталонски, и мэр смотрел на него, еле сдерживая гнев.

— Меня из-за него могут схватить, а он еще надо мной смеется!

— Да нет,— сказал Пабло,— он просто шутит. Не обращайте внимания, он всегда такой.

— Послушайте,— сказал мэр.— Я больше не могу терять время. Если его в самом деле ищут, немцы придут сюда. Со мной просто, я ничего не знаю. Я привел его сюда, потому что он уже работал здесь вместе с вами, вот и все. А дальше сами выкручивайтесь. Только вот

что я скажу — и это уж точно: вряд ли им понравится ваш фальшивый документ. Они станут допытываться, кто вы такой, и, когда узнают, что тоже испанец, вам, конечно, нелегко будет выпутаться. Поэтому я думаю, лучше вам уйти вместе с ним.

Пабло отшатнулся. Он только собирался заговорить, но тут вступилась хозяйка:

— Чтобы он пошел вместе с ним в маки? Да вы в своем уме?

Мэр посмотрел на нее с улыбкой и пожал плечами.

— Тебя, разумеется, это не устраивает. А я еще сомневался...

Хозяйка смутилась, но быстро овладела собой и сказала:

— А мне плевать, что вы обо мне думаете. Вас не касается, что в моем доме происходит. Мне нужен работник. Муж умер. Сын в плену. И дело с концом!

Тут уж мэр взорвался. Вскочил со стула, стукнул ладонью по столу, крикнул:

— Мне тоже плевать, что здесь происходит. Только я больше не потерплю, чтобы в нашей коммуне проживал человек, у которого документы не в порядке. Я проявил слабость. Если из-за него у нас случится несчастье, упрекнут-то меня!

Когда мэр стукнул по столу, Жаннетта расплакалась. Пабло встал, подошел к ней, взял за руку и подвел к лестнице.

— Иди спать,— тихо сказал он.— Поднимись быстрее и не плачь. Ничего не случилось. Не надо плакать.

Жаннетта, рыдая, поднялась по лестнице, а Пабло встал посреди комнаты. Хозяйка и мэр через стол мерили друг друга взглядами. Энрике все ел, время от времени посматривая на них.

— Я думаю, так вы ни до чего не договоритесь,— сказал Пабло.— Надо все обдумать.

— Обдумывать тут нечего,— бросил мэр.

— Он прав,— вмешался Энрике.— Ты пойдешь со мной, это единственно правильный выход.

Пабло посмотрел на Энрике, но тут заговорила хозяйка:

— А вы-то чего суетесь? Не пришли бы, и ничего бы не было.

Энрике повернулся к ней, засмеялся и бросил по-каталонски:

— Если бы мы не пришли четыре года назад, ты не спала бы с испанцем!

— Энрике! — крикнул Пабло.

— Что он сказал? — спросила она.

— Хватит разглагольствовать,— продолжал Энрике все так же на своем родном языке, но уже обращаясь к Пабло.— Хватит! Я сыт по горло! Нужно только избавиться от этого дурня. А там видно будет. Ты скажи ему, что уйдешь со мной, пусть он тебе объяснит, куда идти, и пусть убирается. А потом уж я сам буду выкручиваться.

— Что он там болтает? — спросил мэр.

Пабло не ответил. Немного подумал, потом повернулся к мэру и просто сказал:

— Мой товарищ прав, я пойду с ним.

— Нет! — крикнула хозяйка.— Вы не имеете права меня оставлять... Сейчас мужчину для работы не найдешь... Сын в плену...

И вдруг умолкла. Лицо у нее сморщилось. Подбородок задрожал, жесткий взгляд переходил с Энрике на Пабло, потом на мэра, снова возвращался к Пабло. Наступила гнетущая тишина. Пабло опустил голову и сказал почти шепотом:

— Мне надо уходить... Так будет лучше. Надо уходить.

Хозяйка чуть не плакала. Гнев ожесточил ее лицо. Тонкие губы шевелились. Почти не разжимая стиснутых зубов, она бросила:

— Все вы подлецы. Одиноким женщинам только подыхать остается... или землю продавать.

— Тебе помогут... — буркнул мэр.— Посмотрим, может, кого-нибудь тебе найдем...

Хозяйка пристально посмотрела на него. Влажные глаза светились ненавистью. Мэр опустил голову. Пабло в упор смотрел на нее. И как только она повернулась к нему, дважды подмигнул ей и сказал:

— Вы должны понять, хозяйка. Мы иногда не отдаем себе отчета, но, может, и правда для деревни опасно, что я здесь живу.

Она ответила не сразу. Лицо ее медленно разглаживалось. Пабло еще раз подмигнул и кивнул на мэра. Хозяйка вздохнула и села. Мэр поднял голову и по очереди посмотрел на них. Теперь она сидела, уставясь в стол.

— Знаю, тяжело,— сказал мэр.— Но так дальше продолжаться не может. Вся деревня в курсе дела. Даже жандармы знают, что он испанец и что я выдал ему фальшивые документы. Они на это закрывают глаза, и прекрасно, но достаточно одному глупцу сболтнуть лишнее слово — и все пропало... Пойми, Жермена, по всему видно, война долго не протянется, так лучше избежать осложнений.

Хозяйка ничего не ответила. Лоб у нее покраснел. Как только мэр замолчал, она встала и пошла к двери, ведущей на второй этаж.

— Раз он должен уйти, я соберу его вещи.

И вышла. Деревянная лестница заскрипела, и опять воцарилась тишина. Только ветер сотрясал ставни и двери. Давно уже никто не подбрасывал дров в огонь, и он больше не пел. Все трое сидели молча. Спустя некоторое время Пабло решился:

— Мне тоже надо подняться, уложить рюкзак... Вы только объясните мне дорогу и к кому обратиться... А потом можете отправляться к себе.

Мэр облокотился на стол и положил палец на потемневшее дерево.

— Вы знаете дорогу к лесу Мулен?

— Конечно.

— Пойдете по ней до самого верха.— Он вдруг замолчал, вытащил из вельветового жилета карманные часы и покачал головой: — Ба! Время-то уже движется к восьми. Наверняка жена поужинала без меня. Если хотите — собирайтесь, а я вам после объясню. Дайте лист бумаги, я нарисую. А потом вместе пойдем, и я вас провожу.

Пабло посмотрел на Энрике, тот рассмеялся и сказал по-каталонски:

— Если я правильно понял, ты стал своим в доску в этой маленькой очаровательной деревушке.

Пока он хохотал, мэр спросил у Пабло:

— Что это он говорит?

— Я ему говорю,— ответил сам Энрике,— у нас это называется — мало выгнать человека, надо его еще вытолкать за порог, чтоб удостовериться, что он вышел из твоего дома.

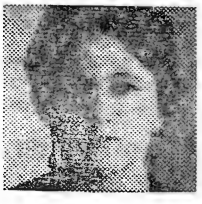
И он снова засмеялся, а мэр, извиняясь, что-то пробормотал.

Пабло не стал его слушать. Он уже выходил через маленькую низкую дверь. Энрике крикнул ему по-каталонски:

— Не спеши! Но все же и о нас не забудь в последнюю минуту!

Пабло хлопнул дверью. Смех Энрике летел вслед за ним до самого верха лестницы.

(Окончание следует)



ЕРОФЕЕВА ТАМАРА ИВАНОВНА.

Советская переводчица с французского. В «Иностранной литературе» в ее переводе напечатаны: «Реквием по монахине» Фолкнера — Камю (№ 9, 1970), повесть Адели Фернандес «Ранний плод — горький плод» (№ 3, 1974), пьеса Марка-Жильбера Соважона «Чао!» (№ 10, 1972).

ДАНИЛО ДОЛЬЧИ

Перевод с итальянского и вступление
ЕВГЕНИЯ СОЛОНОВИЧА

Литературная известность Данило Дольчи, лауреата международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами», связана с его публицистикой, хотя начинал он как поэт. Начало не было многообещающим: сам автор признавал впоследствии риторическую расплывчатость своих первых поэтических опытов, которые, когда ему было около двадцати пяти лет, он почти полностью уничтожил («тысячу пятьсот стихотворных строк, в то время я их считал»). В стихах не было главного — личности поэта.

Выбор, сделанный Дольчи в начале 1952 года, когда он переехал с севера Италии в небольшой сицилийский поселок Траппето, надолго отвлек его от поэзии. Западная Сицилия пятидесятых годов — это нищета, грязь, эпидемии, это дети, умирающие от голода, это батраки-поденщики, могущие рассчитывать лишь на сезонную работу, это безграмотность, власть предрассудков, это мафия. Дольчи выступает в защиту обездоленных, обличая во всеуслышание зло, организуя «итальянские забастовки» рыбаков Траппето и поденщиков Партинико, он объявляет голодовки, чтобы привлечь внимание общественности к ужасающей сицилийской действительности. Его тревожит пассивность людей, непонимание ими своих проблем, их обреченность. Дольчи говорит с ними, и результатом этих бесед, этих социологических опросов становятся книги «рассказов-документов», как называет их автор,— «Бандиты в Партинико», «Расследование в Палермо», «Расточительство». Созданный и возглавляемый им общественный центр добивается строительства плотины на реке Ято, организации крестьянского кооператива, распределяющего воду для орошения полей. Многолетний опыт жизни на Сицилии, среди сицилийцев, подсказывает Дольчи и другие практические пути — и он обращается к педагогике, ищет оптимальные формы обучения и воспитания детей и подростков, и результаты этих настойчивых поисков находят применение в работе его нового детища — Воспитательного центра в Мирто, недалеко от Траппето.

В 1970 году был издан «Лунный лимон» — поэтическая книга, продолжавшая в новой форме живые страницы рассказов-документов, развивая и расширяя этот жанр, привнося в него определенную условность, без которой едва ли возможно поэтическое обобщение. За «Лунным лимоном», год спустя, последовала поэма «Вы не слышите запаха гари?» — книга о трагедии Освенцима и Хиросимы. В 1975 году Дольчи получил международную поэтическую премию «Этна-Таормина».

В настоящей публикации Данило Дольчи представлен страницами из книги «Творение творений», в которой собрал стихи, написанные в 1949—1978 годах. Переводчик остановил свой выбор на двух поэтических циклах (автор рассматривает их как части единой поэмы) — «Клещевой бог» (отдельное издание вышло в 1976 году) и «Учиться горению» (цикл датирован 1976—1977 гг.). Здесь стихи о природе, окружающей сицилийца, — природе суровой, не балующей тех, кому живется трудно,— строки о необратимости времени, о любви и разлуке, о поэзии, здесь образцы поэтической публици-

---

ДАНИЛО ДОЛЬЧИ — DANILO DOLCI (род. в 1923 г.).

Итальянский писатель, публицист, лауреат международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами». В «Иностранной литературе» публиковались фрагменты книг «Расследование в Палермо» (№ 10, 1958), «Расточительство» (№ 9, 1962), «Беспроигрышная игра» (№ 6, 1967).

Публикуемые стихи взяты из книги «Творение творений» («Creatura di creature», 1979).

© by Giangiacomo Feltrinelli Editore, 1979.

стики, основанной не на абстрактных выкладках, а на конкретном, последовательном опыте:

...отмечай, чего ты еще не знаешь,
отмечай, чего ты еще не понял,
отмечай, чего ты не видишь,
отмечай, чтобы видеть.

Дольчи-лирик находит неторопливые, округлые слова («Красноватого пепла дюны дымятся// крутые курганы черного пепла»); метафора («отражена в воде твоя судьба//как противоположный берег») служит ему защитой от многоречивости, интонацию отличает мягкость, неторопливость; Дольчи-публицист подчас прямолинеен, его стих звучит резче, отрывистее, словарь приближается к обиходному, прием становится обнаженнее.

«Поэзия Дольчи необычна для нас, это поэзия пионера... исключительный пример хоровой и гражданской поэзии»,— отмечало жюри премии «Этна-Таормина», мотивируя свое решение о присуждении премии Данило Дольчи. «Он единственный из нашего поколения, кому удалось сократить до минимума нейтральную территорию между жизнью и литературой»,— писал о Дольчи-поэте известный итальянский писатель и киносценарист Чезаре Дзаваттини. Дольчи хорошо чувствует поэзию, любит ее — он верит в поэзию, которую прозаично называет своей «неискоренимой потребностью».

■ ■ ■

Не путай события и надежды:
отмечай, как в лаборатории,
отмечай, чего ты еще не сделал,
отмечай, чего ты еще не знаешь,
отмечай, чего ты еще не понял,
отмечай, чего ты не видишь,
отмечай, чтобы видеть.

Для тебя настоящее — струйка в песочных часах,
проступающих из темноты: тебе незаметно,
как струятся галактики мгновений;
если ты перехватишь вниманием горловину,
ты, возможно, постигнешь, в чем сходство и разница
между мгновениями,
и что-то изменишь.

День — песочные часы, которые
ты не можешь перевернуть.

■ ■ ■

при мощном содрогании раскалываются скалы
слоятся и пластины поглощает неизвестность
кроша над черным зиянием провалов
где теряется глаз привыкший к свету
горы трескаются и в глубине
разламывается земля —

позднее бездны заполняет пыль
наносы оставляемые ветром
и мутными потоками
песок влекомый морем —
но взгляд неискушенный не заметит
рубцов под камуфляжем зелени

не угрожают никому не охраняют
никого широкие стены
в просветах свежих трещин
базальтовые зубы черный слой
над черным слоем —
только и случается

скала расплющивает обломком
неловкую козу хрупкие кости
спрессовывает шерсть
густую белую защиту семени
от ветра ледников пока оно
под зимним скудным солнцем не созреет
ломает жизнь и без того тяжелую на острове
бледного мха

или до редких кустиков тимьяна
до чахлого лишайника доходит
изогнутое безразличье лавы
густые волны —
огненная кровь
рождает гармонические формы

■ ■ ■

Красноватого пепла дюны дымятся
крутые курганы черного пепла
не рыхлый пепел спаленных поленьев
пепел сожженных скал измельченного камня
оседая хрустит под ногами
между домами растворенными в лаве
уже какую весну не головокружительный кратер
дымится это дымится громада
красной горы бесконечными порами
дымятся щербатые валуны незримые жилы
бурые от расплавленного дерна склоны
серная плесень магма дымится и клубы тумана
рассеивает ледяной ветер —

в теплых складках лавы над морем
до времени замирает
полет чаек.

■ ■ ■

Как я читаю землю в приглушенных
тенях, в непостоянстве облаков,
когда погаснет освещенье скал
и серые сливаются рельефы,
или как море сонное, когда
от бездны что-то в отсветах небесных, —

в тебе читаю, в волнах
твоих волос, в глубинных отраженьях
глаз, в тайнах
го́лоса порою беспросветное
отчаяние,
даже в улыбке.

■ ■ ■

Рассеются туманы
и снова свет забрезжит подтверждая
формы
высвечивая из бескрайней
бездны привычные дороги —

неверный свет
покроет глянцем воды там где ветер
их не погасит рябью.

Ты знаешь:
мерцание тумана
захватывающая ярость бури
проходят — ночи не согретые любовью —
но волосы белеют
и однажды
вернется утро
светом без тебя.

■ ■ ■

Узнаёшь порой свою улыбку
свои тени
на другом лице —
как будто эхо.

■ ■ ■

Ты рассказать стесняешься картину
того же Леонардо.
Но как, тебе ни разу не встречался человек,
который понял бы ее,
который был в музее?
Неладно в мире,
улицы улюлюкают,
путь людям преграждают предрассудки,
решетки с каждым днем непроницаемей,
не продохнуть, не продохнуть,
испорченными вырастают дети.

На маленькой картине
мать и дитя. Младенец поглощен
цветком — он так уже смотреть умеет,
что сможет стать
Христом.

■ ■ ■

Пишу для тебя осколком
раковины морской
мою безмолвную песню:

от тебя вдалеке мне тебя не хватает,
не смотрю на тебя, ощущаю —
рядом
с твоим дыханием, ударами сердца
распахиваю себя горизонту.

На пустынном песке
исчезают, скользнув, легкие тени
невидимых против солнца чаек.

■ ■ ■

улицы выглядят улицами,
дома —
святынями,

люди —
многосемейной семьей,
но на пути друг к другу нам нужно преодолеть
барьеры застывших взглядов,
болота подозрительности,
груды лома и хлама, мертвые архипелаги
среди хрупких льдин,
продраться сквозь толпы призраков —

ты существуешь, быть может,—
несуществующие стены
все еще разделяют нас, не пуская
меня к тебе

■ ■ ■

Открыты были первые жилища
на зыбкое раскачиванье веток,
спутанных ветром, пахнущим по-новому
при каждом новолунии,
на протяженное шуршанье волн.

Со временем поселок изменился:
на балконах,
на окнах выросли скрещенья веток,
застыли ржавые цветы и листья.

Теперь из комнат
сквозь металлические дебри
вид — словно через узенькие щелки,
нельзя понять, взошло ли утро.

■ ■ ■

Испытанный рецепт
закабаления людей:

внушенье — все, что есть у вас, ужасно,
добыча победителя прекрасна,

естественная нагота греховна,
забальзамированная — свежее,

все, что вручную сделано, ужасно,
да здравствует фабричная штамповка!

Хозяин
гарантирует порядок,

революционер
хорош, когда он мертв.

Испытанный рецепт
покорности рабов:

гнев растворить в брюзжанье на хозяина,
он виноват — чего же не посетовать?

Махнуть рукой на все проблемы
во имя личного спасенья,

вообразить, что завтра
рай непременно свалится на каждого,

смириться, свыкнуться с бредовой жизнью,
заплаченной авансом за другую,

по-прежнему лизать при этом
хозяину места́.

■ ■ ■

земля как будто заговор зеркал:
ты в полных отражаешься витринах
в листах магнолии
ты в окнах ты в машинах отражаешься
ты отражаешься в чужих зрачках
в зрачках того же буйвола
отражена в воде твоя судьба
как противоположный берег

ни голубя — заметь — над головою:
ты разучилась петь

■ ■ ■

бывает, корни в панике цепляются
за призрачную почву
или пытаются проникнуть
в бесплодный камень

во имя зрелости —
и корни незаемные,
твои,
разумные;

смотреть и видеть — можно научиться,
врастать корнями — научиться можно,
уменью, смелости
освобождаться от окаменелых
или гнилых корней, создавать
новые корни, ориентировать
их в темноте —
и научиться зрелости.

■ ■ ■

Ты в радужном сне открывала мне тайну:
«Поэзия — мать»

в изумлении я соглашался.

И эти колючие ветки, все эти шипы,
зачем, для чего они утро свое защищают —
свой чахоточный час,
свой взъерошенный день —
для кого?

Губы —
рана,
древние раны — глаза.

■ ■ ■

за стеклами музея
ТРОГАЙТЕ НА ЗДОРОВЬЕ
любопытные дети знакомятся с разделом
ЭПОХА — САМОУБИЙЦА

среди отравленных стрел, мохнатых кропил,
острых кольев, учительских кафедр
они по складам читают таблички:
ДЕТИ БЫЛИ МАШИНАМИ
ИХ ПРИВОДИЛИ В ДВИЖЕНИЕ ПОДЗАТЫЛЬНИКИ
виселица, школьная парта, гарота.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ: БЕЗРУКИЕ ЧУДОВИЩА
винтовка, банки консервированной травы
ЛЮДИ СЧИТАЛИ СЕБЯ ВЫСШИМИ СУЩЕСТВАМИ
банк, дым над миниатюрной трубой,
электрический стул, нью-йоркский пластик 1979 г.
МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И ПУСТОТОЙ
сигарета, хиросимская бомба

дивятся недоверчивые дети:
«Зачем друг друга убивать?
Зачем?..»

■ ■ ■

побеждает тот кто противится отвращению

побеждает тот кто меньше теряет
тот кому нечего терять

побеждает кто противится искушению плюнуть на все
кто противится постоянному искушению
наложить на себя руки

побеждает тот кто старается
не сбиться с пути

побеждает кто не обольщается

■ ■ ■

блуждаем в зарослях корней
ушедших во вчера
сегодня
завтра —
дебрях незримых пуповин

боязни высоты не знают крылья

зеленые миры на свет выходят
из мрака сердцевин и расправляясь
усеивают звездные просторы

■ ■ ■

от страха возникает ненависть
от ненависти возникает страх

от жизни подчиненной страху рождаются мутные сны
от мутных снов рождаются смутные страхи

потушишь отраженье ненависти
потухнет отраженье страха

цепляться —
нет
смыкаться

ты знаешь в самом деле
насколько важно пониманье —
и нѐ страшат тебя деревья боли

от чистого огня родится чистое
творенье —
он не зажигает
боязни темноты

■

СОЛОНОВИЧ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ (род. в 1933 г.).

Советский переводчик, автор стихотворных переводов из Данте, Петрарки, а также ряда современных итальянских поэтов. В 1979 г. в его переводах издана книга стихов Эудженио Монтале.

Рассказы писателей Ирака

Перевод с арабского Б. ЧУКОВА

МЕХДИ ИСА АС-САКР

Деревенский кентавр

Мальчики бросили свои игры и уставились на слепого. Высокий и крепкий, он подходил к дверям мечети, ощупывая дорогу толстым посохом. Обнаженная голова его горделиво устремлялась вперед, как нос корабля, разрезающий волны.

Маленький, тщедушный калека притулился у дверей мечети, игриво перешептываясь с толстухой нищенкой. Вдруг он замолчал и стал следить за приближавшимся посохом. Когда посох едва не наткнулся на его иссохшую ногу, он ухватился за конец палки. Слепой остановился:

— Это ты?

— Я.

— Пошли.

— Ты не посидишь с нами?

— Нет.

— Сейчас пойдут верующие.

— Да провались они в ад. Осточертело!

Зажатый в кулак калеки посох подрагивал. Он понял: слепой не сядет с нищими, и, не поднимая головы, сказал:

— Пусти!

Слепой отпустил посох. Толстая и длинная палка, поддерживаемая снизу, закачалась в воздухе. Калека бросил ее на землю и подтолкнул к нищенке:

— Держи, Ханийя. Береги ее, пока мы не вернемся.

Женщина вздохнула:

— Я буду здесь до вечерней службы.

Калека с сожалением подумал: теперь ей перепадет вся милостыня. Над его головой раздался голос слепого:

— Ты готов?

— Постой.— Калека заелозил по земле плоским задом, к его штанам был прикреплен кусок истертой и грязной толстой кожи. Он повернулся спиной к слепому, подтягивая иссохшие, волочащиеся по земле ноги. Калека не увидел, а скорее почувствовал, как великан наклонился над ним и мускулистые руки подхватили его у пояса. Он взмыл в воздух и поплотнее уселся на плечах слепого — точно ребенок на закорках у матери. Ноги его обхватили шею слепца и повисли у того на груди.

— Поехали!

Оседланный великан повернулся. Он стал намного выше.

МЕХДИ ИСА АС-САКР (род. в 1927 г.).

Иракский писатель; начал печататься в 1948 г. в периодике. Автор сборников рассказов «Преступники с добрым сердцем» (1954) и «Гнев города» (1960).

Рассказ «Деревенский кентавр» был напечатан в журнале «Аль-Адаб» (Бейрут, 1973).

— Пошел! Потише! Левее! Правее! Теперь прямо! — командовал калека, поворачивая руками голову слепого — так шофер крутит баранку автомобиля.

Один из мальчишек сказал:

— Они пойдут в сады.

— Откуда ты знаешь?

— Знаю.

— Пошли за ними!

— Давай!

Самый маленький сказал:

— Я боюсь.

— Пошли! — И они потащили за собой малыша.

Слепой насторожился:

— Что это? Кто-то идет за нами?

Калека обернулся, не отрывая рук от обнаженной головы слепого:

— Это дети. Пойдем!

Слепой остановился и неуклюже повернулся всем телом. Мальчишки увидели — у великана два лица и четыре глаза.

Два глаза зияли черными дырами — вылитый череп. Ребята в испуге разбежались по закоулкам. Их взлохмаченные головы торчали за каждым углом.

Калека торопил:

— Да ну их! Пошли!

Дети представлялись слепому бесформенными надоедливыми призраками, они действовали ему на нервы.

— Не обращай на них внимания,— повторял безногий.

Смех мальчишек раздражал слепого, как комариный писк.

— Чего им надо, вот сучье племя! Попадись мне хоть один!

— Ты злишься, это их забавляет. Замолчи — и они отстанут.

— Не отстанут. Знаю я этих подонков. Здесь есть камни? Ты слышишь? Покажи мне камень!

— Шаг вперед, еще. Вон, у твоей правой ноги...

Слепой присел на корточки. Калека откинулся назад, как верховой на верблюде, когда тот становится на колени. Слепой поднял небольшой камень и выпрямился.

— Где они?

— Прямо перед тобой. Бей по ногам, чтоб не было беды.

Камень засвистел в воздухе.

— А-а-а! Он перебил мне ногу! А-а-а! Моя нога!

— Что, получил? Мало еще! — крикнул слепой и зашагал дальше.— Ты видел? Он у меня завыл!

— Осторожно! Поверни направо.

— Я попал ему в ногу почище зрячего! — Слепой почувствовал, как безногий задвигался у него на шее. Он немного помолчал и спросил подозрительно:

— Ты чего смеешься?

— Камень-то попал в стену. Он насмехался над тобой, притворяясь, будто кричит от боли.

— Вот гаденыш.

— Потише! Шаг влево. Теперь вдоль стены.

— В другой раз он от меня не уйдет! Не уйдет...

— Вот они — сады.

— Куда пойдем?

— В сад Абдуиля.

— Ты с ума сошел!

— Почему?

— И охота тебе связываться с этим подлым псом. С его-то силищей! Мне, слепцу, с ним не сладить.

— Но у тебя хоть ноги есть, ты можешь удрать.

— Да, удеру — прямо хозяину в руки.

— Осторожно! Левей!

— У тебя-то глаза зрячие.

— Зрячие... Если на нас накинутся, я расправлю свои большие крылья и полечу... над вершинами пальм... над реками, холмами... над домами... куполами и минаретами... Буду парить в небе... А когда устану...

— Устанешь — снова опустишься у двери мечети просить милостыню.

«Он завидует мне, ведь я зрячий. Считает меня счастливым»,— подумал безногий и сказал:

— Пока мы вместе, нам никто не страшен. Слева — стена сада. А дальше — пролом.

Широкая ладонь слепого ощупывала шероховатую глинобитную стену. Его пальцы скребли по сухой глине, и она, шелестя, осыпалась на землю. Раскаленная глинистая пыль щекотала ноздри. Рука слепого попала в пустоту. Пролом.

— Пошли!

За стеной совсем другой мир. Странная и приятная тишина, чуть слышно шелестят трава и листья. Слепой быстро зашагал вперед.

Мальчишки подошли к пролому. Малыш заканючил:

— Хочу домой.

— Ладно, оставайся здесь.

Калека прошептал:

— Осторожно, пальма!

Слепой протянул руку, ощупывая твердое шершавое дерево. Свисавшие листья, прохладные и влажные, коснулись его плечей. Ухватив край ветки, он двинулся дальше. Ветка потянулась за ним, потом заскрипела и напряглась. Листья выскользнули из его пальцев и шумно заколыхались.

— Ты что?! Рехнулся?!

— Да, да, да, рехнулся. Ты хочешь, чтобы я валялся на земле у дверей мечети? Жадно протягивал руки? Ах, если бы мне прилечь под пальмой и поспать в густой тени ее листьев! Не в пыли, а на мягкой земле! — Он шел, вытянув вперед руки, ощупывая все подряд: ветки и сучья, длинные и широкие листья, свисавшие с молодых пальм. Свет и тень, обжигающая жара и живительная прохлада попеременно падали ему на лицо. Его плоские ступни давили валявшиеся на земле финики. Их клейкий сок, смешанный с горячей землей, прилипал к подошвам. Он шел и шел вперед.

— Левее! Полегче! Поищем спелые гроздья.

Они приблизились к старой пальме, до невысокой кроны ее можно было легко дотянуться.

— Осторожней, колючки! — Рука калеки скользнула по глянцевитой пальмовой ветке. Пальцы его наткнулись на острые шипы, и он боязливо отдернул руку.

— Плодовитая ветвь колюча! — пробормотал калека, хмелея от радости...— Подойди, возьми-ка левее. Вот так.

Слепой вытащил из складок одежды нож, передал напарнику и уперся рукой в ствол, чтобы умерить дрожь тела: на его плечах хромой, изгибаясь, стал срезать гроздь. Слепой с удовольствием прислушивался к скрипу ножа над головой. Он вдыхал пьянящий аромат — запах фиников, обожженных солнцем, перезрелых, недозрелых, раздавленных под ногами, шипов, коры, стволов, пыльцы, птичьих гнезд и помета.

Нож размеренно вгрызался в толщу пальмовой ветви. Финики с глухим стуком сыпались на землю. Из-под лезвия выступал темно-янтарный вспенивающийся сок. Через несколько минут послышался хриплый, сдавленный шепот:

— Помоги!

Слепой поднял руки, принимая тяжеленную гроздь фиников. Гроздь развалилась и кусками попадала на землю. Слепой нагнулся и, кряхтя, стал подбирать финики.

— Быстрее! Влево! Так! Быстрее!

— Тяжело... Что за шум там?! Кто там?!

Послышались поспешные тяжелые шаги.

Калека обернулся и крикнул:

— Беги!

Слепой побежал, тяжелая гроздь фиников, зажатая в руке, била его по ноге. Следом за ним змеилась полоса опавших плодов.

— Правее! Беги! Да брось ты эту гроздь! Он догоняет нас! Еще прибьет насмерть! Брось к черту финики!

Черные комья земли летели из-под ног слепого. Позади пыхтела и сопела туша, рвавшаяся напролом сквозь заросли.

— Беги прямо, там мост! Брось гроздь! Бросай, говорю! Левее! Теперь прямо! Беги!

Слепой разжал пальцы и выронил гроздь, рассыпавшуюся по земле. Он промчался по мосту, словно видя его воочию. Шаги преследователя отстали.

— Все — спаслись! Осторожнее! Впереди круча! Ты что...

Слепой почувствовал, что ноги его проваливаются в бездну. Ногти калеки впились ему в лоб, и он отчаянно завопил:

— А-а-а-а-а-а-о!

Рухнувший на землю во весь свой огромный рост, слепой ощутил, что плечи его пусты, словно у него отсекли вдруг часть тела, внезапно, без боли. Лишь несколько секунд спустя слепой понял — безногого нет на его обычном месте. Где он? Слепой пошарил вокруг и вдруг услышал стон:

— Говорил же тебе — осторожней.

— Ничего, сейчас я возьму тебя. Главное, что мы спаслись. Где же ты?

Слепой не услышал ответа.

Под чьей-то ногой хрустнула сухая ветка, и рядом послышалось прерывистое дыхание. Слепой замер.

Абдуиль, бежавший другой дорогой, перерезал им путь. Он жарко и тяжело дышал. Так парящий над жертвой орел не спешит расправиться с ней. Дрожащими руками он поднимал лопату — широкая и острая, она нависла над грудью безногого.

Слепой ничего не мог понять. Может, все это ему почудилось? Может, никого и нет? Он повернулся и пополз, на ощупь, как червь. А безногий корчился от страха, стараясь сжаться в комок. Глаза его молили хозяина сада о пощаде. Разве это он — слепой во всем виноват.

— Слепой во всем виноват!!! — невольно закричал он.

Хозяин сада мельком взглянул на слепого, лицо которого вдруг побелело. Тот перестал шарить по земле и застыл. Его незрячие глаза уставились в темноту. Он был один против всего мира. А хозяин трясся от ярости над телом калеки, корчившегося у него под ногами. Что ему слепой? Он желал одного: пусть другие глаза видят его сверкающий взгляд, его искаженное лицо, его пальцы, судорожно сжимающие ручку лопаты, и ее лезвие, готовое вонзиться в податливую плоть. Пусть загнанный зверь почувствует беспредельность его ярости, ее разрушительную мощь и затрепещет от ужаса.

Глаза охотника и загнанного зверя как бы связали их воедино. Лопата коснулась груди калеки.

— Нет, прошу вас... Не надо... слепой виноват... Я говорил: лучше просить милостыню у мечети... Он отказался... он... он...

Самый маленький мальчишка, лежавший за кустом, закрыл глаза. Потом отполз в сторону и, дрожа от ужаса, побежал к товарищам, топча финики. Он его убьет, он его убьет, он его убьет. Он уда-

рил его лопатой прямо в грудь. Кровь рекой хлынула на одежду безногого, на землю, на слепого. Подбежав к приятелям, мальчишка закричал:

— Кровь! Кровь! Кровь! — Губы его дрожали.

— Не кричи!

— Кровь!

Они удивленно смотрели на него:

— Какая еще кровь?!

— Кровь безногого. Я сам видел.

— Тише! Не кричи!

Они схватили малыша за руки и побежали изо всех сил.

Услышав их голоса, хозяин очнулся и увидел, что острие лопаты вот-вот вонзится в напрягшиеся под его ногой тощие ребра. Он постоял в нерешительности, глядя на двух беспомощных калек у себя под ногами, сплюнул со злобой и отшвырнул лопату прочь.

— Сукины дети! — набросился он на мальчишек.— Попадись вы мне! Уж я с вами разделаюсь!

Рубашка малыша промокла насквозь, липла к ногам и мешала бежать. Мальчишки не оставляли его и волокли, ухватив за руки. Они убегали, как стадо испуганных антилоп. Облака пыли поднимались следом над изгородью, над кустарником и деревьями, медленно оседая наземь.

Задыхаясь, мальчишки ворвались в свой переулок. Малыш убежал домой. Остальные устало растянулись на земле.

— Что он сделал с ними? — спросил один.

— Слепой попал в меня камнем,— сказал другой.— Глядите!

Мальчишки секунду разглядывали красную ссадину на его голени.

— Видали, как он перемахнул через мост? Вот дьявол!

— Почему хозяин бросился на нас?

— Говорил я — безногому крышка? Конец ему.

— Видали, как он замахнулся лопатой?

— Думаете, он бьет их сейчас?

Лежавший рядом мальчишка вскочил:

— Разве не ясно — он прогнал нас оттуда, чтоб мы не видели, как он убьет.

Они пришли в ужас и повскакали на ноги.

— Он их убьет и закопает, и никто не узнает. Зароет их в саду. А над ними посадит пальмы. Точно вам говорю!

— Что же делать?

— Вернемся, посмотрим.

— Нет, лучше позовем людей...

— Гляньте-ка!

Все обернулись. Что это? Калеки возвращаются! Мальчишки уставились на слепого, подходившего к ним. Он пошатывался из стороны в сторону, перебирая руками по стенам, почти не слушая безногого, голос которого звучал хрипло и безразлично.

Слепой подошел к двери мечети и небрежно, почти грубо, снял с плеч и посадил на землю калеку. Потом обернулся и сказал в темноту:

— Ханийя, дай мне мой посох.

Толстая нишенка ответила:

— Легкого пути вам.

Безногий примирительно промолвил, глядя в землю:

— Ты не присядешь? Скоро верующие пойдут из мечети.

Слепой стоял молча. Он ощупал посох, обхватил рукоятку пальцами и пошел прочь от мечети. Посох указывал ему дорогу. Мальчишки глядели ему вслед, пока он не скрылся за поворотом. Потом они уселись на землю и не скоро еще принялись за свои игры.

БУРХАН АЛЬ-ХАТЫБ

На старых берегах

К дверям конторы подкатил джип. Поднялось густое облако пыли, на секунду-другую даже померк солнечный свет. Стоявшие у дверей мужчины поспешили укрыться в доме. Шум шагов и хлопанье дверей разбудили спавшего в джипе сержанта. Удивленно взглянув на шофера, он осмотрелся вокруг, поудобнее устроился на сиденье и попытался уснуть снова. Он закрыл глаза, но заснуть больше не мог: мешало прерывистое дыхание обступивших машину мужчин.

— Кто убил? Кого убили?! Аллах знает... Вот напасть-то!

Под неумолимыми лучами солнца управляющий поместьем потерял терпение:

— Дождались, наконец! Сержант пожаловал! Мы уж вас потревожили — тут два семейства Йаруб и Акбар неведомо из-за чего затеяли поножовщину. Дело спешное!

Сержант тяжело поднялся с сиденья. Пусть все видят, как он устал.

— Опять они за свое! Одолжите мне вашу машину, в одной все не уместятся. Царствие небесное вашим родителям!

Управляющий, понурясь и обмахивая лицо дырявой белой шляпой, ответил решительно:

— Нет, никак невозможно. Кто знает, когда откроется течь в плотине? Хороши мы будем без машины! У вас ведь есть еще один джип!

Сержант энергично откашлялся, сгоняя с себя сон, надел фуражку и взял с сиденья грязный посеребренный стек.

— Уездный начальник уехал в нем на охоту.

■ ■ ■

Толпа — стар и мал — ждала полицейских у глинобитного дома, рядом с наполовину затопленным пшеничным полем. При появлении полиции толпа зашевелилась. Кто-то укрылся за домом, другие прятали ножи и дубины под черными плащами. Полицейский быстро обогнул дом и появился, ведя за собой парня с окровавленным лицом. Позади толпы, привалясь к стене, сидели еще двое. Один все прилаживал к темени клок выдранных у него волос, то и дело закрывая глаза. Другой дышал тяжело и прерывисто, как в лихорадке.

— Кроме них раненые или убитые есть? — строго спросил сержант.

Толпа молчала. Сержант отбросил руку крестьянина, сжимавшую вырванный клок волос, оглядел рану на голове, отвернулся с подчеркнутым безразличием и стал оттонять крестьян от раненых:

— Дайте же доступ воздуху! Они из-за вас задохнутся! Отойдите!

Воцарилась тишина. Какая-то женщина не вынесла затянувшегося молчания, запричитала:

— Ой, Йарубы! Да развалятся ваши дома! Что ни день, насылаете на нас беду!

БУРХАН АЛЬ-ХАТЫБ (род. в 1944 г.).

Иракский писатель. Учился в Московском Литературном институте им А. М. Горького. Автор сборника рассказов «Шаги к далекому горизонту» (1967), романов «Туман в полдень» (1968) и «Квартира на улице Абу Нуваса» (1972). Его рассказы часто появляются на страницах иракской и ливанской периодики. Рассказ «На старых берегах» был опубликован в журнале «Аль-Адаб» (Бейрут, 1971).

На земляной плотине остановился джип, из него вышел дежурный инженер-мелиоратор и стал обходить плотину, внимательно осматривая склоны.

А женщина все причитала:

— Земля — свидетельница! Сам взгляни, сержант! Кто на прошлой неделе напустил на нас воду? Йарубы!

Лица Йарубов были искажены гневом. Только присутствие полиции сдерживало их. Сержант обвел взлядом лица крестьян. Он явно был встревожен.

— Люди! — резко оборвал он причитания женщин. В голосе сержанта зазвучали металлические нотки: — Я обращаюсь ко всей общине! Тысячу раз вам говорили: перестаньте тесниться на своих жалких наделах, перебирайтесь за плотину — там бывшие помещичьи земли! Вы дождетесь, что вода прорвет плотину и снесет ваши дома. Никто на вас не напускал воду. В дамбах промоины, в этом дело! Как вы не понимаете простых вещей?

Босоногий парень в длинной рубахе, распахнутой на груди, закричал:

— Кто-то из Йарубов подрыл дамбу!

Другой парень в полосатой рубахе и в городском пиджаке кричал в ответ:

— Дураку ясно, Йарубам это ни к чему! Их земля рядом с вашей! Что вредит вам — вредит и им!

Сквозь грозный гул толпы слышались женские вопли:

— А кто пытался поджечь нашу пшеницу?!

Парень в городском пиджаке повернулся к пальмовым садам за плотиной. Вдали возвышался дом шейха. Он чернел, словно зверь, подстерегающий путника на дороге. Качнув головой, парень степенно заметил:

— Вы прекрасно знаете, кто сеет вражду между вами. Пора бы вам образумиться.

Воцарилось молчание. Инженер, спустившись с плотины, шел к толпе. Сержант помог одному из раненых подняться, отвел его на берег реки и обмыл ему раны. Тот присел под деревом. Свисавшие ветви касались вспучившейся воды.

— Аллах уничтожит все их добро! — снова запричитала женщина.— Йарубы помешались на этой земельной реформе. Они — предатели! Для них что ни господин — то кровопийца!

Парень в пиджаке попытался ее урезонить:

— Замолчи, женщина, не оскорбляй людей! Реформа пойдет на пользу всем нам!

В толпе гневно закричали:

— Мы своими руками взяли помещичью землю!

— Выкуп за нее давно выплачен нашим дармовым трудом!

Дом, возвышавшийся за плотиной, прислушивался к словам, которые доносил до него ветер.

Парень в пиджаке повысил голос:

— Вы так просто не рассчитаетесь с шейхом! Если уж вы не забыли, сколько пролили пота на его земле, то и он помнит, какие загребал барыши.

Кроны пальм закачались на ветру, как головы стариков, обуреваемых воспоминаниями.

Послышался недовольный голос сержанта, который перепрыгивал с кочки на кочку по затопленному полю пшеницы:

— Вы бы лучше помирились да зарезали барашка — иначе вам спора не разрешить.

Он махнул рукой в сторону реки.

Все взглянули туда. Река ярилась, как зверь, закованный в цепи. Сержант продолжал:

— Люди! Чудно́ вы себя ведете. Того и гляди вас затопит. Посевы уже погублены. В дамбах промоины. Чего вы торчите здесь? Уходите за плотину! Спасайтесь сами и уносите имущество!

Крестьяне молча переглядывались. Они были привязаны к своим старым домам и наделам. Так цепляются корнями за землю деревья, которые они когда-то посадили своими руками.

— Почему они остаются здесь, понятно,— заметил парень в пиджаке.— Странно другое: зачем они отгородились друг от друга дамбами и грызутся между собой. А река вот-вот сокрушит берега.

Седовласый старик хрипло прошептал:

— Хвала аллаху! Дожили! Люди говорят о реке как о бешеной собаке.

— У реки, как и у всего прочего на свете,— ответил парень,— может быть много обличий.

Сержант досадовал, что его усилия пропадают даром. Размахивая измазанным в грязи стеком, он закричал на толпу:

— Немедленно уходите с этих земель! — Он взглянул на раненых.— Постыдились бы! Вечные ссоры и тяжбы, а хозяйства запущены! Давайте-ка режьте барашка и заключайте мир! Аллах предписал прощение и милосердие.

Раненый поднялся с земли и отбросил клок вырванных волос:

— Они нас бьют, а мы — проси мира?! Хватит, мы простили их прежние козни, а они — опять за свое! Травят скотом наши посевы!

— Слушайте меня, люди! — сиплым голосом крикнул старик.— Побойтесь дьявола! Люди, Йарубы клялись на Коране, что их скот будет надежно привязан, и никто не спустит его с привязи, кроме хозяев или тех, кто впадет в искушение! О искуситель! — И старик запричитал: — Во имя милостивого и милосердного...

Парень в пиджаке, запрокинув голову, словно жрец-предсказатель, бормотал:

— Я вижу руку, поджигающую урожай, убивающую скот, изводящую посевы...

— Какие у тебя доказательства, сынок? — нахмурясь, строго спросил сержант.

Парень опустил глаза и с нарочитой беззаботностью ответил:

— Никаких. Аллах рассудит всех.

Кроны пальм закачались на ветру, будто старческие головы, сотрясаемые воспоминаниями.

■ ■ ■

Подошел инженер, обследовавший берег. Он, не взглянув на крестьян, продолжал проверять земляные дамбы и камышовые щиты, которыми владельцы обнесли свои участки. Лицо его хмурилось все сильнее. Несколько крестьян пошли за ним следом.

— Господин инженер,— робко спросил один,— что показывают сегодня водомеры?

Инженер ответил, не оборачиваясь:

— Вода поднимается.

Крестьянин, виновато улыбнувшись, попытался успокоить инженера:

— Вы, господин инженер, не тревожьтесь. Наша плотина сложена из тростника, пальмовых ветвей и ила. Она попрочней государственной, а по той ездят автобусы, грузовики.

Инженер подошел к дамбе, которой был старательно огорожен один из участков, и сказал с раздражением:

— Каждый обносит свой участок дамбой, а землю все берут на берегу и подрывают его! Тысячу раз вам сказано: не берите землю с берегов и у плотины! Вода просачивается, это — опасно. Сегодня я видел там ямы, наполненные водой. Спросишь, кто их вырыл, каждый отвечает: ей-богу, не знаю!

— Господин инженер,— понурясь, ответил крестьянин,— возьми-

те горсть земли с моей дамбы — сами увидите, откуда я брал ее. Аллах свидетель: я возил землю на осле оттуда, из-за садов!

Инженер помял в ладонях землю.

— Сколько раз говорилось: песок бесполезен. Он не держит воду. Как решето. Зачем понапрасну утруждать себя и таскать эту пыль? На что годятся ваши дамбы, ведь вы отгородились не от воды, а друг от друга!

Крестьяне переглянулись. Кто-то попросил, запинаясь:

— Господин инженер, выделите нам тогда мешки с землей и камышовые щиты — у вас их много.

— Чтобы каждый огородил новой дамбой свой участок? — грустно усмехнулся инженер.— А о реке пусть позаботится милостивый аллах? Думаете, он защитит вас? Вы боитесь не наводнения, а мира!

Подошел сержант:

— Царствие небесное вашим родителям, господин инженер! Шейх прислал посредника к Йарубам и Акбарам. Он по-прежнему считает их своими крестьянами. Они приняли посредничество. И чтоб отпраздновать примирение, шейх сегодня вечером устроит пир.

Инженер не стал его слушать и повернулся к крестьянам, шедшим за ним по пятам. Сильный ветер с реки развевал их рубахи.

— Пошлите к управляющему поместьем людей за камышовыми щитами и сваями. При одном условии — вы используете их только на берегу реки! Ясно?

Крестьяне в знак благодарности приложили руки к сердцу. Инженер поглядел на небо, ветер гнал по нему тучи.

— Может, ветер уймется или переменится и все обойдется.

■ ■ ■

Ветер и впрямь утих. На пир, устроенный шейхом, отправились все мужчины. Крестьяне выходили из глинобитных хижин, разбросанных вдоль реки, и шли к плотине. В темноте идти было небезопасно, того и гляди свалишься в яму с водой. Дойдя до плотины, они шли дальше, к дому шейха; там на стене висел фонарь, свет его вырывал из мрака ворота и кроны ближних пальм.

Садясь в круг односельчан на ковре в гостиной, кто-то из крестьян заметил:

— Аллах разгневался и ниспослал потоп на племя Ноя за грехи его.

— Что правда, то правда,— кивнул другой.— А сегодня мы видим: брат так и не возлюбил брата, а сосед — соседа. Это нам предостережение свыше.

Мужчины из Акбаров и Йарубов сидели друг против друга, опустив глаза. Шейх и почетные гости — чиновники из уезда — восседали на скамьях за столами и говорили о своем.

— Как может помешать наводнению ваш один-единственный бульдозер? — шутливым тоном спросил шейх.

— А какое значение имеет один-единственный баран при подсчете ваших стад? — в тон ему ответил чиновник.

Шейх широко улыбнулся:

— Мне сегодня не жаль и пары баранов, черт побери!

Чиновник принужденно усмехнулся, поднял руки, как бы капитулируя перед остроумием шейха, и повернулся к гостям, призывая их в свидетели.

Крестьянин, сидевший на ковре, шепнул соседу:

— Хвала аллаху, они забыли о нашей ссоре и оставили нас в покое.

— Они и не собирались мирить нас,— тихонько возразил тот.— Да и зачем?

Сидевший рядом крестьянин заметил опасливо:

— Хватит болтать, приятель. Да не допустит тебя аллах пасть в пропасть клеветы на шейха.— И переводя разговор на другое, громко спросил: — А крепкие ли у вас дамбы?

— Как железные! — с гордостью ответил крестьянин.

— Говорят, вы собираетесь перенести свои дома на земли шейха?

— Чепуха! Чтобы я бросил на погибель свои посевы и деревья?!

По дому расползался запах жаркого. Гул голосов в гостиной приутих. Гостей обносили блюдами с большими кусками мяса и рисом. Вдруг тишину ночи разорвал дальний выстрел. Затем второй. Гости застыли в напряженном ожидании. Все вопрошающе глядели друг на друга. После третьего выстрела раздались крики:

— Плотина! Плотину прорвало!

Крестьяне выбежали во двор, кто-то вскарабкался на стену, показывая рукой на реку.

— Вода хлынула на наши поля и дома!

Теперь уже было не важно, на чье поле обрушилась вода.

А в гостиной шейх успокаивал господ:

— Не волнуйтесь. Мой дом и сады на холме. Нам наводнение нипочем. Хотя там, по-моему, сущий потоп. Он очистит, я думаю, землю от многих строптивцев.

В доме не осталось ни одного крестьянина. Все поспешили туда, где грохотала река.

АБДУРРАХМАН МАДЖИД АР-РУБЭЙИ

Два слепца

Действие первое

Начало.

Быт переулка. Переулок вдыхает запах гнили, отбросы его поклевывают тощие куры. В дверях сидят женщины, болтают и прядут шерсть. Кричат дети. На широких медных подносах торговцев — товары. Распевно звучат призывы, обращенные к покупателям. Днем все взрослые мужчины на работе: бродячие торговцы, рабочие, мусорщики, слуги. Лишь немногие дети ходят в школу. Редко кто из ребят обут в ветхие ботинки или сандалии.

Ссоры. Мухи. Печаль. Смерть.

Увейд. Неуверенно бредет по дороге, хотя знает ее отлично. Глаза его широко раскрыты, но для них не существует света, они устремлены в вечную пустыню, где нет даже призраков. После смерти отца он ушел из своей деревни. С ним ушли мать и два младших брата. Джасим также родился слепым. Самый же младший, Шами, видел все вокруг и смело шел навстречу сияющему свету, весело глядя на него бархатисто-карими глазами.

Тетушка Киндиля. Низкорослая и дородная. На нежной коже ее мясистых ног блестели металлические браслеты. Резкое их позвякиванье выдавало неукротимость ее нрава. Молодость она провела в

АБДУРРАХМАН МАДЖИД АР-РУБЭЙИ (род. в 1939 г.).

Иракский писатель, автор сборников рассказов «Меч и корабль» (1966), «Тень в голове» (1968), «Лица из путешествия в усталость» (1969), «Другие времена» (1970), «Городские воспоминания» (1975), романов «Татуировка» (1974), «Глаза, затуманенные мечтой» (1974), «Луна и стены» (1976), «Кони» (1977) и др.

Рассказ «Два слепца» неоднократно переиздавался в Ираке.

деревне. Босая, она прыгала по грязным лужам, переходила вброд канавы, шагала от одного дальнего пастбища к другому. Ноги ее блаженствовали, обласканные теплой землей, нежным воздухом и душистыми травами, шла ли она в поле или на базар — продавать зерно, сало, молоко.

Киндиля лишилась всех этих радостей: пришел Муншид и посватал ее. Отец обрадовался, что у его дочери будет муж — солдат в зеленой форме,— не чета деревенским парням, кутающимся в домотканые плащи и нахлобучившим на голову куфию с укалем [1].

Киндиля радовалась, впервые в жизни садясь в поезд. Когда Муншид сжал ее в объятиях, радость ее возросла еще больше. Но прошло время, и Киндиля опечалилась, узнав от врача, что ее чрево непригодно для деторождения. Она ходила по знахарям и гадальщикам, посещала гробницы святых, приносила в жертву животных. Все тщетно. Скорбь ее возрастала.

Муншид. После демобилизации поселился в городе. Он облачился в выцветшую рубаху до пят и надел куфию с укалем. Тут он стал сожалеть о той прекрасной поре, когда щеголял в зеленом мундире, отличавшем его от всех этих штатских. Ах, как выпячивал он, бывало, грудь, обтянутую мундиром, не забывая сунуть под мышку ярко раскрашенный стек.

Всякий раз, вспоминая об этом, Муншид тосковал.

Он был демобилизован помимо своей воли, заболев астмой. Както во время самума Муншид стал задыхаться, и товарищи отнесли его в госпиталь. Силы вернулись к нему, лишь когда песчаная буря утихла.

Муншид перепробовал различные занятия. Начал с перепродажи овец, шкур и шерсти. Но не сумел поладить с партнерами, и дело это не принесло ему ни гроша.

Нанялся было на стройку, но у него не хватало сил целый день таскать корзины с глиной и тяжелые кирпичи. Да и платили мало.

Киндиля предложила ему возвратиться в деревню.

— Как я смогу пахать землю? — спросил Муншид.

— Я помогу тебе.

— Много ли от тебя проку, жена?

Тогда она попыталась объяснить ему суть дела:

— Так вот. Наймемся сезонными рабочими — на время уборки. А потом перейдем на плантации, будем собирать финики. Заработаем денег и заживем прилично.

— Ты бредишь, жена,— ответил Муншид.

Она терпеливо старалась его убедить:

— Нет, ты послушай, Муншид. Аллах не дал нам детей. Нам с тобой хватит и пары лепешек.

Покуда шли эти споры, Муншид перебивался случайными заработками.

— Я выбиваюсь из сил,— сказал он как-то жене,— но думаю, все же найдется работа по мне. А в деревню мы не вернемся. Заруби это себе на носу. Это не для меня. Днем гнешь спину до одурения, а ночью глаз не сомкнешь. Даже если обзаведешься одной-единственной курицей, не заснешь до утра, зная, что ее все равно утащат.

Муншид продолжал гоняться за случайными заработками, пока не устроился наконец помощником повара в городскую больницу.

Прежде, чем съехалась родня. Разнеся ужин больным, Муншид возвращался домой под вечер. На голове он нес котелок, обмотанный тряпкой. В котелок он собирал рис, похлебку, куски мяса. Иногда он приносил фрукты — специально для Киндили, которая целый день

---

[1] Куфия — шелковый платок, покрывающий голову и укрепляемый при помощи шнура — укаля *(прим. перев.)*.

пряла шерсть. Пряжу она продавала ткачу, торговавшему в своем ларьке изделиями из шерсти.

Зарабатывала она гроши. Целыми днями она сидела одна в доме с глинобитными стенами, куда доносилось лишь кудахтанье кур. Часто она, бросив прялку, безудержно рыдала. Если рыдания ее слышала какая-нибудь соседка, то заходила к ней.

— Ты не заболела? — спрашивала она.

— Слезы облегчают сердце, сестрица,— отвечала Киндиля.— Судьба несправедлива ко мне. У меня нет детей. И умри завтра Муншид, я останусь без куска хлеба.

— Разве у тебя нет родни?

— Только сестра. Она живет далеко отсюда, мы ничего не знаем друг о друге.

Когда родичи съехались вместе. Случилось так, что сестра Киндили заявилась в город со своими тремя детьми. Во дворе Муншида соорудили вторую лачугу, где они и поселились.

Утраченная было радость вернулась в сердце Киндили, досуг ее заполнился семейными хлопотами. Сестра стала помогать ей прясть шерсть, а племянники занялись каждый своим делом.

Увейд. Он стал скупать и продавать пустые бутылки. Ему было шестнадцать лет. Из-под короткой не по росту рубахи торчали громадные жилистые ноги. Ступни равнодушно топтали пыль, месили затхлые лужи, разминали глину, мельчили стекло, стирали камни. Их не брали ни зной, ни холод, ни острые стекла.

Рано утром мать кричала ему: «Вставай!» Позавтракав хлебом с чаем, он закидывал за плечо мешок, повязывал голову куфией и бормотал:

— С богом.

Пройдя по закоулкам, он поворачивал на длинную улицу, ведущую к рынку, и испускал свой утренний клич:

— Эй, у кого «батлы»[1] на продажу?!

Домашние хозяйки вскоре уже знали его по имени:

— Иди сюда, Увейд!

Чаще всего у женщины оказывалась одна-единственная бутылка, содержимое которой муж выдул прошлым вечером. Опорожнив бутылку, он изливал пьяный гнев на жену. Отдавая бутылку Увейду, женщина обычно бормотала:

— Хоть бы он яду налакался.

Увейд вынимал деньги из кошелька, тщательно спрятанного за пазухой, и шел к следующей двери, повторяя свой неизменный клич.

Вот так он и собирал пустые бутылки, остатки вечернего пьянства. К полудню, наполнив мешок, он шел на рынок и продавал бутылки Джозефу, торговавшему водкой в ларьке. На рынке он покупал редиску, лук, молоко, кусок вырезки или крупную рыбину. Гордый, он возвращался домой, напевая под нос старинную, запомнившуюся ему с деревенских времен песню.

Джасим. Начал свою жизнь в городе с торговли сластями. Тетка помогала ему покупать их. Он раскладывал сласти по мелким гнездам прямоугольного деревянного лотка, крытого проволочной сеткой. По утрам он ходил по улицам, нося лоток на голове, или сидел у входа в переулок, поставив лоток перед собой. Дети, бежавшие в школу, покупали у него сласти, деньги он всегда брал с них вперед. Всех детей он знал по голосам и просил тетушку пожаловаться родителям тех, кто пытался его обмануть. Джасим возвращался домой в полдень и вторично выходил с лотком уже вечером.

Его младший брат Шами, вернувшись из школы, часто сидел у лотка вместо Джасима, чтобы тот мог пойти в ближайшую мечеть, помолиться и послушать имама.

[1] От английского «bottle» — бутылка.

Шами. Пошел в школу с десяти лет. Так решила семья. Он единственный из братьев зрячий, почему же ему не учиться?

Джасим сказал:

— Окончит школу, поступит на службу и будет помогать нам.

Шами согласился ходить в школу. Сначала он был посмешищем для одноклассников из-за своего деревенского произношения. К тому же он был на несколько лет старше всех. Но вскоре об этом забыли — он здорово играл в футбол.

Два слепца. Недавно поселившейся здесь семье соседи дали кличку «Два слепца», а дом Муншида прозвали «Домом Двух слепцов». И каждый из членов семьи носил это общее для всех прозвище. Говорили: «продадим бутылки Двум слепцам». Или: «купим сласти у Двух слепцов». И так далее.

А потом и весь переулок стали звать «Переулком Двух слепцов».

Действие второе

Дни проходят. Однажды Джасим сказал тетушке:

— Хочу жениться.

Киндиля засмеялась и сказала:

— Но Увейд же старше тебя.

— Он пока не хочет жениться, а я хочу. Если у меня родятся дети, будут мне в старости опорой.

Муншид просватал ему невесту. Она жила в другом конце переулка и слыла дурочкой. Ее отец подряжался строить хижины из глины и тростника. Он ответил Муншиду согласием.

— Правда, он слепой,— сказал отец девушки,— но из хорошей семьи.

— Это Аллах избрал ему долю слепца,— пробормотал Муншид.

А Джасиму было все равно — смуглая она или белокожая, высокая или маленькая. Он только твердил матери и тетушке: лишь бы она была полненькой да согревала меня в зимние ночи.

Киндиля посмеивалась и похлопывала его по плечу:

— Стыда у тебя нет, а еще мусульманин.

Через несколько дней состоялась свадебная церемония. Во дворе Муншида выросла третья глинобитная хижина. Совсем маленькая, она стояла особняком, словно прижимаясь к земле. Хижина Джасима и его жены.

Вскоре жена забеременела.

Увейд. Доход его от продажи пустых бутылок возрастал. Бутылки теперь не вмещались в мешке, и он купил тачку.

Однажды его окликнула женщина:

— Поди сюда!

Едва она завела его в дверь, он понял: это — один из домов того квартала, о котором ходит столько небылиц. Он и не мечтал проникнуть сюда. Джозеф, торговавший водкой, вечно говорил ему:

— Сходил бы туда. Там целые залежи бутылок.

— Нет, это — грех! — отвечал Увейд.— Боюсь, соседи увидят меня и подумают обо мне дурно.

— Ну и что! — пренебрежительно усмехался Джозеф.— Ты человек молодой и можешь себе позволить переспать с любой из них. Я в твоем возрасте ходил туда чуть не каждый день.

— Боже сохрани!..— бормотал Увейд.

— Да ладно. Речь ведь идет о скупке бутылок...

Увейд ощутил, что к нему прижимается женщина, услышал, как она называет его ласковыми именами. Ее пьяное дыхание смешивалось с его дыханием. Сперва он попытался отстраниться, но она обхватила его руками и спросила:

— Ты женат?

— Нет,— смущенно ответил он.

— Тогда будешь приходить ко мне постоянно. Останешься доволен. Чего ты боишься? Мне хватит и четверти динара. Даже четырех дирхемов. Просто ты хороший, порядочный человек.

Когда она изо всех сил обхватила его руками, он чуть не потерял сознания от страсти. Она увлекла его в свою комнату, шепча:

— Сначала заплати мне четыре дирхема.

Пальцы Увейда дрожали, и он, с трудом открыв кошелек, нащупал монетки и положил их ей на ладонь.

Муншид. Астма все чаще изводила его, хотя работа не казалась ему тяжелой. Но кухонный жар вызывал у него приступы удушья.

— Я не могу там больше работать,— заявил он Киндиле.— Жара меня задушит.

Увейд, узнав об этом, сказал:

— Оставайся дома, мы прокормим тебя.

— У меня хватит сил работать самому,— возразил Муншид.

— Пусть он бросит работу на кухне,— предложил Джасим,— и торгует вместе со мной. Будет скупать и продавать кур и яйца.

— Неплохая мысль,— сказала Киндиля,— хотя сейчас на кур напал мор.

— Ничего, поработаем вместе,— настаивал Джасим.— Ты будешь закупать товар, а я — стеречь корзины. Надоело торговать сластями: прибыли всего ничего, а я, наверно, скоро стану отцом.

Мать пробормотала:

— Да поможет тебе Аллах, сынок.

Все сошлись на том, что хорошо бы Муншиду уволиться из больницы в конце месяца, когда выдают зарплату, и сразу заняться новым промыслом.

Шами. Высокого роста, широкоплечий, он выглядел много старше своих лет. Может потому, что занимался спортом. Его лицо украшали густые усы.

Как-то он сообщил родным:

— Я поступаю на военную службу.

Все изумились.

— Я буду играть в футбол за армейскую клубную команду,— заявил он.— И мне будут платить кучу денег. Я сломаю эти хижины и построю большой кирпичный дом.

— Но мы хотим, чтобы ты получил образование,— сказал Увейд.

— А я закончу вечернюю школу.

Экзамены в школе были уже на носу. Он выдержал их и, перейдя в последний класс, стал собирать документы для армии.

Киндиля и ее сестра. Они скопили несколько динаров и всем говорили: деньги пойдут на похороны того из родни, кто умрет первым. Но потом они решили истратить деньги на посещение святых гробниц в Кербеле и Неджефе. Сестра все время бормотала:

— Хочу заодно посетить могилу мужа.

Они присоединились к группе направлявшихся туда паломниц.

Действие третье

Конец

Киндиля и ее сестра. Автобус, в котором они ехали в Неджеф, столкнулся с грузовиком. Киндиля умерла сразу. Сестра три дня пролежала в больнице и тоже умерла.

Муншид. Его торговля курами процветала. Дело разрослось, и птицу везли теперь даже в Басру. После смерти Киндили он горевал около года. А потом женился на вдове, которая тоже торговала курами. У нее было два взрослых сына. Один из них имел свою семью.

Джасим. У него родился сын. Ребенок появился на свет таким хилым, что думали, он не жилец. Жена Джасима совсем потеряла рассудок. Ее возили к ближним святыням, и сам шейх Абу Залиф, известный знахарь, сотворил над ней заклинания. Но ничего не помогло. По совету врача ее пришлось поместить в психиатрическую лечебницу в Багдаде.

Шами. Стал звездой футбола. Его портреты появляются в спортивных газетах. Со своей командой он несколько раз побывал за границей. Поселившись в столице, он женился на красивой и образованной девушке.

Увейд. Был случайно убит в публичном доме. Там вспыхнула пьяная ссора. Кто-то выстрелил из револьвера, и пуля попала Увейду в шею.

Дом. Муншид продал его и поселился у своей жены. Туда же перебрался Джасим с маленьким сыном. Джасим все мечтал жениться заново. Как-то он, робея, сказал об этом Муншиду.

— Что ж ты так долго собираешься? — воскликнул Муншид.

МУХАММЕД ХДЕЙР

Письмена на дереве

Вода за шхунами, теснившимися у скалистого берега реки, рябила на ветру. Мелкие волны катились подобно зеленоватым облачкам на небосводе подводного города. В лад набегавшим волнам мерно покачивались, словно вышитые на речной глади, чайки. На горизонте, где голубизна неба переходила в белесоватую пелену тумана, точно нити, свисавшие с облаков, чернели мачты рыбачьих шхун.

По реке проплыл буксир. Он тащил громадную баржу. В тени проплывавшей мимо баржи и колыхавшихся рядом на приколе шхун вода казалась темно-коричневой. А в заплесневелых расщелинах среди скал — темно-зеленой. Отлив обнажил впадины и промоины в скалах. В реку вдавалась широкая песчаная коса. Вдоль нее из воды выступали поросшие водорослями островки гальки.

Босоногий мальчишка с тетрадками в руках стоял на косе и следил за длинными пенистыми волнами, набегавшими на промоины в скалах. Вдоль кромки прибоя, перепрыгивая с островка на островок, бежала девочка. Кожа ее потемнела от солнца, и казалось, будто фигурка ее только что отделилась от скал. Девочка словно порхала, готовая вот-вот взлететь и смешаться с птицами, повелительницами вод. Мокрые ноги девочки были унизаны браслетами из раковин, на которых отсвечивали блики от катившихся волн.

МУХАММЕД ХДЕЙР (род. в 1940 г.).

Иракский писатель. Автор сборника рассказов «Черное королевство» (1972), из которого взят рассказ «Письмена на дереве».

Девочка испытующе глядела на мальчишку карими глазами, похожими на глаза рыб, обитающих в тени речных водорослей. От нее самой исходил запах речной воды. Четыре небрежно заплетенных косички болтались у нее на плечах, и она поминутно откидывала падавшие на лицо пряди.

Мальчишка сказал:

— Река вздохнула. Значит, в ней умерло много рыб.

— Ты школьник? — спросила девочка.

— Я в четвертом классе, а ты?

— Терпеть не могу школу! А вода здесь холодная?

— Очень!

Дети стояли на косе. Рядом громоздились скалы. Извилистые коридоры в них вели к неведомым мирам, где обитали раки. А над обрывом пролегала самая обычная улица с тротуарами, за нею тянулись сады. Но отсюда видны были лишь макушки эвкалиптов, слышался шум моторов и голоса прохожих.

Мальчишка сказал:

— Ты похожа на черепаху.

Девочка засмеялась, отошла в сторонку и присела на камень возле скалы:

— У меня четыре черепашьих панциря. Настоящие желтые панцири с узором.

— Где ты взяла их?

— Я знаю черепаший язык. Позову их — и они ползут ко мне из воды. Тут я и ловлю их. Я зову их в самые темные ночи, чтобы они сразу меня не заметили. В темноте я обману кого хочешь.

— А язык меч-рыбы знаешь?

— Захочу — выучу. Я знаю все, что творится на дне. Раз мне приснилось, что вода в реке пересохла и на сухом дне лежат монеты — видимо-невидимо. Я набила ими мешки и сумки. Проснулась — нет ни одной монетки. С тех пор я все думаю: когда высыхает вода, куда уходит рыба?

За спиной девочки плесень на скалах расплывалась звездными узорами. Девочка приложила ухо к скале:

— Я слышу, как кричит мать — зовет меня. Рассердилась небось. Разговаривает с нашей собакой. Она говорит собаке, что я уродина, в голове у меня вши и вообще я помешанная. Говорит, лучше бы я родилась какой-нибудь тварью, была бы тогда послушнее. Ох! Теперь она говорит совсем странные вещи. Ну хватит, хватит. Не люблю тебя слушать, мама.— Она отшатнулась от скалы.— Моя мама — точь-в-точь морской угорь. Угадай-ка, кто живет в этих расщелинах?

— Всякая водяная живность. Спит небось. Проснется, когда туда хлынет вода. А что ты нашла на берегу?

Девочка потрясла карманом, как погремушкой, потом достала осколок зеркальца, пузырек с водой и горсть блестящих камешков. Она посмотрелась в зеркальце и спросила:

— А правда, на кого я похожа?

— На капельку.

— Почему?

— Потому что капелька — это заколдованная царевна.

— У меня вон что есть, ты еще не видел.— Девочка вынула из кармана пачку сигарет и коробок спичек.— Хочешь?

Сунув в рот две сигареты, она зажгла их и протянула одну мальчику. Они затянулись.

По водной глади сновали тени моряков, расхаживавших по палубам, и отражения вешек рыбацких сетей. Чайки вились вокруг островерхих мачт со спущенными парусами. От туч, подпираемых верхушками мачт, чайки отрывали белые нити и, точно ткацкие челноки, метались вверх и вниз. Длинные извивы волн прибивали к берегу водоросли, клочья грязной бумаги, нефтяные пятна.

Девочка сказала:

— Ах, если б я могла отнести такую скалу к себе домой. В этих расщелинах есть не только водяная живность. Я сложила бы все в сундучок.

— А что у тебя в сундучке?

— Целая куча вещей. Я нашла их на берегу во время отлива. Монеты, колечки, ножи, гребенки, бутылки. У меня много гладких камешков. Я кладу их в подушку, и они рассказывают мне по ночам про дальние страны и смелых моряков.

(Трудно даже представить себе чудесный ее сундучок. Ларец, инкрустированный слоновой костью. На чехле его, пропитанном рыбьим жиром и амброй, вышиты русалки, морские птицы и черные змеи. Девочка набрела на него, гуляя по скалистому берегу. Снимая с ларца чехол, она слушала бормотание черепах и рыб. Водяные, обитающие в подводных пещерах, пели ей песни. А где прячутся духи раковин? В глухомани, куда не попасть без колдовства, в стволе пальмы или здесь, под ее кроватью? Магические действа вершатся морскими дивами в моменты озарения, гнева и неистовства девичьей души, которая вопрошает о тайнах мира. Обладателю ларца откроются тайны далеких островов, неугомонных волн и самоцветных камней, ему станет понятен черепаший язык.)

Девочка прислонилась лбом к скале:

— А теперь мать качает в люльке моего нового брата и каркает, как ворона, ругает его: мол, вечно плачет, да и родился зимой, а не летом. Вот она вышла из комнаты. Пойдет на кухню? Нет, поднимается по деревянной лестнице на крышу, где она держит кур. Нагнулась — собирает яйца и, смеха ради, пугает кур. Жалко, ты не видишь ее! Прикинулась лисицей и воет, воет. А теперь она спустилась с крыши и пошла на кухню. Ищет банку с солью. Ну вот — пересолила суп. Надоело, надоело... Да еще переложила пряностей. Опять что-то ищет? Понятно, ей нужна бумажка с заговором, которую дал ей злющий дядька с куриного рынка. Она бросит бумажку в суп, чтобы папа не спорил с нею. А сама вечно пререкается с папой. Ай, она положила нож под подушку своего нового сына. Ну хватит, хватит! Ты надоела мне, мама!

Девочка отшатнулась от скалы и спросила:

— А теперь на кого я похожа?

— Твое платье точь-в-точь как плесень на окнах нашего класса.

— Значит, я и в самом деле уродина, если похожа на плесень. Нравятся тебе твои тетрадки?

— Не очень.

— Терпеть не могу школу! Ты можешь бросить тетрадки в воду?

— Брось сама.

Он передал ей тетради, и она швырнула их в реку.

Тетрадки закачались на мутной волне, прибившей их к берегу. Девочка бросила в них большим камнем и потопила.

— Утонула твоя школа!

Она встала и кинула в воду пачку сигарет.

— Откуда ты спустилась на берег?

— С той стороны. Пойдем отсюда.— Она помогла мальчику вскарабкаться на скалу и повела его через ущелье в город. Воздух на набережной был раскален и сух.

— Правда, похоже, что мы поднялись с речного дна? — спросила девочка.

— Давай напишем наши имена на дереве,— сказал мальчик.

Огромный ствол ближайшего эвкалипта почернел от нацарапанных на коре имен, стрел и сердец. Пятна еще не тронутой коры лоснились белизною, словно рыбьи брюха. Мальчик выбрал свободное место, взял у девочки осколок зеркальца и спросил:

— Как тебя зовут?

— Ты же сам дал мне имя.

— Капелька?

Мальчишка нацарапал одно слово, рядом — другое. Он хотел обвести их кружком, но вышло нечто похожее на глаз чайки.

— Дай зеркальце,— попросила девочка.— Я напишу сама.

— А ты умеешь писать?

— Я напишу на своем языке.

Четыре косички метались из стороны в сторону, пока девочка выводила диковинные кружки и фигурки, похожие на камешки.

— Это на черепашьем языке,— пояснила она.

Внизу громче зашумел прибой. Начался прилив, по реке прошло сразу несколько пароходов. Отсюда видны были стоявшие у другого берега корабли. Там темнели густые, высокие камыши. Дальше тянулся лес пальм со сплетенными кронами. Голубой небосвод ближе к горизонту светлел, и там его подпирали пики мачт. Чайки торопливо ныряли в реку; казалось, их приманивал шум воды, затоплявшей темно-зеленые впадины и промоины у основания скал. А может быть, чаек околдовали заклинания на черепашьем языке и человеческие имена, нацарапанные на стволе старого эвкалипта.

■

ЧУКОВ БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ (род. в 1938 г.).

Советский востоковед, кандидат филологических наук, автор исследований по истории арабских литератур XIX и XX веков. В его переводе опубликованы рассказы иракских писателей Абдаллы Нийази, Эдмона Сабри, Анвара Шауля, Абд уль-Хакка Фадыля, Халеда Сальмана ад-Дулейми и Галеба Абд ар-Раззака.

ТООМОЙН ОЧИРХУ

Перевод с монгольского Г. ЯРОСЛАВЦЕВА

Я — сын гор

Высок Хулдынский перевал,
И крут к нему подъем.
Когда тропою между скал
Взбираюсь я верхом,
Буланый дышит тяжело,
Пригнусь — ко лбу ползет седло.

Высок и крут,
Высок и крут
Хулдынский перевал...
А если вниз тропа-маршрут
Петляет между скал,
Седло буланого коня
Чуть не в затылок бьет меня.
Я с локоток, наверно, был,
Когда навечно затвердил:
Коль к перевалу держишь путь,
Крепить подпругу не забудь;
А с перевала едешь вниз —
Откинься, в стремена упрись.

Высок Хулдынский перевал,
И крут к нему подъем.
За жизнь свою я побывал
Десятки раз на нем.
Здесь все привычно с давних пор.
Я — сын высоких этих гор.

В горном аиле

Если, путник, ты заехал к нам
и в аиле горном оказался,
Знай, вернулся ты к себе домой
из краев, где много дней скитался.

ТООМОЙН ОЧИРХУ (род. в 1944 г.).

Монгольский поэт, уроженец горного аила монгольского Алтая. Получил медицинское образование. Автор сборников стихов «Звезды над горизонтом» (1973), «Алтайский жеребенок» (1978), «Горы и человек» (1979).
В публикуемую подборку вошли стихи из перечисленных сборников.

Выйдут все из юрт тебя встречать —
женщины, мужчины, старцы, дети.
Удивляться, друг, не торопись:
ведь не так уж часты встречи эти.
Соберемся мы вокруг тебя —
много ли у нас таких оказий!
Ты здесь свой. Смущение оставь,
скажем, где-нибудь у коновязи.
Вымок ты в пути или продрог —
разведем большой тебе кострище.
Пожелай — испить тебе дадим
и по вкусу приготовим пищу.
В тягость быть аилу не страшись,
не готовь признательные фразы.
Только знай, что наша детвора
любит сказки, притчи и рассказы
Больше, чем конфеты и изюм...
Не тревожься о коне усталом:
Исстари у нас заведено
гостю угождать в большом и в малом.
Утром ты проснешься, отдохнув,—
чай горячий и еда готова;
Поен, кормлен, бодр твой верный конь,
можешь в путь ты отправляться снова.
А в суме дорожной будет снедь,
в чистую завернутая тряпку...
Да, в аиле горном родилось:
«Юрта моя там, где моя шапка».
Если, путник, ты заехал к нам
и в аиле горном оказался,
Знай, вернулся ты к себе домой
из краев, где долго проскитался.

Ласточки вьют гнездо

Небо крылами сто раз прочертили —
Глину, соломинки в клювах носили
Две златогрудые ласточки;
Сердцем друг к другу привязаны были,
Теплое гнездышко соорудили
Трудолюбивые ласточки.

Мать и отец твои войлок валяли,
Теплую юрту сооружали,
Как хлопотливые ласточки;
Мебель, посуду приобретали...
Вскоре птенцы тут защебетали —
Две быстрокрылые ласточки.

Сын мой, любовь существует на свете,
Чтобы украсили жизнь нашу дети,—
Это закон и для ласточки.
На ноги станешь и, любящий, сильный,
Дом ты построишь большой, изобильный,
Вспомнив, как трудятся ласточки.

В комнате поэта Самеда Вургуна

Жил в этой комнате
Азербайджанский поэт.
Ныне — еще не истерлась
И не раскололась —
Вертится в доме пластинка,
Звучит его голос —
Дум и деяний поэта
Озвученный след.
Здесь, обращая к народу
Высокое слово,
Помыслов чистых исполненный.
Снова и снова
Строки стихов своих
Людям читает Самед.
Строки о родине,
Что не имеет замены;
Строки о горцах,
Чья храбрость в веках неизменна;
Строки о девушках гор,
О земле, о свободе;
Строки о древнем
Азербайджанском народе.
Кажется, встал он
С гостями пришедшими рядом,
Кажется, смотрит вокруг он
Всевидящим взглядом...
Хоть и ушел он, Самед,
За предел бытия,
Вовсе не реже
В дом к нему ходят друзья.
Ближний и дальний,
Черноволос или сед,
Единомышленник
Средних писательских лет —
Каждому нужен
Истинной мудрости свет,
Каждому близок,
Каждому дорог Самед.
Многим ли так
Поклоняемся мы на веку?
...А за стеною
Блещет огнями Баку.
Тысячи автомобилей
И тысячи ног,
Каждая улица —
Это движенье, поток.
Город Самеда,
Гулом твоим подтвержден
Вечности жизни
Неоспоримый закон.

Вертится в доме пластинка,
Читает Самед.
Голос его то возвышен,
То тихо звучит.

Так и Земля во Вселенной,
Одна из планет:
Вертится — и голубой ее,
Ласковый свет
Жизни посланцем
В космос бескрайний летит.

Стихи, написанные в зале международной телефонной станции

В натруженных пальцах старухи-монголки
Дрожит телефонная трубка.
Как радостно матери слышать далекий,
Но близко знакомый ей голос.
— Родимая, слышишь меня? Узнаешь ли?
Здорова ли ты, дорогая?
— Да слышу я, слышу. Конечно, здорова.
А сам ты здоров ли, сыночек?
— Всё в полном порядке. Звоню из Европы,
А завтра домой выезжаю.
Мы скоро с тобою увидимся снова.
Тепло ли у нас на Алтае?
— Последнее время все снежно да снежно...
— А здесь-то черемухой пахнет!..
Из дали далекой, откуда весною
Летят перелетные птицы,
Откуда, пожалуй, и конь не доскачет —
Доносится голос сыновний,
Любимый, единственный, словно он рядом,
А не за горами, лесами.
В натруженных пальцах старухи-монголки
Дрожит телефонная трубка.
Сейчас эта трубка соединила
Две дальние части света.

■

ЯРОСЛАВЦЕВ ГЕННАДИЙ БОРИСОВИЧ (род. в 1930 г.).

Советский поэт-переводчик, литературовед. Переводит классическую и современную поэзию Китая, Кореи, Монголии, Вьетнама, Индии, а также поэзию народов СССР, выступает со статьями по вопросам восточной филологии.

ИВО АНДРИЧ

Рассказы

■

Перевод с сербскохорватского
АЛЕКСАНДРА РОМАНЕНКО

От переводчика

Прошло пять лет со дня смерти Иво Андрича (1892—1975), крупнейшего югославского писателя XX века, лауреата Нобелевской премии. За эти годы на его родине создано несколько мемориальных музеев, учреждена литературная премия его имени, на национальных языках страны издано шестнадцатитомное собрание сочинений, куда включено почти все, что писатель создал за шестьдесят четыре года своей творческой деятельности. Произведения его продолжают переводить и издавать во многих странах. В Стамбуле вышло седьмое издание романа «Мост на Дрине», в Лондоне — пятое, в Киеве и Лодзи — второе, в Тбилиси и Кишиневе — первое...

На русском языке сочинения Иво Андрича печатаются с середины 50-х годов: «Мост на Дрине» (1956 и 1974), «Травницкая хроника» (1958 и 1974), «Барышня» (1962), сборники рассказов, повестей и эссе (1957, 1967, 1976)... В журнале «Иностранная литература» публиковались произведения Андрича (№ 7, 1966; № 10, 1972; № 11, 1975), а также материалы о его творчестве (№ 2, 1955; № 5, 1959; № 8, 1962; № 3, 1968; № 3, 1972).

Ниже мы публикуем несколько рассказов из книги «Дом на отшибе», вышедшей в 1977 году, уже после смерти писателя. Время действия большинства из них — середина и вторая половина XIX века, пора решающих и тяжелейших перемен в Боснии. Свыше четырехсот лет правила этим краем Оттоманская Порта, потом на смену ей пришла другая империя — Австро-Венгерская. Это был период восстаний и бунтов боснийско-герцеговинских феодалов против попыток султана Махмуда II и его преемников провести некоторые аграрные, финансовые, политико-административные, военные реформы, период, растянувшийся на несколько десятилетий и получивший в истории название «танзимат». Одним из активных сторонников реформ, причем самых жестоких и непреклонных, был Омер-паша Латас (1806—1871), христианин-серб, принявший мусульманство, личность которого во многих аспектах интересовала Иво Андрича,— двадцать три года жизни он отдал созданию романа об Омер-паше, романа, который не был завершен и увидел свет также лишь в посмертном собрании сочинений, составив последний, шестнадцатый, том.

Сборник «Дом на отшибе» включает двенадцать рассказов — малосюжетных или вовсе лишенных сюжета,— подчеркнуто описательных, почти без диалога, но с напряженным внутренним действием. В нашей публикации представлено шесть рассказов, в которых выступают и вершители судеб людских, вроде Омер-паши и знаменитого в свое время герцеговинского правителя Али-паши Ризванбеговича Сточевича (1783—1850), и люди как будто бы и не заметные, такие, как «простая душа» — служанка Зуя или попавшая в рабство герцеговинская девушка Ягода из села Прибиловичи. Судьба каждого из этих героев волнует писателя, волнует и нас вместе с ним, заставляя задумываться над этими судьбами и обстоятельствами, их формировавшими.

Вступление

Это невысокий дом на крутом склоне Алифаковца, у самой вершины, чуть в стороне от других. В нижнем его этаже, где зимой тепло, а летом прохладно,— просторная передняя, большая кухня и две маленькие сумрачные комнатки сзади. На втором этаже — три комнаты побольше: одна из них, та, что смотрит на открытую сараевскую долину, имеет широкий балкон. По своей конструкции и размерам он напоминает боснийские террасы, однако в отличие от них он не из белого дерева, а выкрашен темно-зеленой краской, и решетка его не из круглых «поленьев», а из плоских досок с резьбою, как у балконов альпийских домиков. Все это строили в девяностые годы — точнее, в 1887-м,— когда и местные жители стали возводить дома «по проекту», с видом и планировкой по австрийскому образцу, что, однако, лишь отчасти увенчалось успехом. Случись это на десяток лет раньше, здание было бы возведено на старинный турецкий манер, как большинство домов на Алифаковце, а не «по-швабски», подобно домам, построенным на равнине возле Миляцки. Тогда просторная передняя у входа на нижнем этаже называлась бы «ахар», а балкон на верхнем — «диванхана», и здание не имело бы того гибридного вида, когда желания и планы строителей устремлялись в одном направлении, в сторону чего-то нового и неведомого, а руки, глаза и все нутро человеческое тянули в другую, к старому и привычному. Характер и расположение мебели, цвет стен, хрустальные венские люстры с металлическими подвесками, глиняные боснийские печи с «горшочками» и ковры местной работы в комнатах также говорят об этой двойственности. Внутри, как и снаружи, отчетливо видно столкновение двух эпох и произвольное смешение различных стилей, и тем не менее все это создает атмосферу теплого, человеческого обиталища. Заметно, что жителей этого дома не очень беспокоит внешний вид вещей и то, как они называются, но зато эти люди умеют взять от вещей все, что нужно для скромной, спокойной и удобной жизни тех, кто больше заботится о самой жизни, нежели о том, что о ней можно придумать, сказать или написать. В своей исконной безымянности и совершенной скромности вещи и здания здесь просто служат скромным от природы и счастливо безымянным людям в удовлетворении их простых и немногих потребностей. Здесь царит тот покой, которого мы постоянно желаем, но с трудом находим в жизни и от которого частенько, без нужды и настоятельной необходимости, к своему несчастью, бежим.

Можно хорошо жить и работать в таких сараевских домах. В этом доме, о котором идет речь, несколько лет назад я провел целое лето. Это — мои воспоминания о том доме и о том времени. Точнее говоря, лишь некоторые из воспоминаний — то, о чем я могу говорить и о чем сумею что-то сказать.

Светлое летнее утро. Давно рассвело, я умылся и позавтракал, но меня еще переполняют от кончиков пальцев на ногах до темени, словно какой-то туман, неясные и безымянные ночные грезы. Они продолжают одолевать меня после того, как сожрали целиком мою душу и высосали из меня мою кровь.

Сейчас повсюду в этом городе люди приступают к работе. У них, как и у меня, начинается трудовой день. Но если другие люди принимаются за исполнение определенных обязанностей, имея перед собой более или менее определенную цель, то я рассеянно вглядываюсь в окружающие меня чужие и незнакомые предметы и картины и, притворяясь ничего не понимающим, ожидаю, пока во мне начнется моя работа. С наивной хитростью (кого я здесь обманываю и зачем?) ищу я оборванную вчера нить своего повествования, стараясь не выглядеть человеком, который что-то ищет, вслушиваюсь, звучит ли во мне мелодия этого повествования, готовый целиком потонуть в нем, стать частицей его, его отражением или его воплощением. Даже менее того: стать лишь одним мгновением этого отражения, одной-единственной мыслью или смутной тенью. Стремясь к этому, я кружусь вокруг своей цели, внешне равнодушный и беззаботный, точно охотник, который, отворачиваясь в сторону от преследуемой им птицы, на самом деле ни на секунду не упускает ее из виду...

Я должен работать именно так, это стало моим вторым естеством. Ибо я знаю, что произойдет в тот миг, когда во мне пробудится луч дневного сознания и когда я признаюсь самому себе в своем намерении и назову свою цель ее настоящим именем. Тоньше тончайшего тумана, эта атмосфера безымянных грез обратится в прах, и я окажусь в знакомой комнате таким, каков я есть по своему паспорту или по домовой книге, человек со своими вполне определенными «особыми приметами», ничем не связанный с героями или ходом повествования, о котором я только что думал, вдалеке от той оборванной нити, которую, таясь даже от самого себя, я жадно и тревожно искал. И тогда, тогда — я хорошо это знаю! — вдруг станет серым мой день, который только что начался, и передо мною, вместо моего повествования и моей работы, раскроется невыносимая тривиальность некоего существования, неотделимого от меня, но не принадлежащего мне, возникнет губительная пустота времени, которая внезапно гасит в нас радость жизни, а нас самих постепенно убивает.

Вот почему я столь суеверно и смешно осторожен, столь бесконечно терпелив и могу выдержать так много времени не двигаясь и почти не дыша, притаившись под куполом этого утра, точно на дне какого-то океана света.

Бывает, мой день начинается иначе и не я жду свои рассказы, но они подстерегают меня, причем сразу несколько. В полусне, пока я еще не открыл глаза, подобно желтым и розовым полосам на опущенных занавесях моего окна, трепещут во мне, сами по себе, отрывочные нити начатых рассказов. Они предлагают себя, будят меня и тревожат. И потом, когда я приведу себя в порядок и возьмусь за работу, меня не перестанут одолевать герои этих рассказов, преследовать обрывки их разговоров, раздумья и поступки с массой вполне конкретных, осязаемых деталей. Теперь я вынужден от них защищаться и обороняться, пытаясь схватить как можно больше подробностей и занести что могу на приготовленную бумагу.

Али-паша

У меня под окнами, по утренней свежести, время от времени проезжает со своей свитой бывший мостарский везир Али-паша Ризванбегович Сточевич.

По перестуку копыт узнаю я, когда он выступает везиром и повелителем Герцеговины, а когда — поверженным узником. Когда он проезжает всемогущим везиром, то лишь мимоходом дает о себе знать, никогда не останавливаясь, а когда является жалким невольником, то задерживается у моего окна и негромко обращается ко мне с несколькими обычными фразами. Но и в том и в другом случае он неназойливо намекает, чтобы я отворил двери моего рассказа и предоставил ему там подобающее место.

Он родился в 1783 году в семье столачского начальника Зульфикара Ризванбеговича, у которого было шесть сыновей. В чем-то провинившись перед строгим и скорым на расправу отцом, он юношей уехал в Турцию, где провел несколько лет, а в Столац вернулся лишь после смерти отца, причем с немалым капиталом в виде наличных денег. Где он был? Как ему достались эти деньги? Многих это интересовало, но никто ничего так и не узнал. Али-ага, как его тогда еще звали, был одним из тех людей, о которых можно узнать только то, что они сами позволяют сделать известным.

Вскоре после своего возвращения он вступил в долгую и жестокую борьбу с братьями и прочими здешними родственниками за положение первого человека в Герцеговине. Особенно долго и тяжко боролся он против своего брата Мехмеда по кличке Хаджун, Хутовский палач. В конце концов он убил его под столачской крепостью после настоящей маленькой войны, в которой райя[1] поддерживала Али-агу против ненавистного Хаджуна. В этом сражении Али-ага праздновал победу.

---

[1] Презрительной кличкой «райя» (стадо) называли в Османской империи христиан — подданных султана. (*Здесь и далее — прим. перев.*)

В больших бунтах боснийских феодалов против султана — около 1830 года — Ризванбегович всегда решительно стоял на стороне султана. Когда движение боснийских феодалов было сломлено, Герцеговина в административном отношении отделилась от Боснии, и первым везиром в Мостаре назначили столачского начальника Ризванбеговича. Это была награда за верность султану и плод многолетних усилий Али-паши. С тех пор он будет править Герцеговиной так, как он сам объявил, получив власть: «Отныне никому более не надобно ездить к султану в Стамбул. Вот вам Стамбул — Мостар, а вот вам и султан в Мостаре!»

Это был один из тех маленьких султанов, которым удавалось, на короткое или на длительное время, утвердиться на окраинах империи в первой половине XIX века, когда столичные власти теряли последние силы. Он управлял «своей» страной как коварный и жестокий тиран, но и как рачительный хозяин. Он обводнял земли, заставлял обсаживать их и обстраивать. Воздвигал дворцы, разумеется прежде всего для себя и своих присных, и строил мечети и обители дервишей; при нем в Герцеговине начали сажать рис, выращивать маслины и тутовые деревья, разводить шелковичных червей; он пытался высаживать даже кофейное дерево. Почувствовав наступление австрийского капитала, он первым установил с ним контакт и начал продавать лесные концессии австрийским фирмам. А между делом воевал и мирился с соседней Черногорией и, что самое главное, торговался и вел игру с везирами в Стамбуле и пашами в Травнике. Он подкупал кого следовало, давая сколько требовалось. Он всегда стоял за султана, стоял на словах и за реформы, но на практике в своем пашалыке их не осуществлял. Он разбогател, заматерел и раскормился, дав четырем своим женам обильное потомство. Так он правил почти двадцать лет, «строго и справедливо» по его мнению и самовольно и жестоко — по мнению большинства его подданных. Подобно многим из этих маленьких самодержцев в Османской империи, он воистину желал, чтобы в его пашалыке как можно больше людей было счастливо, но количество этих людей и природу их счастья определял он сам. Казалось, он так и будет править до самой смерти и передаст потомкам страну и власть. Однако в конце жизни старая лиса запуталась в собственных тенетах и интригах. И когда в 1850 году в Боснию послали Омер-пашу, чтобы наконец сокрушить сопротивление феодалов и ввести низам, он попытался воспротивиться этому с помощью своих столько раз испытанных хитростей. Но на сей раз ничто не помогало: ни ложь, ни взятки, ни проволочки. Семидесятилетнего мостарского везира, у которого ослабела воля и уменьшилась сила, перехитрил более молодой, более коварный и беззастенчивый султанский мушир[1] Омер-паша Латас. Он свалил его внезапно и окончательно, лишив почестей и приказав арестовать, посадить на осла и провезти, как последнего преступника, по всей Боснии и Герцеговине, дабы люди «видели, на кого они уповали», а затем отправить его в Азию. Что и было принято к исполнению. Однако во время сего печального путешествия в небольшом селе Добрин, близ Баня Луки, Али-пашу, когда он спал, убили. Было объявлено, что у одного из солдат, его охранявших, случайно выстрелила винтовка. Али-пашу похоронили в красивом белом тюрбане рядом с мечетью Ферхад-паши в Баня Луке. Семью его отправили в Стамбул. Здесь некоторые из его сыновей стали видными османскими сановниками и царедворцами.

Такова была судьба Галиба Али-паши Ризванбеговича Сточевича; она хорошо известна в истории, а здесь передана лишь кратко и неполностью. Но то, из-за чего Али-паша желает теперь войти в повествование и из-за чего он изредка все-таки останавливается и беседует со мною, ни в коем случае не есть бурные годы его возвышения, ни даже десятилетия его счастливого правления и не сама его ужасная смерть, поскольку он хоть теперь убедился, что каждый рано или поздно становится жертвой своей самой большой страсти. Речь идет, говорит он, лишь о тех пятнадцати днях, когда в качестве пленника, окруженного солдатами Омер-паши, его везли через десятки герцеговинских и боснийских деревень и городов. В эти дни на этом пути он постиг, чем может стать человек, который внезапно лишается всего и, утратив все, оказывается наедине с самим собою и, одинокий и беспомощный, но непобедимый, противостоит всем силам окружающего мира.

Али-пашу вовремя известили о том, что в Боснию военным губернатором с особыми полномочиями будет назначен Омер-паша. Он знал, что это за человек, и предпринял необходимые меры в соответствии со своим пониманием вещей и приобретен-

[1] Военачальник.

ным опытом, дабы от подобной напасти защититься. В течение двух десятков лет, пока он был единственным повелителем Герцеговины, это ему всегда удавалось, и, пожалуй, на сей раз также не было причин ожидать иного конца.

Престарелый и самонадеянный тиран и хозяин Герцеговины слишком полагался на свой многолетний и проверенный опыт и свою дальновидность, и ему не приходило в голову, что обстоятельства могут сложиться таким образом, когда его бесчисленные, вошедшие в привычку хитрости окажутся устаревшими и даже опасными для него, и что может появиться человек, который сразу раскусит его и своими интригами оставит далеко позади.

Теперь, когда ему пришло приглашение сераскера прибыть в Сараево, чтобы присутствовать на торжественном чтении султанского фермана, Али-паша не испытал удивления; его разозлил лишь непривычно сухой и неучтивый тон этого приглашения, но он скоро опомнился и рассудил, что ему нет корысти сердиться и обижаться. Он решил отложить ответ до завтра, а на другой день, спокойно все взвесив, постановил не ехать в Сараево лично, но отправить вместо себя сына Хафиза, носившего уже титул паши, а вместе с ним и мостарского владыку Иосифа.

По расчетам старика, этого было достаточно. Самый старший и самый любезный сын станет живым доказательством и залогом его верности и готовности служить султану всегда, как бывало и до сих пор; присутствие же владыки покажет, что Али-паша одобряет султанские планы реформ. Посланцам надлежало, елико возможно, убедить сераскера в преданности Али-паши и передать, что, к сожалению, по старости и болезни он лично приехать не сможет. Обоим он дал свои краткие и ясные инструкции: разумеется, одному одно, другому другое, каждому в отдельности. Он был доволен своим решением.

Его эмиссары выехали без промедления, снабженные не только инструкциями, но и необходимыми дарами и полномочиями пустить в дело, ежели понадобится, новые, еще более дорогие подарки. Однако возвратились они скорее, чем ожидали.

Омер-паша принял их необыкновенным образом. В кордегардии временной резиденции сераскера их встретили с искусно изображенным удивлением, как неведомых и нежданных гостей. Весьма учтивым образом им было сказано, что их имен нет в списке приглашенных старейшин. Они долго ждали, и наконец им велели прийти на другой день поутру, тогда они, вероятно, и предстанут перед сераскером.

Они прибыли около семи часов, по-прежнему готовые ждать, однако дежурный офицер, попеняв им за опоздание, тут же ввел их в резиденцию. Однако еще большие неожиданности были впереди. В просторной приемной они почти лицом к лицу столкнулись с группой высших офицеров в парадных мундирах и среди них тотчас распознали сераскера.

Без всяких околичностей тот пригласил их сесть здесь же, в приемной, причем обратился к ним с той рассеянной непринужденностью, будто во время случайной приватной встречи. Сам он остался стоять, прямой как свеча, обеими руками опираясь на эфес своей сабли. Четверо высших офицеров стояли позади него с выражением безмолвного почтения. Посланцы растерянно молчали, в то время как паша не сводил с них ястребиных глаз. А когда покрасневший Хафиз-паша начал подготовленную речь о своей миссии, тот сразу же его оборвал.

Ему, сказал Омер-паша, всегда приятно лицезреть и принимать видных гостей из числа жителей этой страны, но перед представителем султана каждый должен быть тем, кто он есть на самом деле, а не тем, кем он не является и быть не может. В данном случае, судя по всему, произошло недоразумение, а он недоразумений не любит и старается избегать. Речь идет о столь серьезных делах и столь высоких государственных интересах, что о здоровье и болезни сейчас не спрашивают, но лишь о жизни и смерти. Али-паше, старому и верному слуге султана, это хорошо известно. Он, Омер-паша, желает ему скорейшего выздоровления (чем быстрее тот поправится, тем лучше!) и надеется видеть его здесь, дабы вместе с ним и остальными вождями, которые приглашены, он мог совершить все что нужно. Посланцам же он желает счастливого пути.

Аудиенция окончилась.

Сераскер с юношеской легкостью поклонился владыке и вышел, а следом за ним и его офицеры, негромко позвякивая саблями и шпорами.

Потрясенные, эмиссары едва держались на ногах. Они молча глядели друг на друга, точно недоумевая, действительно ли этим все кончилось. В конце концов они

опомнились и сообразили, что самое лучшее для них сейчас — немедля выехать обратно. По дороге, храня свинцовое молчание, они имели возможность поразмыслить о том, как их провели и выдворили, равно как и о самом сераскере, его внешности и манере держать себя,— с каждым часом он казался им все более странным и неприятным. А когда они стали приближаться к Мостару, возобладала мысль о том, как они предстанут перед Али-пашой и что ему скажут.

Однако старый везир принял весть об их неудаче как самое естественное дело на свете или сделал вид, будто это так. Спустя два дня он, опять прихватив с собой Хафиз-пашу, отправился в Сараево. И здесь нанес визит сераскеру, столь непринужденно и просто, точно это испокон веков было его заветным и страстным желанием. Омер-паша выказал ему особенное уважение по сравнению с другими старейшинами, но и задержал его в Сараеве дольше других, и, лишь выступив с войском против Крайны, дозволил ему вернуться в Мостар. Али-паша обещал помочь введению низама в Герцеговине, а сераскер заявил, что, покончив с делами в Боснии, он и сам приедет в Мостар. На прощанье они обнялись.

Еще будучи в Сараеве, Али-паша приказал своему кавазбаше[1] без шума собрать отряд привычных к ратному делу людей и занять переход из Боснии в Герцеговину, но так, будто кавазбаша действует на свой страх и риск. А когда везира отпустили из Сараева, он тотчас отправился в свое поместье у истоков Буны, чтобы здесь подождать дальнейшего развития событий.

Омер-паша после первых неудач быстро разделался с горластыми и неорганизованными жителями Крайны и немедля направил в Герцеговину майора Скендербега во главе крупного смешанного отряда пехоты и конницы. Лучше вооруженные и более дисциплинированные, солдаты Скендербега разбили отряд кавазбаши и вступили в Мостар. Али-паша успел отречься от своего кавазбаши, объявив его бунтовщиком и государственным изменником, и поспешил выслать своих людей навстречу Скендербегу, поздравляя его с успехом. Скендербег, поблагодарив, просил его вернуться в Мостар. Не видя выхода, Али-паша так и поступил. Представитель сераскера встретил его с большими почестями и уже на другой день устроил торжественный ужин в его честь.

Скендербег, как обычно, уже в начале ужина был пьян. Но когда трапеза подошла к концу, он вдруг встал, точно был самым трезвым, и дважды хлопнул в ладоши. По этому знаку одновременно распахнулись обе двери, в которые ворвались вооруженные люди дикого вида. В мгновение ока Али-паша и его сын были связаны. Старый везир пытался узнать у Скендербега, что сие означает, но тот, показав ему спину, без единого слова вышел вон.

Когда везира вывели наружу, он мог видеть, что схватили и его спутников.

Все было тщательно подготовлено и ловко исполнено. Солдаты, окружившие резиденцию Али-паши, сразу начали ее громить и грабить. В ту же ночь взяли и семью паши в поместье у истоков Буны. Никто пальцем не шевельнул, чтобы помочь старому паше, и его вместе с сыновьями заключили в городскую башню возле моста так просто и безо всякого сопротивления, точно он вовсе и не был столько лет везиром и абсолютным хозяином Герцеговины.

Это произошло в ночь с воскресенья на понедельник. Узники всего лишь один день провели в заточении, а весть об их аресте разлетелась повсюду и оказала свое действие. Уже на следующий день их на рассвете вывели из тюрьмы. Было очевидно, что все идет по заранее продуманному плану.

Конец февраля, когда в воздухе над Мостаром начинает ощущаться смутная тревога. Ибо весна здесь очень рано дает о себе знать, неожиданная и стремительная, как внезапный могучий, но безвредный взрыв. Этой весной здесь чувствуется слишком много тревоги, потому что она исходит не только от земли и с высот, но и от неловких и суматошных передвижений и столкновений между отдельными людьми и воинскими отрядами.

Даже те, кто при всех этих беспорядках и переменах ничего не выигрывает и не проигрывает, пробуждаются рано, любопытствуя, какие тревожные вести и потрясения принесет им грядущий день. И никому не хочется выходить на улицу. А уж люди

[1] Кавазбаша — начальник отрядов телохранителей.

известные или имущие вовсе не ночуют дома, но у верных друзей; да и то сон чуть смежает им веки.

В тот вторник над Мостаром стоял солнечный и безжалостно ясный день, прохладный и прозрачный, точно из тончайшего стекла, и каждое сказанное под этим стеклянным куполом слово, каждое движение должно было отозваться хрустально-холодным звуком в золотисто-синем пространстве. Это не обыкновенный вторник, который подобно всякому другому расцветет и увянет между двумя зорями, нет, это судный день, в котором свет и тени не растут и не уменьшаются и в котором все останется застывшим и неизменным, точно это кулисы, на фоне которых свершится то, чему суждено свершиться.

В такой день рано поутру на террасу перед старым каменным мостом, как будто на сцену, вывели Али-пашу с сыном и восемью другими узниками, его личными друзьями или открытыми противниками танзимата и миссии Омер-паши в Боснии и Герцеговине.

За ними следовал отряд из тридцати низамов, конных и пеших, а в боковых улицах собрался целый караван нагруженных и порожних мулов и лошадей.

Али-паша привлекал к себе внимание всех — и солдат и узников. Грузный и хромой, не привыкший ходить пешком, он еле передвигался, левой рукой опираясь на трость, а правой на плечо своего сына, Хафиз-паши.

Вообще-то старшим сыном везира был не Хафиз, а Назиф, также имевший ранг паши, но тот оказался сибаритом, горьким пьяницей и большим бездельником, копия своего дяди Хаджуна. Поэтому Хафиз, едва достигнув нужного возраста, стал помогать отцу во всех делах. Этот красивый и для своих лет необыкновенно зрелый человек был отрадой и надеждой отца. Он обладал чрезвычайно развитым чувством ответственности и фамильной гордости, но не той, которая проявляется в спесивом пренебрежении к другим, а находит свое выражение в достоинстве и отмечена не насилием и грабежами, а трудом, умением и прозорливостью. Сейчас он страдал так, как могут страдать люди высокой души — скрывая свое страдание. Во вражеских руках он оставлял редкостной красоты жену, единственную женщину, которую он знал и которая недавно родила ему второго сына; с нею он расставался так, словно не надеялся никогда больше ее увидеть. Еще горшую муку он испытывал из-за отца, к которому всегда питал огромную сыновнюю любовь и безграничное восхищение. Он стыдится — это верное слово — того отца, который ослабел и обрюзг и у которого последнее время уже заметны неприятные и пугающие признаки одряхления: забывчивость, нечистоплотность, какая-то нелепая легкомысленность, чрезмерная самоуверенность, вялость духа и нерешительность. Он опасается, что эти слабости, которые до сих пор замечал только он один и прикрывал насколько мог, теперь заметит весь свет. Ему и жаль величественного старца, ему и больно от этого, но он понимает, что не в силах помочь ни отцу, ни самому себе. И делает все что может и, стиснув зубы, бережно и нежно поддерживает старого везира.

Медленно и величественно, с каким-то горьким достоинством отец и сын шли впереди остальных, как бы заполняя собою окружающее пространство и образуя живописную группу, привлекавшую все взоры.

Когда они остановились на террасе, солдаты вывели мелкого и пузатого ослика с вытертой седлом шкурой. Время от времени он задирал большую лохматую голову и, мечтая о воздухе и о свободе, беспокойными ушами стриг весеннее небо.

Суетливый унтер-офицер отдавал распоряжения. Избегая обращаться непосредственно к старому везиру, он грубо приказал ему сесть верхом на этого осла, а Хафиз-паше — взять животное под уздцы. После его слов воцарилась растерянная тишина, а затем начались странные объяснения. Хафиз-паша внушал усердному капралу, что выполнить его приказ невозможно, физически невозможно. Потому что Али-паша, как он изволит видеть, один из самых высоких ростом людей в Герцеговине — «без двух пальцев три аршина» — и весом более девяноста ок [1] на торговых весах.

Хафиз-паша говорил тихо, но ожесточенно, меняясь в лице; заметно было, что ему тяжело и стыдно перед людьми обсуждать с этим жалким человеком физическое состояние старика, который стоит здесь же, молча опираясь на сына. Капрал угрюмо и упрямо отвергал какие бы то ни было возражения и нетерпеливо требовал, чтобы

---

[1] Аршин в старой Турции — расстояние от кончиков пальцев руки до плеча — равнялся 65—75,8 см; ока — мера веса — около 1,2 кг.

приказание свыше было немедленно исполнено, чтобы старый везир сел на осла и начал свой путь.

Подошел и вмешался капитан, начальник этого диковинного каравана, он выслушал сына, посмотрел на везира, глянул на стоявшего в стороне и моргавшего под утренним солнцем осла. Не требовалось особой зоркости ума, дабы понять, что старик может перешагнуть через этого ослика, но, высокий и грузный, не может сесть на него верхом, равно как и тот не может его везти. Было очевидно, что и в этом случае произошло то, что всегда может произойти и что в подобные времена и в подобных армиях происходит часто: кто-то, где-то там далеко, в какой-то канцелярии, по какому-то старинному предписанию или обычаю, вдохновленный ненавистью и усердием, отдал приказ, не зная ни человека, к которому этот приказ относится, ни обстоятельств, в которых тот находится. И теперь все растерялись, как будто после строгого приказания свыше перед ними раскрылась непреодолимая бездна и у них нет ни малейшей возможности это приказание выполнить.

Капитан отправился на розыски начальства, и ему потребовалось немало времени, пока он кого-то нашел и получил позволение посадить своего пленника на мула, а не на осла.

Мул казался выше и сильнее осла, но был весь ободран, тощий и облезлый — из-за плохого корма и непосильной работы в тяжелые зимние месяцы, когда на нем доставляли артиллерийские орудия от Коница к позициям кавазбаши, подготовленным против наступления Скендербега. На спине мула было отслужившее свой срок вьючное седло.

Теперь вновь выступил на сцену тот же самый маленький смуглый капрал и злобно потребовал, чтобы была исполнена вторая часть приказания, чтобы везир сел задом наперед, а его сын принял мула под уздцы. Вновь пришлось вмешаться капитану, который объявил, что эта часть распоряжения имеет силу только при движении через города, а поскольку они сейчас покинут Мостар и войдут в горы, то старик может ехать, как и все прочие, по крайней мере, пока не достигнут другого города. И на сей раз капралу пришлось стушеваться, но зато он со злорадством приказал вместе с лошадьми и мулом вести ослика.

С трудом посадили везира на мула. Кто-то успел набросить на седло небольшую попону, но все сделали вид, будто ничего не заметили. Наконец процессия тронулась и скоро скрылась в нагромождениях серого камня. День рос и набирался сил, а городские жители стали осторожно выглядывать из запертых покуда ворот своих домов. Начали открываться и первые лавки.

Пустынной дорогой в горах люди ехали и шли как хотели, но едва они приближались к какому-нибудь городу или большому селу, капрал принимался устанавливать определенный порядок. Везир должен был задом наперед сесть на мула, которого вел под уздцы Хафиз-паша. Детвора и бездельники собирались вокруг странной процессии, движение которой Хафиз-паша старался ускорить, а капрал — замедлить. Старый везир со своего седла бросал на толпу негодующие взгляды, словно призывая всех в свидетели столь неслыханного злодеяния. Он рычал, точно пойманный зверь, и без малейшего страха и всяких околичностей громогласно поносил Омер-пашу, называя его Михайлом и свинопасом и грозя, что справедливость султана будет скоро восстановлена, что она лишь временно попрана, вот почему этот потурченец может жечь, и палить, и хватать, и убивать истинных мусульман, которые всегда блюли порядок в этой стране и обороняли ее.

Однако уже через несколько дней везир переменился. Он замолчал. Он заметно похудел, сник, как-то вдруг стаял. Его большие серо-зеленые глаза, перед взглядом которых когда-то трепетала Герцеговина, побелели, будто их затянула какая-то пелена; они еще смотрели, но не видели и не желали видеть. Нестриженая борода выросла настолько, что профиль его утратил прежнюю четкость. Передние зубы, и прежде шатавшиеся, теперь стали выпадать, и все его некогда суровое и твердое лицо уменьшилось, стало неподвижным и бескровным, точно на отсеченной голове; а когда на этом лице мелькал редкий луч жизни, оно напоминало покорную и отрешенную физиономию нищего дервиша. Его одежда, неряшливая, грязная и мятая, стала выцветать от дождя, солнца и пыли. И в то же время человек на муле приобрел и с каждым днем все более приобретал спокойное, истинное величие, каким он не обладал никогда, даже в пору наивысшего расцвета своей силы и могущества.

Прохожие чаще всего отворачивались в сторону из страха и сожаления, ибо воистину было невыносимо видеть столь стремительное низвержение и столь жгучее несчастье, помочь которому никто не мог и не смел. И только какой-то мелкий лавочник в Донем Вакуфе подавил страх и нашел в себе силы при всем честном народе приблизиться к везиру, отдать ему полагающийся поклон и спросить, не надобно ли ему чего. Солдаты отпихнули этого человека, подхлестнули мула, и процессия двинулась дальше. Али-паша, который толком и не разглядел своего неведомого почитателя, отвечал ему медленно и много позже, когда уже находился далеко от него. Беззубым ртом, исчезнувшим в бороде и усах, он глухо и невнятно сказал, что ему ничего не нужно, поскольку аллах и прежде неизменно поддерживал его, а теперь, с тех пор как он безвинно оказался в плену и неволе, помогает ему и одаряет его более чем когда-либо всем, что ему надобно. Он говорил это, обращаясь куда-то ввысь, поверх всего, что его окружало. Вообще последнюю часть своего пути Али-паша провел словно в каком-то забытьи. Глядя на встревоженные лица и поникшие головы крестьян вокруг, он испытывал потребность утешить их и ободрить, точно это они были пленниками, а он здоров, всемогущ и свободен.

С пьедестала своих страданий, словно с высочайшей горы, он постиг и познал, говорил он, истину о людях и человеческих отношениях полнее и лучше, нежели когда-либо прежде в своей жизни. Но это познание погасила солдатская пуля в палатке в Добрине, оно разлетелось вдребезги вместе с его мозгом и утрачено навсегда. А такой конец кажется везиру несправедливым. Есть вещи, которые лишь с того деревянного седла на облезлом муле можно было узреть, но которые следовало бы знать прежде, поскольку тогда его жизнь и многие его поступки озарил бы свет той истины и люди лучше умели бы управлять собой и другими. И это пошло бы им во благо. Он твердо убежден. Поэтому, только поэтому он желал бы, чтобы правдивая и полная история его жизни увидела свет. Если это можно сделать — хорошо, но он не просит и ни на чем не настаивает. У бога и без того все записано. Но если можно, тогда, в назидание другим...

Я слушаю его долго и внимательно, лишь изредка возникает у меня желание вмешаться, сказать свое слово, выразить то, что я об этом думаю. Да, возникает такое желание, но я не скажу ничего, потому что ничей рассказ я не прерываю и никого не поправляю, а менее всего страдальца, рассказывающего о своих страданиях. Куда бы это меня завело, если б я так поступал. Тогда вовсе не было бы моего повествования. А всякое повествование, по-своему и в определенный момент, искренне и правдиво, и как таковое его следует выслушать и принять. Поэтому в топоте уходящего каравана я различаю тяжкий и смутный завет бывшего «маленького султана Герцеговины» и долго размышляю о людях такого рода. Они никогда ни с чем не примиряются. И после смерти словно бы что-то остается от их страсти и желания под какой угодно личиной жить и влиять на жизнь живых людей.

Рассказчик

Только что здесь сидел один из самых спокойных и приятных посетителей Ибрагим-эфенди Шкаро. Он вообще не похож на моих гостей. Приходит редко, а появившись, долго не засиживается. Он входит, усаживается, но сидит и беседует так, словно в любую минуту может подняться, вежливо проститься и уйти. Но если он вдруг засидится и разговорится, то это настоящий праздник. Он никогда не рассказывает о себе, не защищает себя и не оправдывает, не возвеличивает и не навязывается. И если другие обычно хотят войти в мой рассказ и подчас бестактно и назойливо на этом настаивают, то он, напротив, предпочел бы, чтоб я нигде его не упоминал, и если уж мне захочется передать какую-нибудь из его шуток, то не указывал бы, чья она.

Я проводил Ибрагима-эфенди, вернулся и опять сел на свое место, на котором до сих пор его слушал. Мне кажется, будто он вовсе не покидал моей комнаты, будто нечто от него, невидимое, но живое и реальное, осталось и продолжает мне рассказывать, причем не словами, но как-то иначе, непосредственно, самим живым смыслом повествования Ибрагима-эфенди. Я слушаю тишину своей комнаты, то, как она продолжает рассказывать, и, кивая время от времени, подтверждаю услышанное. Если

бы кто-нибудь наблюдал за мною со стороны, то подумал бы, что я не в себе. А я вслушиваюсь в звучание безмолвного источника всех рассказов Ибрагима-эфенди.

Его отец, Хамид-ага Шкаро, в свое время был одним из видных людей в этом городе. Его слово — слово справедливого и безбоязненного человека — имело вес у властей и граждан и нередко оказывалось решающим. Он поздно женился, на знаменитой красавице из семьи Сулейманпашичей, и прожил с нею в браке всего полгода.

Произошло это немногим более ста лет назад, в те времена, когда прибывший в Боснию Джелалуддин-паша пригласил к себе в Травник первых людей этой страны и обманом всех их перебил, точно малосильных ягнят.

Хамид-ага, которого также приглашали в Травник, но который не хотел ехать и отвращал других от этой поездки, открыто выражал свое мнение и осуждал бесчинства везира. Перепуганные, но желавшие справедливости и отмщения, люди слушали, как он говорил то, что все думают, но никто не смеет высказать. Продолжались такие разговоры лишь несколько дней. Однажды в пятницу, перед наступлением сумерек, когда все расходятся по домам, на Атмейдане, неподалеку от дома Хамид-аги, его повстречали четверо. Уступая ему дорогу, они разошлись по двое с каждой стороны. И тогда ближайший слева внезапно ударил его ножом в грудь и повалил на месте. С криками, вводившими в заблуждение людей, которые еще находились на площади, убийцы разбежались. Прохожие, те, что похрабрее, стали подходить к убитому и звать полицейских.

И тут случилось нечто неслыханное. С грохотом распахнулись тяжелые ворота дома Шкаро, и из них выбежала юная и прекрасная Хамидагиница, без чадры и вуали, в носках, такая, какой ее застала на балконе, где она ожидала возвращения аги, весть о несчастье. С открытым лицом она побежала по площади, сильным движением руки проложила себе дорогу между людьми и с глухим стоном упала на труп убитого мужа, из груди которого последними слабыми струйками вытекала горячая кровь.

Люди растерянно отворачивались от неодетой женщины. Вскоре со двора выскочили двое челядинцев Шкаро. Один из них держал большую белую шаль и накинул ее на лицо и стан женщины, после того как ее оторвали от мертвеца. На шали мгновенно вспыхнули следы окровавленных рук. Женщину отвели во двор, а затем с помощью прохожих внесли и покойника.

Таким образом — сомнений быть не могло — из Травника пришла смерть за Хамид-агой Шкаро.

Это была характерная примета времени. Султанские наместники Боснии превратились в обыкновенных палачей, которые прибывали не за тем, чтобы блюсти законы и защищать граждан, но чтобы расправляться со своими противниками и в самой резиденции везира в Травнике, и с помощью наемных убийц в других городах этой страны. Эти убийства люди озлобленным шепотом обсуждали по всей Боснии и, вспоминая о неслыханном чуде и ужасном примере, говорили о великой любви молодой женщины, которая, пренебрегая всеми заветами и осторожностью, с открытым лицом выбежала на улицу, в толпу. Одни осуждали ее, другие защищали и оправдывали. Эти толки не доходили до слуха Хамидагиницы, которая целиком погрузилась в скорбь о потерянном муже. Три месяца спустя после его кончины она родила мальчика.

Лишь один год пестовала она сына и вскармливала своим молоком, отравленным ненавистью и неизбывной тоскою, и все больше увядала и таяла, а потом покинула сей мир, не найдя слов для выражения того, что привело ее к смерти. Ее тетки приняли и воспитали сироту.

Мальчик превратился в юношу, юноша — в мужчину. В Сараеве еще можно встретить какого-нибудь старика, который помнит, как он ходил по городу и рассказывал.

Странный это был человек. Родом из доброго и богатого семейства, он и образование получил, но никаким делом, из тех, что называют «серьезным занятием», никогда не занимался и ни к чему рук не прикладывал. Родственники распоряжались его долей имущества. Уже сама внешность Ибрагима-эфенди вызывала удивление. И репутация остроумного рассказчика полностью противоречила его внешнему виду. Невысокий, рано поседевший, лицо добродушного фавна, а движения медленные и неловкие, словно его опутывали невидимые клейкие нити, из которых он все время тщетно пытается выбраться. Медлительный во всем, он даже и смотрит на вас как-то медлительно. То и дело моргает и непрестанно что-то почесывает то у одного, то у другого глаза, а то и около рта. Руки его в вечном движении. Так и со словами. Он

цедит их и растягивает, словно нарочно выбирает сплошь такие слова, которые ничего не значат и ни к чему не обязывают. Однако если после кофе он примет предложенную рюмку ракии, то может случиться, он начнет рассказывать. Я говорю «может случиться», потому что такое не случается часто. Тогда, после второй рюмки, он поведет плечами, как бы сбрасывая с себя невидимые нити и оковы, освободится от помаргиваний и нервных почесываний и после этого не выпьет больше ни капли ракии, да мало будет и курить. Профиль его становится четким, слова обретают связь и голос крепнет; человек на глазах оживает, точно у него вырастают крылья; и тогда нет ему равных ни в живости мысли, ни в остроумии, ни в фантазии. В рассказах этих необычайна и редкостна самая его способность непременно удивить слушателей чем-нибудь обыденным и привычным. К сожалению, его рассказы, как многие устные повествования, непередаваемы. Любая попытка повторить их обречена на неудачу, и вы сами начинаете удивляться и в удивлении спрашивать, как и когда истории Ибрагима-эфенди утратили в пересказе жизненные соки и великое очарование. Да и сам Ибрагим-эфенди не любит их повторять. В большинстве случаев он забывает свои рассказы, которые исчезают подобно облаку дыма, и у них нет ни названия, ни начала, ни какой-либо раз навсегда установленной формы.

Лишь изредка, сидя среди друзей, которые после долгого напрасного ожидания не надеются больше что-либо услышать, он вдруг заговорит, точно продолжая какую-то свою давно начатую повесть, сердечно и доверительно, только ради вас.

Уже в самом ее начале слушателей начинает трясти от смеха, но они сдерживаются, боясь упустить хотя бы слово. Однако Ибрагиму-эфенди редко удается довести до конца свой рассказ, потому что, едва слушатели почувствуют приближение конца, который всегда неодолимо смешной, тормоза ослабевают и раздается такой хохот, что ничего больше нельзя услышать. Позже, когда смех стихает, оказывается, что Ибрагим-эфенди уже окончил свой рассказ и сидит со спокойным и неподвижным лицом.

Потом он может часами так сидеть, слушая других и простодушно улыбаясь, но столь же внезапно может начать другой рассказ, тоже без начала, конец которого тоже исчезнет во всеобщем хохоте слушателей.

Когда вы внимаете его рассказам, вам кажется, будто это сама жизнь, богатая и разноликая жизнь рассказывает о себе, а Ибрагим-эфенди лишь время от времени вставляет словечко-другое в нужных местах, точно он и сам слушатель: «А теперь еще...», «Послушай-ка вот что!», «Вот ведь как бывает!»

В этих его историях происходит тысяча всяческих чудес, но еще больше в них веселья; в них есть злодейства и злодеи, насильники, простаки и обманщики, в них — добряки, жертвы человеческой глупости и столь понятной в людях потребности обманывать себя и других, но все это освещено особенной манерой повествования, и хотя может огорчить человека, не может оскорбить его или ввергнуть в уныние. Это рассмешит его в любом случае. Все, что существует и происходит в жизни, все, что ее украшает: люди, события, животные, явления природы,— все обладает здесь своей ценностью и занимает свое важное место. И все завершается смехом, который не вызывает боли и не озлобляет. Подчас люди, которые по природе своей хмуро и злонравно смотрят на окружающее, упрекают Ибрагима-эфенди за то, что в его необычных рассказах все сглажено, приукрашено и возвышено, а он спокойно отвечает: «Не может такого быть. Ничего я не приукрашиваю. Да вы сами не черно ли на мир глядите?»

Но возражает он редко. По обыкновению, он не заботится о дальнейшей судьбе своих историй и о том, как люди встречают их и толкуют. Он не защищает их и не разъясняет их смысл. Ухмыляется и помалкивает или затевает новые. И время от времени сам удивляется: «Вот ведь как бывает!» А люди любят его рассказы и принимают их такими, каковы они есть; многие, услышав их в юности, долго их помнят, и им кажется, будто жизнь, со всеми ее приятными и неприятными происшествиями, только в этих рассказах и обретает свою настоящую форму и истинное значение: то, чего в них нет, может позабыться или измениться, в то время как рассказы Ибрагима-эфенди живут долго и переходят из уст в уста по всей Боснии.

Случалось, иные начальники, государственные мужи и «люди дела» неодобрительно принимали и самого Ибрагима-эфенди и его рассказы, в которых видели повод для гнева и осуждения, хотя сами не сумели бы точно сказать, в чем именно. Они ведь и сами часто смеются над этими историями, но, должно быть, их оскорбляет,

что столько простых смертных смеется, и кажется им, будто смех сам по себе может обладать чем-то разрушительным и побуждать граждан к неуважению порядка и непослушанию. Они не говорят об этом прямо и откровенно, но частенько выражают свое пренебрежение к Ибрагиму-эфенди как к чудаку и бездельнику, который все превращает в шутку и анекдот, и презрительно насмехаются и над ним, и над его рассказами, и над теми, кто смеется.

Все это не могло заставить Ибрагима-эфенди перестать рассказывать свои истории или рассказывать их как-то иначе. Так жизнь его и прошла в рассказах, словно она тоже какой-то рассказ. Так он и умер, когда ему исполнилось шестьдесят лет, неслышно, точно перепелка в хлебах. Не унаследовал он ничего от отцовской предприимчивости и воинственности. Он не женился и не оставил семьи. Он, собственно, и не жил. Вместо так называемой реальной жизни, удар которой он ощутил еще в материнской утробе, он создал себе иную действительность, существующую в его рассказах. Этими рассказами о том, что могло быть, а никогда не было, и что часто правдивее и прекраснее того, что было, он словно бы отгораживался от того, что каждодневно, «на самом деле» происходило вокруг него. Так он избежал жизни и обманул судьбу. Теперь уже около пяти десятилетий он лежит на кладбище на Алифаковце. Но оживает еще изредка в чьих-либо рассказах.

Рабыня

Это встреча, от которой хотелось бы уклониться, но избежать которой нельзя. И рассказала мне о ней не сама рабыня, но тяжкое и однообразное волнение южного моря, которое во тьме упрямо бьет в подножье старинной и хмурой Новлянской крепости. Оно проникло однажды ночью в мое сараевское уединение, пробудило меня от первого сна и заставило выслушать его рассказ.

После похода на Герцеговину, который продолжался долго и о котором толковали много, ждали герцеговинских рабов. А когда они прибыли, то разочарование было повсеместным, даже у ребятишек, которые, как водится, выбежали им навстречу и выстроились вдоль дороги. Рабов было мало, и выглядели они жалко. Большинство их тут же отправили на арнаутский корабль, стоявший на якоре в пристани. Меньшая часть, оставленная в городе, появилась на рынке лишь через два дня. Столько времени понадобилось, чтобы рабы отдохнули, помылись и чуть приоделись.

Маленькая вымощенная булыжником площадь была в тени крутой скалы и воздвигнутой на ней крепости. Для продажи рабов здесь поставили клетки, сбитые из жердей и досок. В этих клетках сидели или лежали выставленные на осмотр рабы, и выводили их лишь по просьбе солидных покупателей, желавших поближе рассмотреть и оценить товар.

В одну клетку, побольше, запихнули пятерых мужчин, крестьян, пожилых людей, в другой, поменьше, была красивая, сильная и статная девушка, которая привлекла к себе внимание, едва она появилась в Новограде. Сейчас она напоминала дикое животное, которое, прижавшись к ограде, старается протиснуться между жердями.

Возле этой клетки, на низкой треногой табуретке, сидел один из двух сторожей, в то время как другой бродил по берегу. У обоих за поясом были короткие ружья, а к поясу привязаны короткие бичи.

Шагах в десяти отсюда на склоне, за небольшим приземистым домишком, виднелось каменное возвышение с крохотным садиком. Здесь, беседуя с покупателями, сидел работорговец. Это был чужестранец, человек многоопытный и известный, сухощавый и крепкий, с пронзительным взглядом, державшийся уверенно и непринужденно. Звали его Узун Али. Сторожа снизу приводили к нему рабов и рабынь на осмотр и уводили их обратно вниз в клетки. А торговец и покупатель продолжали беседу и торговались о цене каждого раба.

В то утро первой сюда привели высокую девушку. Звали ее Ягодой, была она из села Прибиловичи. Покупатель сидел в холодке рядом с Узун Али. Перед ними дымились длинные чубуки. Рабыня, словно оцепенев, лишь озиралась вокруг горящими глазами, избегая любого взгляда. Сторожа заставили ее развести в стороны руки, сделать несколько шагов и показать зубы и десны. Все было в порядке и на своем месте: рост, свежесть и сила. Девятнадцать лет. Правда, повадки дикие и неприятные, но это

следовало объяснить ее нынешним положением и состоянием. Затем ее вернули в клетку.

Покупателем, осматривавшим рабыню, был местный житель Хасан Ибиш, один из первых ага в этом приморском городке, не столько, может быть, по своей репутации, сколько по своему богатству. Тощий, со впалой грудью и изможденным лицом, он спокойно курил и без малейших признаков волнения осматривал сильное и красивое тело крестьянской девушки, которое открывалось его взору. Потом столь же равнодушно, выпуская медленные дымы, он беседовал с Узун Али о цене.

Своим хриплым голосом он говорил торговцу, что цена — двадцать один дукат — неслыханно велика, названа она лишь для того, чтоб покупатель попался на удочку и «скостил» ее, предложив двадцать дукатов, но таких чудаков поискать надо. Пусть радуется, если ему дадут пятнадцать, самое большее шестнадцать дукатов. И то где-нибудь подальше отсюда, когда он еще потратится на дорогу, а здесь за такую цену ему покупателя не найти. Товар обыкновенный, на выкуп рассчитывать не приходится, потому что село, из которого рабыня родом, сровнено с землей и все живое в нем уничтожено. И кроме того, герцеговинские рабы здесь не приживаются, ведь отсюда легко убежать.

Продавец отвечал несколько живее, но со столь же рассчитанным равнодушием, осведомляясь у Хасана, бывал ли когда-либо в этом небольшом городке такой женский товар. Хасан-ага промолчал, только рукой махнул, а продавец продолжал:

— Это не девушка, а скала. Ты сам видел. Такое по рынкам не водили и на складах не томили. Что касается выкупа, то это товар и не для выкупа. Кто раз купит — хорошенько запомни! — такое больше не продаст. А захочет продать, то в любое время выручит за нее свои деньги и еще в придачу возьмет несколько дукатов. Что же касается побега, то убежать всякий раб может. Но что я тебе буду голову морочить! Товар сам за себя говорит! Редкий случай!

И он толковал что-то, понизив голос, печально-доверительным тоном, будто он поневоле и себе в убыток сам выдает свою торговую тайну.

Хасан-ага рассеянно слушает. Он отлично знает, что в словах работорговца есть и ложь и правда, он чувствует, сколько в ней приблизительно лжи, а сколько правды, однако не это придает его лицу, несмотря на видимое равнодушие, озабоченное и напряженное выражение. Иным заняты его мысли.

Сам он родом из переселенческой семьи, человек богатый и влиятельный, но скороход. Он и во сне, а тем более наяву не может освободиться от мысли о своем низком происхождении, мысли, которая сводит на нет все его усилия и успехи. Жена у него из Алайбеговичей, старейшего и знатнейшего новлянского семейства. Женился он шесть лет назад. В первый же год родилась у них девочка. Еле-еле они ее выходили. Она и теперь слабенькая и отстает в росте. Больше детей у жены нет и, судя по всему, не будет. Хасан-ага, человек сладострастный и неумеренный в этих делах, в первый же год семейной жизни не довольствовался только своей женой, а теперь тем более. Он всегда устраивал так, что в доме у него среди прислуги оказывалась какая-нибудь молодая и красивая девушка. Не ради удовлетворения плоти — прислугу он не трогал, даже если это была рабыня, просто ему доставляло удовольствие видеть рядом с холодной и худой женой и больной дочерью существо сильное и красивое. Он искал любви вне дома за деньги, всячески тая это от людей, а особенно от жены. Худая, умная, решительная и, главное, гордая, Алайбеговица всему в доме была голова и не потерпела бы никаких его выходок, и Хасан-ага избегал чем-либо ее оскорбить и рассердить и из уважения к ней самой, и из почтения к ее знатным братьям. (Он вырос вместе с ее братьями, вместе с ними воевал, охотился, участвовал во всяких юношеских проделках.) Она мало говорила, не жаловалась и не угрожала, но выдержать взгляд ее голубых алайбеговичевских глаз было трудно.

Вчера, когда Узун Али предложил ему сделку, Хасан-ага в разговоре с женой намекнул, что представился хороший случай и можно дешево купить рабыню, которая помогала бы по дому или работала в саду. Жена укоризненно посмотрела на него, так что он опустил глаза, и ответила, что прислуги у нее достаточно, что ей рабыня не нужна и в доме для нее места нет. Она произнесла это тихо, но твердо и решительно, с плохо скрытым отвращением в голосе. Этот ее голос и взгляд приводили Хасан-агу в полное смятение, и он обычно уступал и отказывался от своего намерения, по крайней мере на какое-то время, потом же все равно тайком и исподволь выполнял задуманное; хотя иногда он и вовсе отказывался от своих планов.

И сейчас, пока он беседует с торговцем о цене и стоимости этой рабыни, он вспоминает голос и взгляд своей жены и еще не знает, как ему в этом случае поступить и сможет ли он купить эту рабыню и держать у себя дома. Однако он продолжает торговаться, покуривая и с каким-то почти физическим удовольствием слушая, как Узун Али ловко нахваливает свой товар.

А внизу, в нескольких шагах от них, в клетке сидит рабыня, поджав под себя ноги, закрыв глаза, прислонившись затылком к двум сучковатым лесинам.

Она старается думать и мыслью охватить свое положение, найти выход или хотя бы оценить степень безысходности; старается, но напрасно. Вспоминает, что когда-то умела думать обо всем, что происходило вокруг, причем не только о приятных вещах, но и о пропавшем ягненке или каком-либо ином убытке, о болезни или раздорах в семье или у родни. Тогда тоже она не всегда могла полностью и до конца додумать каждую свою мысль и найти выход; однако она могла думать и искать выход. Но это было до того, как наступил черный день, и до того, как исчезло их село и вместе с ним ее семья. А теперь она даже не может думать.

Нет опоры для мысли. Нет ее села Прибиловичи. От него осталось пожарище. Едва сгорели три десятка домов, составлявших их село, как в ней сами собою возникли другие Прибиловичи, черные, тяжелые и мертвые, они давят на нее, не позволяя глубоко вздохнуть, а люди, близкие ей люди, или погибли, или стали рабами и рассеялись по белу свету. И она сама — рабыня, и только рабыня. Так она и живет, так видит мир и окружающих людей, потому что образ мира в ее глазах потемнел и исказился. Раб — мужчина, рабы — женщина и ребенок, от рождения до смерти они в рабстве у кого-то и у чего-то. Раб — дерево, раб — камень, и небо тоже раб вместе с облаками, и солнцем, и звездами, рабыни — вода, роща и пшеница, которая сейчас где-то — где она не сгорела и не вытоптана — должна колоситься; пшеничному зерну тоже не хочется идти под жернов, но идти нужно, ибо оно — раб. И слова, с помощью которых объясняются окружающие люди, тоже рабы, независимо от того, на каком языке эти люди говорят, и все можно свести к трем буквам: раб. Рабство есть жизнь, та, что длится и что приходит к концу, равно как и та, что еще в зародыше, невидимая и неслышная. Рабыня — мечта человеческая, рабы — вздох, кусок хлеба, слеза и мысль. Люди рождаются для того, чтобы быть рабами у рабской жизни, и умирают рабами болезни и смерти. Раб в рабстве у раба, поскольку рабом является не только тот, кого связанным ведут на продажу, но и тот, кто его продает, как и тот, кто его покупает. Да, раб каждый, кто не дышит и не живет среди своих, в Прибиловичах. А Прибиловичей давно уже нет.

Нет Прибиловичей, нет ее дома и ее рода. Тогда, значит, и ее самой нет! Это было единственным утешением, единственным путем к спасению. Во имя жизни отказаться от жизни. Ей все время видится огонь, и возникает желание исчезнуть в этом огне. Исчезнуть навсегда, навеки, как исчезло все, что ей принадлежало. Да, но как это сделать?

Она открыла глаза, и взгляд ее упал на собственные руки, розовые и сильные, и на голые ноги в тонких опанках [1], тяжелые от плоти и крови. Все это не надобно ей, но оно здесь, живое и теплое, вопреки ее воле. Все это вместе с глазами, которые смотрят, должно сгореть, исчезнуть, и тогда она освободится от своей беды и недоброго сна, который она, бодрствуя и засыпая, продолжает видеть последние несколько недель. Все это надо уничтожить, и тогда она вновь окажется со своими, там, где все принадлежит ей.

Но мир продолжает существовать, мир без Прибиловичей, мир, который рабство, позор и непрерывная боль, а в этом мире ее тело, полное огня и силы, неуничтожаемое, дышит и тоже продолжает существовать. А раз так, пусть исчезнет мир, целый мир вместе с ее телом. И тогда со всем будет покончено. Ничего не будет. Значит, станет хорошо или, по крайней мере, терпимо, потому что нечего будет терпеть.

Так она думала и в то же время понимала, что ее слабой и блуждающей мысли не под силу это одолеть; она не может даже сломать замок на клетке, а тем более ничего не видеть, она не может усмирить свою кровь, жаркое ее дыхание, потушить весь этот ужасный мир вокруг. У нее не хватает сил, однако она продолжает прислушиваться к своей мысли и неотступно следует за своим единственным желанием.

Прислонившись спиной к деревянным поперечинам клетки, она упирается ногами в мелкий булыжник. Скрестила на груди руки и закрыла глаза: потом на миг их

[1] Опанки — кожаная крестьянская обувь.

открыла, и взгляд ее поднялся от мостовой поверх мертвого лика какого-то домишка и крыши его к стенам крепости и узкой полосе ясного неба над ними. И она тут же вновь закрывает глаза, крепко, еще крепче, словно она вовсе не открывала их и словно ничего вовсе не видела. Не существует больше домов, ни больших, ни малых, они сгорели, все это ей лишь привиделось. Не существует неба, потому что навеки исчезло оно в дыму и пламени.

Не нужно смотреть. И дышать не нужно. Дышать — это то же самое, что вспоминать, а это значит видеть не то, что видишь сейчас, но лишь то, что ты видела в свете пожара и разгуле резни, не знать ничего, кроме того, что нет на свете больше никого из твоих близких, а ты живешь, чудовище, проклятие и позор. Вот что значит дышать. Она вскочила и, как зверь, стала ходить по своей клетке.

— Не буду дышать. Не буду! — задыхаясь от ярости, твердила она.

Она шагала из одного угла клетки в другой и вдруг заметила, что сторож, отлучившийся на минуту, оставил свою табуретку у самой двери. Сперва она долго смотрела на нее, а потом, опустившись на корточки, просунула руку между жердями, схватила за ножку и стала поворачивать табуретку и прилаживать, пока не сложила и не втащила ее в клетку. Не пытаясь что-либо осознать и как-либо объяснить себе свои действия, она отошла к противоположной стороне клетки, раскрыла табуретку и поставила ее возле самой стенки, а затем встала на нее — так дети, оставшись одни, начинают придумывать для себя новые, необычные игры.

Все сильнее прижималась она спиной к поперечинам клетки, между ними все глубже застревал ее затылок. И одновременно она крепко упиралась ногами в табуретку.

Давно, в детстве, она любила забираться в деревянное кресло, в котором имел право сидеть только отец, и раскачивалась усилиями всего своего маленького тела на двух его ножках. Она качалась, испытывая болезненное наслаждение при мысли о том, что может потерять равновесие и упасть вместе с креслом. Нечто подобное она ощущала сейчас. Она раскачивалась, раскачивала себя — вот-вот упадет! — и вновь обретала равновесие, но с каждым разом путь ее возвращения становился короче, и она сильнее откидывала назад голову и глубже просовывала ее между жердями. Невыносимая боль обжигает огнем. Да, огнем, к этому она и стремится в этот миг, юное тело прилагает усилия, чтобы сохранить равновесие и защитить себя, идя навстречу собственному уничтожению. Исчезнуть, чтобы исчез мир.

Пусть исчезнет мир, все, что живет и дышит, что реально и ощутимо, что связано с людьми, с огнем, войной, уничтожением или рабством. Пусть исчезнет мир! Или чтоб его вовсе не было? Да, никогда не было! Это лучше. Это значит, что не было бы ни крови, ни пожарища, ни плена, ни печали, ни прощания с теми, кого мы любим. Ничего!

Она опиралась на твердую опору затылком и ступнями ног, а между этими двумя точками дугой изгибалось ее тело, подобное телу мертвой рыбы. Приглушенно стеная от боли, она сжимала зубы и напрягала мускулы. Ей казалось, что так она сможет остановить и само свое сердце: прекратится судорога — и в конце концов остановится сердце, наступит тьма, которая никогда не рассеется, и тогда разом исчезнут и она сама, и мир.

Она продолжала упираться изо всех сил, и затылком, зажатым между двумя сучковатыми поперечинами клетки, чувствовала боль, которая усиливалась и уже переставала ощущаться. Да это ж она сама вместе с большим отцовским креслом времен ее детства перевернулась и парит теперь в неестественном положении; ступни ее ног не касаются более ни поверхности маленькой табуретки, ни мелкого булыжника, и тело ее висит вдоль деревянной жерди, а в шею впиваются доски.

И словно бы мир вдруг перевернулся; на ее ступни, оставшиеся без опоры, будто обрушилась теперь своей тяжестью земля и безжалостно втискивает ее голову глубже и глубже между двумя твердыми жердями, которые превращаются в петлю, в ущелье, и сквозь него теперь нужно пройти куда-то на другую сторону, как в миг своего появления на свет. Тупо и легко и неожиданно больно что-то хрустнуло в шейных позвонках, и одновременно с этим звуком тело заполнила волна мрака.

Но прежде чем темная обжигающая волна успела ее поглотить, в ней еще раз ожили инстинкт и страх: она вдруг подумала, что грядет спасение и она возвращается в первоначальное состояние. Подобно молнии сверкнуло новое могучее желание избавиться и защититься от этого давления, вырваться из этих тисков. Нет, только не

это! Не смерть! Пусть боль, пусть мучение, но только не смерть. Жить, только жить, любой ценой, как бы то ни было и где бы то ни было, пусть без близких, пусть рабыней. Но это длилось столько же, сколько длится вспышка молнии. Еще раз дрогнуло тело, ударилось о доски и замерло.

Уступая давлению плоти, мышцы быстро ослабевали одна за другой. Все вокруг, все мысли заливала тьма, которой невозможно было больше противостоять, поскольку и она сама становилась частью этой тьмы. Теперь помимо ее желания мир исчезает в самом деле. Безвозвратно. Полностью и навсегда.

Вялое и обмякшее тело висело теперь неподвижно.

Один из двух сторожей прошел мимо и, бросив равнодушный взгляд на клетку, увидел большое тело красивой рабыни, повисшее с зажатой между двумя перекладинами головой. Он испуганно вскрикнул, позвал товарища, у которого были ключи.

Оба одновременно ворвались в клетку. Тело девушки еще было теплым. Лицо побледнело и уже чуть изменилось. Потрясенные и растерянные, они с трудом сумели ее приподнять и освободить голову. И точно утопая, погружаясь в самое себя, мертвое согнутое тело опустилось на землю. Они выпрямили его, встав на колени, пытались вернуть девушку к жизни, но безуспешно.

Это продолжалось долго. Потом, поднявшись на ноги, сторожа остались стоять, бессильно повесив руки, один справа, другой слева от тела. Не мигая глядели они друг на друга, спрашивая взглядами, кому из них первым пойти к хозяину, посмотреть ему в глаза и сообщить весть о большом убытке, который он понес.

Две жизни

Сегодня утром море пришло под окна моего сараевского дома на склоне — далекое Средиземное море! — и разбудило меня плеском своих волн и гулом машин на старинном белом корабле каботажного плавания в Генуэзском заливе. Это был сон, но сон, который потом и бодрствующего не покидал меня и который принес с собою длительное и упрямое воспоминание о незначительном, но все еще живущем в моей памяти происшествии.

Когда-то я путешествовал с двумя приятелями по Северной Италии, и неподалеку от старинного приморского городка мы посетили одного чудака, страстного собирателя предметов старины. Еще на корабле из разговоров я узнал немало подробностей о его жизни.

Было известно, что он принадлежал к состоятельному и известному буржуазному семейству в Генуе. Все называли его профессором, хотя давно, еще будучи молодым тридцатилетним человеком, он оставил место преподавателя в высшем мореходном училище и удалился в это захолустье. Километрах в трех от побережья и запустелого городка, на отшибе стоял дом, стиснутый склонами холмов и целиком потонувший в зелени. Дорожка, которая вела к нему, была каменистой и плохо расчищенной.

Здесь жил этот человек, вступая в мимолетные контакты с горожанами и многочисленными посетителями-туристами, оригинал и отшельник. Он сам готовил себе еду, которая состояла из хлеба, молока и свежих или вареных фруктов, с помощью глухонемого садовника из соседней деревни обрабатывал свой участок и возделывал фруктовый сад. Он прикармливал голубей и других птиц и чаще всего сам убирал те пять-шесть комнат во втором этаже, которые были заполнены произведениями искусства и раритетами из Европы, Африки и Азии. Здесь хранились редкие образцы мебели, различные инструменты, конский убор, колокола и колокольчики, свирели и барабаны, блюда и низкие столики, посуда, лампы, фонари и подсвечники всех видов и форм, картины, карты, знамена и морские сигнальные флаги. Только из оружия почти ничего не было. В большинстве своем это были предметы диковинные и редкостные по своему виду, происхождению и даже по названию, подчас связанные с какой-нибудь любопытной историей. Иной музей мог бы позавидовать коллекции этого анахорета.

Кое-что из этих вещей профессор получил по наследству, но большую часть приобрел во время своих путешествий в молодые годы. Он продолжал и теперь пополнять и обновлять свое собрание, покупая или обмениваясь. Он содержал в порядке

свои экспонаты и давал о них пространные и интересные пояснения посетителям, которых оказывалось немало, особенно летом. Люди давно привыкли считать уединенный дом профессора музеем, даже общим достоянием, а его самого добровольным основателем, хранителем и экскурсоводом в этом музее. Он исполнял свои обязанности серьезно, с каким-то странным рвением. (Отдельных посетителей, которым он хотел оказать особое внимание, профессор водил к своей скромной гробнице, выложенной белым камнем и укрытой в густой зелени сада, с улыбкой объясняя, что в своем завещании распорядился похоронить себя здесь с тем, чтобы все остальное имущество перешло общине.) Его нельзя было назвать угрюмым мизантропом. Исполненный внутреннего достоинства и сдержанный, но жизнерадостный, учтивый со всеми, он и с малым ребенком разговаривал приветливо и даже застенчиво. Тем не менее трудно было сказать, что местные жители его очень любят; много находилось таких, кто и по прошествии стольких лет, после несомненных доказательств бескорыстия и человеколюбия, сторонились его, хотя и уважали в нем человека чистой души и добрых побуждений. У него была масса знакомых по всей Италии, да и за ее пределами во всем мире. Туристы, однажды побывавшие у него в музее, часто писали ему и присылали благодарственные письма или рекомендации, книги, газеты или проспекты. Он переписывался со многими антикварами, любителями и коллекционерами старины. Каждую зиму он уезжал на две-три недели, запирая свое собрание и оставляя в качестве сторожа глухонемого садовника. Во время этих отъездов он навещал своих многочисленных знакомых и коллег и осматривал музеи и библиотеки.

В ту пору, когда мы втроем, подобно многим другим туристам, посетили старинный городок на побережье и его необыкновенный музей, исполнялось тридцать лет, как шестидесятилетний профессор поселился в этом месте. Он был совершенно седой, но походка его оставалась легкой и быстрой, и он был неутомим в работе.

Осматривая вместе с остальными дом профессора, комнату за комнатой, коллекцию за коллекцией, я внимательно слушал его объяснения и исторические анекдоты, которые он рассказывал с внушающей симпатию живостью. Когда речь в них заходила о женщинах и о любви, а происходило это довольно часто, профессор останавливался несколько дольше на этой теме, как бы подчеркивая свои слова смущенной улыбкой, которая мне почему-то была неприятна. На все задаваемые ему вопросы он отвечал охотно и обстоятельно, словно ответы у него были заранее подготовлены. Я ни о чем его не спрашивал.

Он давал пояснения авторитетно и уверенно, как человек, который имеет дело с непосвященными, и его манера держать себя была полна достоинства. Лишь изредка, и то на какой-то миг, на неуловимо краткое мгновенье, его взгляд отрывался от предмета, о котором он рассказывал, и с пристальным вниманием и испугом пробегал по нашим лицам.

Когда мы снова оказались в саду и уже собрались уходить, профессор, слегка подхватив меня под руку, отвел в сторону и показал мне свою будущую могилу. Я не произнес ни слова в ответ, и он как будто смутился. Я понял это по быстрому взгляду, когда он, подняв его от могилы, обеспокоенно пытался что-то прочесть на моем лице.

Мы стали прощаться и благодарить его, но профессор вдруг решил проводить нас до корабля — прямо так, с непокрытой головой и легко одетый. Он говорил всю дорогу, пространно отвечая на наши вопросы и задавая самому себе новые, как поступает человек, желающий заполнить время словами. Они чаще всего адресовались мне, так как он то и дело оказывался рядом со мною.

Был полдень, когда мы вышли на берег, и корабль уже готовился отчалить. Мы быстро поднялись на палубу и оттуда махали профессору, продолжавшему стоять на молу. Мне опять показалось, будто он ловил глазами мой взгляд. Конечно, он махал нам обеими руками как старый знакомый и что-то кричал, но от звонков корабельного колокола, возвещавшего об отплытии, и гула старых машин разобрать ничего было нельзя. Корабль тяжело маневрировал и медленно отваливал от берега, скрипя всем корпусом и натужно дрожа. Его дрожь передалась и мне.

И тогда, возможно из-за шума, возбужденных голосов, суматохи на корабле и на берегу, из-за яркого света, сиявшего на небе поверх наших голов и отражавшегося в пенящихся волнах рядом с судном, я испытал странное чувство: будто все вокруг, вместе со мною, движется, колеблется и изменяется. Берег вдруг куда-то поплыл в противоположном от нас направлении. Море отступало, непрерывно уходило из-под

ног, а сверкающее небо беззвучно нависало над нами, подобно огромному движущемуся куполу. Мы шли на дно, и взлетали ввысь, и плыли в одно и то же время. Мы двигались в каком-то новом направлении, которое нельзя определить словами «вперед», «назад» или «вниз» и «вверх». Несколько секунд я находился вне всяких жизненных состояний, которые мы знаем, определяя их привычными словами и связывая с ними утвердившиеся представления.

Внезапно у меня внутри, как и рядом со мною, вспыхнул какой-то новый свет; в глубинных и далеких горизонтах, которые он сейчас освещал, мне открылись неведомые дали и неизведанные дотоле пути. Я не знал точно, где я нахожусь, но мне было ясно, что я могу оказаться повсюду, что я в состоянии все понять на земле и в душах людей и безошибочно связать все последствия с их причинами, всему увидеть конец и одновременно начало.

Корабль под завывание сирены, гул машин и шум моря удалялся от берега, и я мог еще в непрерывно менявшейся перспективе видеть на молу профессора, который выражением своего лица и взмахами своих рук посылал нам последний привет, и отвечать ему тем же.

В миг необыкновенного прозрения мне все стало ясно. Этот человек носит личину, он замаскирован с головы до пят и тщательно скрывает свой внутренний мир! Его странная, отшельническая жизнь и всепоглощающая страсть к диковинам и предметам старины, истории, которые он увлеченно рассказывает посетителям, его смирение, и пренебрежение ко всему остальному на земле, и могила, приготовленная в саду,— все это личины. Его жизнь протекает вместо другой, иной жизни, которую он давно отверг, еще не начав на самом деле жить.

Профессор на берегу — как мне казалось — взмахами рук и выражением лица подтверждал мою мысль.

«Вы правы! То, что вы видели, не есть моя жизнь».

«Я знаю, знаю»,— отвечал я глазами и руками, желая избавить его от тяжких объяснений и от смущения.

«Моя жизнь, жизнь, которая мне была суждена и которой я никогда не жил, совсем иная, а это лишь ее заменитель...»

И смысл его жестов я разгадывал так:

Все произошло и решилось давно, когда отпрыск известного семейства, молодой ученый с «большим будущим» должен был занять место преподавателя в мореходном училище. Всем казалось, что перед ним блестящая дорога избранника судьбы, а он сам уже тогда понял, что не сможет долго идти по этой дороге. Какие-то его собственные поступки, а еще более лишь ему одному ведомые душевные движения и склонности открыли, что в жизни не миновать окольных троп, которых он боялся пуще смерти. (Он принадлежал к числу тех редко встречающихся натур, которым уже в юности дано познать себя и увидеть дорогу, какая их ожидает.) В душе у него начался тяжкий разлад, избавиться от которого было возможно лишь двумя путями: один вел к безумию и самоубийству, другой — к уединению и отшельническому существованию. Напрягая последние силы разума и воли, он избрал второе. Он оставил семью, общество, отказался от «большого будущего». Сделал это постепенно и хладнокровно. Несколько первых лет он провел в путешествиях. Затем со своими коллекциями поселился на этом берегу, неподалеку от заброшенного приморского городка. Он очень рано приобрел репутацию бодрого старичка, любителя древностей и человека не от мира сего. Этого только ему и было нужно. И он жил здесь, приятный и полезный всем, чужой самому себе, далекий и недоступный людям. Таким вот образом, хватаясь, подобно потерпевшему кораблекрушение, за обломки чужих, давно минувших жизней, он сумел выплыть и избежать своей собственной истинной жизни, такой, какой она могла и должна была быть, и продолжал существовать, жить и работать под маской незлобивой и несколько даже таинственной личности. А жить всегда хорошо. Жить — это главное.

Он сумел рассказать мне об этом несколькими жестами и взглядами. И я отвечал ему таким же образом.

«Понимаю, понимаю,— убеждал я его,— желаю вам успеха и впредь! Понимаю и знаю! Это мука, которую многим довелось испытать в жизни. Человек рождается, и это подобно тому, как если бы его бросили в глубокое бескрайнее море. Нужно плыть. Существовать. Носить собственную личину. Выдерживать атмосферное давление вокруг себя, столкновения, непредвиденные и непредвидимые поступки свои и

чужие, которые чаще всего превосходят меру наших сил; а сверх того выдерживать и свои раздумья обо всем этом. Это не легко и не просто и очень часто выше наших сил. Как же человеку не захотеть спастись и укрыться от жизни под иной личиной? Многие пошли бы на это, если б могли и умели, и многие только оттого являются тем, что они есть, что не сумели стать никем иным и теперь не смеют или не умеют преобразиться, подобно вам».

Профессор жестами соглашался, благодарил за понимание, что-то еще уточнял. Это была дружеская беседа без слов, разговор взглядов, жестов и улыбок.

А потом корабль завершил свой разворот и направился в открытое море. Берег исчез вместе с профессором. Я даже не пытался перебежать на другой борт, чтобы в последний раз его увидеть. Мы шли спокойно, хотя не быстро, и перед нами ширилась пучина, а над нею небо с мелкими жемчужными облаками. Я был взволнован, мне хотелось поделиться с кем-нибудь своими чувствами, и я беседовал теперь с облаками, но уже об иных вещах, и прибегая к иным словам.

Солнце поднимается над Сараевом, и день уходит, а моя упрямая память никак не сдается. Я стою, опершись на перила деревянного балкона, смотрю на город, в котором возле белых минаретов еще держится какая-то нежная и пленительная дымка, и мне кажется, будто я плыву Генуэзским заливом. На белом старинном корабле, который дрожит, осуществляя маневр, вздрагиваю и я сам, покидая каменистый берег, и вижу, как мне дружески машет старый профессор. Ветер играет его седыми, но по-прежнему густыми волосами. Как тогда, столько лет назад. И я спрашиваю себя, жив ли он (если да, то, должно быть, очень стар!) или уже освободился от жизни — и той «настоящей» в своем скромном музее возле моря, и той иной, которая должна была принадлежать ему, но которой он счастливо избежал?

Зуя

Когда человек всю свою жизнь остается с прозвищем, которое приобрел в детстве и сохраняет его весь свой век, это уже само по себе достаточно говорит о нем и о его положении среди людей. Эту пожилую женщину, которая покуда живет в моей перенаселенной памяти, сгорбленную и всегда повязанную серым платком, зовут Зуя. Зуя, всего лишь Зуя. Она принадлежит многочисленному зажиточному семейству Алексичей. Их дома, большая лесопильня, сукновальня и многие подсобные постройки расположены в получасе ходьбы от городка, в ущелье, над стремительной горной рекой, разведенной в запруды. Тут целый небольшой поселок, который называют запрудами Алексича.

Эта женщина — с широким добродушным лицом, небольшим приплюснутым носиком и светлыми неяркими глазами, которые всегда смотрели несколько удивленно или испуганно, но словно бы в шутку, невсерьез,— была здесь и добровольной рабыней, и пожизненной служанкой, и самым дорогим членом семейства. Морщинистая, но румяная, махонькая и худая, но сильная и ловкая, Зуя делала все дела по дому и жила только этими делами, однако больше всего занималась детьми. У нее на руках выросло два поколения хозяйских потомков. Когда рождался ребенок, мальчик или девочка, она принимала его, пестовала, выхаживала, опекала до самой женитьбы или выхода замуж, если только ребенок прежде не умирал. Семья была большая и сложная, были в ней снохи и зятья, и не случалось такого, чтобы Зуе не хватало работы, но она никогда не уставала принимать в свои худые и всегда красные руки новорожденных младенцев, точно это были пресные лепешки.

Для дочерей и сыновей Алексича, а затем его внуков и правнуков, когда они появлялись на свет, Зуя всегда была рядом, близкая, понятная и необходимая, как родная мать, а иногда и более дорогая и любимая, чем та. Все это знали, и все к этому привыкли. С Зуей открывали мир, с нею играли и хворали, плакали и пели. Зую жевали с куском хлеба, ели, как мед и каймак; с нею встречали времена года и праздники, весело собирали ранние черешни, рассекали арбузы, радовались первому снегу; с нею садились на горшок, глотали горькие лекарства, теряли первые зубы; ей признавались в маленьких грехах и шалостях, первых горестях или радостях.

Давно позабылось, когда и как попала она к Алексичам, и никто не спрашивает, кем она им приходится и кем они ей. Зуя. Она всегда под рукой, никому не в тягость,

а всем полезна. В этом селении она всюду, где есть Алексичи и их племя со всеми своими нуждами.

Алексичи — это три дома, выстроенные в течение полувека, связанные между собой и прижавшиеся друг к другу, точно они столкнулись в этом ущелье. Перестраиваемые и достраиваемые, они со временем перекрыли и подчинили воду и запруды под собою. А Зуя обслуживает эти три дома, и всем кажется, будто она — добрый дух, ежеминутно присутствующий в каждом из этих домов и готовый услужить любому. В этом для нее — вся жизнь и весь мир. Она умеет говорить только о семействе Алексичей, об их детях и о том, что связано с ними. Она уже в годах, но никому и никогда не доводилось слышать, чтобы она говорила о себе или что-либо для себя требовала. Она была глухой и немой для пустой болтовни и женских пересудов, но стоило ей остаться одной и заняться какой-нибудь работой, как она начинала что-то шептать, бормотать и напевать для себя, и это не было ни речью, ни пением; из ее беззубого шамканья возникала какая-то однообразная мелодия, напоминавшая верещанье сверчка в стенке возле очага. Ребятишек и пугало и влекло чудно́е Зуино пение, и мы часто, преодолевая страх и подавляя смех, подкрадывались послушать, как Зуя «поет» или сама себе что-то рассказывает.

Такой ее знают и помнят не только все домочадцы, но и мы, ученики, приезжавшие из города поиграть со своими приятелями, внуками Алексича, и хотя бы посмотреть на его красивых внучек, наших сверстниц.

Более пятидесяти лет провела Зуя в тенистом ущелье над водою, молчаливо и преданно служа Алексичам. Она похоронила своих первых хозяев, Манойла и его жену, и продолжала службу при доме. Здесь же, спустя много лет, пестуя их внуков, она встретила смерть. Однажды ночью легла спать у себя в каморке, и на другое утро ее не увидели за работой. Она ушла украдкой из жизни и из семейного круга, незаметно и беззвучно, как и вошла в него. Алексичи даже не сумели толком осознать ее смерть, настолько трудно было представить себе дальнейшее существование без Зуи.

В таких крепких и богатых семействах о самых близких и самых дорогих покойниках не говорят, особенно с людьми, не принадлежащими к узкому семейному кругу. Их будто оплакивают сразу, тяжко и горько, раз и навсегда. Их не забывают — никогда,— но, словно забальзамировав, хранят в глубинах своего молчаливо согласованного, нерушимого безмолвия. Такая же честь была оказана и Зуе.

Правда, после смерти Зуи, да уже и в последние годы ее жизни, наступили перемены в судьбах семейства Алексичей. Их обогащение не было уже столь стремительным, а семейство не разрасталось столь быстро. Это небольшое племя, сперва состоятельное, а затем богатое, именно поэтому начало распадаться. Юноши, да и девушки, разъезжались по свету, и редко кто из них возвращался домой на запруды Алексича, и все меньше находилось тех, кто оставался здесь жить, работать и копить, как делали их предки. Потом пришли войны, малые и большие, и с ними расправы, которые в этих краях были самыми кровавыми и самыми жестокими. И народа стало поменьше, и многие разъехались. Так что сейчас Алексичи встречаются по всей Боснии, в Югославии, в разных концах мира, но в самом городке никого из них больше нет. А после последней войны не осталось ни их больших домов, ни сооружений над водою. Сейчас это груда обгорелых развалин между прорванными запрудами, которые постепенно превращаются в болота. Все, что когда-то принадлежало Алексичам и носило их имя, существует лишь в угасающей памяти какого-нибудь старика в городке. И вместе с Алексичами Зуя, их прислуга.

Сегодня после полудня она неожиданно и безо всякого повода появилась у меня во дворе, живая и неизменившаяся, такая, какой я помню ее в моем детстве. Увидав ее у калитки с большим узлом, я вспомнил о тех старухах, которые во времена оны, отправившись к кому-нибудь в гости, приезжали не менее чем на один-два дня. И в дом она вошла так просто и спокойно, точно заранее решила остаться здесь и на ужин, и на ночлег.

Мы долго сидели и разговаривали об Алексичах. Она помнила все их жизненные судьбы до малейших подробностей. Начиная от старого Манойла Алексича, «Отца», человека незаурядного, сумевшего выделиться из серой массы здешних жителей и ставшего корявым молчаливым корнем, от которого пошли Алексичи и все им принадлежащее, и до правнуков, которые разбрелись по белу свету и бесследно исчезли. Несколько раз я пытался навести Зую на разговор о ней самой, о ее личной жизни и происхождении, но безуспешно. Она могла говорить только об Алексичах и об их ок-

ружении, к которому причисляла всех, находившихся в какой-либо связи с ними, их родственников и друзей, компаньонов и крестьян, соперников и врагов — весь ей известный мир.

В комнате стемнело, а Зуя не переставала рассказывать. Я устал задавать вопросы, увидев, что она в самом деле не умеет или не хочет ничего о себе сказать. Так мы некоторое время и сидели молча. А потом, в сумраке и тишине, сперва словно издалека и неопределенно, а затем отчетливее и яснее послышалось знакомое мне шамканье и протяжное бормотанье, над которым когда-то, в детстве, мы подсмеивались как над забавной бабы Зуиной привычкой и невинной слабостью. Тьма быстро сгущалась, а я, напрягая слух, ловил однообразную, повторяющуюся мелодию, которую Зуя тянула подобно сверчку в теплой стене. И то, что некогда выглядело механическим движением старческих губ, теперь, казалось мне, все более приближается к людской речи, обретает смысл и рассказывает мне о чем-то неведомом и новом. И я слушал затаив дыхание, забывая о себе, и о времени, и о месте, где я нахожусь.

Передо мной текла трудно различимая, но живая повесть о том, как Зуя попала к Алексичам, удержалась у них и стала тем, что она есть.

Это было давно, когда Сербия вступила в войну с турками и когда взволновалась проходившая здесь, над городком, граница. Почти на самом рубеже стоял дом отца Зуи. Мать, светловолосую, высокую и худую женщину, она помнила плохо, но об отце вспоминает много. Смуглый, невысокий и коренастый человек с глухим голосом, волчьей повадки. Жена его умерла рано, и он остался один с двумя маленькими ребятишками. Подвернулась престарелая родственница, вдова, которая следила за домом и поднимала детей, но перед самой войной она тоже умерла от какой-то напасти. Он вновь остался один с пятнадцатилетним сыном и четырнадцатилетней дочерью, которую ласково звал Зуей, жужжалкой. Война и бунты, видимо, влекли его неодолимо. И он решил взять сына с собой, а дочь пристроить в какое-нибудь хорошее и надежное семейство.

Манойло Алексич, которого звали «Отец», тогда только начинал свой путь к обогащению, мужчина в лучшую пору жизни, и жил он с хворой женой и тремя младенцами-детьми. Первый из его домов над горной рекою только что был построен. Сюда отец Зуи привел свою дочку, вручил ее хозяину Манойлу и просил его господом богом и святым Иоанном принять ее на службу, поить, кормить, защищать и оберегать, потому что помимо него оставить дитя не на кого. Затем, не прощаясь, он в ту же ночь ушел по крутой дороге на обожженной красной земле и исчез в темном лесу, покрывавшем вершины гор.

Детишки Алексича ласково звали ее Жуей. Девочка была светловолосая, худенькая, но крепкая. Ее короткие тонкие волосы, словно не ведая прикосновения гребня, торчали в разные стороны. С трудом удалось заставить ее расстаться с ветхой деревенской юбкой и безрукавкой и надеть старое, городского покроя, платье хозяйки, которое и переделывать не понадобилось, поскольку жена Манойла была худой и маленькой. Зуя помогала по хозяйству, но делала все молча и хмуро, избегая встреч и разговоров и опуская глаза долу перед каждым.

Улучив минуту, когда у нее не оказывалось дела и за ней никто не следил, она уходила по склону за дом и исчезала в высоких навалах еловых веток. В этом месте от горной реки отходил выложенный камнем рукав, на котором была большая запруда, а чуть подальше, пониже, он поворачивал к лесопильне в долине. В этом месте падала вниз плотная стена воды, а над нею был перекинут короткий покосившийся мост, упиравшийся в ту крутую и всегда сухую дорогу, что вела в горы. Здесь, недоступная любопытному взору, перегнувшись через деревянные перила моста, девочка любила смотреть на широкий пруд под собою и неглубокую воду в нем, которая, попадая в плен, пенилась и с шумом низвергалась вниз. Здесь она могла оставаться часами. И это было единственным, что вызывало недовольство Алексичей. Ее предупреждали, чтобы она не выходила, не удалялась от дома и не блуждала по горам, потому что времена стоят беспокойные и женскому существу более чем когда-либо надо сидеть дома. Она молча и как будто послушно покорялась, но при первом же удобном случае вновь исчезала, чтобы, облокотившись на перила деревянного моста, смотреть в темную воду большого пруда, которая, разделяясь на мелкие струйки, с шумом падала вниз, напоминая туго натянутое полотно на станке. Девушка следила за беспокойными пятнами и игрой света и тени на этом полотне и не могла вдосталь наглядеться.

Не открывая рта, она выводила какую-то мелодию, которая не была ни песней, ни разумной человеческой речью и которая сливалась с шумом падающей воды.

Когда выяснилось, что предостережения и брань не помогают, пригрозили ее отлупить, если еще раз поймают так далеко от дома. Но она продолжала уходить. Однажды она пришла сюда перед самыми сумерками и, перегнувшись через перила, застыла, очарованная шумом воды и быстрой игрой теней, мелькавших на воде. Вода завораживала ее, и она не замечала, как наступал вечер. Солнце заходило, создавая оранжевый пояс света за густой сеткой черных сосен на вершине горы. Зуя чувствовала, что нужно поскорее уйти отсюда, поскорее вернуться домой, и твердила это себе, повторяла вполголоса, но у нее не хватало сил оторваться от гладких теплых перил, которые ласково давили ей на грудь, не хватало сил расстаться с этим мгновеньем и этим местом, принести в жертву свое единственное и огромное желание: увидеть, что будет дальше, что за этим придет.

И это пришло. Пришло по крутой дороге на опаленной красной земле, которая вела сверху из леса прямо к мосту.

Зуя смотрела на воду, на небо, на последние пятна света на нем. Слева, в самом углу ее поля зрения, вдруг возникла небольшая тень, точно мушка в полете, которую скорее чувствуешь, нежели видишь. Тень приближалась и быстро превращалась в неясную фигуру крупного мужчины в широком плаще, который спускался по склону. На какое-то время он исчез, скрывшись за поворотом, но девушка чувствовала, как, невидимый, он подходит все ближе и ближе и эта красноватая дорога, которая становится все темнее, сама собою приведет его на мост. Тогда ему придется пройти у нее за спиной, а мост настолько узок, что неведомый путник непременно зацепит ее своим плащом какого-то особенного покроя и неопределенного цвета. Она заранее предчувствовала это прикосновение и боялась его. Она успела бы покинуть мост и уйти, но не двигалась с места. Она успела бы повернуться, чтобы, по крайней мере, оказаться лицом к нему, когда он пройдет мимо. Однако она оставалась неподвижной: перегнувшись через перила, глядела в почерневшую воду, которая с шумом наполняла запруду и уходила дальше.

Так она стояла и ожидала то, что спускалось сверху, с горы, черное, тяжелое и неизбежное. Спускалось медленно и неопределенно, словно бы и да и нет, и будет и не будет.

«Да, и будет!» И когда она сказала это себе, вокруг сразу стало темнее и холоднее. Позади нее стоял путник с горы и закрывал ее своим телом и своим большим плащом, сохранившим стужу горных склонов. Он стоял молча, почти не шевелясь, однако она чувствовала, что он придвигается к ней, что, подобно тьме и влаге, он охватывает ее целиком и все сильнее прижимает к перилам моста. Согнутая, обращенная лицом к воде, она не могла видеть его лица, но чувствовала его уже повсюду вокруг себя. Еще мелькала мысль, что надо бы раньше бежать отсюда и надо бы хоть сейчас сопротивляться, но было уже поздно. Его подбородок уперся ей в затылок, а его твердые и холодные руки скользили по ее бедрам. Обнаженной коже было холодно от свежести воды, от страха, от стыда и своей наготы. Она хотела бы прикрыть ее, но не могла. Ей не хватало дыхания, а давление становилось сильнее, оно превращалось в острую боль. Две его руки, что теперь бесконечно выросли, сгибают ее в поясе и в то же время ломают вдоль позвоночника; они разделяют ее на четыре части, как ломают хлеб, вдоль и поперек. Что он делает с ней и чего он от нее хочет? Она спрашивает себя с бессильной ненавистью и глотает слезы, горькие и обильные. Неведомая жуткая сила хочет переломить ее, разделить на части, разорвать на куски. Это наверняка и случится, если он будет продолжать сгибать ее и на нее давить. Так, должно быть, убивают людей. Кто может такое выдержать? Как и чем могла она защититься? Если б она хоть могла немного оторваться от перил, ускользнуть от невидимого человека и ударом или хотя бы криком заставить его отступить, но она не может ничего сделать. Эта боль и эта тяжесть в ней и на ней. Этому невозможно сопротивляться и это невозможно выдержать. Это конец. Она чувствует, как затухает ее сознание и как она погружается во тьму.

Наступала ночь, когда встревоженные домашние кликнули парней с лесопилки и послали их с фонарями на розыски Зуи. Те звали ее, рыскали в закутках, полных тьмы, пока один из них, вступив на мост, не увидел лежавшую без сознания девушку и хрипло не позвал остальных.

Она лежала у перил моста, скрюченная, обмякшая и уменьшившаяся, точно куча изношенного женского белья. Они подняли ее и на циновке снесли вниз, к дому.

Несколько дней она не приходила в себя. Над ней уже зажигали свечу. Однако она осталась жива. Позвали попа Йоцу прочитать над ней отходную. Но исцелила ее, скорее всего своими травами, одна старушка из Добруна. Зуя лежала пять недель. А потом вдруг встала, оделась и без всяких вопросов и объяснений принялась снова по дому, делать то, что до конца дней своих она будет здесь делать.

Долго я слушал безмолвную речь Зуи. Она рассказывала о годах своего служения, а это значит опять говорила только об Алексичах и об их семейной жизни, о том, как они появлялись на свет, вырастали, женились и сами рожали детей, болели и умирали. Она помнила все до мелочей, и все для нее было одинаково значительно и важно, и она хотела, чтоб я тоже узнал все о каждом из них.

Монотонный рассказ ее стал меня утомлять и усыплять, но я не находил в себе мужества ее прервать. Временами я терял нить этого долгого повествования об Алексичах; имена их родственников и компаньонов путались у меня с их собственными именами. Веки моих глаз смыкались сами собою, и дремота сильнее одолевала меня. Наконец, я сдался и погрузился в молочное облако безмятежного сна.

Что-то стукнуло и разбудило меня. Я вздрогнул, чувствуя за собой какую-то вину, и поднял голову с правой ладони, которая совсем затекла.

В комнате было темно и абсолютно тихо. Растерянный, почти испуганный, я едва нашел выключатель, а когда вспыхнул свет, увидел, что в комнате никого, кроме меня, нет. Ни Зуи, ни ее узла.

С тех пор как я живу в этом доме, я привык к гостям, которые появляются внезапно, странно ведут себя, а потом вновь, подобно привидениям, исчезают, но эта женщина и своим приходом, и еще более своим исчезновением настолько смутила меня, что я долго оставался стоять неподвижно посреди комнаты, дрожа от яркого света. И мне понадобилось немало времени, чтобы прийти в себя и увидеть путь возврата в мой реальный вечер к моим вечерним привычкам и занятиям.

■

РОМАНЕНКО АЛЕКСАНДР ДАНИЛОВИЧ (род. в 1932 г.).

Советский литературовед, переводчик-славист. В журнале «Иностранная литература» печатается с 1956 года.

Критика

Н. ЛИТВИНЕЦ

АВГУСТ КЮН, ПИСАТЕЛЬ РАБОЧЕГО МЮНХЕНА

Еще два с половиной десятилетия назад исследователь, занимающийся литературой Федеративной Республики Германии, затруднился бы назвать даже несколько писательских имен, ассоциирующихся с произведениями о рабочем классе. О литературе же, открыто связанной с коммунистическим движением, с борьбой пролетариата за свои права, говорить и вовсе не приходилось — то были, если вспомнить название известного романа Кристиана Гайслера, «холодные времена» аденауэровского политического курса, памятные запретом коммунистической партии, открытым наступлением на демократию, возрождением реваншизма и милитаризма.

Положение резко изменилось с возникновением «Группы-61», поставившей себе задачей «литературно-художественное отображение мира современного индустриального труда и его социальных проблем».

К этому времени уже доказали свое полное несоответствие реальной жизни распространявшиеся официальной пропагандой ФРГ мифы о «государстве всеобщего благоденствия», об обществе «классовой гармонии». Такие писатели, как Макс фон дер Грюн, Бруно Глуховский, Гюнтер Вальраф, Кристиан Гайслер, рассказывали в своих книгах об истинном положении дел в стране, показывали подлинное положение западногерманского рабочего в производстве, его реальные политические и социальные возможности, чаще же — реальное отсутствие таковых. Со временем тенденция эта в литературе Федеративной Республики все больше укреплялась, набирая силу.

Одним из наиболее ярких политических событий рубежа 60—70-х годов в ФРГ стало образование Германской коммунистической партии. Работа в области культуры сразу заняла в ее деятельности важное и существенное место.

Журнал «Марксистише блеттер» так определял цели культурной политики партии: «Речь прежде всего идет о культуре демократической и прогрессивной, о культуре, направленной против монополий, немыслимой вне творческих усилий рабочего класса. Для этого нам необходим широкий союз с гуманистически настроенной интеллигенцией...»

В 1973 году на Гамбургском съезде ГКП ее председатель Герберт Мис отметил, что в литературе ФРГ сформировалось «демократическое, социалистическое течение». Партии удалось объединить вокруг себя

ЛИТВИНЕЦ НИНА СЕРГЕЕВНА.

Советский критик, литературовед, кандидат филологических наук. Автор ряда статей по проблемам литератур стран немецкого языка. Публикуемая статья легла в основу предисловия к роману А. Кюна «Пора подниматься», выпускаемому в издательстве «Прогресс».

целый ряд писателей, как известных, так и только начинавших свой путь в литературе. В этом нашли продолжение традиции социалистической литературы 20—30-х годов, которые долгие годы были искусственно прерваны.

Среди писателей, соотносящих творчество с борьбой рабочего класса за свои права, близких к ГКП или прямо участвующих в партийной работе, можно назвать такие имена, как Франц Йозеф Дегенхардт, Дитер Зюверкрюп, Клаус Конецкий, Петер Майвальд, Уве Тимм, Герд Фукс, Гюнтер Хербургер, Петер Шютт. Входит в их число и писатель Август Кюн.

Август Кюн пришел в литературу зрелым человеком. Его первая книга — «Вестэндская история. Автобиографические записки из жизни мюнхенского рабочего квартала» — вышла в 1972 году, когда автору исполнилось тридцать шесть лет. Уже в этом незамысловатом и по-своему непритязательном произведении обнажился тот широкий пласт жизненного и социального опыта, который Август Кюн принес в литературу.

Действие книги разыгрывается в одном из рабочих кварталов Мюнхена, на так называемой Швантальской горке, районе, в официальных бумагах именуемом Вестэндом. Здесь в конце прошлого века возникли первые рабочие жилтоварищества, и с тех пор «красные дома» Швантальской горки стали символом солидарности людей труда, их взаимопомощи и стойкости в невзгодах. Сюда, следуя модному лозунгу студенческого движения «ближе к рабочим», приходит один из юных длинноволосых проповедников, чтобы громогласно «разбудить» тех, кто наивно поверил в разговоры о «социальном партнерстве», «классовой гармонии» и заглотнул приманку «общества потребления». Ему и рассказывает герой, от лица которого ведется повествование, подлинные истории своих друзей, внося реалистические коррективы в нетерпеливое, поверхностное и оторванное от жизни мироощущение юноши. Борьба против намерения городских властей снести имеющие историческую ценность дома на Швантальской горке под предлогом «выравнивания структуры квартала» становится реальным серьезным делом, в котором рабочие и студенты выступают вместе.

В этой книге наметилось немало важных тем последующего творчества писателя. Многие герои под иными именами и в обрамлении новых сюжетных подробностей перейдут впоследствии в другие произведения Августа Кюна, судьбы их будут то пересекаться, то развиваться параллельно, со временем они окажутся связанными между собой узами родства и дружбы, займут свое место в сознании окружающих их людей и в сознании нового поколения, которое придет им на смену, словом, сложится тот особый, наполненный трудами и невзгодами, каждодневной борьбой за хлеб насущный и постоянным страхом за завтрашний день, неунывающий, стойкий, исполненный юмора писательский макромир, который — при всей широте амплитуды географических перемещений его героев — имеет свои корни и истоки в Баварии, в рабочих кварталах Мюнхена.

Август Кюн пишет о том, что сам хорошо знает. Уроженец Мюнхена, коренной баварец, здесь проходил он «свои университеты». Реальное училище, работа на заводе оптики, первые журналистские пробы, чиновничья служба — таков путь, постепенно подводивший его к писательству. Журналистский опыт во многом лег в основу первого романа Августа Кюна — «Порция мороженого» (1974).

Скромный подзаголовок «производственный роман» сразу намечал направление, по которому должно развиваться повествование. Действительно, писатель как будто сознательно ограничивал себя проблемами сугубо локальными, весьма остро вставшими перед рабочими небольшой транспортно-торговой фирмы. Герой романа, Михаэль Эбнер, неплохо оплачиваемый клерк, не может мириться со всеми теми махинациями, интригами и злоупотреблениями, свидетелем которых он становится благодаря своей управленческой должности. Он из числа тех «белых воротничков», которые объективно, в силу происхождения и своего социального положения, оказываются ближе к рабочему классу, нежели к привилегированной прослойке менеджеров. Вот почему со всем энтузиазмом включается он в борьбу за создание производственного совета, за профсоюз, отстаивающий интересы рабочих. Немало препон уготовано герою на этом пути — здесь и попытки прямого подкупа со стороны владельцев предприятия, и многочисленные бюрократические рогатки, и мелкие подачки рабочим в виде коллективных выездов на природу или рождественского праздника, устроенного за счет фирмы, здесь, наконец, и откровенный шантаж, и в конечном итоге — увольнение, повлекшее за собой долгие поиски работы, жизнь на случайные, сезонные заработки. Ведь отныне Эбнер занесен в своего рода «черные списки», и рассчитывать на благосклонность работодателей ему не приходится.

Молодой человек оказывается на грани самоубийства. И вот тут, к сожалению, начинает проявляться отсутствие писательского опыта у Августа Кюна: в интриге проступают черты сконструированности, заданности, и разрешается она как-то бегло, мимоходом, по-журналистски. Случайно, в поздний час, на получившем в городе печальную известность «мосту самоубийц», где намеревается покончить счеты с жизнью Михаэль Эбнер, оказываются еще двое — журналист, ведущий один из разделов в местной газете, и крупный руководитель международного пищевого концерна «Нефта», прибравшего в свое время к рукам ту фирму, где работал Эбнер. Этим двум так кстати появившимся «богам из машины» удается удержать Эбнера от его намерения. Им он и рассказывает, ни о чем не догадываясь, свою историю. На следующий день Эбнер погибает в автомобильной катастрофе. Журналист, от лица которого ведется повествование в романе, подозревает, что это вовсе не простой несчастный случай, но доказать ничего не может, все концы тщательно упрятаны. Кроме того, руководство газеты предлагает ему незамед-

лительно выехать в командировку в другую страну. На этом сюжетная нить обрывается, довольно искусственно, и автор чисто механически, а главное, впопыхах, пытается свести разные линии повествования воедино.

Книга «Порция мороженого» прошла почти незамеченной критикой. Ее художественная слабость в какой-то мере принижала важную тему произведения, сводя все к скучно рассказанному — роман страдал явными длиннотами,— сугубо производственному сюжету, имеющему значение разве что «частного случая». Мало кто мог предположить тогда, что уже через год в том же издательстве «Фишер» увидит свет новое произведение Августа Кюна — роман «Пора подниматься», который выдержит несколько изданий и принесет писателю широкую известность, а критики будут называть его в числе безусловно заслуживающих внимания писательских удач последнего времени.

Роман Кюна имеет подзаголовок «семейная хроника». Жанр этот в немецкой литературе издавна распространен и весьма популярен у читателя — достаточно вспомнить «Будденброков» Томаса Манна. С легкой руки одного из рецензентов книгу Кюна с ходу так и окрестили — «рабочие Будденброки». Сам писатель, однако, возражал против такого сравнения. В интервью, опубликованном в журнале «Нойе дойче литературе» (ГДР), он говорил о принципиальной разнице между двумя произведениями: «Будденброки» — это история упадка семьи, принадлежащей к покидающему историческую арену классу, «Пора подниматься» рассказывает о представителях класса исторически прогрессивного, класса, который только еще набирает силу. И действительно, если говорить о литературной традиции, то роман Кюна восходит к «Будденброкам» лишь опосредованно, гораздо ближе по духу стоит он к социалистической традиции семейно-социального романа, к трилогии «Родные и знакомые» Вилли Бределя и к «Кумиакам» Ганса Мархвицы.

Итак, «первое в западногерманской литературе произведение о жизни нескольких поколений немецкой рабочей семьи»[1]. Для фона столь широкого исторического полотна Мюнхен подходит как нельзя лучше. Так уж сложилось исторически, что благодатные земли баварского королевства, расположенные вдоль живописных берегов Изара, весьма часто оказывались на перекрестке тех путей, по которым свершалось движение немецкой истории. Вот почему все то, что происходит с героями Августа Кюна,— процессы весьма типичные, характерные для того или иного этапа рабочего движения в Германии.

В 1872 году двадцатидвухлетний Август Кюн, приемный сын баварского крестьянина-издольщика, успевший уже приобщиться и к тяжелому сельскому труду и побывать на франко-прусской войне, получить там ранение и отлежать положенный срок в лазарете, приезжает в Мюнхен и находит место на товарной станции, пополнив собой ряды городского пролетариата. Германия нуждалась тогда в рабочей силе. Вовсю дымились фабрики, основывались новые предприятия и акционерные общества: полученная от Франции пятимиллиардная контрибуция (та самая, о которой наивный Август спросил у своего собеседника в лазарете: «Сколько же достанется каждому из нас, каждому солдату?») ввела страну в золотую пору «грюндерства», создав иллюзию стремительного и гармоничного развития.

Свои первые городские месяцы Август Кюн вполне доволен новой жизнью. Жалованья, правда, хватает только на каморку, кое-какую одежонку да разве что кружку пива в обед, но и этого Августу достаточно. Взгляд неискушенного деревенского парня поначалу вбирает в себя только внешние красоты мюнхенского городского пейзажа: резиденция короля, огромная статуя «Бавария», Фрауэнкирхе — все то, что обычно с ходу производит впечатление на приезжих. Постепенно, однако, он начинает задумываться: «Что за жизнь он вел с тех пор, как уехал от папаши Трошеля. Пил, ел, спал, тяжело работал от зари до зари, и только один день в неделю принадлежал ему. Но ведь не всем так трудно жилось. Кюн видел и праздношатающихся. Среди белого дня они сидели в открытых кафе. А на фешенебельных улицах в районе собора и королевского дворца разгуливали красиво одетые дамы и господа, многие ездили в каретах за город подышать свежим воздухом. Конечно, он не хотел заноситься слишком высоко, но если столько людей явно ничего не делали, то и с него не следовало сдирать семь шкур... как-то надо было уравновесить судьбы богатых и бедных».

Кюн внимательно начинает прислушиваться к разговорам товарищей, посещает рабочую читальню. Характер его крепнет, он делается все более закаленным, учится бороться с невзгодами. Наука эта оказывается весьма кстати: невзгоды не замедлили возникнуть на горизонте Августа Кюна. За чтение социал-демократической газеты его увольняют с железной дороги. Наступает тяжелый период безработицы и случайных заработков, а тут еще нежная дружба с девушкой Каролиной, служанкой из богатого дома Глазлей, приводит в итоге к появлению на свет первенца Кюнов — Августа, названного так не только в честь отца, но еще и в честь Августа Бебеля. Ширятся преследования социал-демократов, одна за другой подпадают под запрет их газеты, то и дело выходящие под новым названием, и, наконец, в 1878 году рейхстаг принимает исключительный закон против социалистов. «Зима будет лютой»,— таким представляется будущее старому социал-демократу Кёлеру, которого жизнь успела в свое время научить изворотливости.

Как бы то ни было, в эту «лютую зиму» Август Кюн вступает уже членом социал-демократической партии, твердо усвоившим многие важные истины классовой борьбы. И на вопрос Каролины, что значит слово «солидарность», он не задумываясь отве-

---

[1] В. Стеженский, Л. Черная. Литературная борьба в ФРГ. М., «Советский писатель», 1978, стр. 389.

Н. ЛИТВИНЕЦ

АВГУСТ КЮН, ПИСАТЕЛЬ РАБОЧЕГО МЮНХЕНА

чает: «Это значит, что люди стоят друг за друга...»

Свою рабочую правду Кюн постигает на практике и во время активной предвыборной кампании, и видя аресты товарищей, и помогая выброшенному с работы другу Леттенбауэру. Опыт свой он старается по возможности передать детям, в первую очередь сыновьям — Августу, Мартину, Фридриху, внукам. Их судьбы, их участие в пролетарской борьбе оказываются теперь в центре повествования и ведут сюжет дальше.

На долю им выпало еще более сложное время, чем старшему поколению: первая мировая война, окопы и жестокие бои для одних, работа до изнурения в тылу — для других, голодные дети, отчаявшиеся жены, стремящиеся использовать любую возможность, чтобы заработать свои гроши и раздобыть скудные продукты, резкое возрастание антивоенных настроений, накал стачечной борьбы, свежий ветер, повеявший из России, и, наконец, Ноябрьская революция 1918 года, а потом недолгие, но героические дни Баварской Советской республики. К этой теме Август Кюн обращался и прежде — в пьесе «Баварское восстание» (1973).

По-своему находят собственное место в пролетарской борьбе в Германии 1918—1919 годов и дети старого социал-демократа Августа Кюна, основоположника рабочей династии Кюнов. Сам он по мере развития романа, передав эстафету повествования молодым, все больше отступает на второй план, а затем уходит из действия вообще, оставив по себе лишь добрую память в сердцах сыновей, которые и сами теперь уже стали отцами многочисленных семейств. Нерешительно, на ощупь ищут верный путь братья Август и Мартин. В то время как провозглашается Баварская Советская республика, они предпочитают подольше находиться в укрытии, а затем тут же, полагая, что главное уже сделано, спешат домой, к семьям. И только спустя несколько дней, наблюдая развитие событий, всей душой одобряя первые шаги молодой и неопытной народной власти, негодуя по поводу саботажа и открытого вредительства имущих классов, понимают, что дело своего класса необходимо защищать с оружием в руках. Логика борьбы приводит их на баррикады, где они сражаются с частями генерала Носке, получившего прозвище «кровавой собаки» за расправу над революционными рабочими. Старшему, Августу, полученное ранение стоит жизни.

И снова тяжелые времена — преследования защищавших свою республику рабочих, послевоенная инфляция, внешний, показной демократизм Веймарской республики, на деле никак не улучшившей положения тех, кто трудом зарабатывает на хлеб. А в мюнхенских пивных уже начинают собираться молодчики в коричневой форме, и Гитлер произносит свои громогласные речи — «яростно, просто, по-солдатски, как кайзер Вильгельм и Гинденбург, вместе взятые».

С этого момента ритм кюновского повествования явно и ощутимо меняется: уходит прежняя неторопливая обстоятельность, действие разворачивается все стремительнее. Роман становится похож на огромную мозаику, в него вплетаются новые сюжетные линии, возникают новые действующие лица, еще одно, уже совсем молодое поколение большой семьи Кюнов, которому как раз и уготовано стать пушечным мясом в исподволь подготавливаемой Гитлером войне. Читателю порой нелегко разобраться в сложной структуре романа, в разноликой массе действующих лиц, прослеживая их многочисленные родственные и социальные связи. Случается, что кто-то из второстепенных персонажей ускользает от его внимания, а потом оказывается, что ему-то как раз и достанется в дальнейшем наиболее существенная роль. Впрочем, Август Кюн отнюдь не стремится превратить свой роман в особого рода ребус, чтобы, как принято теперь говорить, «активизировать читательское восприятие». Важнее для писателя другое — верная политическая ориентация читающего. И здесь акценты расставлены четко и есть решающий водораздел, который проходит между действующими лицами романа, разделяя их на два лагеря, рассекая порой даже семьи, отдаляя мужа от жены или брата от брата. Этот водораздел — отношение к фашизму.

Еще никто не принимает наглых «коричневых» молодчиков всерьез — но уже разгромлены клубы, где собирались прежде коммунисты и левые социал-демократы; для тех из них, кто не захотел перестроиться и приколоть на грудь значок национал-социалистской партии, уже уготовано место в Дахау, пока еще скромном, никому не известном поселке неподалеку от Мюнхена; подростки, дети коммунистов, еще устраивают обычные кулачные потасовки с «гитлерюгендом»; борьба за «чистоту расы» проявляется пока довольно закамуфлированно, и служащий в авиации Артур Цвинг все еще отказывается «подправить» свое не столь уж безукоризненное родословное древо в целях дальнейшего продвижения по службе — а на горизонте уже виднеется зарево второй мировой войны и концлагерных печей, и все, что бы ни происходило в это время с героями Кюна, будет иметь для них потом весомые последствия.

Война раскидала членов многочисленного семейного клана. Между когда-то близкими родственниками возникла серьезная трещина, люди стали больше отчуждены друг от друга, больше сосредоточены на собственных горестях, заботах и потерях. Да и послевоенная борьба за выживание с вечной нехваткой продуктов, вынужденными махинациями на «черном рынке», попытками приспособиться к нравам наводнивших город «янки» не очень-то способствовала сплочению некогда стоявших друг за дружку семей. Представители нового, четвертого по счету, поколения Кюнов уже почти не знают друг друга. На первый план повествования выдвигается теперь фигура Райнера Цвинга, сына Артура Цвинга и Минны Кюн, покинувших в свое время нацистскую Германию и лишь после войны вернувшихся в родной город. Райнер Цвинг — в этом образе, безусловно, немало автобиографических черт — принял твердое решение «никогда больше не спускать несправедливости, никогда!». Для него уроки

войны и фашизма не прошли даром. Участие в группе «Свободной немецкой молодежи» логично приводит Райнера к коммунистам...

«Пора подниматься!» — таким возгласом жена Марианна будит каждое утро Хайнца Цвинга, служащего одной солидной фирмы. Эти слова вынесены в название романа не случайно. Хайнц Цвинг, брат коммуниста Райнера Цвинга, много размышляет о прошлом, о своих родителях, он пытается понять, почему, несмотря на то что внешне жизнь и стала намного комфортабельнее, а магазины ломятся от товаров, ничего не изменилось в положении «маленького человека», труженика, в его взаимоотношениях с сильными мира сего. Старик, с которым Хайнц случайно разговорился, сидя на скамейке в сквере на уже знакомой нам Швантальской горке, говорит ему: «Я только хотел еще кое-что добавить по поводу ваших слов о том, что необходимо бороться. В дни моей юности мы полагали, что время для этого пришло, давно пришло. И мы пытались подняться, нас было много, но, видать, недостаточно много, а самое главное — мы не были едины. Поглядите на этот завод, он тогда и вполовину не был так велик, а ведь то, что отсюда видно,— только малая часть. Если уж кто собирается подняться, нужно рассчитывать надолго и начинать дело умно. И уж конечно не в одиночку, понятно?»

Пора подниматься — в этом призыве к борьбе основной пафос романа Августа Кюна, он обращен к тем, для кого книга, собственно, и написана,— к жителям рабочих пригородов, обитателям стандартных квартир в коммунальных домах, ежедневным пассажирам битком набитых вагонов городского транспорта, спешащим занять вовремя свои рабочие места, тем, кто больше всего на свете боится их потерять, ибо гарантированного права на труд у этих людей нет.

Кюна часто обвиняли в том, что последние главы романа написаны скороговоркой, будто у писателя на финише «не хватило дыхания». Думается, такой упрек справедлив лишь частично. По мере приближения действия романа к современности, к событиям, которые читатель либо хорошо помнит сам, либо хорошо знает как недавнее прошлое — будь то развязанная фашистами война и оставшиеся после нее развалины, будь то тяжелые аденауэровские времена, когда была запрещена компартия и подняли голову бывшие нацисты, будь то период широкой «внепарламентской оппозиции» и мощного студенческого движения,— повествование становится более конкретным, сжатым, даже конспективным, здесь не нужно ничего подробно разъяснять, здесь пора уже подводить читателя к итоговым выводам, к тому, что составляет конечную суть этого обширного произведения.

И даже когда писатель повествует о каких-то событиях в жизни его многочисленных героев мимоходом, скороговоркой, даже тогда в книге есть главное — органичность связи большой истории с историей малой, с историей жизни отдельной личности. Все серьезные исторические вехи естественно вписываются в судьбы героев Кюна, направляя их по новому руслу и подчиняя общему движению истории. «Историческая энциклопедия» Августа Кюна написана специально для рабочих кварталов Мюнхена, она рассказывает людям труда историю их борьбы, побед и горьких, серьезных поражений; историю классовую, написанную с определенных позиций и эти же позиции отстаивающую. И отнюдь не ради истории самой по себе, не ради того, чтобы окунуться в столь модный нынче стиль «ретро» и преисполниться ностальгией по прошлому, написана эта книга. Роман устремлен в сегодняшний день и подчинен его задачам.

«Жаль, что каждое поколение... в рабочих семьях должно повторять свой скорбный опыт. Должно ли? — размышляет Хайнц Цвинг в начале романа.— А все потому, что слишком мало рассказывается о нем, что отцы и матери слишком устают к вечеру, чтобы поговорить с детьми о том, чего не могут знать школьные учителя». Сам Кюн так сказал в одном из интервью: «Рабочий класс — это класс, находящийся на подъеме. Его собственный опыт и его собственная история необходимы ему, это незаменимое оружие в классовых боях современности».

В то же время для Августа Кюна история нескольких поколений рабочей семьи Кюнов имеет и другой, не менее важный аспект. Ведь его книга — не только большая история, средоточием которой так часто оказывался родной писателю Мюнхен, не только история пробуждения рабочего самосознания, это еще и попытка заглянуть в прошлое своего рода, осознать свои корни и истоки, свое место в большой истории, в борьбе, которую ведут товарищи. Вот почему так неторопливо-любовно повествует писатель о многих семейных событиях, тщательно вникая в старинные архивные документы, перелистывая старые газеты, стремясь воссоздать точную во всех деталях, почти документальную картину времени. В издательстве «Фольк унд вельт», выпустившем роман «Пора подниматься» для читателей ГДР, хорошо почувствовали этот стержень авторского замысла: книгу прекрасно иллюстрируют документальные фотоматериалы, фотографии из личного архива писателя, документы, воссоздающие историю рабочего движения в Мюнхене.

Впрочем, с иллюстрациями или без них, книга Кюна нашла своего читателя и была им в высшей степени доброжелательно воспринята. Реализм, обращение к традиционной эпической форме, столь благотворно действующей на читателя во времена сложных, зашифрованных и деструктурированных текстов, от обилия которых страдает нынче литература ФРГ, привлекли к писателю внимание критики. Положительно отозвались о романе Кюна и в ряде солидных буржуазных газет. «Франкфуртер альгемайне цайтунг» определила его как «многообещающее начало нового типа рабочей литературы», а поэт Манфред Босх так написал о книге Кюна в журнале

Н. ЛИТВИНЕЦ
АВГУСТ КЮН. ПИСАТЕЛЬ РАБОЧЕГО МЮНХЕНА

«Швайцер рундшау»: «Роман «Пора подниматься» не только поднял на новую высоту повествовательное искусство Августа Кюна. Я осмеливаюсь утверждать, что эта книга возвела на новую высоту социальную и рабочую литературу вообще, что она принадлежит к тем произведениям послевоенной западногерманской литературы, которым суждена долгая жизнь».

Тема истории не перестала волновать писателя и позже. В 1977 году вышло в свет его новое произведение «Год рождения — двадцать второй». Уже по названию ясно, о судьбе какого поколения, о каком времени пойдет речь. Детство главного героя, Фрица Вахсмута (год рождения — двадцать второй), пришлось на период Веймарской республики; отрочество — на ту пору, когда фашизм только набирал силу; его юность прямо совпала с началом второй мировой войны. Судьба Вахсмута — в какой-то мере судьба поколения в целом. Но только в самых общих чертах. Ведь Август Кюн вовсе не старается дать в своей книге портрет п о к о л е н и я. Задача, которую он ставит перед собой,— принципиально иного свойства. Фриц Вахсмут — вовсе не обычный человек, как это можно было бы предположить поначалу, напротив, он человек, можно сказать, исключительный и именно тем и интересен. Фриц, как он сам любит говорить о себе, «хитер и умеет вертеться». Он рано пришел к убеждению, что именно эти качества нужны «маленькому человеку» чтобы выжить. Фриц быстро учится держать язык за зубами, гнуть спину перед сильными мира сего, отлынивать от занятий, а затем и от работы, вырывать себе кусок получше — словом, ловчить везде, где только можно. Постепенно эта черта становится определяющей в его характере до такой степени, что временами Фриц даже умудряется перехитрить самого себя. Как бы то ни было, однако он благополучно проходит через всю войну, созерцает три моря: Балтийское, Эгейское и Черное,— воюет, точнее, старается воевать как можно меньше, отстает от военного транспорта, симулирует болезнь и однажды действительно тяжело заболевает, попадает на «тыловые работы», а затем — в который раз — на фронт настоящий, скрывается, устав воевать, в родном Мюнхене, в заброшенном садовом домике своего приятеля, увиливает от участия в антифашистском восстании, а через какое-то время так же благополучно избегает денацификации, поторговывает на «черном рынке», причем со временем во все более широком масштабе, обзаводится семьей, попадается на одной неблаговидной махинации и снова удачно выкручивается — короче, хорошо или плохо, но «выживает».

При этом, однако, меняется и он сам. То, что раньше было всего лишь маской глуповатого, охотно подставляющего спину малого, в глубине души уверенного, что всегда сумеет всех обвести вокруг пальца, становится со временем сущностью, органической чертой личности героя, подтачивая и разрушая ее изнутри. Забыты уроки отца, старого коммуниста, участника пролетарских боев 1918 года, забыты советы товарищей-рабочих, давних друзей отца, помогших Фрицу в тяжелые времена устроиться на завод учеником слесаря, забыто и многое другое. Даже сама собой разумеющаяся для Вахсмута ненависть к «коричневым» оказывается на поверку не столь уж осмысленной, это просто ненависть к тем, кто устроен лучше его, у кого есть право помыкать и командовать людьми попроще.

Словом, надежд своего отца и его друзей Фриц Вахсмут не оправдывает. Оказывается он обычным мелким плутом, с которым им больше не по пути.

Такова уж объективная логика развития событий. Фриц Вахсмут, человек из народа, с живой народной смекалкой, с сочным народным языком, с народной жизнестойкостью, умением не принимать близко к сердцу разные жизненные передряги, предстает в итоге существом по сути деклассированным, оторвавшимся от корней, от своей социальной среды. И что самое главное, он перестает быть личностью. Этот процесс падения, нравственной деградации героя писателю удается запечатлеть удивительно точно и емко, прибегая к характерным, верно найденным деталям. Не случайно в конце романа мать Вахсмута все чаще говорит сыну: «Ты так и остался мальчишкой». Фриц Вахсмут действительно пока не вырос, не вырос в человека, в рабочего, в сознательного борца за дело своего класса.

Но книга Кюна отнюдь не приобретает пессимистического звучания. Ведь здесь есть и другой Мюнхен, так хорошо знакомый нам по роману «Пора подниматься», Мюнхен не фашистских пивных, а рабочих кварталов, город славных пролетарских традиций, где трудовой люд первым принял бой с нарождавшимся нацизмом. В этом Мюнхене действуют законы солидарности, здесь планируются антифашистские акции, ведется на первый взгляд незаметная, но упорная борьба. И поэтому автор не оставляет надежды, что Фриц Вахсмут и ему подобные, предпочитающие держаться от борьбы в стороне, со временем в нее все-таки включатся и перестанут быть послушными винтиками, бездумными исполнителями, которых можно заставить делать все что угодно и которые тем менее опасны для властей предержащих, чем более веруют в собственную хитрость и изворотливость.

Жанр своего произведения Кюн не случайно определил в подзаголовке как «плутовской роман». В этом чувствуется своеобразная авторская ирония. Фриц Вахсмут лишь отдаленно напоминает, скажем, Симплициссимуса, так же как и мягкий юмор гриммельсгаузеновского толка лишь временами проступает в резких контрастно-сатирических описаниях Кюна. Да и сам герой заслуживает не только легкого подшучивания — здесь необходима уже сатира, смех язвительный и одновременно горький. На примере своего незадачливого персонажа автор как бы расширяет положительный опыт романа «Пора подниматься», его уроки солидарности и классового единства, идя по пути доказательства «от противного» и демонстрируя, куда может привести рабочего человека забвение этих важнейших уроков.

Кюн не сразу расстался с образом Фрица Вахсмута. В 1979 году вышла в свет еще одна его книга с тем же героем — «Годы чуда» для Фрица Вахсмута». Повествование подхватывается в том месте, где оно пре-

рвалось в предыдущем романе. Крупные аферы на «черном рынке» не прошли безнаказанно для героя, он все-таки попадает в тюрьму, причем даже влиятельные связи не помогают ему в этом случае. Денежная реформа кладет конец и кое-какому состоянию Вахсмута: он снова оказывается не у дел, без работы, и хотя поначалу это вполне отвечает его желанию «ни во что не ввязываться», вскоре жизнь на случайные заработки становится все тяжелее. Наконец, счастье улыбается Фрицу, он находит постоянную работу, находит и новых товарищей. Писатель прощается со своим героем, когда тот медленно начинает прозревать, вплотную столкнувшись с изнанкой широко разрекламированного «экономического чуда», задумываясь над тем, с кем ему по пути.

Того, кто внимательно следит за творчеством Августа Кюна, не может не радовать его рост как писателя. Август Кюн из числа тех художников, что начинают свой путь в литературе не спеша, как бы примериваясь к наиболее важным темам и отыскивая подступы к ним, чтобы затем вдруг уверенно и точно создать свой художественный мир. И если в книге «Пора подниматься» еще чувствуется порой некоторая разбросанность, стремление сказать сразу обо всем, дать предельно широкую панораму событий и ввести как можно больше действующих лиц, то в романе «Год рождения — двадцать второй» все соразмерно: замысел и его художественное воплощение, главная идея и литературные средства ее «доведения», протяженность повествования и его исторические границы, язык и поведение персонажей.

Август Кюн постоянно работает. В критике, которая стала очень внимательна к писателю после выхода в свет романа «Пора подниматься», можно встретить сообщения о новых книгах писателя, его творческих замыслах. Сам автор так сформулировал однажды программу своего творчества: «Существование рабочего человека входит в литературу ее составной частью. Действительность всегда создает самые лучшие истории, вот почему я верю, что литература будущего — это литература мира, труда, литература рабочего класса». К созданию этой литературы в немалой степени причастен и сам Август Кюн, писатель рабочего Мюнхена.

◆

Трибуна переводчика

ПО ДОБРОЙ ВОЛЕ И СО СКРОМНОЙ НАДЕЖДОЙ

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ УЧАСТНИКОВ V МЕЖДУНАРОДНОЙ ВСТРЕЧИ ПЕРЕВОДЧИКОВ

Недавно в Москве состоялась V Международная встреча переводчиков советской литературы. Гости более чем сорока стран мира обменялись мнениями за «круглым столом». Обсуждаемая тема: «Роль перевода в современном мире. Перевод как фактор взаимодействия культур».

Мы предлагаем вниманию читателя несколько выступлений участников совещания, которые публикуются с небольшими сокращениями.

Джесси Дэвис (Англия). Благодаря легкости сообщения, мир на наших глазах съежился, стал меньших размеров. Нам больше, чем когда бы то ни было, нужно общаться. Но все еще существует огромная преграда — преграда языковая, и, чем теснее становится мир, тем больше чувствуется эта преграда и тем важнее роль переводчиков. Будучи сама главным образом переводчицей стихов, я ограничусь некоторыми замечаниями о том, как добиться, чтобы их воздействие на иностранного читателя было максимальным. Конечно, рассуждать по поводу того, как надо переводить стихи, рискованно, все равно что давать советы, как надо их слагать. И потому остановлюсь лишь на рассмотрении принципов перевода русской поэзии, которые сложились в Англии в последние десятилетия, попытаюсь отметить их достоинства и недостатки.

По-моему, существует пять типов переводов поэзии.

Это — простой перевод в прозе; стихотворный перевод, цель которого — передать не только содержание, а и форму; перевод, который совершенно отвергает законы русского стихосложения и старается выразить только содержание, но в иной, новой форме, более приемлемой для английского читателя; перевод, получающийся в результате сотрудничества между поэтом-нелингвистом и лингвистом-непоэтом; и наконец, свободный, не дословный перевод, который является совсем новым стихотворением. Может быть, было бы точнее назвать такой перевод адаптацией, или подражанием, или переложением.

Недостатки всех этих методов бросаются в глаза — однако одни более очевидны, нежели другие. И тот молодой переводчик, который написал в редакцию одного русского журнала: «Хлеба» на моем языке не рифмуется с «небо». Что же мне делать?»— не был глупым: он свидетельствовал о положении вещей. Нет никакого общего свода правил для перевода и не может быть, и совершенно неизбежно, что переводчик, выбирающий любой вариант, кроме прозаического, будет то «упускать» что-то, то «прибавлять». Неизбежно будут измены оригиналу, но когда нет двуязычного текста, когда читатель не может проверить перевод, есть, как мне кажется, некоторая нравственная обязанность, даже долг со стороны переводчика — объяснять, какие именно аспекты подлинника он не смог перевести.

В качестве примера первого метода приведу перевод «Витязя в тигровой шкуре» Марджер и Скотт Уордпон. Несомненно, передача его почти тысячи семисот строф является делом сложным и уже само по себе большое достижение, но, увы, мы не получаем о художественных достоинствах оригинала никакого представления, мы не узнаем, что подлинник был написан 16 сложными «шаири», что рифмы всегда богатые, по схеме «аааа», и что самая выдающаяся черта поэмы — ритм. У читателя остается ощущение, что все это надо было объяснить, к примеру, в предисловии.

Второй тип перевода, который стремится передать не только содержание, но и форму, был самым распространенным методом в первой половине нашего столетия.

«В легкости и простоте русского стихосложения,— говорится в одном труде моего соотечественника С. М. Боура,— кроется вызов любому переводчику... Ведь английский язык не владеет тем богатством двой-

ных и даже тройных рифм, какие любят русские поэты».

Русский синтаксис гораздо богаче и сложнее, чем английский, который, из-за отсутствия склонений и спряжений, куда беднее и этими двойными и тройными рифмами, чье бесконечно разнообразное чередование придает русскому стиху особую музыку. А в английском их набор ограничен, и, кроме того, звукопись, фонетика русского стиха так отличаются от английской, что калькировать мелодику совершенно невозможно, непередаваема и русская интонация — за исключением редких случаев.

К 60-м и 70-м годам молодым переводчикам стало ясно, что, когда они верно воспроизводят русский стих, их варианты в конце концов звучат как наши гимны, старые и современные, которые мы поем в церкви, или, при слишком большом употреблении тройных или даже четверных рифм, как нечто подобное тому, что мы слышим в операх Гилберта и Салливана. Эволюция английского стихосложения и русского шли разными темпами и в разных направлениях. В 60-х и 70-х годах популярность русского языка все росла и росла в Англии, и молодые переводчики решили, что старомодные формы должны быть во что бы то ни стало сняты «с парохода современности». Произошел настоящий бунт.

Пожалуй, самым удачным примером этого нового подхода к переводу являются переводы Блока, сделанные Джоном Столуорси и Питером Францем.

Блок, пишут они, был во многих отношениях пионером, но для современного западного уха его стихи звучали бы глупо-напыщенными, если бы мы воспроизвели их тяжелые, тонические ударения, сильные эффекты симметрии, регулярность рифмы и метра и архаическое словоупотребление. Затруднением является и частое использование трехсложных размеров, естественных для русского языка.

Однако, как у всех литературных революций, и у этой были перехлесты.

В общем, хотя эта третья группа переводчиков приступила к делу с хорошими намерениями, надо прямо сказать, что их переводы в лучшем случае — посредственные: впечатление такое, что, решив отвергнуть законы русского стихосложения, они не считают нужным изучать их. Их стихи пресны и немелодичны, словом, это проза в кусках, в лучшем случае слегка ритмизованная.

В качестве примера сошлюсь на переводы Цветаевой Элен Файнстейн, Ахматовой Стэнли Кьюница, известные переводы Мандельштама, выполненные Ольгой Карлайль, Дональдом Рейфильдом, а также Джеймсом Грином.

Беда переводов Стэнли Кьюница в том, что ему не удается отобразить эволюцию стиля Ахматовой. В его переводах Ахматова 1911 года та же, что 1962 года. Начинает казаться, что она всегда писала почти как английские поэты 70-х годов.

Я лично предпочитаю переводы недавно умершего Тома Боттинга.

На сотни верст, на сотни миль,
На сотни километров
Лежала соль, шумел ковыль,
Чернели рощи кедров.

Как прекрасно зазвучали эти строки по-английски!

Когда переводчику удается одинаково хорошо передать «что» и «как», его перевод, по всей вероятности, добивается одобрения. Весьма трудно хорошо перевести плохое стихотворение, но нетрудно плохо перевести хорошие стихи!

Как я уже говорила вначале, всегда опасно догматически утверждать невозможность переводить известным способом. Вспомним слова Набокова: «Можно ли перевести рифмованные стихи типа «Евгения Онегина», сохраняя рифмы? Конечно, нельзя. Воспроизвести рифмы и в то же самое время перевести дословно этот роман невозможно».

Однако спустя несколько лет появился гениальный переводчик, который достиг невозможного. Это сэр Чарльз Джонстон. В его переводе «Евгения Онегина» сохранена теплота Пушкина; слова и рифмы ложатся на место, как падающие листья или падающий снег.

Четвертый метод — когда сотрудничают поэт-переводчик и лингвист. В этом случае мы рискуем, как говорят англичане, «иметь худшую долю двух миров», хотя не так уж плохи оказываются порой эти совместные старания. Может быть, Турли чуточку несправедлив, когда пишет, что другой современный феномен — «перевод-тандем». Передний «седок» владеет языком, тогда как задний «седок» — поэт. В результате их союза, как правило, появляется чудовище, Франкенштейн, составленный из разжеванных кусков оригинального поэта, дословного перевода и фантазии второго поэта.

Нельзя, однако, при этом забывать, что многие русские поэты, включая Пастернака, переводили и при помощи подстрочника.

Последний, пятый тип охарактеризован в одной из работ по переводу так: «Маршак верит в то, что не надо переводить стихи дословно, а надо «пропитаться» оригиналом, а потом написать новое стихотворение на своем языке. Перевод не фотография, а творчество». Сам Маршак считал свою работу переводом, а не переложением или адаптацией. Думаю, подобный принцип способен удовлетворить всех, кроме пуристов и педантов.

Манол Наков (Болгария). Я хочу поделиться своими соображениями о Шолохове и переводе. С одной стороны, Шолохов не занимается, казалось бы, переводом. Но с другой. Шолохов — писатель с мировой славой. По данным Всесоюзной государственной библиотеки иностранной литературы на 1 июня 1974 года его произведения изданы почти на 80 языках народов СССР, а за рубежом более чем на 45 языках.

Очень популярен Шолохов и в Болгарии. У нас существует свыше пятидесяти отдельных изданий его книг. Не будет преувеличением сказать, что Шолохов — один из тех современных советских писателей, кто оказал самое сильное влияние на твор-

чество многих авторов как в своей многонациональной стране, так и за ее пределами.

В последние годы я попытался перевести кое-что из небольших вещей М. А. Шолохова. Пока это только опыты. Я познакомился с исследованиями творчества писателя, воспоминаниями о встречах с ним, перепиской с книгоиздателями. В них находим мысли Шолохова об искусстве перевода, труде и этике переводчика. Их можно разделить на две группы: прямые и косвенные. В таком порядке мне и хотелось бы изложить их здесь.

Еще в молодости Михаил Шолохов проявлял живой интерес к тому, как переводят его произведения за рубежом. Об этом можно судить по одному из его писем от 20 марта 1934 года. В конце письма читаем: «...не забудьте написать, как выглядит перевод».

А вот и более конкретное отношение Шолохова к переводу, высказанное Анатолию Софронову сорок лет спустя, летом 1974 года:

— А как переводы ваших книг на другие языки оценить? — спрашивает писателя Софронов.

Шолохов пожимает плечами, потом говорит:

— Как их все проверишь? Вопрос сложный. Тут по-разному бывает. Какой хороший поэт Твардовский. А за рубежом его почти не знают. Не понимают, наверно, переводчики. Переводят некоторых модных... Быть хорошим переводчиком — это большое искусство... Шекспир — сугубо английский писатель... А как его у нас знают? Переводчики были отличные...

Затем оба заводят разговор об этике переводчика и издателя. А. Софронов припоминает неприятные моменты в связи с изданием «Тихого Дона» на английском языке в Лондоне и «Поднятой целины» на французском в 30-е годы. Шолохов явно не забыл огорчений, которые доставили ему эти издания, и отвечает:

— Конечно, есть и фальсификаторы... Раз существует политика — должны быть и фальсификаторы. В книге Константина Приймы [1] подробно исследован этот вопрос...

Действительно, случай с английским переводом «Тихого Дона» — беспрецедентен. В своем объемистом исследовании К. Прийма подробно рассказывает, какой «обработке» подвергся роман со стороны переводчика Стефана Гарри и редакторов издательской фирмы «Путнам»: была перекроена структура романа (из 8 частей стало 11), сокращены целые главы и абзацы, переиначены слова и выражения. В общем, работали своевольно... Долго рассказывать всю историю, поэтому приведу один из типичных примеров извращения.

В оригинале: «Казаки не потерпят такого органа, в который входят представители «Партии народной свободы». Согласно переводу на английский: «Казаки не осудят никакого правительства, в котором есть представители партии национальной свободы». Вот какая разница!

Быстрее и сравнительно легко был положен конец комбинациям с изданием «Поднятой целины» в Париже. Там издательство «Галлимар» печатает перевод первой книги еще в 1933 году, но по 33-ю главу включительно. Видимо, так было угодно переводчику и издателю: бунт женщин — подходящий финал для тех, кто и без того давно вещает о провале революции в России. Но еще до конца того же года французские коммунисты восстанавливают истину, опубликовав в своем издательстве полный перевод романа одновременно с «Декларацией»-протестом М. А. Шолохова.

Можно сослаться и на точку зрения Шолохова, выражаемую им о переводе косвенно. Вот, например, что говорит он о художнике, иллюстрировавшем в свое время «Тихий Дон» для издательства «Художественная литература», вернее, о том, как он нарисовал коня Григория Мелехова:

— Сколько писем я получил из-за одной неточности художника. Он не изобразил скошевку, что пропущена под пузом коня к седлу. Писали читатели: «Не знает художник, что рисует. Если без скошевки — от первого удара пикой казак из седла вылетит!»

Если переводчик, как художник, пропустит эту подробность, вероятно, Шолохов прореагирует таким же образом.

Или возьмем другой косвенный пример. Теоретики часто сравнивают перевод с актерской интерпретацией. На встрече с артистами Ростовского драматического театра, который готовит спектакль по второй книге «Поднятой целины», М. Шолохов дает следующий совет: «...если вы всерьез беретесь, то артистам нужно побывать в казачьих станицах и хуторах, поехать в Каменск, в Вешки или другие места, приглядеться к походке казаков, посмотреть на казачек. Каждая женщина хороша, у нее врожденная грация. Посмотрите, как казачка поправляет прическу, какие у нее жесты, как разговаривает. Присмотритесь к осанке Макара Нагульнова. Обратите внимание на язык, на произношение. Прислушайтесь к мягкому южнорусскому звучанию речи. Все это имеет существенное значение... Доносите до зрителя (с точки зрения перевода — до читателя, добавлю я.— М. Н.) прелесть и аромат донской степи, колорит речи, неповторимость казачьего быта».

Мы можем поблагодарить советских товарищей за то, что, как бы следуя совету Шолохова, они дают нам возможность побывать в стране, переводом литературы которой мы занимаемся. И очевидно, можно было бы сделать несколько выводов:

— для Шолохова перевод — большое искусство;

— часто от переводчиков и их вкуса зависит, какую популярность получит в их собственной стране иноязычный мастер художественного слова;

— если переводчик не соблюдает профессиональную этику, а преследует корыстные цели, вместо благодарности он может снискать славу фальсификатора;

— переводчик не должен избегать подробностей в быту и колорите жизни народа, даже если речь идет о ремешке конной сбруи;

— прежде чем начать работу, переводчик

[1] К. Прийма. «Тихий дон» сражается М., «Советская Россия». 1975.

должен изучить до малейших подробностей все о людях и местах, где развивается действие, если можно — посетить эти места, чтобы ощутить непосредственно их жизнь, говор и неповторимость быта.

Элисео Диего (Куба). Каждый раз, испытывая неодолимое влечение к загадочному человеческому опыту, который мы именуем Поэзией и который соблазняет нас попытаться выразить ее словами, красками, музыкой,— мы неизменно поддаемся соблазну определить эту загадку, что неизменно приводит к еще большей нашей растерянности и недоумению. Казалось бы, только что блеснул свет истины, а Поэзия уже спешит опровергнуть наши умозаключения, являясь в новом обличии, совершенно обезоруживая нашу резвую эрудицию. «Поэзия — это вот что»,— заявляем мы и тут же обнаруживаем, что это и «невесть что еще» и что наше «вот что» было всего лишь робкой догадкой. Может быть, в конечном счете наилучшим определением является знаменитая романтическая строка— «Поэзия — это ты», если под словом «ты» подразумевать не только красивую девушку, с которой известный испанский поэт Густаво Адольфо Беккер говорил в один из дней, вечеров или ночей в конце своей жизни, а всю полноту окружающего нас мира, если только мы смотрим на него с той же любовью, с какой смотрим на женщину, когда говорим ей «ты» от всей полноты наших жадных чувств.

Что же это за диковина такая, коль скоро с самого начала мы сталкиваемся с неимоверными трудностями — мы не знаем даже, с чем едят то, что мы должны переплавить с одного языка на другой. Как переводить то, что даже не поддается определениям?

Существует, правда, одно, принадлежащее Сэмюэлю Кольриджу, столь же блаженному, сколь и ублаженному светом наитий британцу, который на заре романтизма, казалось бы, утешил нас мыслью о «лучших словах в их наилучшем порядке»; если бы все дело заключалось в этом, достаточно было бы найти лучшие слова, соответствующие их собратьям на другом языке, и расположить их в возможно лучшем порядке... Но существует ли истинное идиоматическое соответствие между настоящими обозначениями реалий и человеческим опытом? А если бы даже и существовало, что определяет порядок, в каком они должны быть расположены? Разве не ясно, что именно в порядке слов кроется неповторимость каждого из языков? Не разрушит ли переустройство этого порядка смысл и действенность имен существительных и глаголов?

Вот и начинает казаться, что трудности эти практически непреодолимы. Что же делать? Только и остается, что не вступать в эту игру: нечем бить карту, что поделаешь, перевод — вещь невозможная... Как «невозможна» в конечном счете и сама Поэзия. Но разве любая невозможность не таит в себе соблазна — попытаться превозмочь невозможное? Разве сражение с невозможным не является единственно верным деянием, достойным человека?!

И тут же в памяти возникает одно из любимых тобой стихотворений, пусть и не самое важное из тех, что ты знаешь, но именно то, которое таинственно сопровождает тебя всю жизнь, оттого ли, что ты прочитал его в детстве, оттого ли, что только оно и смогло утешить тебя однажды. Положим, это «Элегия, написанная на сельском кладбище» Томаса Грея. Ну, вспомнил... Но ведь не все тридцать два его четверостишия, не все его сто двадцать восемь стихов? Нет, конечно. И все же, стоило назвать его, как душу переполнило чувство, навеянное именно этой «Элегией», ее неповторимым ароматом. Совершенно непохожим на тот, что пропитал сорок строф великого Хорхе Манрике, посвященных смерти отца.

И если в конечном счете суть любого стихотворения в аромате, который запечатлелся в памяти, не стоит ли задаться вопросом, чтобы хоть как-то выяснить, какие специи родили этот аромат? Теперь мы уже говорим не о тех или иных значениях, упорядоченных на странице, а о котле, о реторте человеческой психики, внутри которой варятся чувства, опыт, идеи, ощущения, воспоминания, мечты,— из этого варева и рождаются стихи. И значит, не о переводе речь, а о воссоздании, о воссоздании на другом языке определенного настроения, точно такого же впечатления, но только на основе тех же «специй», ему свойственных.

Речь, значит, идет о процессе, очень близком, хотя и не идентичном, оригинальному творчеству. И тут, в первую очередь, необходима душевная расположенность к тексту, который мы решаемся перенести с одного языка на другой. Именно эта расположенность, симпатия сделают текст частью твоего собственного опыта, что и является пружиной любого творческого деяния. Надо почувствовать необходимость и желание передать этот опыт другим. До этого момента обстоятельства схожи с теми, которые сопутствуют любому подспудному замыслу. Но если до этой поры побуждения твои были безотчетными и ты в слепом возбуждении лишь искал на белом листе контуры того, что тебя волновало, то теперь труд по воссозданию потребует от тебя абсолютного внимания к тексту, всех твоих сил, направленных на то, чтобы сжиться со всеми и с каждым оттенком того, что так тебя взволновало. Разве не так же точно выглядит наше погружение в бездну душевного опыта при оригинальном творчестве, с той лишь разницей, что мы делаем это без каких-либо усилий в нашем растворении в потемках подсознания, когда мы ощупываем корнями чувств бездонные глубины, что может длиться долгие годы, пока не выплывет на поверхность слово? Разве все это не в потемках, не на ощупь?

Что же тогда делать со словами, с этими этикетками вещей, с этими обозначениями, чья природа не позволяет им оставаться незамеченными? Что делать с этими символами, неразлагаемыми на первый взгляд, каждый из которых, с одной сто-

роны, так крепко цепляется за свое логическое значение, а с другой — поддается ухаживаниям заискивающих ассоциаций, вечно путающихся под ногами? Нет иного пути, кроме избранного: во-первых, чутко прислушиваться к тому, что я назвал бы музыкой смысла, а не к точному логическому смыслу, и, во-вторых, услышав музыку этого символа, объединившего звук и образ, усвоить ее, проникнуться ею и подождать, пока она воплотится в схожие символы на твоем языке.

Я попробую объяснить свою мысль, приведя несколько строк из поэмы Павла Антокольского «Сын». Конечно, мы сталкиваемся с некоторыми трудностями, связанными с тем, что должны будем прибегнуть к посредничеству дословного перевода. Так вот, при чтении этого текста в его, так сказать, эмбриональной основе больше всего меня взволновало ощущение, что передо мной монолог, монолог в жанре «разговорной поэзии». Помимо этого, все внимание привлек контраст между скупым естественным языком и величественным ритмом, в котором он нашел свое воплощение. Взять хотя бы первые восемь стихов пятой главы этой поэмы:

> Мы не всегда от памяти зависим.
> Случайный, беглый след карандаша,
> случайная открытка в связке писем —
> и возникает оная душа.
> Вот, вот она мелькнула, недотрога,
> и усмехнулась, и ушла во тьму —
> единственная, безраздельно строго,
> сполна принадлежавшая ему.

С самого начала в этих стихах привлекла внимание приподнятость, с какой говорится о простых свидетельствах разлуки (иными словами — пустоты), о реальных следах, оставшихся от того, кто оставил их после себя: память, воспоминания слишком расплывчаты — а вот открытка — след карандаша — сохраняет чуть ли не дыхание человеческой жизни, воскресшей из тьмы своего небытия, в котором память неизменно рискует улетучиться, превратиться в мираж.

Эту реальность человеческого отсутствия создают лишь два скупых штриха, обрисовывающих оную душу: «недотрога усмехнулась»; из двух слов последнее — глагол в прошедшем времени, запечатлевший мимолетное действие — «вот, вот она мелькнула», с которого и начинается это бесхитростное описание. Такой краткой была жизнь этой оной души — «усмехнулась и ушла во тьму». Могут ли быть найдены иные, более выразительные по своему трагизму средства, чтобы передать скорбь от внезапности исхода этой невосполненной жизни! Ироничный, страшный в своей горечи акцент подчеркивает всю бренность этой оной жизни, ушедшей во тьму; неумолимый, нерасторопный — только мраком смерти безраздельно завладела оная душа...

Эти наблюдения в процессе работы над переводом, в сущности, были вызваны изучением самого текста, завладевшего моим вниманием с первых же попыток перевести его. После того как я вошел в стихи, привык к ним, сжился с ними, разве странно, что возникла необходимость пересказать их на моем испанском языке? А как выйдет, так и оживлю! В конечном счете, как и всегда в нашем творческом деле, все в руках счастливого случая, и вот переведенные стихи уже обживают пространство бумаги, родилось еще одно стихотворение — что уж тут такого?.. Если оно хорошее — будет жить, оставит свой светлый след в памяти, напитает ее ароматом первородных специй, подарив людям то, чего бы они иначе были лишены.

Я хотел бы выразить глубокую благодарность современной советской поэзии, замечательной русской поэзии всех времен. Сказать, что я сблизился с нею по доброй воле и со скромной надеждой, что через окно, которым является моя страна, она достигает огромного пространства, где живут люди, говорящие на испанском языке,— сказать, что многие молодые люди полюбили ее благодаря усилиям, которых я никогда для нее не жалел, а также и люди немолодые, но прекрасные своей личностью и своим творчеством, как Хулио Кортасар,— что бы я ни сказал, все равно я перед нею в неоплатном долгу. Этот труд, питаемый любовью, стал для меня бесценным открытием того, что же в конце концов такое — этот чарующий, таинственный сполох реальности, который мы называем еще более загадочным именем — Поэзия.

Эстер Рандриамамонжи (Мадагаскар). Мир сегодня удивительно многообразен. Народы, к которым вчера еще иные государства относились как к послушным вассалам, стали полноправными созидателями современной культуры. Их выход на международную арену совпал со взрывом средств массовой информации, и потому фактор географической отдаленности перестал препятствовать общению народов, их сотрудничеству.

Мы живем в особое время, в эру новой культуры. Залог ее расцвета — в неисчерпаемых потенциальных возможностях человеческого духа. Многообразие мира подобно богатству мира человека, и тем не менее мир наш — целостен и един. Именно потому малагасийцы, выходцы из самых разных слоев общества, любят читать книги Константина Симонова, Николая Островского, Расула Гамзатова. Еще они любят читать Толстого и Горького. И все это оттого, что они находят в их произведениях чувства и мысли, столь близкие им. Ведь книги передают общечеловеческое, то, что понятно каждому. И происходит это благодаря чуду перевода, которое дает людям возможность преодолевать языковые барьеры, познавать друг друга, учиться друг у друга. Произведение искусства — «зашифрованное» послание, в котором художник отражает богатство действительности. Переводчик же призван донести до читателя не только суть произведения, но и «переправить» его без потерь через пороги лексических, семантических и синтаксических загадок.

Я занимаюсь переводом уже давно, последнее время особенно много переводами из русской и советской поэзии на малагасийский язык. Мне особенно близки поэты военного поколения, те, кто сражался против иноземных захватчиков. И это вполне понятно — мои соотечественники

семьдесят пять лет страдали под игом колонизаторов, а сегодня прилагают все усилия, чтобы сбросить с себя колониальные путы. Мы сражаемся за свою национальную культуру, как наши предшественники — за то, чтобы вопреки расистской цензуре, вопреки репрессиям властей, когда даже слова «tenindrazana» (родная земля) и «firenena» (родина) возбранялось употреблять, наш малагасийский язык остался жив. Колонизаторы запретили преподавание малагасийского языка в школе, официальным языком стал французский. Они пытались насильственно привить народу чуждое ему, а ведь мы всегда свято чтили свои традиции, и наши поэты продолжали писать на родном языке. Поэзия того времени была гражданственной, социальной, хотя и была печальной.

...Советская поэзия по сути своей глубоко народная, она адресована простым людям. И неудивительно, что малагасийцы — те, с кем сталкиваешься на улицах города и на рынке, рабочие, крестьяне, мелкие служащие — читают и любят Жуковского, «Родину» Лермонтова, «Завещание» Шевченко, стихи Геворга Эмина, Максима Танка. В них — ваш голос, мы слушаем его и узнаем, как вы живете, за что вы боретесь, к чему стремитесь... Разве не в этом — залог нашей дружбы, нашего взаимопонимания, залог мира на земле?!

Левон Мкртчян (СССР). Нами движет не честолюбие, а жажда быть понятыми. Мы хотим, чтобы наши замыслы, наши дела и наша жизнь были правильно поняты. Мы выражаем себя в книгах, и мы хотим, чтобы книги наших писателей читали в переводах.

Перефразируя слова М. Бахтина о романе диалогическом и монологическом, можно сказать, что основы диалогического мира гораздо более прочны, чем мира монологического.

Мы говорим, что достаточное количество переводчиков могло бы предотвратить вавилонское столпотворение, но что такое столпотворение вавилонское по сравнению с угрозой столпотворения атомного?

Переводчики многое сделали, делают, но еще больше им предстоит сделать, чтобы диалог состоялся. По роду своей профессии переводчики — люди призванные.

Французский поэт Пьер Реверди говорил: «Писать следует не для современности, но внутри нее». Переводчики работают внутри времени. И вечно дискутируемая проблема верности оригиналу — это верность времени. Оригинал — это время. Писатели и переводчики переводят время на язык литературы. Много пишется книг, но переводится лишь то, что созвучно времени. С неизбежностью встают вопросы общественные, политические.

А гордый стих и вскромном переводе
Служил и служит правде и свободе,—

писал С. Маршак о своих переводах сонетов Шекспира.

Основное правило перевода — верность оригиналу — не освобождает переводчика от его «я», его личности, его мировоззрения.

Недавно в Ереван приезжал знаменитый болгарский поэт и переводчик Шекспира Валерий Петров.

«Я с тобой вполне согласен,— сказал он мне,— в наших переводах выразилось и наше мировоззрение, но я всегда стремился (считаю, что это надо, необходимо) к «феодальной» точности перевода, ,отвергая точность «рабовладельческую».

Во всякой шутке есть доля правды. Есть она и в шутке Валерия Петрова. Каждая эпоха (даже формация) вкладывала свой смысл в понятие точности перевода. Менялось и само определение перевода.

Художественный перевод, как я думаю,— *это пересоздание оригинала на другом, заинтересованном в оригинале языке, это создание на основе заинтересованного языка нового единства содержания и формы.*

Конечно, я понимаю, что это определение небезупречно, но я исхожу из него, и мне бывает больно, когда на тот или иной язык переводятся книги, в которых язык не заинтересован.

Под языком я понимаю литературу, культуру данного народа. Вспомним Джона Голсуорси. Роман «Остров фарисеев» он посвятил Констанс Гарнет «в благодарность за ее переводы произведений Тургенева». Английский язык был заинтересован в произведениях Тургенева. В русском писателе был заинтересован сам Голсуорси. А вот свидетельство современного американского писателя Уильяма Сарояна: «Мне всегда хотелось, чтобы как можно больше русских книг было переведено на английский, ибо — увы! — это единственный язык, на котором я свободно читаю».

И почему бы нам не помечтать и не представить такую картину: Федор Абрамов или Петр Проскурин посвящает одну из своих книг Николаю Любимову за его блистательные переводы на русский язык, а армянский романист Серо Ханзадян посвящает свой новый роман Доре Есаян за ее переводы русской классики.

Переводчиков больше любят и больше дорожат их деятельностью в тех странах, с языка которых они переводят. А ведь, если разобраться, переводчики прежде всего — деятели своей национальной литературы.

А бывает, что критики страны перевода, оценивая современное состояние литературы оригинальной, почти не интересуются тем, что делают, какие книги вводят в национальную литературу переводчики.

Есть мнение, будто в переводах на тот или иной язык прежде всего заинтересована страна оригинала.

Конечно, заинтересована. Но не прежде всего.

Когда нас переводят, мы экспортируем литературу, дело, что и говорить, престижное. Каждый из нас рассматривает перевод как способ вывести свою литературу на международную арену, по-армянски — миджазгаин аспарез. У нас в республиках любят об этом говорить. «Миджазгаин ас-

парез» ласкает нам слух и немного нам льстит. Отсюда и наша простительная легковерность — порой нам кажется, что стоит перевести то или иное произведение на какой-либо язык, и сразу оно окажется на международной арене.

Конечно, путь к международной известности лежит через переводы. Но не надо преувеличивать. А главное — надо помнить, что переводы существуют не столько для международной известности, сколько для того, чтобы литературные ценности одного языка переносить в другой язык.

Однажды за рубежом на переводческом симпозиуме меня спросили: «Вот вы говорите, чем больше мы переводим, тем лучше для нашей родной литературы, но ведь количество может перейти в качество, и тогда мы потеряем свое собственное лицо, свою собственную литературу».

«Теряет тот,— ответил я,— кто не переводит, не вводит в свой язык культурных достижений других языков. Одно из самых лживых (и вредных!) определений художественного перевода дано было в кощунственном уподоблении: художественный перевод — троянский конь. Конечно, вместе с переводными книгами распространяются определенные идеи. Но эти идеи, как правило, не разрушают, а укрепляют культуру страны».

Объективно книги существуют на том или ином языке. Неважно, переводные или оригинальные. Для языка — все оригинал. Для армянского и английского в определенном смысле не имеет значения, кто написал «Войну и мир» — Толстой или переводчик Толстого на армянский язык Стефан Зорьян, Толстой или переводчица Толстого на английский язык Констанс Гарнет. Кстати, «я еще не забыл,— говорил Хемингуэй,— сколько раз я не мог дочитать «Войну и мир» до конца, пока мне не попался перевод Констанс Гарнет». И из этого замечания Хемингуэя видно, что именно Гарнет в означенном выше смысле написала «Войну и мир» на английском языке. Другим писателям-переводчикам, как свидетельствует Хемингуэй, это не удавалось.

Для данного языка важнее всего, что «Война и мир» или «Король Лир» существуют на этом языке. Все, что написано, равно как и переведено, все — оригинал. Воспринимаем же мы Библию как оригинал, а не перевод. И не одну только Библию.

Я могу сказать, что на развитие армянской культуры и армянского языка оказали влияние не только деятели собственно армянской культуры, но в древности это были также писатели греческие, сирийские, затем римские, арабские, персидские, французские, в новое время — английские, немецкие, русские, украинские, грузинские, азербайджанские... И чем больше народов и языков я смогу назвать, тем большую честь окажу родному языку и родной культуре.

...Мы говорим о мировых языках, но мировые языки — это ведь не самые распространенные языки. Язык, на который недостаточно переведено книг с языков больших и малых народов, не может считаться мировым языком. Иначе говоря, *мировой язык — это язык, на который переводится мировая культура.* Вот вам еще один аспект нужности, необходимости работы переводчика внутри страны, внутри языка.

Известно, что на русский язык много переводят, больше, чем на какой-либо другой язык, поэтому мировое значение русского языка все более и более возрастает. В русском языке благодаря деятельности переводчиков аккумулировались богатства литератур народов СССР и народов мира.

В Москве, в Центральном доме литераторов, на недавнем юбилее Сильвы Капутикян Чингиз Айтматов сказал: «Вся наша литература, поэзия, вообще художественная мысль сейчас мне представляется как единая кровеносная система, мы все связаны, взаимосвязаны, мы даже не можем, если как следует подумаем, полноценно развиваться и существовать друг без друга. Если когда-то, в какое-то время, сейчас уже далекое, мы мало или слабо знали друг о друге (о том, что существовала такая древняя культура, как армянская, в силу целого ряда исторических условий не знала, предположим, окраина нашей страны или, наоборот, армяне не могли знать в какие-то времена о поэзии Средней Азии), то сейчас я думаю и смею об этом сказать, мы настолько уже объединены нашей общей жизнью, нашими тревогами и радостью, задачами, которые стоят перед нами, что мы представляем единую систему, и мы пытаемся выразить себя и свое время».

Существует у нас ошибочное мнение, будто при всеобщем двуязычии (родной язык плюс русский язык как второй родной язык) можно ограничить, а то и вовсе свести на нет переводы со второго родного языка. Прочтут, мол, в оригинале, зачем переводить книги и деньги. Но и в этом случае переводить все равно необходимо. Ведь национальный язык — это не просто слова или словари. Язык — прежде всего книги, художественные и научные, это идеи и мысли, существующие на данном языке. Мы переводим «Тихий Дон» на армянский не только потому, что не все еще могут прочитать М. Шолохова на русском. Очень важно здесь и другое — армянский язык, армянская речь обогащаются идеями великого романа.

Точно так же, как бы хорошо ни владели в Англии или во Франции русским языком (а сейчас русский язык всюду широко изучается), проблема перевода русской литературы не может потерять своей остроты.

Обогатить родной язык книгами русских писателей — значит поднять на новую ступень развития свой язык, свою культуру.

Развитию любой культуры и любого языка способствуют писатели всех тех народов, которые изданы на этом языке.

Потребность в художественных переводах — это внутренняя потребность развития языка, жизни языка и жизни народа.

Как же все-таки происходит, благодаря взаимным переводам, взаимообогащение? Все просто, даже очень просто. И не на-

до, как это делают некоторые критики, искать следов влияния. Следы остаются в книгах посредственных, никого и ничего не обогащающих. На самом деле каждая хорошая и хорошо переведенная книга (будь то проза или поэзия) и есть осуществленный пример взаимообогащения.

«Я хотел сказать только, что все мысли, которые имеют огромные последствия, всегда просты. Вся моя мысль в том,— говорит Пьер Безухов,— что ежели люди порочные связаны между собой и составляют силу, то людям честным надо сделать только то же самое. Ведь как просто». Достаточно, что эти, например, слова Льва Толстого выражены на французском или чешском языках, написаны арабскими или армянскими письменами.

Формы взаимодействия культур многообразны. Я совершенно уверен, что обогащают, взаимообогащают и переводы вольные. Настало время написать исследование «Вольный перевод» и показать, что эта форма переводов давно уже существует и она плодотворна. Она существует и не может быть отменена критиками (вольные переводы легко критиковать — ведь они вольные). Не надо, конечно, похвальное слово о вольных переводах воспринимать как недооценку переводов точных, адекватных. Это — разные формы существования иноязычной литературы на другом языке.

Валерий Петров говорил: «Не надо модернизировать переводы. Пусть автор оригинала придет к нам из чужой страны, как заморский камень в нашей оправе».

Но и вольные переводы, будучи вольными, не лишены примет иного языка, иной культуры. Вспомним классика вольных переводов Василия Жуковского. Он переводил так вольно, что говорил: «Все это мое, но вместе с тем все это чужое».

А вот пример из современной поэзии. Евгений Евтушенко перевел недавно никарагуанских поэтов. «Я перевел эти стихи вольно,— говорит Евтушенко,— но все-таки лишь относительно вольно, стараясь сохранить живую душу оригинала». Приведу один из его переводов — стихотворение Пабло Антонио Куадры «Написано возле голубого цветка»:

«Я боюсь на холсте рисовать
воробья;
как бы кистью не отнял нечаянно я
его серенькой,
малой,
но певчей свободы».
Вспомни, сильный, об этом завете
опять,
если будешь законы для слабых писать.
Ястребиный закон —
крылья слабых съедобны.
Несвобода убийственна даже в любви.
Не опутай,
любимая,
руки мои,
не замкни мои губы губами —
и в любви быть позорно рабами

Я благодарен Евгению Евтушенко. Я полюбил Пабло Антонио Куадру, я чувствую его, его нежную, мятежную душу.

И еще один пример вольного даже не перевода, а переложения.

В сентябре 1975 года приезжал в Ереван из Югославии Люпчо Стойменский. Однажды вечером поэт прочел по моей просьбе некоторые свои стихотворения на македонском языке и пересказал их в подстрочном русском переводе. Одно из стихотворений особенно мне понравилось, и я рассказал его по памяти Амо Сагияну:

Это наша земля,
В земле погребены усопшие,
И из земли исходит пламя.
Мы согреваем над пламенем пальцы,
Чтобы писать.
А в жаркий, очень жаркий день
Замерзла капелька воды,
Чтобы не упасть в болото.
Это пейзаж моей родины,
И я хочу быть таким.

Через день Сагиян показал мне свой перевод стихотворения Стойменского.

Это, конечно, не перевод, а вольное переложение. Но главное — это прекрасные армянские стихи.

Стойменский случайно обронил свое стихотворение в Ереване, обронил в устном разговоре, и оно взошло на армянской почве — пример, говорящий о том, как жизненны, как многообразны литературные связи.

В Монреале на конгрессе переводчиков разговорился я с Эвалдом Озерсом. Он сказал, что в Англии пишут о существовании древней и средневековой армянской литературы, но самих книг на английском языке нет. Мы договорились о том, что Озерс переведет айрены Наапета Кучака.

Сотрудничество состоялось. Книга переведена и издана. «Можно ли точно определить, что привлекло меня в айренах Кучака? — пишет Эвалд Озерс. — Прежде всего — дивный сплав страсти, нежности и мягкого юмора. Перед нами поэт, неподдельно искренний в своих чувствах и своей поэзии, но и к себе относящийся с усмешкой. Когда он говорит возлюбленной, что погибает от любви к ней, мы понимаем, как искренен он в своем чувстве, но понимаем также, что это не смертельно...».

Судя по переводам Озерса, по его высказываниям о Кучаке, он постиг мир средневекового армянского лирика. Поэтому и пишет Уильям Сароян (он автор предисловия к сборнику на английском языке Наапета Кучака «Сто и один айрен»): «Перевод Эвалда Озерса — героический подвиг. Славу богу! Наапет Кучак — с нами, теперь он звучит и на английском. Слава богу! Остальное — неважно, лишь бы не пропали шутка и истина».

РОБЕРТ ДАГЛИШ

ПЕРЕВОДЯ «ТИХИЙ ДОН»

Первые две книги эпического романа Шолохова были опубликованы в Англии в 1934 году в переводе Генри Стивенса (под псевдонимом Стивен Гарри). Это был однотомник под названием «И тихо тёчет Дон» («And Quiet Flows the Don»). Две последние книги, также в одном томе, появились в 194' году под заглавием «Дон течет к родному морю» («The Don Flows Home to the Sea»). Перевод Стивена Гарри, достаточно умелый и яркий, был, однако, сделан со значительными купюрами и грешил многими неточностями. Английский и американский читатель до сих пор не догадывается, какие большие куски оригинала опущены в переводе шолоховской эпопеи. Профессор Д. Х. Стюарт из Мичиганского университета считает, что в нем отсутствует по крайней мере 25% авторского текста.

В результате неизбежно нарушилось художественное равновесие романа, вместе с тем пропадал или искажался его философско-политический подтекст. Вот несколько примеров. Портрет Листницкого дан Шолоховым без всяких прикрас, но автор подчеркивает искреннюю преданность молодого монархиста своему делу, что явствует из его переписки с отцом, генералом Листницким. Эти письма в переводе отсутствуют, и читатель может заключить, что Шолохов гораздо хуже разбирался во всех движущих мотивах белогвардейского движения, чем на самом деле. То же относится к купюрам, сделанным в эпизоде заговора генерала Корнилова против временного правительства Керенского, самоубийства Каледина и в рассказе о том, как советская власть реагировала на восстание донских казаков — «восстание в тылу». Все это затрудняет понимание поступков и белых и красных. Отсутствие «Дневника Тимофея» повлекло за собой сокращение наполовину истории семьи купца Мохова, любви Лизы Моховой и Митьки Коршунова, в то время как автор, повествуя о дальнейшей горькой жизни молодого казака Тимофея и Лизы в Москве, постепенно и с большим мастерством подводит читателя к весьма важному антивоенному выводу и выразительно рисует казацкую мелкобуржуазную интеллигенцию.

В 1956 году московское «Издательство литературы на иностранных языках» обратилось ко мне с предложением дополнить и выправить этот перевод по новому, восьмитомному изданию произведений Шолохова на русском языке. Работа оказалась очень объемной, но с помощью русского контрольного редактора мне удалось ее завершить, и в 1960 году впервые на английском языке появился полный текст «Тихого Дона».

Затем я трудился над собственным переводом «Поднятой целины», а также ряда рассказов и неоконченной повести «Они сражались за Родину». Опыт этой работы внушил мне уверенность, что наступит день и я, пожалуй, попытаюсь преодолеть высшую трудность — перевод главной книги Шолохова. И когда в 1978 году издательство «Прогресс» предложило мне принять участие в издании Полного собрания сочинений Шолохова на английском языке, включая новый перевод «Тихого Дона», я охотно согласился, хотя и не без страха перед ложившейся на меня ответственностью. Удастся ли превзойти существующий перевод? Конечно, я буду стремиться сохранить близость к оригиналу, не опущу ни слова из текста. Но будет ли точный перевод хорошо читаться? Смогу ли я, не жертвуя точностью, добиться этого?

Во-первых, возникает проблема заглавия. Старый перевод вышел под двумя разными названиями (и это понятно: публикацию его 1-й и 2-й частей разделяют семь лет). К тому же оба они звучат несколько элегически (чего нет в оригинале): в них подчеркнута мысль о равнодушии и безразличии природы к делам человеческим. У Шолохова такой оттенок есть, но он не акцентируется. Шолоховское название более многозначно, пожалуй, даже иронично и, конечно, ассоциативно шире. Быть может, лучше всего дать дословный перевод? *Тихий Дон?* Но на английском это звучит очень прозаично, и человека, незнакомого с романом, может навести на мысль, что в книге речь идет о каком-то ученом — преподавателе одного из старых университетов[1]. Синонимы, близкие к quiet (тихий) — gentle, peaceful, silent, тут не помогут. По смыслу они ýже, чем quiet, и заключены в этом слове, как все их русские эквиваленты заключены в слове «тихий», так что quiet — самое подходящее определение. Но слово «течет» (flows), хотя и отсутствует в русском заглавии, очень важно для английского перевода: оно динамично, как и сам роман, и читатель не сомневается, что речь идет о реке. По-видимому, единственный камень преткновения — слово «и» (and). Опустив его, мы освободимся от элемента де-

[1] В университетах Англии словом «don» называют преподавателей *(прим. автора)*.

РОБЕРТ ДАГЛИШ — ROBERT DAGLISH (род. в 1924 г.).

Английский журналист, переводчик. Переводил книги Шолохова, Бондарева, Катаева, Шукшина и других советских писателей. Составитель и редактор русско-английских словарей. В его переводе в лондонском театре «Юнити» ставилась пьеса М. Шатрова «Большевики».

терминизма. Станет ли от этого заголовок менее поэтичным? Я уверен, что Шолохов хотел, чтобы название звучало не элегически, а скорее иронично, подчеркивая контраст между старым укладом жизни казаков и тем, что последовало в годы революции и гражданской войны. На мой взгляд, вариант «Quiet Flows the Don» наиболее точен, он создает настроение ожидания перемен и одновременно напоминает о том, что вечно.

Чем больше читаешь Шолохова, тем глубже ощущаешь значение природы в его произведениях. Это связано с эпическим стилем повествования и отсутствием «прямого» психологического анализа героев. С непревзойденным искусством романист вводит картины окружающей природы — воды, неба, птиц, животных — для создания атмосферы не только тревоги, но и бунта, разочарования, надежды или стойкости. Это не «эмоциональные метафоры»: Шолохов не говорит о море, что оно — «смеялось», он говорит именно о том, как ведут себя воды Дона, и воздух над ними, и птица в этом воздухе, и заяц, запутывающий свои следы на снегу. Происходящее в природе очень тонко связано с тем, что происходит в сознании шолоховских героев. Иногда его описания ярки и сочны, порой их отличает акварельная мягкость. Ни одним словом Шолохова нельзя пренебречь.

У Шолохова важны и повторы. Так, во второй главе он говорит о тумане, «идущем на дыбах» через Дон и скользящем, как безголовая змея, к подножью скал. Выражение «на дыбах» (обычная литературная форма — «встать на дыбы») встречается у Шолохова часто. В главе, где Григория снова охватывает любовь к Аксинье, Шолохов говорит о дыме из трубы, встающем дыбом перед бледным серпом месяца, скрывающимся за розовым облаком. Я уверен, что здесь, как и в других случаях, переводчик должен бережно сохранить образ, не прибегая к избитым глаголам «взвиваться» или «подниматься».

Когда заходит речь о переводе текстов Шолохова, обычно встает вопрос: как справиться с диалектизмами? Потери здесь неизбежны. Но потери лишь в форме.

С годами Шолохов избавлялся от чрезмерного насыщения своих книг диалектизмами, но в его диалогах по-прежнему остался четкий казацкий колорит. И это закономерно. Выходец из Уэллса будет говорить иначе, чем уроженец Лондона или Йоркшира. Хотя современный русский читатель имеет слабое уже представление о том, как говорили казаки в 1910—1920 годах, он уверен, что казаки говорили в то время иначе, чем он.

Иностранный читатель в этом отношении будет менее требователен. Он уже окунулся в «местный колорит», в незнакомую обстановку, в непривычно звучащие имена действующих лиц — его больше интересует, что говорят герои, а не то, *как* они говорят, при условии, что их речь не противоречит целому. Словом, в данном случае это не должна быть городская «академическая» речь и уж, конечно, не легко узнаваемый английский или американский диалект. Для переводчика открывается здесь немало возможностей варьировать язык персонажей по признаку сословности: к примеру, речь простого солдата и офицера — таких различий в английском до сих пор много. Итак, проблема заключается не в том, чтобы буквально передать особенности языка Шолохова, а в том, чтобы точно понять смысл того, что говорится, и раскрыть речевое своеобразие этого автора живым и простым английским языком.

Пытаясь это сделать, я убедился, что волей-неволей возникает некоторая «модернизация»; она не всегда противоречит общей тональности, но все же следует держать ее под контролем. Дело в том, что английский язык постоянно обогащается новыми способами выражения новых или не новых чувств, которые близки нам и сегодня, и важно выбрать из них те, что соответствуют атмосфере донского казачества, жившего около полувека назад. Так, например, трудное русское словосочетание «опостылевшая жизнь» лучше всего, на мой взгляд, перевести как «a life that had gone sour on him» (жизнь, ставшая ему невмоготу) вместо «the wretched life he was leading» (проклятая его жизнь) — именно это казалось лучшим вариантом раньше.

Одно время считалось, что рассказы Толстого о крестьянах нельзя передать на английском без использования слова «изба». В таком случае переводчику Шолохова следовало бы насытить текст словами вроде «курень», «башлык», «шашка», «черкеска», «хутор», «станица» и другими типично казацкими речениями, а наряду с ними и наименованием чинов в казачьих частях, которые отличались от званий в русской армии. Я сохранил некоторые термины в местах, где это необходимо для понимания текста, например «станица», указав в сноске, что это единица административного деления казачьей территории. Вообще же я считаю, что читателю, скажем, важнее знать, что казаки надевали для работы в поле обрезанные кавалерийские сапоги (раньше всего изнашивается голенище), чем ломать голову над тем, что же такое загадочный «чирик» — мокасин, сандалия или носок?

Читатель может подумать, что мой новый перевод «Тихого Дона» радикально не отличается от старого, если не считать того, что восстановлены купюры и отсутствуют (я надеюсь) неточности. Что ж, может быть, «революция» в переводе и не нужна. Задача, наверное, состоит в том, чтобы найти свежий подход к каждому слову шолоховского текста, подвести современного читателя и будущие поколения к пониманию значения великого романа. Хочется верить, что перевод, в котором я старался воспроизвести полноценное звучание каждого слова, восстановить художественные пропорции романа и идейно-политическое его звучание, поможет читателю составить достаточно верное представление об этом произведении, почувствовать особенности шолоховского письма.

Перевод с английского Е. ЛИДИНОЙ

К 80-летию
со дня рождения
Робера Десноса

Г. ВАСИЛЬЕВА

«ПОЭТ, НЕРАЗЛУЧНЫЙ С ВДОХНОВЕНЬЕМ»

Роберу Десносу, как мало кому другому, удалось удивительно полно выразить в своем творчестве дух французской поэзии. Яростный бард пиратов и разбойников и галантный трубадур, певец Прекрасной Дамы, восславленной им в стихах редкой красоты и искренности, автор дерзких народных куплетов, строго классических сонетов, мудрый философ и детский сказочник, журналист, кинокритик и сценарист,— он поразительно многогранен.

Судьба Десноса, которого справедливо считают гордостью французской поэзии XX века, отражена в его творчестве.

Один из ведущих поэтов сюрреализма, Деснос, однако, едва ли не первым порывает с этой школой, активно участвует во французском движении Сопротивления и погибает в фашистском концлагере в 1945 году. Имя этого поэта, ушедшего из жизни молодым, в расцвете сил и таланта, овеяно легендой мученика.

Буржуазное литературоведение во Франции приложило немало усилий для того, чтобы высветлить лишь сюрреалистическое прошлое поэта, представив его как певца любви, талантливого лирика и мастера поэтической техники и импровизации, оставив в тени Десноса — трибуна и борца, сатирика и агитатора, взывавшего в годы фашистской оккупации Франции к уму и совести соотечественников.

ВАСИЛЬЕВА ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА

Советский литературовед, переводчик, кандидат филологических наук. Автор статей, посвященных творчеству известных французских поэтов XX века: Робера Десноса, Поля Элюара, Тристана Тцара, Пьера Юника, Эжена Гильвика, Жака Гошерона и др.

Ровесник века, Робер Деснос родился в Париже 4 июля 1900 года. Его детство прошло в одном из самых старых кварталов Парижа — его «магический пейзаж» Деснос сохранит в сердце на всю жизнь. Снова и снова в его поэзии будет воскресать дух узких и кривых средневековых улиц, старинных церквей, собор Парижской богоматери, Гревская площадь, знаменитое «чрево Парижа» — рынок...

«Надо пожить в этом квартале Парижа, чтобы ощутить серный запах колдовства, который поднимается от этих улиц и грязных переулков,— скажет Деснос позднее.— Я провел десять лет отрочества в доме на углу улиц Сен-Мартен и Ломбард, играл в сквере у башни Святого Жака и видел, как на самой ее верхушке оживали три дракона и Святой Жак...»

Позже, когда Деснос будет зачитываться романами Гюго, они помогут ему заново открыть, «расшифровать» окружающий мир. В подвалах и дворах ему будет мерещиться прошлое Франции, на стенах и булыжниках своего квартала он будет искать следы былых заговоров, отгремевших революций, воображая себя то мушкетером, то санкюлотом, то коммунаром... Таинственные и милые призраки детства будут постоянно возвращаться потом к зрелому поэту. В 1942 году Деснос напишет горькие «Куплеты улицы Сен-Мартен», героем их станет его друг Андре Платар, участник Сопротивления, которого фашисты «схватили на рассвете»:

Мне улица Сен-Мартен не мила,
С тех пор как Андре Платара здесь нет.
Он был мой товарищ. Нас дружба свела,
Мы с ним делили досуг и дела.
С тех пор как Андре Платара здесь нет,
Мне улица Сен-Мартен не мила,

(Перевод М. Кудинова[1]*)*

Его друзьями были и клошары, и уличные танцовщицы, носильщики и продавцы рыбы. «Восхитительно свободный», насмешливый, острый на язык, он был своим на парижском рынке, где служил его отец. В первых юношеских поэмах он с симпатией и щемящей нежностью изобразит весь этот мир «потерпевших крушение».

Многие излюбленные герои Десноса — пираты, сирены, Фантомас, Дон-Жуан — пришли к нему из детских фантазий, порожденных непрерывным и жадным чтением.

Любовь к свободе, нетерпимость к какому бы то ни было притеснению и гнету, вкус к импровизации и острой шутке, страсть к таинственному и героическому — все эти рано проявившиеся чер-

[1] Цитируется по кн.: Робер Деснос. Стихи. М., «Художественная литература», 1970.

1928 г.: Группа сюрреалистов, Робер Деснос — крайний слева в нижнем ряду, рядом с ним Поль Элюар, справа стоит Андре Бретон.

ты характера Робера Десноса будут присущи и его поэзии.

Мальчику было четырнадцать лет, когда разразилась первая мировая война. В послевоенном Париже юный поэт сотрудничает в журналах, участвует в забастовках, окунается в жизнь артистической богемы. Вскоре жажда бунта и незрелый еще протест против буржуазной действительности приводят его в кружок сюрреалистов.

Программа сюрреалистов предполагала грядущее слияние мечты и действительности в своего рода абсолютную реальность — надреальность (surréalité). В качестве средства связи с действительностью сюрреалисты предложили идею «автоматического письма», то есть запись необработанного, импровизированного текста, якобы фиксирующего глубины подсознания без всякого контроля разума.

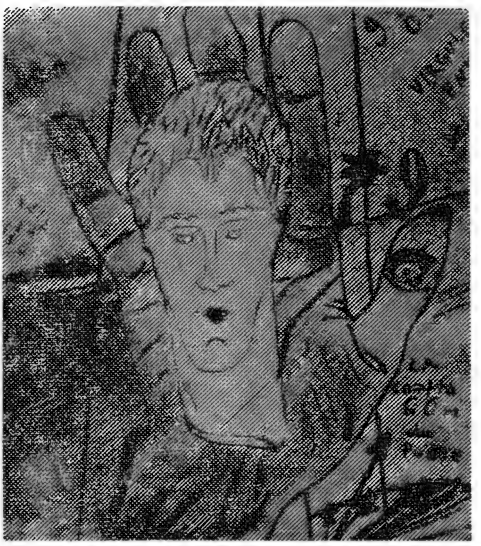
В 20-е годы сюрреалисты, среди которых было немало талантливых поэтов и художников, бросили вызов буржуазному обществу. Однако, желая переделать старый мир, они не умели найти для этого настоящие средства и пути.

Поначалу Робера очаровывает дух Революции, Свободы и Братства, который, как ему кажется, царит на встречах этих бунтарей от литературы во главе с Андре Бретоном. Бретон в восторге от новичка. Он называет Десноса «всадником авангарда, скачущим по неоткрытым землям», величает «одним из лучших поэтов» группы. Вскоре Деснос становится и в самом деле важной фигурой в сюрреализме: сюрреалистов захватывает «эпоха снов». На их «гипнотических сеансах» Деснос, обладавший поразительной чувствительностью, буйной фантазией и способностью к импровизации, неизменно превосходил всех. Об этом «восхитительном спящем» рассказывал Арагон в «Волне грёз» (1924):

> «В кафе, среди шума голосов и толкотни, при полном свете, Роберу Десносу стоило только закрыть глаза — и он говорил, и на кружки пива и блюдечки выплескивался целый океан с пророческими громами и пароходами, украшенными огненными знаменами. Вопрошавшие этого восхитительного спящего слегка укалывали его булавкой,— и тотчас же следовало предсказание, изреченное голосом мага, голосом откровения и революции, голосом фанатика и апостола...»

В те годы сюрреалисты занимали три «неприступные» крепости в Париже: улица Фонтэн, где жил Андре Бретон, улица дю Шато, где обитали Арагон, Превер и Садуль, и улица Бломе. Здесь, в доме № 43 по улице Бломе, и поселился Деснос. Здесь родились почти все его произведения, связанные с увлечением сюрреализмом. В студии Десноса не было никакого комфорта. Робер установил в ней огромную печь, диван, стол — мебель, купленную по случаю у старьевщика. Студия его никогда не пустовала. Даже в отсутствие хозяина здесь постоянно находился кто-нибудь из его друзей — ключ хранился в нише. У двери в ожидании сидели кошки. Деснос очень любил животных и кормил бездомных кошек со всего квартала...

«Бухгалтерия поэта». Акварель Робера Десноса.



Во «Втором Манифесте сюрреализма» Бретон скажет: «В отличие от наших первых попутчиков, которых мы никогда не стремились удержать, Деснос сыграл в сюрреализме необходимую, незабываемую роль...» Бретон, как свидетельствуют члены группы, с самого начала ждал «своего Рембо». И, как ему казалось, нашел его в Десносе.

В ранних сюрреалистических циклах Десноса «К загадочной» (1926) и «Сумерки» (1927), в словесных играх «Рроз Селави» (1922) и в поэмах в прозе «Траур ради траура» (1924) и «Свобода или Любовь!» (1927), где преобладают темы смерти и распада, взвинченный хаос «автоматического письма», отчетливо улавливаются разочарование и пессимизм, характерные для определенной части поколения французской молодежи 20-х годов, пережившего истерию и шовинизм мировой войны и отрезвление первых послевоенных лет.

Одновременно с опытами «чистого автоматизма» Деснос занимается «сюрреалистическими играми» — той «словесной алхимией», которой особенно охотно предавались сюрреалисты. В сборниках «Рроз Селави» и «Вареная речь» (1923), сталкивая сходные по звучанию, но далекие по значению слова и обороты, он создает «парадоксальные афоризмы», виртуозные тексты-головоломки.

При всей туманности отдельных высказываний-ребусов «Рроз Селави» в целом для поэзии Десноса, даже в период сюрреализма, характерна тяга к ясности, которая с самого начала отличала его от

других поэтов группы (Бретона, Пере, Кревеля, Лейриса). Он будет первым сюрреалистом, который провозгласит однажды «пришествие эстетики понятного».

Деснос выходит далеко за пределы предписанных Бретоном догм и ограничений, представая как тончайший лирик, чья взволнованная, романтизированная речь увлекает читателя в царство фантазии.

Полностью отдаваясь во власть мечты, гипнотического «погружения» в пласты подсознания, Деснос в то же время придает самое серьезное значение словесной форме, в которую они выливаются на бумаге, тщательно отделывает каждую строку. Как ни парадоксально, исступленный поток слов и забота о форме не вступают у него в противоречие.

Поэмы «Ночь ночей без любви» (1929) и частично «Сирамур» (1930) являются последней данью Десноса сюрреализму. Обе они посвящены любви, но если первая — песнь отвергнутого, вопль отчаяния и скорби, то вторая — гимн торжествующей любви, устремленной в будущее. Поэт побеждает одиночество и отчаяние, протягивает руку живой женщине, а не тени. Земная женщина входит в поэму Десноса в образе сирены. Два слова «сирена» (sirène) и «любовь» (amour), слившись вместе, дают заглавие поэме «Сирамур» («Siramour»). Поэт пишет о любви, осветившей его жизнь [1], рассказывает о тяжести «цепи символов, которая вела его от той, что была звездой, к той, что стала сиреной». С облаков поэт спускается на землю и обнаруживает, что она прекрасна.

По существу уже во второй половине 20-х годов Деснос «выламывается» из сюрреализма, ведет самостоятельную, сольную партию в «сюрреалистическом концерте». Особенность Десноса-сюрреалиста, проявившуюся в циклах «К загадочной» и «Сумерки», в пьесе-«антипоэме» «Площадь Звезды» (1927), в поэме «Свобода или Любовь!», составляет интерес к жизни, с ее страстями и радостями, который неизменно пересиливает мысли о смерти, зачарованность ее ликами. Деснос не знал таких порывов отчаяния, как, например, Элюар, автор «испепеленных» сборников «Умирать оттого, что не умираешь» и «Град скорби», отразивших боль человека, уставшего жить. В поэзии Десноса совсем нет болезненности на грани умопомешательства (Кревель, Арто), чужды ему и мысли о самоубийстве, весьма распространенные и «модные» среди сюрреалистов.

В 1930 году Деснос выпускает сборник «Душой и телом», где собрано все самое существенное, что было создано им за период сюрреализма. Книга явилась итогом «страстной, безумной юности» Десноса, в ней голос поэта зазвучал в полную силу, недаром одно из стихотворений, включенных в нее, так и называлось — «Голос Робера Десноса».

К моменту выхода сборника Деснос

[1] В 1928 году Деснос встречает Юки, которая позже станет его женой и верным другом до конца дней.

Портрет Юки Деснос работы японского художника Фужита.

фактически уже порвал с сюрреализмом.

На перемены, происходившие на рубеже 20 — 30-х годов в мировоззрении и творчестве Десноса, решающее влияние, несомненно, оказала обстановка тех лет: мировой экономический кризис капитализма, охвативший Францию, стремительный рост безработицы, волна забастовок в Париже и в провинции, рост влияния Французской коммунистической партии — все это не могло пройти мимо внимания поэта. Он обнаруживает, что столь бурно рекламируемая Бретоном «революционность» сюрреализма на деле оказалась миражем, что сюрреализм все глубже тонет в религиозно-мистических настроениях. Деснос убеждается, что назрела необходимость принять личное участие в общественной борьбе своего времени. Сама логика развития его поэзии вела от сюрреализма к новым, реалистическим тенденциям в творчестве.

Сюрреализм с самого начала был противоречивым явлением, что с неизбежностью должно было вызвать размежевание среди его участников. Через сюрреализм прошли и будущие поэты-коммунисты, борцы за свободу Франции (Арагон, Элюар, Тцара, Юник), и поэты, не принимавшие заметного участия в общественной жизни (Реверди, Супо, Шар), и откровенные реакционеры (Навиль, Алькье).

На рубеже 30-х годов с сюрреализмом порвали многие его бывшие привержен-

Робер и Юки Деснос с кошкой.

цы, в том числе Луи Арагон. Филипп Супо, несколько позже Поль Элюар. Деснос — во главе «раскольников»: он один из авторов сатирического трактата «Труп» (1929), направленного против «папы сюрреализма» Андре Бретона. Перу Десноса принадлежит и «Третий Манифест сюрреализма» (1930), где открыто излагаются причины его отхода от сюрреализма. «Верить в надреальное,— пишет он,— значит заново мостить дорожку к богу. Сюрреализм в том виде, как его определяет Бретон, представляет собой страшную опасность для свободного мышления, ловушку, исподтишка подстроенную атеизму, лазейку для возрождения католицизма и клерикализма». Свой «Манифест» Деснос заканчивает словами о том, что «сюрреализм уже канул в прошлое». Сам поэт признает существование «лишь одной-единственной всеобъемлющей реальности, доступной всем».

Деснос решительно вступает на новый путь, выводящий поэзию из тупика подсознания,—на дорогу ясности и разума, на землю, где живут «люди крутого нрава, люди работы трудной».

Выбравшись из лабиринтов разорванного подсознания, он обращается к поискам «поэтической речи, народной и точной... обыденной и лиричной». Характерно само название одного из стихотворений этих лет — «Товарищи». Своих героев Деснос ищет отныне не в сумерках, не в пучине моря, не в таинственных замках, но в толпе, над которой реет красное знамя.

Поэт вышел на улицу. В его стихах ощущается вихрь классовых бурь, проносящихся над Францией, отчетливо улавливается дыхание Народного фронта

Успех фантастической и бурлескной поэмы Десноса «Жалоба Фантомаса», переданной по радио 3 ноября 1933 года, был потрясающим. О ней разом заговорил весь Париж. Не меньший успех пришелся и на цикл «Обезглавленные» («Les Sans cou», 1934). Поэт говорит об «обезглавленных», погибших на эшафоте и на баррикадах, о людях, которые «родились слишком рано, которые, без сомнения, участвовали бы в грядущих революциях, если бы судьба не предрешила их гибель». Это — санкюлоты, это и коммунары, расстрелянные у стены кладбища Пер-Лашез...

«Большинство почитателей таланта Десноса испытывают к его «Обезглавленным» особое пристрастие,— считает критик Пьер Берже[1].— Одни слышат в этом цикле крики мятежа, другие очаровываются неистовой любовью. Правы и те и другие». Берже находит возможным провести параллель между автором «Обезглавленных» и молодым Маяковским: «Настало, быть может, время сказать, что между Десносом и Маяковским нет непроходимой пропасти. В царстве одного и в облаке другого некоторые из нас почувствуют себя как дома...» Друзей неизменно удивляла легкость и виртуозность, с которой Деснос, тонкий лирик, писал — и много — для газет и журналов. При этом он сохранял свою независимость и достоинство, что было совсем не легко: почти постоянно нуждаясь, Деснос должен был заниматься «литературной поденщиной». Арагон сказал однажды, что Робер «ни разу не опубликовал ни одной вещи, за которую ему пришлось бы краснеть». «Литературная поденщина», по словам Десноса, расширила его знания об окружающем мире. Мучительно осознает он зависимое положение художника в капиталистическом мире. «Разве газета печатается краской?— с горечью спрашивает он в статье «Наемники мнения» (1929), опубликованной в журнале «Бифур».— Может быть, но пишут ее главным образом нефтью, маргарином, углем, хлопком, каучуком, если не кровью...»

Летом 1940 года гитлеровские бронированные колонны дошли до Парижа. К негодованию трудящихся всей Франции,

[1] Robert Desnos. Une étude par P. Berger. P., Seghers, 1966, p. 72.

в июне 1940 года правительство принимает решение сдать столицу без боя.

Как жить дальше, не ползая на коленях? Робер Деснос без колебаний выбирает Сопротивление.

В поэзии французского Сопротивления перу Десноса принадлежит несколько блестящих страниц. Он был из тех, кто, по словам Арагона, в решительный час «раздавал свои песни от всей души, не спрашивая платы». В годы войны он пишет едкие, уничтожающие стихи о маршале Петене и коллаборационистах, сатирические памфлеты и грустно-философские сонеты, мятежные народные куплеты и прозрачные, бесхитростные стихи для детей. В этот период Деснос удивительно щедр и многогранен. Его голос «ночного сторожа Парижа», ставший отныне голосом всей угнетенной, но не сломленной Франции, то дрожит от негодования, то звенит как набат, взывая к отмщению, то переливается сверкающими нитями слов, звуками чудной, все нарастающей музыки, когда поэт пишет о грядущей весне, о Надежде.

Деснос был связан с группой Сопротивления «Действие» (Agir) и с движением «Борьба» (Combat), принадлежал к поэтам и писателям, объединившимся вокруг «Эдисьон де минюи». В поэтической антологии, подпольно выпущенной этим издательством, были опубликованы три поэмы Десноса, в том числе самая известная — «Ночной сторож на мосту Менял». В нелегальных изданиях поэт печатался под псевдонимом Люсьен Галлуа, Пьер Андрие, Валентен Гийуа, Канкаль.

В итоговый сборник Десноса «Судьбы» (1942) вошло все написанное поэтом в 1928—1937 годах, вслед за ним появились книги «Бодрствование», «Каликсто» и «Страна». Поиски «поэтической речи, народной и точной» в 40-е годы завершаются: последние произведения Десноса стали значительным явлением французской реалистической поэзии XX века.

В январе 1944 года, за месяц до своего ареста, поэт пишет «Размышления о поэзии». В этих лаконичных заметках отразились взгляды Десноса на место поэта в обществе, на цели поэзии. «Поэзия может говорить обо всем совершенно свободно»,— утверждает он. Поздний Деснос обращает взор к классикам французской поэзии — Вийону, Малербу, Буало. У Франсуа Вийона он предлагает учиться народности языка, точности, меткости и яркой образности. В «Размышлениях» Деснос приходит к выводу, что «великая поэзия может быть актуальной и необходимой, может быть поэзией обстоятельств».

22 февраля 1944 года Робера Десноса предупредили по телефону: «Не ночуйте дома». Он побоялся, что, если скроется, возьмут жену, Юки, и спокойно открыл дверь... Когда Десноса вели по улицам Парижа, со стен смотрели афиши его последнего фильма. На этот раз слова «Доброй ночи, дамы, доброй ночи, господа!» звучали как ужасная ирония...

Деснос попадает в тюрьму Френ, потом в Компьенский лагерь. Юки и друзья поэта сделали все, чтобы его спасти, но месть предателя, журналиста Лябре, сбежавшего потом в Испанию, помешала этому. Десноса переводят в Освенцим, затем в Бухенвальд. Мученический марш по лагерям смерти закончился в Чехословакии, в концлагере Терезин, где Деснос заболел тифом. Когда 8 мая 1945 года Советская Армия и чехословацкие партизаны освободили заключенных, состояние Десноса было уже безнадежным. Работавший в лагерном госпитале чешский студент Иозеф Штуна случайно обнаружил в списке узников имя Робера Десноса. Юноша, знакомый с французской поэзией, подумал: «Может быть, тот самый?» 4 июня он с трудом отыскал Десноса, и умирающий подтвердил: «Да, французский поэт...» Он был в лихорадке, совершенно истощен. Спасти его было невозможно. Деснос умер 8 июня 1945 года.

1940 г. Деснос — в очках, крайний справа, среди французских солдат, в казарме.

О ДЕСНОСЕ ВСПОМИНАЮТ

Поль Элюар:

«Из всех поэтов, которых я знал, Деснос был самым непосредственным, самым свободным, он был поэтом, неразлучным с вдохновеньем. Он мог говорить, как мало кто из поэтов может писать. Это был самый смелый из нас...»

Жак Превер:

«В Париже есть места, улицы, площади, мосты, с которыми навсегда связано имя Десноса, его присутствие, голос, его поэзия. Есть названия, которые нельзя прочесть без того, чтобы тотчас же не вспомнить его стихи, его смех...»

Эжен Гильвик:

«Среди поэтов, вышедших из сюрреализма, я высоко ценю Десноса. Не Десноса-сюрреалиста, но Десноса-реалиста, поэта французского Сопротивления. Он был прекрасным поэтом и на редкость обаятельным человеком, лишенным какой-либо претенциозности. С Десносом было просто — как с товарищем по борьбе, по общему делу. Как когда-то писал он сам в одном раннем стихотворении: «Был он чудесный малый, да, славный был малый...»

Филипп Супо:

«Робер Деснос начал сотрудничать в журнале «Литература» в 1922 году. Неистовый и великодушный, восторженный и в высшей степени чуткий, он был лучшим товарищем из всех, кого я когда-либо знал. Всегда готовый пожертвовать собой ради друзей, сразиться на смерть с теми, кого считал врагами... Он восхищался Арагоном и Бретоном. Думаю, что Элюар, столь непохожий на него, пожалуй, должен был его раздражать, но из этого ровно ничего не следовало: для Десноса дух братства был превыше всего.

Я присутствовал при одном из его «гипнотических сеансов». Он был поразительно одарен, у него был, что называется, дар божий. Но мне всегда казалось, что его «сны» — лишь предлог, который позволял безраздельно отдаться во власть присущего ему лиризма».

Мишель Лейрис:

«Деснос — великий поэт, он без претензий был поэтом «с большой буквы». Двери его дома всегда гостеприимно распахивались перед друзьями. Раз в неделю он оставался дома специально, чтобы их принимать,— а они приезжали со всех концов света. Это радушие тем более поразительно, что всего несколько лет назад он принадлежал к группе сюрреалистов, которым, напротив, был присущ дух сектантства... У него я познакомился в 1928 году с Алехо Карпентьером, примерно в то же время — с Мигелем Анхелем Астуриасом... В доме Десноса я встретил и Жана Луи Барро...

Во времена расцвета сюрреализма мы виделись часто. Потом — от случая к случаю, но ничто не омрачало наших отношений. В период оккупации мы снова встречались довольно часто, хотя участвовали в Сопротивлении в разных группах. В маленьком каталонском ресторане на улице Гранд-Огюстен, где иногда собирались Пикассо, Элюар и еще несколько товарищей, часто видели Десноса, который ежедневно заходил туда за обрезками мяса — для своих кошек».

Алехо Карпентьер:

«С 1928 по 1939 год мы с Робером Десносом виделись ежедневно. Это было уже после его разрыва с сюрреализмом. Робер сохранил добрые отношения с теми сюрреалистами, кто были его друзьями, но совершенно отошел от деятельности группы. Бретона он видел последний раз в мае 1928 года. Деснос питал к нему уважение — впрочем, все признавали, что Бретон был личностью, но авторы «Трупа», в числе которых были Кено, Превер, Лейрис, не выносили больше его претензий на роль верховного судьи...

Робер Деснос. Автопортрет-шарж.

Как мы жили в то время? Погибали с голода в кризисные 1930—1932 годы. Существовали за счет случайных заработков в газетах, которые агонизировали на наших глазах. Робер сотрудничал в «Суар» — но вскоре она прекратила свое существование. Я был спецкором двух гаванских газет — они тоже закрылись. Нам не хватало буквально всего: наша обувь была в самом плачевном состоянии, подметки износились, приходилось заменять их картоном. Хорошо еще, что у нас с Робером был одинаковый размер,— мы купили одну пару ботинок на двоих и надевали их по очереди... Поразительно: люди со всего света приезжали тогда на Монпарнас умирать от голода.

В 1932 году мы получили работу на радио. То были славные времена для парижского радио. Поль Деарм, один из его энтузиастов, казалось, нашел новый язык для общения с публикой. Он пытался привлечь на радио разных людей. Это он открыл Робера, который написал для него очень интересный текст и, в свою очередь, рекомендовал Деарму меня в качестве музыкального редактора. Получилось грандиозно: я стал художественным директором студии «Фонирик», а Робер Деснос — ее литературным директором. Он составлял программы, писал тексты радиопередач, сочинял рекламные тексты, которые сопровождались музыкой... Вместе с Куртом Вейлем Деснос поставил свою «Жалобу Фантомаса».

...Говорили, что у Робера Десноса вспыльчивый характер. Это не так. Робер никогда не был ни безумцем, ни фанатиком, просто он крайне серьезно относился ко всему, за что брался... Я его помню всегда очень влюбленным... То, что называли у него «исступлением», шло от непримиримости и чистоты: любовь для него значила все или ничего. Робер был совершенно не способен принимать некоторые вещи легко. Когда он отстаивал свои убеждения — шла ли речь о поэзии или о политике,— он делал это самоотверженно, с полной отдачей.

Дружбу он ценил не менее высоко, чем любовь... А кроме того, Робер был очень привязан к родителям, которые ничего не понимали в его поэзии, но которых он неизменно навещал каждое воскресенье.

В своей поэзии «гипнотические видения» он заменил вдохновением. Никогда Робер не правил своих стихов. Он писал их в один присест. Так, большую поэму «Ночь ночей без любви» он создал за одну ночь. Иногда он заменял одно слово другим, но никогда не переделывал всего целиком, убежденный, что стихотворение должно рождаться сразу... Поэзия была для Десноса деятельностью глубоко личной и тайной. Он был начисто лишен литературного снобизма. Отличительная черта Робера — и в этом мы схожи — заключалась в том, что он никогда не рассказывал, о чем в данный момент пишет. Впрочем, Робер был человеком очень скрытным. В нем как бы существовал некий барьер, за который он никого не допускал. Это напоминает мне фразу из фильма «Тележка с призраками», который Деснос очень любил: «Как только он перешел мост, призраки устремились к нему навстречу». Так было и с Десносом: вы доходили с ним до моста, а дальше он шел один. По другую сторону были его мечты, его призраки, его поэзия».

Г. ВАСИЛЬЕВА
«ПОЭТ, НЕРАЗЛУЧНЫЙ С ВДОХНОВЕНЬЕМ»

Кинокритик Ги Готье:

«В истории французского кинематографа имя Десноса стоит рядом с именем Ман Рея. Совместно они поставили два фильма — «Эмак Бакия» и «Морская звезда». Ман Рей был режиссером, Деснос — сценаристом. Последний фильм Десноса «Доброй ночи, дамы, доброй ночи, господа!» (режиссер Ролан Тюаль) вышел на экраны Парижа 15 февраля 1944 года. Несколько дней спустя Деснос был арестован и депортирован.

Кинематографическое наследие Десноса невелико. И все же оно свидетельствует, что поэт испытывал глубокую страсть к кинематографу. К сожалению, ему не удалось реализовать на экране все свои замыслы. Тексты поэтических сценариев Десноса, опубликованные уже посмертно отдельным сборником, позволяют судить о том, что мог бы Деснос принести кинематографу, если бы тот меньше гнался за прибылью и был более благосклонен к поэтам... Впрочем, Деснос создавал не только сценарии. В 1923—1930 годах он постоянно выступал как кинокритик. Его рецензии дают представление о том, чем было кино для Десноса... Кино он воспринимал как чудо... Очарование — пожалуй, этим словом можно точнее всего выразить, что же влекло его к кино. Поэзия, тайна, бунт — когда все это было в фильме, Деснос бурно аплодировал. Он аплодировал еще сильнее, если фильм сверкал как поэма... Что бы ни говорили о стиле критических заметок Десноса, когда сейчас, более чем через сорок лет, читаешь их, поражает одна совершенно очевидная вещь: все фильмы, которые он любил, сегодня стали классикой. Он восхищался Чаплином, Эйзенштейном, Пудовкиным... Вот что он писал в марте 1927 года о фильме Эйзенштейна «Броненосец «Потемкин»: «Вера и энтузиазм сотрясают этот фильм. Рамки экрана не становятся для него препятствием. Он насквозь продырявлен красными пушечными ядрами воображения. Эта картина ведет нас в скрытый за ней великолепный мир. Иногда кажется, будто слышишь биение сердец людей, способных верить... «Потемкин» поднял якорь в бессмертие и неудержимо идет вперед... Стихии, границы, люди бессильны перед ним, его киль — нематериальный — сокрушает самые грозные рифы»...

Главное, однако, заключено вот в чем. Другие кинокритики, возможно, тоже обладали безошибочным чутьем, но мало кто из них посвятил кинематографу столь прекрасные страницы: статьи Десноса, хотя и обращены к фильмам давно забытым, читаются как поэмы...»

Робер Лоранс, товарищ по заключению в концлагере:

«Я познакомился с Десносом в Компьене, в лагере Руаяль-Лье... Мы оба оказались в числе тех тысячи семисот четырнадцати узников, которых утром 27 апреля 1944 года эсэсовцы увезли из пересылочного лагеря Компьень... У вокзала толпились родственники и друзья заключенных, неизвестно каким образом оповещенные об отъезде. У меня в ушах еще звенит голос Десноса: «Прощай, Юки! Я вернусь...» Моя память хранит скорее голос, чем сами слова... Не буду пересказывать нашу одиссею. Она уже стала историей. Путь в никуда. Три дня без остановок мы ехали в вагонах для скота, по сто человек в каждом... В конце четвертого дня поезд прибыл в зловещий пункт назначения: концлагерь Освенцим-Биркенау. Я до сих пор так и не знаю, почему наша колонна была направлена в Освенцим, куда в то время посылали только евреев. В Освенциме я вновь увидел Десноса. Невозможно в нескольких словах рассказать об ужасной жизни рядом с печами крематория. К счастью, нашлись люди, которые перед лицом смерти пытались поддержать если не моральное состояние, то, по крайней мере, достоинство этой подавленной толпы...

Деснос вдруг проявил дар ясновидца, предсказателя будущего. Обвязав голову платком наподобие турка, поэт гадал заключенным по руке, каждому обещая счастливый исход, веселые приключения, безоблачное будущее. Увы, все это казалось таким невероятным! Тем не менее около него собиралась очередь. Никто не смеялся... Конечно, Деснос не верил ни в какую хиромантию. Он был атеистом... Позже, когда я узнал его лучше, я понял, что он — из тех, кто морально очень крепко стоял на ногах... В Освенциме нам выжгли номера на левой руке. Мы потеряли там двести человек...

В Бухенвальде из нашей колонны отобрали тысячу узников, куда попали и мы с Десносом, для отправки в концлагерь Флосенбюрг в Вогезах... Там я и сблизился с Десносом. Я любил расспрашивать Робера о его нормандских корнях, поскольку сам я из Нормандии. Фамилия «Деснос» — нормандского происхождения, она часто встречается в Орне... Я интересовался его мнением об известных современных писателях. В нескольких словах он дал прямую и суровую, но справедливую характеристику Франсуа Мориаку, Андре Моруа, Жюлю Ромену, Жоржу Дюамелю.

Робер сочинял в то время длинную поэму под названием «Негр-кирасир». Он читал нам отрывки из нее — звучные, музыкальные, но не очень понятные. Текст поэмы писался на кусочках папиросной бумаги, которые бережно складывал в коробку из-под сигарет его друг Роделъ, тоже сочинявший стихи. Коробка исчезла со смертью Роделя... В прошлом сюрреалист, Деснос, однако, высоко ценил классиков. Поражая нас удивительной памятью, он читал наизусть целые монологи из Расина, стихи Виктора Гюго,— мне казалось даже, что дух Гюго незримо присутствовал в его поэме «Негр-кирасир».

На новый, 1944 год Деснос организовал среди заключенных «фестиваль» народных песен. Мы пели старинные песни разных провинций Франции. Деснос знал их множество...

Робер был одним из немногих, кому чудом удалось получить несколько писем из дома. Письмо Юки было пронизано воздухом Парижа. Было также письмо от Жана Луи Барро и Мадлен Рено. Деснос щедро делился с нами своей радостью...

Конец войны приближался. Наши надежды на избавление росли. Но росло и число трупов в лагерных бараках. Дождемся ли мы освобождения? Казалось, это был вопрос времени...

Апрель 1945 года. Массовое бегство фашистов. Тиски сжимались все крепче. Нас погнали в Чехословакию. Оборванные, покрытые вшами, похожие на живые скелеты, мы вызывали ужас у населения окрестных деревень. Я замечал, как при виде нас женщины плакали... Десносу разбили очки. Почти ослепший, поэт двигался на ощупь, с трудом переставляя ноги... И наконец — лагерь Терезин в Чехословакии. 8 мая я увидел Десноса около казармы СС, куда нас поместили. Он показался мне каким-то просветленным. Я тогда и предположить не мог, что это наша последняя встреча...

Я вернулся во Францию только 23 июня, совершенно истощенный, но безмерно счастливый тем, что мне удалось выжить. Там я узнал, что Робер Деснос умер в Терезине».

ПИСЬМО ДЕСНОСА ИЗ КОНЦЛАГЕРЯ ЖЕНЕ ЮКИ

Любовь моя!

Наша боль была бы нестерпимой, если бы мы не принимали ее как болезнь, которая должна пройти. Встреча после разлуки украсит нашу жизнь по крайней мере на тридцать лет. Я вернусь к тебе молодым, полным сил и любви!.. Не знаю, получишь ли ты это письмо ко дню рожденья. Я хотел бы тебе подарить сто тысяч сигарет, двенадцать платьев от лучших портных, квартиру на улице Сены, автомобиль, маленький домик на опушке Компьенского леса [1], дом на острове Бель-Иль и букетик ландышей за четыре су. В мое отсутствие всегда покупай цветы — ты будешь за это вознаграждена. Все остальные обещания я выполню позднее.

Но прежде всего открой бутылку доброго вина и вспомни обо мне. Верю, что друзья не оставят тебя одну в этот день. Благодарю их за преданность и мужество. Неделю назад я получил пакет от Жана Луи Барро. Поцелуй его и Мадлен Рено, эта передача является для меня доказательством, что мое письмо дошло. Я не получил ответа, но жду его каждый день... Что сталось с моими книгами? У меня в голове сейчас тысячи замыслов — новые поэмы, романы. Жаль, нет ни возможности, ни времени их осуществить. Все-таки можешь сказать Галлимару, что через три месяца после моего возвращения у него будет рукопись любовного романа в совершенно новом жанре. На этом кончаю.

Сегодня получил четыре письма от Барро, Юлии, доктора Бене и Даниэля. Поблагодари их и извинись за меня, что не могу ответить. Я имею право только на одно письмо в месяц... Любовь моя, целую тебя так нежно, как только позволяет цензура, через которую будет проходить мое письмо. Целую тебя тысячу раз...

28 марта 1944

Робер

■ ■ ■

При жизни Десноса вышло лишь несколько поэтических сборников. Все, изданное посмертно его друзьями и вдовой, уместилось в одной книге «Всеобщее достояние».

В 70-е годы найдены новые, не публиковавшиеся прежде произведения Десноса, в том числе стихотворения и поэмы, написанные в фашистском застенке. Они вошли в сборник «Несправедливая судьба» (1975) и двухтомник «Новые Гебриды и другие» (1978) [2].

Стихи из этих сборников мы и предлагаем вниманию нашего читателя. Творчество Десноса периода Сопротивления уже известно у нас в стране по переводам М. Кудинова, П. Антокольского (см. «ИЛ» № 9, 1963; № 1, 1970).

Город

В городе, где чёрта тянут за рога,
В городе закрытом и открытом,
В городе, где можно все купить,

[1] Деснос находился в заключении в Компьенском лагере.

[2] Robert Desnos. Domaine public. P., Gallimard, 1953. Destinée arbitraire. P., Gallimard, 1975. Les Nouvelles Hebrides et autres textes. P., Gallimard, 1978.

В городе без крова и угла,
В городе без веры и закона,
В городе, где нет родства,

В городе, где столько развлечений,
В городе, где плачут леденящими слезами,
В городе, где час двенадцатый не бьет,
Я не знаю, что там происходит,
Потому что не был там еще...

1930

Пробуждение

Странно: иногда вдруг проснешься среди ночи,
разбуженный стуком в дверь...
И, прислушавшись, услышишь,
как в удивительном ночном городе
полуснов и воспоминаний
хлопают глухо входные двери.
Кто он, этот ночной посетитель с незнакомым лицом?
Что он ищет? Что караулит в ночи?
Может быть, это нищий, выпрашивающий хлеб и ночлег?
Может быть, вор, а может быть, птица?
Или наше собственное отражение в зеркале,
наш образ, вернувшийся из туманной бездны,
чтобы снова войти в нашу плоть?
И этот образ вдруг замечает,
что мы изменились,
что ключ не поворачивается в замке́
таинственной двери нашего естества.

Что с ним сталось?
Где бродит он?
Может быть, занемог?
И не так ли
рождаются призраки?
Сны?
Сожаленья?

Не стучи в мою дверь, ночной посетитель!
Им нет больше места
в доме и сердце моем,
этим старым, угасшим образом прошлого.
Может быть, ты и узнаешь меня.
Я же тебя не узнаю.

1930

В пять часов

В пять часов утра на пустынной улице
услышал я шум
удаляющейся машины.
Разбито стекло,
осколки в ручье.
Лужа крови на мостовой.
Кольца дыма расходятся в воздухе.
Эй, люди! Расскажите, что здесь произошло.
Проснитесь! Я хочу знать, что произошло.
Хочу понять постушки людей.

1936

Перекресток

На перекрестке этом вас охватят воспоминанья
о минувших встречах,
о странных, смешных и безумно важных
историях, которые здесь случались.
Ничего здесь не изменилось.
Та же витрина аптеки, оранжевая и зеленая,
и глазурью покрытые вывески баров,
та же песня прохожего,
те же дома,
мостовая все та же,
и тротуары не изменились,
то же небо.
А все же ты остановишься именно в этом месте:
вдруг обретешь здесь уверенность в своих силах
и аромат ушедшей любви,
безвозвратно ушедшей в туманное никогда.

1937

Лучшее время года

Ничто так не схоже с вдохновеньем,
Как хмель весеннего утра,
Как к женщине страсть.
Хочу стать каждым прохожим,
С наслаждением ставить ноги на землю,
Всей грудью вдыхать свежий воздух...

Я сегодня пою не о том, что надо преодолеть,
А о том, что мы должны защитить:
Радость жизни,
Вино, которое пьешь с друзьями,
Любовь,
Жар очага зимой,
Речную прохладу летом,
Хлеб на столе,
Песню, с которой легко в пути,
Постель, где можно заснуть,
Сон без нежданного пробужденья,
Без страха
Перед завтрашним днем,
Свободу бродить по свету,
Чувство достоинства
И еще много-много других вещей,
В которых так часто отказывают человеку.

Я люблю и пою весну в ее цветенье,
Я люблю и пою лето с его плодами,
Я люблю и пою радость жизни,
Я люблю и пою весну,
Я люблю и пою лето — время года, когда этот мир я увидел.

1938

Составление и перевод с французского Г. ВАСИЛЬЕВОЙ

◆

Заметки на полях

В ПОИСКАХ ПУТЕЙ ДУХОВНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ

По страницам книги Шазли Клиби

Для арабских стран, переживших антиколониальную революцию, создавших либо воссоздавших национальную государственность, вопрос об облике новой культуры стоит чрезвычайно остро. Рост национального самосознания в освободившихся странах все больше приводит передовую интеллигенцию к убеждению в том, что духовная культура не может развиваться изолированно от других сфер жизнедеятельности, что она органически связана с конкретным общественным строем. В странах, где колониализм разрушил традиционные связи человека со средой, не выработав равноценной им замены, проблема новой культуры означает сегодня и напряженный поиск «национального лица», и стремление занять достойное место в современном мире, и понимание необходимости сократить разрыв между образованной элитой и неграмотным в подавляющем большинстве населением. Эти и многие другие вопросы регулярно поднимаются на страницах политических и литературно-художественных журналов арабских стран.

К числу тех, кто активно участвует в этой идущей поверх государственных границ культурологической дискуссии, относится избранный недавно генеральным секретарем Лиги арабских государств профессор Шазли Клиби, бывший в течение ряда лет министром культуры и информации Туниса. В своей деятельности на новом посту Клиби выступил активным инициатором кампаний в поддержку справедливой борьбы арабских народов, в защиту прав народа Палестины, против соглашения в Кемп-Дэвиде. Эта позиция высоко оценивается в Советском Союзе, что подчеркнул товарищ Л. И. Брежнев в поздравительной телеграмме на имя Шазли Клиби по случаю 35-й годовщины со дня основания Лиги арабских государств. Шазли Клиби хорошо известен в арабском мире и как ученый, историк, литературовед, языковед, автор книг «Взгляд на арабскую поэзию», «Арабы и проблема Палестины», «Проблемы религии и современность». Его статьи по самым разным вопросам культуры систематически появляются на страницах арабских газет и журналов.

В 1978 году Шазли Клиби объединил ряд своих статей и выступлений в книге «Культура — залог цивилизации». Собранные в ней фрагменты посвящены проблемам соотношения материальной и духовной культур, национального и всемирного, современного и традиционного. Метафоричность, экспрессивность, апелляция к художественному чувству, даже некоторая орнаментальность авторского стиля, уходящая корнями в арабо-мусульманские художественные традиции, не наносит, однако, ущерба логической строгости.

Нужно заранее отметить своеобразие мышления Шазли Клиби. Мы не найдем у него законченных определений. Это не случайно. Клиби, будучи представителем развивающейся страны, отказывается воспринимать культуру как нечто застывшее, каноническое. Такой подход объясняется еще и тем, что культура его родины, Туниса, которая в прошлом спрессовала в единое целое столько влияний, и ныне стремится, освобождаясь от элементов подражательности, оставаться в то же время чуткой и открытой современному миру. Несмотря на ярко выраженный «авторский взгляд», размышления Клиби выходят далеко за рамки субъективных оценок: в них отражается нечто общезначимое для культурных исканий во всех арабских странах. Для нас эти размышления интересны еще и потому, что они являют собой образец прогрессивной мысли как раз в том регионе, который в настоящее время, на рубеже 70—80-х годов, охвачен взрывом общественно-политической активности исламского «неоконсерватизма».

Одна из основных частей сборника, выступление Шазли Клиби на семинаре по вопросам культуры в тунисском городе Ка-

фе, имеет очень характерное заглавие — «Культура — это всегда диалектика». Эти слова могли бы стать суммарным выражением авторской концепции. Национальная культура видится Клиби неким силовым полем, возникающим в результате взаимодействия нескольких пар противоречий. При этом основное противоречие, по мнению Клиби, это «человек — общество». Культура же выступает связующим началом двух сторон данного противоречия. Что это значит? Клиби считает культуру той сферой, в которой сопрягаются индивидуальное творческое усилие и социальная потребность.

«Культура действенна только тогда, когда ее можно сравнить с тетивой натянутого лука, где на одном конце — индивидуальное устремление человека, его воля к творчеству, а на другом — потребность больших человеческих масс осознать условия своего существования, свою судьбу, которую им надлежит выковать, чтобы заслужить право принадлежности к человеческому роду».

За экспрессивным образом «тетивы натянутого лука» нет, казалось бы, ничего, кроме обычной констатации: с одной стороны, культура есть творение единиц, с другой — предпосылкой и основанием ее самовоспроизводства выступает человеческий коллектив. Клиби, однако, не останавливается на констатации типа «с одной стороны — с другой стороны». В том-то и дело, что сопрягаемость индивида и общества в культуре достигается, по его убеждению, в непрерывной борьбе этих двух начал, в их совместном, как выражается Клиби, «сражении за прогресс». «Сакафа мунадаля», культура-борьба,— вот чем представляется ему один из аспектов «общего знаменателя». Клиби пишет:

«Подлинная культура не может не быть борющейся культурой, она не может существовать в изоляции от того, чем живет общество... Для нас сегодня культура — это сражение за прогресс, за непрерывное развитие, борьба против всякой отсталости».

В приведенных высказываниях Клиби особенно важным представляются характерное для передовой интеллигенции постколониальных обществ неприятие буржуазного индивидуализма, отказ от культуры, не отвечающей потребностям большинства народа. Культура, как ее понимает Клиби, не должна быть отгорожена от злобы дня. Чуждая всякому академизму, она должна идти навстречу актуальности, и в этом Клиби справедливо видит залог ее здоровья, ее воспитующее значение и преобразующую функцию в обществе.

Наряду с тем положительным, что содержат эти взгляды Клиби, нельзя не отметить и определенной их умозрительности. Клиби не конкретизирует вопрос о типе личности и социальных основах развивающегося общества, тогда как, например, революционно-демократические деятели в ряде арабских стран органически увязывают проблему формирования «нового человека» с социалистической ориентацией. Так, Национальная хартия Алжирской Народной Демократической Республики 1976 г. гласит:

«Если социализм формирует нового человека, то построение социализма — дело рук человека. Новый человек, человек социалистического общества, не может явиться сам собой. Это не просто гуманистическое пожелание. Это — остережение против схематизации и механистических умонастроений, столь частых в отсталых обществах. В социалистическом обществе особый упор будет сделан на инициативу и творческий дух каждого человека».

При подобной трактовке проблемы «человек — общество» национальному культурному развитию как бы сообщается революционный импульс и идея «сражения за прогресс» обретает более конкретные черты.

Представление о культуре как об «общем знаменателе» человека и общества имеет у Клиби и другой оттенок. Подлинная национальная культура, с его точки зрения, непременно является и элитарной, и массовой. Он призывает к элитарности не в смысле отгороженности культуры от масс, а в смысле отбора лучшего. Под массовостью же Клиби понимает не низкопробность культурной продукции, а подлинную ее народность, органическое включение культуры и искусства в процесс развития нации, строительства нового общества.

Опираясь на опыт планнирования и организующую роль государства в других областях, Клиби провозглашает принцип планирования культуры. План национального культурного развития должен, по его мнению, отвечать трем основным условиям: носить всеобъемлющий характер, то есть включать в себя и общие цели развития, и конкретные способы стимулирования культуротворческого процесса; отвечать принципу непрерывности планирования, что позволяет осуществлять необходимые корректировки; последовательно проводить гуманистическую ориентацию.

Диалектический характер культуры раскрывается у Клиби и в другом аспекте. Если единство противоположностей «человек — общество» является ядром его социологии культуры, то философия культуры Клиби строится вокруг другой диалектической пары: «человек — незримое». Многозначность арабского термина «аль-хаиб», используемого в данном случае, позволяет предположить, что «незримое» у Клиби несет смысл, во-первых, еще не познанного, скрытого от человеческого разума до поры, во-вторых, трансцендентно-божественного. То, что философия культуры светского мыслителя Клиби имеет прямой выход на ислам, несомненно, и он сам это подчеркивает. Не случаен и выбранный им термин, который фигурирует в одном из эпитетов Аллаха — «алим аль-хаиб», «всеведущий», что буквально означает — «тот, кому открыто незримое».

Проще всего было бы предположить, что Клиби как государственный и общественно-политический деятель мусульманской страны обращается к исламу за идеологической санкцией и необходимым при определенной конъюнктуре подспорьем. Такие

случаи прагматической «утилизации» ислама в арабском мире действительно нередки. То, что ислам сформировался и предстает одновременно как религиозно-философская доктрина, этическая норма, правовой код, наконец, как отстоявшийся быт миллионов,— все это позволяет ему, по удачному выражению советского ученого Леонида Васильева, быть «замкнутой, но достаточно свободно саморегулирующейся системой». Присущая исламу «неотъемлемая слитность духовного и светского начал» во многом определяет развитие культуры в современном арабском мире. И то, что действие этой детерминанты не отменяется порой с усвоением рафинированных элементов «европейской цивилизации» (как в случае с Клиби), лишь подчеркивает ее силу.

Для того «светско-религиозного» единства, в котором вращается мысль Клиби, «инсан уа аль-хаиб» (человек и незримое) — явления полярные и разъять их нельзя. Игнорирование одной из этих взаимопроникающих (в арабо-мусульманском сознании) противоположностей и гипертрофия другой, настаивает Клиби, ведет к уродливому, однобокому развитию культуры.

Как отнестись к этому тезису Клиби? «Аль-хаиб» — это еще и «то, чего нет». Обращение к тому, «чего нет», к тому, что выводит за горизонты существующего,— это у Клиби не просто красивая логическая конструкция. Для него как представителя развивающейся страны в этом тезисе выражен идеал национального возрождения. Идеал, прогрессивный по своему содержанию, ибо он определяется экономической и духовной независимостью, добиться которой развивающимся странам значительно труднее, чем получить формальную государственную самостоятельность. Клиби пишет:

> «После завоевания политической независимости существеннейшей нашей задачей стало возрождение цивилизации. Важно, чтобы этот процесс был гармонично уравновешенным: экономическое развитие не должно отделяться от социокультурного. При отсутствии такого равновесия почва под возводимым зданием грозит стать зыбкой».

При постановке задач преобразования общества таким образом культура естественно выдвигается в центр преобразовательной деятельности. Однако, предостерегает Клиби, нужна осторожность, нельзя допускать того, чтобы культура стала только инструментом мобилизации масс, ибо ее подлинное назначение — «приводить народы к осознанию своей участи и своей судьбы, поднимая их на новую ступень ответственности». Национальная культура, как ее понимает Клиби,— это «средство строительства новой жизни». Чтобы действительно стать таковой, она не может, не должна оставаться достоянием меньшинства нации. Поэтому из трех основных направлений развития культуры — освоение культурного наследия, распространение культуры в массах, культурный обмен с другими странами — Клиби наиболее подробно останавливается на втором. Причем задачу распространения культуры Клиби понимает не только и не столько как ликвидацию неграмотности (как раз в этой области Тунисским государством сделано очень много: на нужды образования стабильно затрачиваются высокие суммы, которые в отдельные годы достигали трети национального бюджета). Распространение культуры тогда только не является поверхностным, когда в народных массах рождается неподдельная творческая активность, когда культура не вносится извне, а становится коллективным творением. Клиби особенно настаивает на этом моменте, и отсюда его пристальный интерес к различным видам фольклорного творчества, любительскому театру, к такому массовому искусству, как кино. Демократизм, народность, постоянная связь с запросами масс — так можно было бы резюмировать одно из основных требований Клиби к культуре развивающихся стран.

В этой связи встает еще одна проблема. Для арабской культуры, в частности для литературы и театра, глубоко небезразличен вопрос о языке. Он стоит особенно остро, когда речь заходит о драматургии, которая может быть по-настоящему значимой лишь в своей театральной реализации, то есть в контакте со зрителем. На каком языке говорить с народом? Многие арабские писатели, драматурги, языковеды сводят этот вопрос к простой дилемме: либо литературный арабский язык, доступный лишь неширокой пока прослойке образованных, либо народно-разговорный язык. Клиби, чей способ рассуждения вообще с трудом приемлет жесткие «или — или», подходит к этому вопросу с иных позиций. Касаясь, в частности, проблем арабского театра, он пишет:

> «Дело не в языке, который мог бы быть неким эталоном литературности, представляя сумму определенных грамматических правил. Главное — чтобы драматург был способен почувствовать секреты речи, ее дыхание, ощутить, как в языке бьется пульс окружающей жизни».

Иными словами, Клиби и здесь отстаивает принцип народности: культура, небезразличная к реальным проблемам своего общества, считает он, всегда найдет свой язык, одновременно доступный и богатый выразительными средствами.

Итак, культура может стать средством строительства новой жизни, лишь будучи коллективным творчеством. Но это не все. Стремясь определить наиболее оптимальную, с его точки зрения, ориентацию культуры во времени, Клиби провозглашает необходимость ее триединой основы: знание прошлого и бережное отношение к нему, четкий и беспристрастный анализ настоящего, твердая вера в будущее. Пафос такого триединства связан не с оглядкой назад, а с попыткой отвоевать себе право на движение вперед — «опираясь на национальное наследие и выходя за рамки повседневности, выковывать будущее».

В этом тезисе Клиби не одинок, он размышляет в русле очень популярной в арабских странах (и вообще на современном Востоке) темы, которую можно было бы сформулировать так: «Борьба за прошлое — это борьба за будущее». Как отмечал, на-

пример, крупный марокканский историк и социолог Абдалла Ларуи, «познание прошлого формирует настоящее, и это настоящее преображает прошлое».

Вопрос о национальном наследии для такой страны, как Тунис, не прост. Свободный от националистических предрассудков, Клиби пишет о том, что «идея тунисской арабской культуры» (именно идея, не более того — автор осторожен в выражениях) возникает лишь с воссозданием самостоятельной тунисской государственности в середине 50-х годов. Смысл этой идеи — в попытке синтезировать общеарабское, региональное и местное. Клиби заявляет:

> «Каждая арабская страна вправе считать себя одним из центров арабской культуры... Современная арабская культура формируется, следовательно, на основе специфического, характерного для каждой данной страны, и общего, что эти страны объединяет».

Идея тунисской национальной культуры чужда, таким образом, всему узконациональному (всякое узконациональное культурное движение, считает Клиби, не способно создать значительных ценностей). Национальная культура должна стремиться к самоопределению прежде всего в рамках арабского мира, затем, как бы концентрически сужая захват, в рамках магрибинского региона (так называемый Великий Магриб исторически включает Алжир, Тунис Марокко, Ливию) и уже только потом — в рамках собственно тунисской специфики. В арабо-магрибинском наследии Клиби выделяет в первую очередь, безусловно, ислам, но не забывает и о более древних влияниях — Карфаген, Рим, варвары. Широко входит в рассуждения Клиби и тема сотрудничества с культурами развитых стран, но он подчеркивает, что, заимствуя из-за рубежа формы и методы, важно наполнять их «тунисским духом»: только тогда заимствование перестает ощущаться как нечто инородное, чуждое и естественно входит в органику «своего».

Подводя итог размышлениям Клиби, хотелось бы отметить одну их специфическую особенность. Диалектичность культуры, как ее понимает Клиби, заключается в том, что каждый из элементов и принципов развития культуры должен быть уравновешен и дополнен другим, отличным от него, либо противоположным (так, индивидуальное культуротворчество корректируется социально значимой потребностью, старое и новое взаимно дополняют друг друга и т. д.). Этот своеобразный «принцип дополнительности», попытки создать гармонию абстрактно противоположных начал пронизывают все искания Клиби.

По многим параметрам клибиевскую концепцию национальной культуры можно охарактеризовать как умеренно-реформистскую. Ее отличия от революционных концепций культуры в развивающихся странах достаточно заметны: развитие культуры представляется не как культурная революция, а как «гармоническое» синтезирование различных элементов; неприятие Запада означает не критику капитализма, а скорее отрицание «чужого», «экспортированного», «неарабского», наконец, собственная традиция оценивается часто некритически, без должного отделения живых элементов народного творчества, служащих питательной средой для современной национальной культуры, от архаически окостеневших форм религиозного сознания. Сказанное не означает, однако, умаления идей Клиби. Необходимо лишь подчеркнуть, что его воззрения на национальную культуру — только часть духовной жизни современного арабского мира.

В заключение несколько слов о названии книги. «Ас-сакафа рихан хадарий» переводится как «Культура — залог цивилизации». Но корневые структуры этих арабских слов подсказывают и более развернутый смысл: «сакафа» — это духовный аспект культуры; а «хадара» — ее материальный аспект. Значит, «духовность культуры — залог ее материального прогресса»? Такого рода зависимость можно было бы расценить как философский идеализм. А это как раз менее всего может быть поставлено в вину Клиби.

Шазли Клиби пишет, что он больше всего боится, как бы современный араб не оказался «в ситуации человека, страдающего одновременно и от пустого живота, и от наглухо закрытого горизонта». Клиби, разумеется, сознает, что горизонт, открываемый усилием мысли, не наполнит животы. Но его интерес прикован скорее к другому: только та духовная культура, которая многомерна и обогащена глубокими диалектическими взаимосвязями (индивидуальная и коллективная, элитарная и народная, самобытно-национальная и открытая в мир),— только такая культура может органически включиться в общий процесс национального развития и стать залогом подлинных, социально прогрессивных преобразований. В противном случае, предупреждает Клиби, страну, выбирающую свой путь, ожидают социальный регресс, интеллектуальная слаборазвитость, мракобесие.

В. МАКСИМЕНКО,
В. ШАГАЛЬ

◆

Публицистика

РЕПОРТАЖ ИЗ КАБУЛА

АННА СЛЁЗОВА

ВИД ИЗ ОКНА

День 27 апреля 1979 года останется в памяти как совсем особый: первая годовщина революции. Вечером я записала:

«Встала в половине 8-го, светило яркое солнце, вышла на балкон. Кабул зеленел внизу, тишина такая, что не слышно даже привычного шума патрульных вертолетов. Парад начинался в восемь, и, позавтракав, я побежала в зал смотреть телевизор.

Праздник начался с военного парада, потом — демонстрация. Идет в основном молодежь — лицеи, техникумы, институты, университет. Во главе каждой колонны — группа танцоров, исполняющих национальный танец, кажется, что вся демонстрация кружится в вихре красного цвета. В красное затянута правительственная трибуна, красные околыши офицерских фуражек, красные платья лицеисток, рубашки студентов, жилетки танцоров, алым обтянуты барабаны, над головами — пурпурное море флагов, транспарантов, с неба город засыпают красные, похожие на тюльпаны, листовки, на всех языках Афганистана на них написаны революционные лозунги и призывы.

Шелестят листовки, ревут моторы, шумит и поет толпа, все это многоголосье организуется в единое целое ритмом глухих ударов барабана.

Операторы работали плохо, а может, так было задумано, но мы не видели лиц, глаз — только толпу, флаги, танцы, цветы...

В три часа поехали в посольство. Едем глухими улочками, где с трудом протискивается машина, поражает контраст блеска телевизионного парада и тревожного молчания города.

Смеркается, на западе, на сером, темнеющем небе чернеют горы с огнями иллюминации на вершинах. Через час оттуда протянутся гигантские руки света прожекторов...

Возвращаемся домой часов в девять вечера, из дуканов[1] доносятся ароматы пряностей, старики неторопливо пьют чай, изредка кинжалом поблескивают глаза. Молодежь веселится...

Дома меня ждет мой друг — лицеист Ахмад Валид. Мы пьем чай. Азартно, как шарик в пинг-понге, он бросает слова. Валид не знает русского и говорит по-английски, английская речь звучит резко и гортанно, как слова его родного языка.

— Амин — предатель, многих людей расстреливают ни за что, трупы сбрасывают в реки... Народ не простит ему этого.

Я молчу.

— Конечно, я могу говорить с вами об искусстве или о своей семье, но я хочу, чтобы вы знали правду и рассказали о ней своим друзьям.

— Вы были на демонстрации?

— Да, был, конечно... Это праздник революции.

— Хотите еще чаю?... (Я думаю о том, что вчера во время киносеанса арестовали двух студентов, они были активными участниками апрельских событий прошлого года...)»

■

9 месяцев я работала в Афганистане учителем — преподавателем русского языка в Кабульском автомеханическом

[1] Дукан — лавка, магазинчик.

СЛЁЗОВА АННА ГЕОРГИЕВНА.

Советский педагог. Окончила филологический факультет Московского университета им. М. В. Ломоносова. Преподаватель кафедры русского языка для иностранцев гуманитарных факультетов МГУ им. М. В. Ломоносова. Публикуемая рукопись — фрагменты из ее записок об Афганистане.

техникуме, куда приезжали студенты из всех провинций Афганистана изучать машины и русский язык. Нашим ученикам по 18—25 лет. Нередко урок превращался в серьезный разговор о жизни. Помню, как повторение грамматического материала на основе специального текста «Относительность покоя и движения» закончилось обсуждением проблемы о том, кто создал мир и человека. А на переменах на нас каскадом сыпались вопросы на «посторонние» темы.

— Учитель, мы занимаемся в советском техникуме, нас спрашивают друзья: — Когда наступит коммунизм в СССР?

— Победит ли революция в Афганистане?

— Правда ли, что Ленин был другом Карла Маркса и они вместе «делали войну» с фашизмом?

— Как лечить грипп?

— Начнет ли Китай мировую войну и когда?

— Что у вас принято есть на обед?

— Что делать, если брат выгоняет из дома?

— Будет ли СССР помогать афганскому народу в его революционной борьбе?— и т. д. и т. п.

Понятия «учитель», «ученичество» уже почти потеряли в нашем сознании первоначальную значимость, значительность: часто для нас учиться — значит просто получать новую информацию, а учитель — это источник информации, как книги, газеты, журналы — и только.

В Афганистане учитель — это не профессия, это — образ жизни. Там сохранилось еще некое благоговейно-трепетное отношение к человеку, который вводит в жизнь, раскрывает мир и всей своей жизнью создает живой образец поведения человека в этом мире,— к учителю.

— Кем вы хотите стать, когда окончите техникум?

— Учителем, как мой учитель.

Учителя нельзя называть по имени, так он высок, только «муаль», «остад»— мастер, как звание.

Учитель сыграл огромную роль в судьбе многих наших студентов.

— Учитель мне давал книги Ленина, Маркса, рассказывал, почему мы живем бедно, а другие — богачи. Когда он говорил о жизни трудящихся, мы «плакáли».— В устах «вечерника», взрослого, обремененного заботами и семьей человека этот рассказ о преподавателе языка дари убеждал особо.

— О коммунизме мне рассказал учитель, он — француз.

Ихваны[1], совершая бандитские налеты на деревни, прежде всего убивают учителей, сжигают школы.

Мне рассказывали о судьбе молодого учителя, прошлой весной окончившего университет в Кабуле. Летом начался его первый учебный год. Он уехал работать в Нуристан, там почти нет школ. Осенью в деревню пришли ихваны, они предложили учителю перейти на сторону контрреволюции, он отказался. Тогда бандиты зверски убили его, серпом отрезали нос, уши, руки, голову...

И все же:

— Кем вы хотите быть после окончания техникума?

— Учителем, как мой учитель.

■

Я прилетела в Кабул 22 сонболя 1357 года, вылетев из Москвы в ночь на 13 сентября 1978 года. Привычные, устоявшиеся представления о времени смешались, превратясь в ничто, от них осталось лишь воспоминание.

В первые дни, например, ставили в тупик, да просто пугали ответы на вопрос:

— Когда вы родились?

— Я родился в 1340 году.

— Простите, когда вы родились?

И так же уверенно в ответ:

— Я родился в 1340 году.

— Подумайте, не спешите. Когда вы родились?

— В 1340 году, а может быть, в 1341 году, я точно не помню, учитель.

Я прекрасно знала, что в Афганистане сейчас XIV век, более того, целый год до поездки в Афганистан работала с группой японцев, по календарю которых шел 53 год эры Сёва. Я знала, что наше представление о времени относительно, но сознание просто отказывалось воспринимать дату — 1340 год...

■

Из письма домой, написанного на второй день жизни в Кабуле:

«Восток считают краем контрастов, в Кабуле я их пока не вижу: кругом одна бедность, один цвет — серо-коричневый, всех оттенков, с добавлением зеленого — деревья, синего — небо, желтого—солнце. Над городом стоит невесомая густая дымка пыли и зноя.

Мы живем в маленьком студгородке при кабульском техникуме. Городок окружен каменной стеной, нас охраняют 27 солдат с автоматами: здесь так принято, в аэропорту под деревом тоже сидел солдат, кого и что он охранял — не знаю, но сидел под деревом и покуривал...

Еще не приступили к работе. Жизнь Афганистана, его люди — пока словно декорация спектакля. Не знаю, не понимаю, и все впечатления заданы литературой — верблюды, базары, мечети, арыки и прочая экзотика.

Здешняя осень напоминает что-то вычитанное в книгах: опустевшие курортные города, голые блестящие ветви деревьев. Высоченный тополь, стройно стремящийся вверх, и где-то далеко, на его вершине, шапка золотых листьев; белые дома-дворики, чуть похожие на виллы, пестрые витрины магазинов, большая и малые гостиницы, широкие пу-

[1] Террористическая религиозная организация «Братья мусульмане» — «Ихваноль муслимин» (штаб-квартира в Каире)—возникла в Афганистане в 60-е годы, объявила непримиримую войну апрельской революции.

стынные мостовые; ветер, гонящий пыль; редкие прохожие, в основном иностранцы, и неподвижно застывший на корточках у обочины дороги старик в дастаре (это что-то вроде чалмы) и одеяле... Это Шари-Нау — богатая часть города.

Клочья снега все ниже и ниже сползают по склонам гор, и кажется, скоро дотянутся и до нас...»

Зимой, когда становится холодно, на плечах многих дукандаров (так называют мелких торговцев) появляются вместо привычных нам пальто одеяла: с каким достоинством обкручиваются ими афганские щеголи, превращая на своих плечах в роскошные средневековые плащи. Сходство усиливается вечером, когда видишь лишь силуэты в отблеске костров, согревающих торговые лавочки; что-то сказочное и торжественное есть в этом — черное небо, золотые апельсины, горой вырастающие у входа в дукан, рыжие языки пламени и черные складки плащей, жесты размеренны и торжественны...

В причудливом переплетении нового и старого учусь постигать величие и противоречия времени, о котором раньше только читала в книгах,— времени социального и духовного обновления страны, прожившей первый послереволюционный год.

Река Кабул издавна служила «прачечной» жителям Кабула, сюда приходили женщины с охапками грязного белья, в самоварах кипятили воду, стирали белье, а затем сушили его тут же на камнях на солнце, лоскуты одежды пестрели вдоль всего берега, превращая реку в яркий пояс города. В апреле этого года на берегах Кабул-дарьи сушили красные полотнища для транспарантов, а на веревках около красильных мастерских развевались на ветру, запутываясь краями, сиреневые, синие, серые чадры и алые полотнища будущих транспарантов. Кочевники, спустившиеся с гор,— огромные крытые машины везут их скарб; пение муэдзина, записанное на магнитофон; японский цветной телевизор, который стоит прямо на улице...

Демонстрация рабочих и студентов на извилистых улочках древнего города, красные тряпочки, изображающие флаг, и портреты Тараки на дукане, а там — дукандар в байковом халате — так, наверное, сидели в своей лавке его предки лет 200 тому назад.

■

Наш городок расположен у подножия Шер-Дарвазы на территории старого кладбища. Со всех сторон его окружают могилы, ползущие вверх по склону горы. Зимой, в период дождей, кладбище кажется страшным, днем при солнце это ощущение исчезает. На могилах играют дети: здесь они устраивают соревнования своих воздушных змеев — чей поднимется выше в небо и продержится там дольше. «Гуди паран» — воздушная игрушка — одна из излюбленных забав не только детей, но и взрослых. Зимой они устраивают свои змеиные воздушные бои. Местом этих соревнований часто становится Джелалабад. Но сюда на соревнования стекаются не только жители этого города, едут на велосипедах, машинах, а к багажнику прикручен огромный детский бумажный змей.

Змеев делают из кусков тонкой цветной бумаги — красной, синей, зеленой, желтой,— сочетания бывают самые невероятные, а сами змеи иногда могут достигать двух метров в диаметре. В Кабуле их продают в дуканах, вывешивают на заборах домов, и по количеству воздушных змеев можно догадаться, сколько детей в семье.

Для меня воздушный змей стал частью города Кабула и его символом. Сколько раз, выходя на балкон, я видела где-то внизу, в долине, город в дымке зноя и пыли, немой и настороженный, синее небо, прорезанное белой линией самолета, улетевшего туда, где очень трудно, где идут бои с контрреволюцией, и запутавшийся в этих белых линиях пестрый квадратик детского бумажного змея. Мы жили в бедном районе, и для окрестных детей воздушный змей был, вероятно, единственной игрушкой — они запускали его с утра до вечера, а кладбище — местом игр, фантастическим «змеедромом».

Камни могил, расположенные на южном склоне «нашей» горы, всегда были горячими и блестящими. В них отражались солнце и небо. Часто там можно было увидеть кого-нибудь из студентов сидящим с книгой в руке на могильном холме, облокотившись на камень, стоящий в головах, и задрав голову в сторону солнца: в общежитии холодно и шумно — трудно заниматься. А на склоне горы солнце, и там никто не мешает читать...

■

— Здравствуй, З., очень рада тебя видеть. Как дела?

— Хорошо... я записался добровольцем.

— Ты же в сентябре должен лететь в Москву!

— Да, если не умру... Мне бы только Москву увидеть, а там будь что будет...

З. 19 лет, его самая заветная мечта — увидеть Москву. Приехать в Москву сложно и дорого. На конкурсе «Знаешь ли ты Советский Союз», организованном на выставке СССР в Кабуле, он занял первое место и награжден бесплатным авиабилетом по маршруту Кабул—Москва — Кабул. Он пришел похвастаться этим билетом. Но...

— Убьют, парва надарад, учитель. Я афганец!

Перевести словосочетание «парва надарад» трудно, это не просто слово—это целая философия, не зная его значения, невозможно понять душу нации. Ближе всего оно нашему русскому «ничего, не страшно», но употребляется гораздо чаще нашего «ничего» и содержание его глубже.

Афганцы работают в поле: сколько терпения и труда нужно для того, чтобы сначала натаскать землю на каменистые склоны, закрепить ее там, защитить от зимних ветров, весенних дождей и летней засухи, а потом вспахать деревянной сохой на быках, а потом еще успеть вручную убрать урожай, и при всем при этом умудриться часами сидеть и думать или неторопливо пить чай в кругу друзей, отвечая на все назойливые замечания лаконичным «парва надарад» — «Ладно, ничего».

«Парва надарад» на все лады повторяют дукандары на базаре, вы купили рубашку, а на ней оторваны все пуговицы — парва надарад, ханум-саиб; у чашки отбита ручка — парва надарад!

Но «парва надарад» — это не просто ладно, наплевать! В этих словах и фатализм и мужество.

В Афганистане могут убить из-за угла за то лишь, что ты носишь на груди значок с изображением Ленина.

— Учитель, у вас есть значок с Лениным?

— Да, есть.

— Дайте мне.

— Нет, не дам. За значок вас могут убить.

— Парва надарад, учитель, я спрячу, дайте значок.

И зубы блестят в улыбке.

■

С конца марта 1979 года обстановка в стране становится все сложней и напряженней. У нас были студенты из Кунара, Пактии, Герата и Джелалабада, дома у них остались родители, братья и сестры; когда они приезжали домой на праздники, часто это был не праздник, а «война», в глухих кишлаках бандиты убивали просто за то, что парень — студент из Кабула.

В начале апреля студенты — члены НДПА[1] — начали исчезать после занятий: в течение двух недель каждый день их учили стрелять; потом прошла первая партийная мобилизация — многие студенты ушли в армию; во время беспорядков в Логаре (75 км от Кабула) на несколько дней мобилизовали всех членов НДПА техникума — студентов, ассистентов, преподавателей, директора. В городе проходили митинги — члены Демократической организации молодежи записывались добровольцами в отряды комитетов защиты революции. Многие даже на занятия ходили с оружием, спрятанным под рубашкой; каждый день в госпиталь привозили машины раненых.

Теперь студенты уже понимали, что революция — это не только митинги, марши, субботники, но и жестокая борьба, они понимали, что революцию надо защищать с оружием в руках, ценой собственных жизней.

— До экзаменов нам осталось повторить 20 вопросов, если на каждом уроке мы будем проходить по два, то успеем.

— Успеем, учитель, если не умрем.

Нам казалось, что студенты чуть-чуть бравируют возможностью скорой смерти и подвига, что им нравится шокировать преподавателей.

И все-таки это была не только мальчишеская бравада — из провинций в Кабул приходили тревожные вести, часть группы уже записалась добровольцами в отряды комитетов защиты революции, судьба многих семей студентов оставалась неизвестной. Я думаю, что в этих словах выражалось впитанное еще с молоком матери и песнями дедов осознание смерти как чего-то естественного и неумолимого, о чем можно говорить, не боясь сглазить, чего нельзя избежать, а следовательно, чему и не надо противиться. А еще в них звучали мужество и твердое осознание своего долга...

■

21 марта мы встретили Новый 1358 год по мусульманскому солнечному календарю.

Это было тревожное время: контрреволюция подняла мятеж в Герате. Рабочие и студенты — члены НДПА — дежурили по ночам на улицах Кабула, бронетранспортеры патрулировали город, вертолеты — небо, но комендантский час был отменен. Ведь 21 марта — праздник, Ноуруз — Новый год.

В городах в день Нового года у мест исламских культов устраивают народные гулянья. В Кабуле одним из таких мест была гора около нашего техникума, там возвышались белая мечеть и мавзолей, а чуть ниже склон ощетинился каменными иголками могил. 21 марта здесь выросли качели, карусели, появились лоточники, продавали бананы, мандарины, орехи, шашлыки, щербеты и прочую снедь. С горы до нас доносился шум, визг, смех и неизменная, по-детски нежная мелодия дудочки.

Ежегодно в этот день сюда целыми семьями приходят афганцы, люди побогаче приносят с собой еду, расстилают ковры прямо на могилах, степенно беседуют, пьют чай, каждого приходящего угощают чем-нибудь вкусным. На горе много наших студентов: там весело, а еще — можно вдоволь наесться.

Дети катаются на каруселях, запускают бумажных змеев, которые, взвиваясь в поднебесье, отважно прорывают сети белых нитей, сплетенные самолетами.

В день Нового года во всех городах, кишлаках и даже некоторых домах сажают первое в этом году дерево, проводят первую борозду, устраивают сельскохозяйственные праздники и выставки: Ноуруз — день начала полевых работ, день пробуждения земли. С этого дня снега, холодов больше не будет.

В нынешнем году все было как всегда: и карусели, и сладости, и традиционные

[1] НДПА — Народно-демократическая партия Афганистана.

«хафтсин»[1], и первая борозда, и юношески стройное и беззащитное первое дерево...

В Кабуле весна буйная, дружная и очень короткая. Цветет все сразу — яблони, вишни, персики, миндаль, кизил и совсем неизвестные нам кусты и деревья с пьянящим и дурманящим запахом. Зеленеют квадратики полей, и сверху город кажется мозаичным панно, выложенным плитками зеленого и коричневого цвета. Город купается в синеве неба, отражающейся в знойном воздухе, в снежных вершинах, в белых лепестках цветов.

А цветов в весеннем Кабуле — море. Первыми появляются тюльпаны с изломанными лепестками на тонких коротких ножках, они растут не только в горах, но и внизу, в долине, ютятся вокруг камней, прямо за домами. Тюльпаны продают на базарах — маленькие красные букетики за два афгани[2], ими украшают дуканы — огненные язычки дерзко пробиваются сквозь клубни молодого картофеля, грудой сваленного в углу овощной лавки, пламенеют в зелени лука и кинзы. Букетики тюльпанов привязывают к тушам баранов, сайгаков и буйволов, висящим в мясных лавках.

С наступлением тепла напротив «балапушного ряда»[3] вырос цветочный базар, появился целый квартал наспех сколоченных лавчонок, сверху донизу заставленных геранью в горшках, красной, белой, розовой, бело-розовой, пышущей зноем и солнцем. Здесь жители Кабула покупали герань и высаживали ее вокруг своих домов, на улицах, в парках, рядом с административными зданиями.

Но весенний Кабул — это не только благоухающие цветы и слепящее глаза солнце, это и грязь, и нищета, и смрадные запахи, идущие от бараньих туш, украшенных тюльпанами, и оборванные дети, и посеревшие от бессонных ночей и постоянных дежурств студенты.

Контрасты улиц, контрасты искусства, контрасты ритмов, красок, слов...

Студенты любили петь. Они пели после занятий, во время перемен и прямо на уроках, тянули себе под нос что-то грустное и тягучее...

Поражает, как тесно переплетены в сознании и поведении афганцев быт и его эстетическое осмысление, быт и искусство, как легко и свободно, а главное, органично в их жизнь входят краски, песни, стихи, метафоры.

Многие афганцы любят и прекрасно знают персидско-таджикскую поэзию. Стихи Рудаки, Джами, Саади, Низами и поэтов, писавших на языке пушту, знают наизусть, читают и поют не только профессиональные певцы и филологи.

Мне даже кажется, что каждый афганец в душе чуточку поэт, столько стихов окружает его в повседневной жизни. Коран написан белым стихом, и мусульманин должен хотя бы часть его сур знать наизусть; поэзия в форме притч, сказок, пословиц и изречений входит в жизнь афганца с младенческих лет и не покидает до старости — стихотворные рекламы зазывают посетить «лучшие в мире» дуканы, шашлычные, чайханы; вывески заботливо предупреждают об опасности переходить улицы не в том месте; аккуратно выписанные рифмованные таблички просят не мять цветы и газоны.

Речи ораторы на митингах часто начинают с чтения стихов. Стихи сочиняют рабочие, крестьяне, студенты, школьники. Профессиональных поэтов в Афганистане немного, но существует богатая традиция поэзии народных сказителей, об одном из которых — о поэте Ашкари, восьмидесятилетнем старике, не умеющем ни читать, ни писать, зато слагающем стихи и песни,— мне с увлечением рассказывали. Ашкари живет в Кабуле, имеет дукан в центре города, но люди приходят к нему не столько затем, чтобы что-то купить, а чтобы послушать стихи. Я видела портрет Ашкари — глаза в пол-лица, жесткие, пронзительные и мудрые.

Таких поэтов в Афганистане много, особенно ими славятся Бадахшан, Панджшир, Кучар.

Писали стихи и наши студенты, стихи о любви и о революции.

А еще они сочиняли и играли «драмы», причем это занятие казалось им необычайно занимательным и простым. «Драмой» в Афганистане называют короткие драматические сценки социального характера — «драмы» о жизни Дауда, «драмы» о новых фирманах[1] правительства. Одну такую «драму», сочиненную студентами, я видела на митинге в КАМТе, посвященном аграрной реформе. Перед зрителями разыгрывались сцены из тяжелой жизни крестьянской семьи (больная жена, больной сын, нищета, долги). В финале в дом крестьянина приходит студент из города с газетой в руках и разъясняет суть земельной реформы. Ребята играли страстно и увлеченно, а зал в восторге свистел и смеялся — высшее проявление одобрения.

Профессиональный театр в Афганистане создается только сейчас, после революции. «Драмы» играют актеры радио, телевидения, рабочие, студенты и лицеисты, а идут они в городских кинотеатрах, на временно сколоченных сценах на площадях, стадионах и в парках Кабула.

Благоговейно относятся в Афганистане к книге — Книге. Такого звания заслуживают не все печатные издания. Как везде, афганские мальчишки рисуют на полях своих учебников, дерутся ими на переменах, подрисовывают усы на портретах. Но есть книги — их окружает ореол святости. Иногда такой книгой становился учебник русского языка. Эти книги везде носят с собой, завернув в чистую тряпицу, как хлеб, их читают и

[1] Семь блюд, начинающиеся на букву «с» персидского алфавита, «хафтсин» — семь «с» — традиционное угощение на Новый год.

[2] Афгани — денежная единица ДРА.

[3] Так называли мы ряд магазинчиков, где продавались меха, шубы, куртки, шапки; «балапуш» шуба, пальто.

[1] Фирман — указ.

перечитывают, пересказывают друзьям, их отстаивают и защищают.

Студент первого курса на праздник поехал в свой аул. Аул находится в Нуристане, где чуть ли не с осени орудуют басмаческие банды. Дорога домой связана с риском для жизни, но там родители, жена, а он их давно не видел. В дорогу Ахмад взял с собой учебник русского языка. Издание Кабульского политехнического института. Дома отец тут же конфисковал опасную книгу, приказал сыну ее сжечь — за русский учебник «братья мусульмане» могли убить. Книга исчезла, но когда через несколько дней Ахмад собирался в Кабул и прощался с женой, она из какого-то своего сундука достала и протянула мужу учебник русского языка. Жена не умела ни писать, ни читать даже на родном языке, но со священным трепетом отнеслась к тому, что принес муж, ведь это была Книга.

Обратный путь в Кабул был сложным, дороги на Нуристан перекрыты.

— Я ехал на танке,— гордо заявлял Ахмад,— с учебником русского языка.

■

Традиция почитания книги (слова) берет свое начало в глубокой древности, в мусульманских же странах она со временем воплотилась в веру в чудодейственную силу «богооткровенной» книги — веру в Коран, который, по преданию, аллах диктовал Мохаммеду в течение двадцати двух лет.

Вопросы веры щепетильны и немного таинственны. Но все же я дерзну написать о вере в Афганистане несколько строк.

Господствующая и государственная религия в Афганистане — ислам.

Однажды я лично оказалась свидетельницей разговора о трудностях революции. Студенты были растеряны, впервые осознав, что сопротивление контрреволюционных сил будет длительным и жестоким.

— Новая власть дала крестьянам землю,— говорил один.— Если у матери умирает от голода сын, а ей дают хлеб— а новая власть дала крестьянам хлеб,— то мать будет благодарна человеку, накормившему ее сына, и никогда не поднимет руки на этого человека.

— Но наши женщины верят в аллаха: если сын умрет, мать скажет — это хорошо. Его взял аллах...

Радиопередачи начинаются с чтения Корана, митинги, собрания открывает мулла. Мы видели афганскую хронику первых дней революции: танк, первым ворвавшийся во дворец Дауда, на него легко и изящно поднимается священнослужитель весь в белом и освящает танк и революцию; 19 августа во время празднования Дня независимости Н. М. Тараки по телевидению на Коране объявляет «священную войну» экономической отсталости страны, неграмотности, невежеству и «братьям мусульманам».

В школах, лицеях, техникумах есть специальный предмет — религия. В этом году на уроках религии вместе с традиционным толкованием Корана разбирались вопросы соответствия законов нового правительства Корану.

Как-то войдя в аудиторию, я увидела, что мой студент-вечерник — солидный, чуть располневший мужчина средних лет — стоит во весь рост на парте, устремив взгляд в сторону Мекки,— он совершал намаз[1]. Такое приходилось видеть довольно часто. Совершали намаз солдаты охраны: прямо на посту расстилали свои молитвенные коврики, рядом клали автоматы; из окна автобуса я не раз видела крестьян, стоящих на коленях посередине крошечного поля, а рядом терпеливо ждали тощие мулы.

Веровали по-разному: некоторые — по привычке, так учили с детства, другие — с неистовым фанатизмом. Встречалась я и с людьми, относящимися к догматам религии критически, не принимавшими ортодоксальное вероучение, такими например, кому были близки терзания Ивана Карамазова и кто сетовал на то, что «Братья Карамазовы» не переведены на язык дари. Но были и другие. Рассказывали, что мулла дает верующим яблоко со словами:

— Если вы вкусите от него, то будете неуязвимы.

Яблоко пускают по кругу, а потом верующий может лечь под танк в полной уверенности, что он неуязвим. Вера в аллаха, в слово муллы оказывается могущественнее страха смерти.

Вера в действенную силу сакрального слова оборачивается в обиходе особым уважением и доверием к слову как таковому — слово может не только вдохновить на подвиги, но и сглазить, нагнать «порчу», смертельно оскорбить.

Дела и поступки уходят, а слова о них остаются в веках, передаются из поколения в поколение. И может быть, поэтому оскорбление бранным словом считается в Афганистане самым унизительным: сказать о человеке плохо страшней, чем его ударить.

«Рана от сабли заживает, а от слова — нет».

«Брань — это всегда оскорбление достоинства и чести человека».

«По велению чести афганец и в огонь бросится».

«Честь и из могилы встает».

И еще много подобных пословиц и поговорок можно было бы найти в духовной кладовой народной мудрости. Но гордые, независимые, идущие на смерть — за свою честь и честь любимой — герои сказок, поэм, легенд и песен в Афганистане не только ностальгическое воспоминание о прошлом. Обостренное чувство собственного достоинства в высшей степени присуще и современным афганцам, оно проявляется даже в мелочах. Например, на улице бегущий человек — редкость: с точки зрения афганцев, свободному человеку незачем суетиться. И жители Кабула не просто ходят, а шествуют по кривым улочкам своего города.

[1] Намаз — ежедневная молитва.

■

Апрель — это месяц буйных гроз, шумных дождей и радуг в полнеба. Машина мчится по Кабулу навстречу брызгам. Янтарно-жемчужную пелену дождя разрывают младенчески зеленые поля. За спиной вспыхивают молнии. Мы въезжаем под арку семицветной радуги.

В этот день один из студентов получил письмо от родных о том, что «братья мусульмане» сожгли их дом и убили старшего брата...

В техникуме проходят митинги, студенты записываются добровольцами в комитеты защиты революции, после митингов многие идут на стадион разучивать гимнастические упражнения для предстоящего парада. Город готовится к торжествам и обороне одновременно, студенты учатся стрелять и репетируют «драмы», разучивают новые песни, готовятся к параду и почти не ходят на занятия.

Весь город выкрашен и затянут в красное — дома, заборы, дуканы, вплоть до чехлов на машинах.

Красный цвет — королевский цвет, цвет пышных роз и огненных тюльпанов, красный цвет — цвет любви. В Афганистане на свадьбу невеста надевает красное платье.

Красный цвет — цвет крови, свободы и революции. Таким он стал этой весной в Кабуле. Студенты ходили на занятия в алых рубашках не каждый день, по праздникам. За это могли убить: рассказывали, как в Логаре «братья мусульмане» зверски расправились с лицеистом только за то, что на нем была красная рубашка. Но смельчаки продолжали ходить в красном, особенно в дни празднования годовщины революции — 7 саура [1].

По городу ползли слухи, что во время праздника «братья мусульмане» подложат баснословное количество взрывчатки под трибуны членов правительства, что было несколько взрывов в двух центральных мечетях, что всюду разбросаны листовки с угрожающим текстом: «Члены НДПА, берегитесь, скоро вам придется сбрить свои усы»... что из Пакистана пришел караван кочевников на верблюдах и с пулеметами... что Кабул в кольце, что... что... и что...

Каждый вечер небо расчерчивали лучи прожекторов, медленно ползли языки света по крышам, горам, небу, а то вдруг тревожно замирали в одной точке. Белые лучи рождались высоко в горах и светящейся сеткой накрывали долину, они казались частью иллюминации и превращали город в сцену какой-то торжественной и величественной мистерии, и эта сцена-город была разделена на два мира — света и тьмы: центр города в огнях — цветными лампочками светится вязь лозунгов, похожих на персидские ковры, дома, гостиницы, деревья, монументы, прожекторами сияет небо, взрываются фейерверки на центральном стадионе. Но в темноту погружены затаившиеся переулки и громады гор.

[1] 7 саура — 27 апреля.

■

Вспоминаю разговоры тех дней:

— Учитель, нам очень тяжело. У нас в семье я и старший брат за народный режим, отец — против.

— Ну вот,— говорю я,— двое против одного.

— Но я люблю своего отца, я не буду его убивать.

— И он не будет.

— Нет, будет, у нас в провинции каждый месяц отец убивает сына... Нам очень трудно [1].

Помню, по центральной улице шла группа — человек пятьдесят лицеисток лет по 15—17, впереди парень, выкрикивающий революционные лозунги и гневные слова протеста в адрес мирового империализма и внутренней реакции, а девчонки дружно вторили ему. Улица была безразлична к этому шествию: у каждого свои заботы. Это был очередной «марш» в Кабуле. Но эти мальчики и девочки очень быстро повзрослели. Уже в мае многие из них вместо транспарантов взяли в руки оружие.

Домой в те весенние дни я писала:

«Сегодня утром — ярчайшее солнце, седые от росы кусты, красные, белые, желтые огромные розы, иду на занятия, навстречу мне директор техникума, он же секретарь одного из райкомов Кабула. Улыбка во весь рот: «Доброе утро!»

Я: Доброе утро!

Он (*желая поддержать светскую беседу*): Ну, как ваши студенты?

Я уже готова расплыться в ответной улыбке.

Он (*продолжая*): Все живы? Все ходят на занятия?

— Слава богу, пока живы!

А вокруг — весна и лето сразу, буйная зелень и буйное солнце, розы, которых так много, что студенты рвут их, как мы ромашки, и нервно теребят лепестки вроде нашего — любит, не любит; любит, не любит...»

■

Моего ассистента звали Шир Замин — Лев Земли, в прошлом году он окончил техникум, ему шел 21-й год, членом НДПА стал в 14 лет. До революции партия существовала нелегально: если в общежитии у студента находили книги Ленина, Маркса или просто советские журналы, то за это жестоко избивали, исключали из техникума. Но бывший директор был по-своему честным человеком — он кричал на студентов, топал ногами, по его приказу студентов избивали, но никогда никого не исключили из техникума за членство в партии.

Начало самостоятельной жизни Шир Замина совпало с победой революции. Он ходил по техникуму хозяином, улыбался, казалось, что от счастья сияют не только огромные черные глаза его, но и ресницы, брови. Мы подружились, и он

[1] В Афганистане строго соблюдают традицию почитания старших — отца, учителя; по кодексу афганской чести сын не может поднять руку на отца, а отец на сына — может.

взахлеб рассказывал мне о новых преобразованиях в стране, о митингах, маршах, субботниках, о ночных беседах с крестьянами—по ночам члены партии уходили в деревни разъяснять суть указов Революционного Совета. С улыбкой и гордостью говорил о первых столкновениях с «братьями шайтана».

— А как ваш отец относится к революции?

— Он против. Если он узнает, что я в партии, он меня так,— и жест рукой по горлу.

— Зарежет?

— Да. Он темный, он не умеет читать, писать. Он ничего не знает. Если ему сказать, что вождь пролетариата Ленин, он скажет — аллах. Он дукандар, у нас много земли.

Еще у Шир Замина была мечта поехать учиться в Москву, жениться и иметь много детей, конечно, всех мальчиков.

В феврале у его отца отобрали излишки земли, а в марте «братья мусульмане» сожгли их деревню. Налета «ихванов» ждали, поэтому в каждую семью дали оружие, членам партии — пулеметы. Но кто-то из крестьян перешел на сторону «братьев мусульман», тогда органы безопасности (встречалось при Амине и такое!) разоружили всю деревню, в ту же ночь с гор спустились бандиты, напав на безоружных, сожгли все.

— Я не знаю, где мой отец, где брат... Говорят, они спрятались в горах.

— Они живы?

— Не знаю. Мне сказали, что живы.

В апреле Шир Замина призвали в армию как члена партии.

Увиделись мы только через месяц. Я возвращалась домой с вечерних занятий. У дороги на корточках, как всегда, сидели какие-то ребята, я почувствовала на себе чей-то пристальный взгляд, обернулась, улыбка одного из них показалась мне знакомой. Это был Шир Замин. Он встал, подошел, мы поздоровались за руку.

— Я вас сразу не узнала.

— Парва надарад, нас отпустили из армии на выпускной вечер, я остался еще на день.

— Вы долго еще будете в армии?

— Я должен воевать, я солдат... Я пришел проститься.

Через две недели я улетела в Москву, больше мы не виделись. Осенью, когда эти заметки были закончены, я получила письмо из Афганистана, в котором мне писали, что Шир Замин погиб, защищая революцию...

Сколько раз я слышала в эти дни: «Я должен, это нужно моему народу!» Студенты месяцами не получали из дома писем, они не знали, что с их близкими: с отцом, матерью, женой. Они только знали, что дороги перекрыты, что в провинциях орудуют банды «ихванов», что после их набегов от деревни ничего не остается, что их отца и мать могут убить за то лишь, что дети учатся в красном Кабуле... И все-таки: «Я должен!»

— Учитель, как я устал.— В голосе тоска и грусть.— Неужели летом не разрешат поехать домой? Я уже восемь месяцев не был дома...

— Скоро каникулы, через месяц вы будете дома.

— Да, скорее бы.

Через неделю М. по партийному призыву взяли в армию. Он еще как-то раз появился на уроке, возмужавший, повзрослевший, а на мой вопрос, долго ли он еще будет в армии, твердо ответил:

— Пока будет жив хоть один враг революции...

М. пишет стихи, мечтает попасть в институт, где учат только русскому языку, способности у него к изучению языков феноменальные — за год он научился говорить по-русски почти без ошибок.

— Война — это страшно... Люди просто шли по улице, они ни за революцию, ни против. Они просто гуляли... Потом бульдозером убирали трупы.

— Вы о чем?

— Неделю назад в нашем городе были «ихваны»...

Я вспоминаю Халила, завуча техникума. В апреле лестницу, по которой он поднимался в техникум, и его самого осыпали цветами, тогда, после революции, он только начал работать, а в декабре, по этой же лестнице, ссутулившись, он уходил из техникума навсегда. Позже я узнала, что Халил погиб от пыток в аминовской тюрьме.

Я слышу слова вечерника, его растерянное:

— Меня уволили, я двадцать лет проработал на заводе. Я не знаю за что... Жена? Нет, не знает. Я говорю, что ухожу на работу...

Из окон моей аудитории сквозь тучи пыли я вижу санитарную машину, подъехавшую к одному из дувалов, из нее выходят автоматчики, сверху видно, как они медленно входят во двор, в дом, появляются через несколько минут, впереди устало идет человек, нельзя понять— молодой или старый, за ним автоматчики, поодаль за ними, странно подпрыгивая, бежит женщина, ветер рвет концы ее серого покрывала. Люди движутся бесшумно, бесшумно тронулась машина, без единого звука, прямо в пыль на дорогу упала женщина и вытянулась вперед, в сторону уходящей машины и красного полумесяца.

(В конце весны начались аресты, в тюрьмы бросали студентов, преподавателей. Амин забирает полноту власти в свои руки.)

И слышу звонкое, мальчишеское:

— Я буду счастлив отдать свою жизнь за народ, за революцию. Я не боюсь оказаться в тюрьме...

И на прощанье:

— Я хочу, чтобы вы знали правду, расскажите об этом своим друзьям...

Город тихо уплывал вдаль, показавшись на прощанье весь разом во всей своей мозаичной красоте,— под крылом самолета покачивались дома-дворики, мечети, минареты, базары, дороги...

Никогда раньше я его таким не видела. Ночью из окна моей комнаты он казался звездным небом, опрокинутым в озеро, днем пугал своей бедностью. Самолет набирал высоту, город медленно уходил в ущелья, прятался в снегах Гиндукуша, вновь превращаясь в заманчивую тайну и далекую сказку о садах Семирамиды.

Июнь 1979 года

■

ФИЛЛИП БОНОСКИ

НА ТОЙ НЕДЕЛЕ В ЯНВАРЕ...

Анализ одной фальсификации

Вечером 8 января я вылетел в Кабул. Развернув в самолете свежий номер «Интернэшнл геральд трибюн», я узнал, что по приземлении в Кабуле, который «недавно был ареной ожесточенных боев между советскими и афганскими частями», я не увижу ни одного вооруженного афганского солдата: советские войска, сообщала газета, «разоружили всех афганцев».

Первое, что я вижу, сходя по трапу самолета на кабульском аэродроме,— афганский солдат, застывший по стойке «смирно», в руке у него — винтовка с примкнутым штыком. Второе, что я вижу, входя в зал ожидания,— еще один афганский солдат, на этот раз с автоматом.

Так дальше и шло все те восемь дней, что я пробыл в Кабуле: «война», которую мне довелось там наблюдать в те дни, была войной слов. Кабул жил мирной, упорядоченной, деловой жизнью. А в эфире вокруг него бушевала радиовойна, развязанная Би-би-си, «Голосом Америки» и многими другими «голосами». «Война» в Афганистане была войной за умы, за общественное мнение. Здесь, на месте событий, я своими глазами увидел правду — и то, как ее убивают.

В Кабул прибыл чуть ли не весь корпус иностранных корреспондентов из Москвы плюс еще две сотни западных репортеров, примчавшихся в Москву, как только прошел слух, что журналистам будут давать въездные визы в Афганистан. Здесь, в далеком Кабуле, меня окружали знакомые лица. Мне выпало на долю стать непосредственным свидетелем попытки — не имеющей, пожалуй, прецедентов в истории журналистики — оболгать не одного какого-нибудь человека, а целый народ, целую революцию. Если в Москве западные корреспонденты занимались этим, так сказать, в умеренном темпе, то в Кабуле они предприняли яростную массированную атаку. Вопрос обсуждался в Организации Объединенных Наций. Картер обвинил Советский Союз в «незаконной военной оккупации Афганистана», и ему позарез нужны были «свидетельства» корреспондентов, чтобы придать своему обвинению видимость солидности. Требовалось ковать железо, пока горячо: Картер отчаянно нуждался в этих материалах, чтобы оказать влияние на мировое общественное мнение и на американских избирателей, причем нуждался в них срочно.

Газетчики, обрушившиеся на Кабул в ту памятную неделю января, отбросили — за недостатком времени и по бесцеремонности — протокольные приличия и фиговые листки, которыми прикрываются обычно. Они начали орудовать с такой беспардонностью, что в конце концов Афганистан был вынужден выдворить их за пределы страны. Но прежде чем это случилось, успели по-садистски отомстить этому народу, отчаянно сражающемуся с отсталостью, вся «вина» которого состояла в том, что он пытается сбросить со своих плеч вековое бремя нищеты и угнетения!

■

На протяжении восьми дней своего пребывания в Кабуле я знакомился с обстановкой на месте и писал корреспонденции в нью-йоркскую «Дейли уорлд».

Простой американец обычно не имеет возможности проверить, насколько правдива информация, которую поставляют ему газеты, телевидение и радио: они не принадлежат ему и находятся за пределами его досягаемости. Много событий должно было произойти в истории, что-

---

ФИЛЛИП БОНОСКИ — PHILLIP BONOSKY (род. в 1916 г.).

Американский прогрессивный писатель, публицист. Начал печататься в 1947 г. Советские читатели знакомы с творчеством Ф. Боноски по вышедшим в русском переводе романам «Горящая долина», «Волшебный папоротник», критико-публицистической книге «Две культуры», по рассказам и статьям в периодической печати. В «ИЛ» печатались отрывки из его книги путевых очерков «За пределами мифа. От Вильнюса до Ханоя» (№ 12, 1972). Фрагменты из дневника «На той неделе в январе...» получены редакцией в рукописи.

бы маленький литовский оборвыш, родившийся в пенсильванском городке Дукейн, очутился в Кабуле, где он воочию мог увидеть, в чем состоит правда. И много событий совершенно особого рода должно было произойти в истории, чтобы сделать из него человека, который, отправляясь в Кабул, принципиально противостоял бы нравам и повадкам наемного буржуазного писаки.

В каждом неграмотном афганце я видел своего отца, в каждой неграмотной афганской женщине я видел свою мать. Мои родители жили и умерли в Америке, где они так и не научились читать и писать. Афганский крестьянин, у которого только теперь начинает разгибаться спина и просыпаться сознание, счастливей моего отца и матери. В недалеком времени — если Америка будет подальше держать свое оружие — он научится писать и читать: ради этого совершилась афганская революция.

Не взяв на себя труд оглядеться по сторонам, представители буржуазной прессы сразу же принялись нападать: агрессивные, оскорбительно грубые и наглые, они вели себя так, будто высадились в какой-нибудь «банановой республике». Проведя в Кабуле неполные сутки, совершенно безразличные к тому, что на самом деле происходит в стране, как живет ее народ, чем он занимается, они ринулись в заранее спланированное пропагандистское наступление, имеющее целью подбросить «факты» в доказательство того, что советские войска являются-де «оккупационной силой», «враждебной и встречающей сопротивление», а ежели таких фактов не обнаружится— добыть их откуда угодно. И добывали. Из собственной головы.

Все это вышло наружу — наглядно и бурно, как взрыв,— на первой пресс-конференции в Челстунском дворце 10 января. Незабываемое зрелище для тех, кто присутствовал там! Выдавая визы иностранным журналистам, правительство Кармаля исходило из того, что ему нечего скрывать: пусть представители прессы сами убедятся в этом и оповестят мир об истинном положении дел.

Едва ступившие на землю Афганистана и не научившиеся еще правильно писать название этой страны, американские корреспонденты были оснащены набором обвинений, которые они привезли с собой в дорожных чемоданах. Им отводилась роль организаторов «хора». И они разыгрывали свои партии как актеры, по заранее написанному и отрепетированному сценарию.

Представитель телевизионной сети Эйби-си саркастически вопросил, когда будут выведены из страны советские войска, на что Кармаль ответил: «Как только будет прекращена агрессивная политика американского империализма, вступившего теперь в сговор с пекинскими лидерами, как только прекратятся провокации и заговорщическая деятельность реакционных кругов в Пакистане, Египте, Саудовской Аравии и т. д. ... и будет устранена опасность агрессии,— в тот же самый день и тот же самый час ограниченный советский контингент вернется домой».

Представитель Эй-би-си на миг умолк, чтобы уступить место представителю Би-би-си. Тут следует напомнить, что задолго до этого дня Би-би-си передавала на Афганистан программы, которые по своему тону, характеру искажений фактов не имели себе равных, можно сказать, со времен Геббельса. И все, что она имела сообщить, произносилось от имени Великобритании, в течение ста с лишним лет пытавшейся покорить Афганистан! Как раз в это время она была занята пресловутой акцией «выборов» в Родезии, так что на уме у журналиста из Би-би-си были тоже выборы. Он пожелал «уточнить», каким образом избрали Кармаля.

Кармалю, очевидно, понадобилось все его самообладание, чтобы отвечать на этот заданный в оскорбительной и провокационной форме вопрос.

Обращались к Кармалю и с другими вопросами — вопросами только по форме, а по существу — оскорблениями и выпадами. Одна журналистка поинтересовалась, не убьют ли его самого. «Могу заверить вас, уважаемая госпожа,— ответил Кармаль,— мы сделаем все, чтобы в Афганистане была ликвидирована возможность действий заговорщиков и убийц, связанных с ЦРУ...». Еще один провокационный вопрос журналиста из ФРГ; другой, третий... Правильны ли сообщения западных органов информации о том, что в стране находятся «семьдесят пять тысяч советских военнослужащих?» Или (видимо, смущали расхождения в указываемых разными органами печати цифрах, варьировавшихся от 30 до 80 тысяч) эти сообщения преувеличены?

Ответ Кармаля: «Явно преувеличены, разве вы не знакомы с западными методами изготовления лжи?»...

И так далее, в таком же роде.

Во что бы то ни стало «доказать», что советские войска вошли в страну, «шагая по трупам сопротивляющегося народа», и установили здесь «тиранию»,— такова была априорная схема, которую предстояло расцветить «убедительными» подробностями.

Пресс-конференция во дворце закончилась. Журналисты имели возможность как следует оглядеться. Но, мало что зная об Афганистане и даже не очень твердо представляя его местоположение на карте, они не имели ни малейшего намерения вникать в его историю или в его проблемы и трудности, которых, конечно же, сегодня по горло и которые, разумеется не так уж скоро, не так уж легко будет преодолеть. Их волновало одно — снабдить свои газеты материалом с отметкой «передано из Кабула». И хотя на самом деле этот материал был подсказан и продиктован из Вашингтона, преподнести его надлежало так, будто это достоверный репортаж с места событий.

А между тем в Кабуле было спокойно, подготовленная ЦРУ и Пекином агентура еще не успела в ту пору развернуть свои действия. Город жил обычной жизнью, и положение можно было охарактеризовать лишь одним словом — «нормальное». Советских войск нигде не было видно. На глаза попадались только афганские солдаты, охраняющие стратегически важные общественные здания.

За весь период моего пребывания в Кабуле там не было слышно никакой стрельбы, и было по меньшей мере удивительно в один из этих дней узнать из сообщения радиостанции Би-би-си о «волнениях среди гражданского населения Кабула». Интересно где? Я сел в такси и вместе со своим афганским переводчиком, девятнадцатилетним студентом-медиком, который, между прочим, взял в дорогу учебники — он готовился к выпускным экзаменам в Кабульском университете,— несколько часов колесил по городу. Накануне ночью выпал снег. Мальчишки играли в снежки. В одном месте я увидел двух верблюдов, бредущих по снегу за своим хозяином,— эта картина запечатлелась в моей памяти как самый типичный образ Кабула в разгар «войны», которая оставалась невидимой, неслышимой и несуществующей повсюду, кроме как на страницах американских газет да в передачах американских, британских, израильских и прочих «радиоголосов».

Зато какая война бушевала в газетных сводках! «Русские атакуют партизан» — возвещал заголовок в «Геральд трибюн» от 4 января над сообщением, присланным из-за рубежа. Сообщение об этом «сражении» стало прообразом всех последующих материалов, поступавших с телетайпов западных репортеров: «По сообщениям из Афганистана, русские встретили упорное сопротивление в главном городе провинции Джелалабаде, находящемся в 60 милях от пакистанской границы. Дипломаты подтвердили, что в Джелалабаде ведутся бои, но, по их словам, у них нет сведений о размахе сражения. Однако прибывшие сегодня афганские беженцы утверждают, что бои носят ожесточенный характер: в Джелалабаде много убитых, но город все еще не перешел в руки русских — сказал один афганец. По другим сообщениям, переданным ранее, этот город был оккупирован советскими войсками. Выходящая в Пакистане ежедневная газета «Джанг» сообщала, что в северо-западной провинции Афганистана Бадахшан сброшены 5 тыс. советских парашютистов для оказания помощи советским войскам, столкнувшимся с яростным сопротивлением повстанцев. Проверить сообщение газеты не удалось... По словам афганских беженцев, советские вооруженные силы сломили сопротивление афганской армии на Балахасарской военной базе в Кабуле, но пока что не взяли Караг, расположенный в 10 милях к западу от столицы»...

Так писала «Геральд трибюн» 4 января. В роли «корреспондентов» выступали «дипломаты», «афганские беженцы» и газета «Джанг», сообщение которой не удалось проверить.

А вот что писала та же «Геральд трибюн» 7 января, на сей раз в корреспонденции из Кабула: «Сегодня, когда, по сведениям бежавших руководителей повстанцев, численность советских войск, введенных в страну наземным и воздушным путем, приближается к 80 тысячам, Советский Союз открыл Кабул для западных журналистов. Как подтвердили из дипломатических источников, тяжелые бои между русскими частями и афганскими повстанцами продолжаются. Однако журналисты по въезде в страну обнаружили мало признаков массированного советского военного присутствия. Улицы Кабула, где температура опустилась ниже нуля, патрулируются афганскими солдатами, а присутствие советских войск и танков сведено до минимума».

Это сообщение почему-то было помещено под заголовком: «В Афганистане расширяется ожесточенная борьба». И хотя сами корреспонденты обнаружили «мало признаков массированного военного присутствия», всякие «дипломаты», «афганские беженцы» (конечно, безымянные), «повстанцы» и прочие «источники» (ни один из них, конечно, не был назван) сообщали о «тяжелых боях». Интересно, где же все-таки?

К 8 января Картер объявил о ряде мер, которые собирается принять его администрация с целью «наказания» Советского Союза, но — какая осечка! — газеты, уже имевшие тогда в Кабуле собственных корреспондентов, не смогли сообщить с места событий ничего маломальски правдоподобного о якобы «расширяющейся» в стране «ожесточенной» войне. Вот тут и произошло нечто поразительное! Находясь в Кабуле, в том самом городе, где, как писали их собственные газеты и вещали Би-би-си с «Голосом Америки», «еще не было сломлено сопротивление оккупантам», западные корреспонденты принялись поставлять «сведения» со ссылками на мифические источники: «Афганские повстанцы — противники коммунистов утверждают...», «по сообщению очевидцев, советские войска в гористых северных провинциях...», «из местных источников стало известно, что сегодня бои продолжались в нескольких провинциях Афганистана», «Выходящая в Карачи, Пакистан, газета «Джанг», ссылаясь на повстанческие источники...» И так далее, и тому подобное. Полное отсутствие информации! Но все эти «сообщения» шли в дело!

О положении в Кабуле сообщались лишь слухи и домыслы. В Кабуле не было ни боев, ни стычек, никаких нарушений порядка. Как же объяснить это? Как можно это использовать? «Один высокопоставленный западный дипломат в Кабуле заявил (то, что он заявил, не имеет под собой никакой реальности, как нереален и сам «высокопоставленный западный дипломат», не имеющий ни имени, ни личности, ничего), что прежнее чувство страха в столице (пра-

вильно, исчезло, потому что исчез Амин, и это прекрасно; но нет, не тут-то было, с этим «высокопоставленным западным дипломатом» нельзя делать поспешных выводов) сменилось сильным негодованием по поводу массированного советского военного присутствия...» Но, помилуйте, корреспондент только что, в своем предыдущем сообщении, писал, что в Кабуле «мало признаков массированного военного присутствия» — слово в слово!

10 января «Геральд трибюн» поместила следующее сообщение под заголовком «Советские войска, как утверждают, сосредоточиваются вблизи Пакистана»: «трое путешественников (вот он, «источник», на который намекает заголовок!) заявили в Исламабаде, Пакистан, что они видели, как около 20 больших транспортных самолетов подвозили подкрепления». И это все: «трое путешественников видели»... И на таком, с позволения сказать, «фундаменте» — небоскреб дезинформации!

«Как сообщается, русские уже ввели в Кандагар, важный город на перекрестке дорог, расположенный у края пустыни на юго-западе страны, пятитысячный отряд. Подкрепления, очевидно, доставляются по воздуху, так как войска повстанцев способны атаковать автоколонны на перевалах через Гиндукуш между Кабулом и Кандагаром. По сведениям, приводимым газетой «Пакистан таймс» со ссылкой на повстанческие источники, основная часть войск афганского правительства в провинции Кандагар дезертировала и перешла на сторону повстанцев, воюющих с коммунистами. Эти сведения не поддаются проверке, и, как стало известно из американских источников, сообщения о дезертирстве, повидимому, преувеличены». (Наконец-то хоть намек на осмотрительность!)

Почему же, однако, такая безоглядная, такая бесцеремонная ложь?

Фактор времени! Картеру спешно были нужны «инкриминирующие материалы», чтобы протащить в ООН резолюцию по афганскому «вопросу»; далее, пока мировая общественность не успела понять, что она стала жертвой гигантской фальсификации, Картер рассчитывал предпринять целый ряд шагов (тщательно разработанных заранее), главнейшими среди которых были резкое увеличение расходов на вооружение; отправка оружия в Пакистан, ранее запрещенная актом конгресса; отказ от поставок зерна в СССР; замораживание Договора об ОСВ-2; призыв бойкотировать Олимпиаду-80 в Москве, посылка дополнительных военных судов в Персидский залив. Он намеревался объявить, что американские интересы требуют ныне вмешательства Америки в любой точке земного шара, где, по его мнению, они окажутся под угрозой. Ну и конечно, не в последнюю очередь «афганский материал» требовался ему для того, чтобы победить на первичных выборах Эдварда Кеннеди.

Что до республиканцев, то они были столь потрясены при виде того, как Картер играет отобранными у них козырями, что на первых порах даже лишились дара речи и только потом, переведя дух, принялись жаловаться на то, что игра ведется не совсем честно.

Из Белого дома плелась сеть чудовищного заговора, направленного прежде всего против американского народа. Его неожиданно поставили перед лицом совершившегося переворота в политике. Европа тоже была застигнута врасплох. Европейцев заверили в том, что их согласие на размещение в Западной Европе новых американских ракет будет компенсировано Договором об ОСВ-2, и теперь они оказались в дураках, обманутые и полностью скомпрометированные. Правда состояла в том, что Картер не считался с интересами Западной Европы и готов был принести их в жертву — для него Западная Европа была лишь картой в затеянной им игре, ставкой в которой являются миллионы человеческих жизней.

■

В пятницу 11 января мы отправились к тюрьме Пули-Чархи, находящейся в 15 минутах езды от города, из которой, как нам сказали, в этот день будут освобождены последние 2000 политических заключенных. По дороге к тюрьме мы повстречали необычную автопроцессию, направлявшуюся в Кабул. Пятница в Афганистане — нерабочий день, и хотя уличное движение здесь довольно оживленное, повстречавшийся нам караван выглядел бы необычно в любой день недели, в любой стране. Каких только машин тут не было: такси, автобусы, грузовики! И все они были битком набиты людьми, улыбающимися, плачущими, погрузившимися в раздумье.

Кто же это были? Это были 2000 заключенных, только что выпущенных из тюрьмы Пули-Чархи в порядке осуществления четвертого этапа всеобщей амнистии политических заключенных, объявленной несколькими днями раньше правительством Кармаля.

Однако подъехав к самой тюрьме — длинному и мрачному прямоугольнику, образуемому высокими серыми стенами,— мы увидели, что у тюремных ворот все еще толпится народ. В толпе царила необычная, скорее праздничная, атмосфера: то тут, то там шныряли мальчишки, старики готовили над жаровнями пищу...

Вдруг толпа шарахнулась мимо нас в сторону. Мы вышли из автобуса и стали расспрашивать оставшихся, что произошло. И вот из ответов старика в тюрбане и юноши, разыскивающего здесь брата, стала вырисовываться печальная, горькая и трагическая история.

Перед самым нашим приездом освободили оставшихся заключенных. Но некоторые из дожидавшихся у тюремных ворот родственников не нашли среди освобожденных своих отцов, братьев, се-

стер. Где же они? Родственники обратились с расспросами к охранникам: где их близкие?

Им сказали, что в тюрьме никого не осталось, если не считать уголовников, ну и еще подручных Амина. Все политзаключенные отпущены на свободу. Но родственники продолжали ждать, они плакали, кричали, требовали. Наконец, тюремная администрация открыла ворота с тем, чтобы они сами убедились, что их родных в тюрьме нет, и толпа повалила внутрь. И они увидели: камеры пусты. В огромном мрачном корпусе не оказалось никого, кроме надзирателей, охраняющих пустые камеры.

Заключенные находились в другой части тюрьмы То были министры правительства Амина — люди, причастные к злодейскому уничтожению их сыновей и дочерей. При виде этих убийц родственники убитых разразились гневными криками и попытались ворваться в камеры. Вот в этот момент один из охранников выстрелил в воздух (признаться, я выстрела не слышал). Толпа обратилась в бегство. Ворота закрыли.

В тот день мы не побывали в самой тюрьме. Но назавтра мы снова вернулись сюда. Там, где вчера толпа запружала дороги, сегодня не было ни души. Тюремные ворота перед нами открылись, и мы прошли внутрь.

Нас сопровождал Ахмад Шах (Тогиан), 27-летний студент-медик. Каких-нибудь несколько дней назад он вышел на волю из этой самой тюрьмы, где он провел шесть месяцев в заключении. Активный член Народно-демократической партии, он выступал против кровавых интриг Амина. Само его положение студенческого вожака Кабульского университета обрекало Ахмада Шаха на арест. Сначала его бросили в застенок КАМ, тайной полиции Амина, и подвергли там пыткам. Ему пропускали электрический ток через уши и половые органы. Добивались, чтобы он выдал других студентов–активистов...

И вот теперь он вернулся в тюрьму. Он показал нам свою камеру. Хотя она рассчитана на двоих, в ней сидело тогда десять человек. Ахмад подвел нас к стене и показал на надпись: «Да здравствует свобода всего человечества!» «Я написал это той ночью, когда узнал, что меня освободят». Стена была исписана и другими надписями: «Освобожден после пяти лет тюрьмы!» (Это писал человек, арестованный полицией Дауда.) «Человек родится свободным!» «Да будут прокляты те, кто бросал в тюрьму и казнил невиновных!» «Я полюбил тебя, Свобода!» «Смерть фашизму!»...

Все эти надписи были сделаны ручками. Я спросил Ахмада, как удалось им раздобыть ручки. Он оживился, подвел меня к надзирателю, и, к моему вящему удивлению, они бросились друг другу в объятия.

— Это его надо благодарить!

Надзиратель делал вид, что не замечает, как заключенные проносят в камеры ручки и бумагу. А когда он отказался пытать людей, его самого посадили в тюрьму на 19 дней. Они с Ахмадом по-братски обнялись и троекратно расцеловались по афганскому обычаю, даже прослезились.

«Чуть ли не каждую ночь,— рассказывал надзиратель,— из камер уводили группу заключенных, которые никогда больше не возвращались назад». Он вновь подтвердил то, что мы узнали о случившемся накануне. Родственники заключенных, ворвавшиеся в тюрьму, не знали — не могли поверить,— что их сыновья и отцы убиты Амином.

Мы покинули здание тюрьмы и вернулись в Кабул, где в тот день допоздна продолжалось празднование.

Ну, а как же освещала события этого дня буржуазная пресса? С подборкой газетных сообщений мне удалось ознакомиться только по возвращении в Москву. Если бы я не был тогда в Кабуле, не видел бы все своими собственными глазами и не разговаривал с непосредственными участниками событий, как мог бы я догадаться, что сообщаемое корреспондентами из Афганистана — от начала до конца передержки, искажения фактов?

Заголовки: «Двое убиты стражниками», «Афганцы штурмуют тюрьму в Кабуле». Материал под рубрикой «Из сообщений Агентства печати»: «Кабул, Афганистан, 11 января.— Сотни афганцев штурмовали сегодня главную кабульскую тюрьму, после того как правительство не выполнило своего обещания выпустить на свободу всех политических заключенных. (Ложь № 1.) Стражники открыли огонь, и как минимум двое нападавших были убиты. (Ложь № 2.) По словам представителей тюремной администрации, они освободили сегодня по распоряжению Бабрака Кармаля 126 заключенных, но очевидцы, находившиеся рядом с Пули-Чархи, тюрьмой афганской столицы, слышали доносящийся изнутри голос: «Нас здесь все еще 500 человек!» (Ложь № 3. Я там был в это время, никакого голоса не слыхал никто из присутствовавших.) «Тогда около 1000 родственников и друзей бросились на охранявших тюрьму стражников, которые стали стрелять». (Ложь № 4. Они ни на кого не «бросались» — их пригласили войти в тюрьму и самим убедиться, что все политзаключенные отпущены; только опасаясь возможности самосуда над министрами Амина — которые, видит бог, заслуживают такой кары: ведь это они расправились с их родственниками,— один из охранников выстрелил в воздух, спасая — такова уж ирония судьбы — приспешников Амина от немедленной казни.)

А что за ссылки на «дипломатов»? (Кто эти загадочные «дипломаты»? Почему бы не назвать их — хотя бы для того, чтобы они отвечали за свои слова? И следует ли им верить, когда они выступают «анонимно», если даже в своем официальном качестве они не внушают доверия? Да и полно, существуют ли они вообще кроме как в фантазии репортеров?) «Утверждают, что освобожден

лишь незначительный процент тех тысяч политзаключенных во всей стране, которых, согласно сообщениям, содержат под стражей вопреки обещанию Кармаля, что на свободу будут выпущены все заключенные, кроме приверженцев режима Хафизуллы Амина, свергнутого и убитого во время переворота 27 декабря». (Ложь № 5. К той пятнице из всех тюрем страны было освобождено почти 10 000 политзаключенных.)

Дальше — больше. «Освобождено не более 2000 человек, заявил один комментатор». (Ох уж этот анонимный «комментатор»!) «В большинстве своем это «парчами» — члены партии г-на Кармаля. Тюрьма по-прежнему заполнена до отказа». (Ложь № 6. К той пятнице на свободу вышли не только «парчами», но и многие священнослужители, брошенные в тюрьму Амином, многие представители интеллигенции и т. д.)

И совсем несусветное: «В Вашингтоне одно американское должностное лицо сообщило сегодня, что в Афганистане убито и ранено от 900 до 12 000 советских военнослужащих. От него же стало известно, что русские, осуществляя программу уничтожения, казнили около 300 афганцев». «Как видно, их цель состоит в физическом уничтожении тех, кто сопротивляется им,— заявил этот американец.— В своих действиях они, по-видимому, полагаются почти исключительно на грубую силу». (Ложь № 7. «Американское должностное лицо», как обычно, не названо; источник его информации не указан (поскольку он и не существует), и только лишь его злопыхательство совершенно явно и имеет вполне определенный адрес.)

Остальная часть материала повествует о вооруженных столкновениях, об оказываемом сопротивлении, о происходящих здесь и там сражениях, все это со ссылками на «достоверные» источники, все это служит-де «доказательством» того, что афганское население сражается с вторгшимися русскими — впечатляющая картина, не правда ли? — а затем вслед за этим (кстати, как и во многих других случаях) — застенчивое признание: «Иностранным корреспондентам не удалось добраться до фронтов военных действий и подтвердить сообщения повстанцев о том, что их войска наносят большой урон советским подразделениям. Пакистанское агентство новостей (название всегда опускается) сообщило, что в одной из провинций части афганской армии взбунтовались и вступили в бои с советскими войсками, в ходе которых обе стороны несут большие потери. Согласно этому сообщению, к силам повстанцев присоединилась бригада афганской армии». (Ложь № 8.)

Итак, счет 8 : 0 не в пользу правды. В одном-единственном материале оказалось восемь заведомо лживых утверждений — умышленных, злонамеренных, беззастенчивых измышлений, имеющих целью ввести в заблуждение и возбудить общественное мнение прежде всего в США, а также в тех частях мира, куда сможет добраться эта ложь.

По этому же образцу изготовлялись западными органами информации и прочие «новости», мутным потоком хлынувшие из Афганистана и обрушившиеся на неподготовленных читателей, радиослушателей и телезрителей во всем мире.

Нарушая все приличия, все законы, все принятые нормы поведения, американские журналисты вели себя тут, как хозяева. (Четверо репортеров, позаимствовав в американском посольстве джипы, отправились в отдаленный гористый район — причем никто в этой «оккупированной» стране не чинил им никаких препятствий—и добрались-таки до оборонительных линий километрах в 70—80 от границы. Только здесь увидели они советского солдата и были отправлены обратно. А корреспондент журнала «Ньюсуик» рассказывал, как он пробирался в Афганистан из Пакистана через Хайберский перевал и повстречал по пути советского солдата, который угостил его супом.)

В конце концов деятельность такого рода переполнила чашу терпения афганского правительства.

■

Для меня эта неделя закончилась на той же ноте, на которой началась: утром 9 января я прибыл в Кабул, напутствуемый лживыми домыслами «Геральд трибюн». И покидал Кабул при аналогичных обстоятельствах.

Дожидаясь в кабульском аэропорту посадки в самолет, отправка которого на час задержалась, я и не подозревал, что прямо здесь, рядом с аэропортом, идет сражение. Бьют орудия, ревут самолеты, грохочут танки, а я сижу себе и ничего не вижу, ничего не слышу! Моя неизменная «Геральд трибюн» поведала мне, когда я вернулся в Москву, что «по сообщениям, дошедшим до дипломатов в Пакистане, сегодня в районе Кабульского аэропорта произошел бой между советскими частями и соединениями афганской армии». Как раз в это время я покупал арахис в том самом аэропорту...

■

Принимая далеко ведущие меры, в результате которых американцам, не знающим подлинных фактов, навязывается политика, несущая угрозу для них самих и для миллионов других людей, администрация Картера не раз опиралась на ею же спровоцированную дезинформацию своих репортеров.

Ведущаяся из года в год кампания травли Советского Союза набрала прямо-таки бешеный темп в тот памятный десяток дней, когда американская пресса обосновалась в Кабуле, и всему миру стало видно — тем, кто желал видеть,— каким жутким чудовищем эта пресса способна сбернуться и какую

опасность может представить такого рода политический курс.

■

P. S. Никакие события, происходившие в Афганистане после того, как я побывал там в январе, в том числе и события конца февраля, не поставили меня сегодня, когда идут в набор эти строки, перед необходимостью подправлять задним числом мою тогдашнюю оценку положения.

Предпринятые в феврале агентами ЦРУ и прочими провокаторами попытки поднять в Кабуле контрреволюционный мятеж обернулись против самих подстрекателей.

У большинства людей поджоги и убийства вызывают естественное отвращение, и мусульмане Кабула своими собственными глазами увидели, что представляет собой «программа» так называемых афганских повстанцев: поджоги и убийства!

А правительство Бабрака Кармаля выдвинуло позитивную, созидательную программу, и если некоторое время назад настроения части афганцев можно было бы выразить словами «поживем — увидим», то теперь они воочию удостоверяются, что́ есть что́ и кто есть кто...

Контрреволюция подняла голову, но она будет подавлена. Она не найдет сторонников в среде народа. В большинстве своем народ активно и решительно поддерживает свою революцию.

Перевод с английского В. СОКОВИКОВА

■

В. ИОРДАНСКИЙ

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ РЕВОЛЮЦИИ

Говорят, что первые впечатления — самые сильные. Это верно, но также верно и то, что они редко выдерживают проверку временем. Первые впечатления обманчивы.

Я приехал в Кабул в середине февраля. Днем город заливало солнце и вместе с солнцем наступала весна. Как только темнело, зима возвращалась. Горы, окружающие афганскую столицу, еще были покрыты снегом. Днем они вбирали в себя солнечный свет, а вечерами отдавали его, испуская холодное, голубовато-розовое сияние.

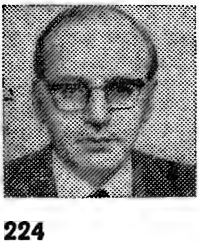
Одна из первых встреч — с мэром Кабула. 27 апреля 1978 года, когда в стране началась революция, Асадулла Пайам был в танке, который произвел первый выстрел по резиденции главы государства Мохаммеда Дауда. Хотя мэр был в штатском, в каждом его жесте, во всей манере держать себя чувствовался профессиональный военный. Беседа в муниципалитете позволила мне, нет, не понять, а как бы обозначить для себя некоторые основные городские проблемы. Впрочем, иные из них были слишком заметны.

Рядом с гостиницей, где я жил, продавали сигареты двое ребятишек лет 10—12. Неподалеку другие дети торговали поношенной одеждой, зеленью, предлагали почистить обувь. Веселые, энергичные, настойчивые, они отнюдь не выглядели жертвами большого города. И все же не слишком ли рано начинали они трудовую жизнь?

Афганец, как бы он ни был беден и обездолен, никогда не унизит себя попрошайничеством. На кабульских улицах практически не встретишь нищих. Но нужда выглядывает из каждого угла. Она шлепает сандалиями, обутыми на босую ногу, по мокрому снегу. Она стоит на холодном ветру, завернувшись в рваное одеяло. Знающие люди рассказывали мне, что уже годы назад в столице достигла огромных размеров безработица. Земельный голод, притеснения, стихийные бедствия гнали тысячи крестьян из деревень. И они тянулись в Кабул.

— Население столицы растет стремительно,— рассказывал мэр.— Оно достигло 870 тысяч человек. Действительно, много в городе и безработных. Но для того мы и совершили революцию, чтобы помочь простому человеку, открыть перед ним двери в лучшую жизнь.

У плана города товарищ Пайам показал, где идет в столице жилищное строительство. С благодарностью вспоминал он о домостроительном комбинате, сооруженном Советским Союзом и сегодня обеспечивающем необходимыми материалами важнейшие стройки. С помощью чехословацких друзей в столице была проложена первая троллейбусная линия, сейчас ведутся работы по прокладке второй. Особое внимание муниципалитет уделяет вопросам снабже-



ИОРДАНСКИЙ ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ (род. в 1929 г.)

Советский историк-африканист, доктор исторических наук. Автор книг: «Стратегия борьбы за независимость» (1968), «Огненные иероглифы» (1968), «Тупики и перспективы Тропической Африки» (1970), «Африканскими дорогами» (1976) и ряда работ по новейшей истории и социальному развитию стран Тропической Африки.

ния — продовольствием, топливом. По словам мэра, цены на многие продукты, на дрова в этом году ниже, чем в феврале прошлого года, несмотря на крайне суровую зиму.

Дрова в Кабуле продаются на вес, килограммами. Стволы карагача распиливаются, разрубаются на небольшие чурбачки. В подавляющем большинстве городских домов нет центрального отопления, нет газа. Если цены на дрова резко повышаются, то в жилищах бедняков становится не только холодно, но и голодно: без дров невозможно приготовить пищу.

— В этом году нам удалось сохранить тепло в большинстве кабульских домов,— не без гордости заметил мэр.

У муниципалитета много планов — строительство новых школ, обновление жилищного фонда, улучшение столичной транспортной сети, но есть и дела срочные, неотложные. Одно из таких дел — помощь наиболее нуждающимся семьям. Муниципалитет организует раздачу продовольствия, помогает топливом.

В облике Кабула явственно проглядывает постоянная, все еще не завершившаяся тяжестью одной из сторон схватка между сознательной волей градостроителей-планировщиков и стихийными усилиями народа воплотить в жизнь свою модель города. Столичный центр — это район прямых и широких магистралей, в строгой логике которых проступает опирающаяся на международный опыт мысль. Он и застроен высокими, европейской архитектуры домами. Но стоит отойти в сторону от главных проспектов — и Кабул предстает лабиринтом узких и кривых улочек, какие встречаешь в любом восточном городе.

Сам облик зданий там иной, чем в центре. Они становятся ниже, теснее. Плоские крыши, закрытые ставнями или затянутые решетками окна. Здесь не встретишь женщин с открытыми лицами. Закутанные в лиловые, синие, оливковые чадры-паранджи, они цветными тенями скользят по узким и разбитым тротуарам. Хозяин улицы — мужчина. Только мужские лица в маленьких мастерских, за прилавками лавок — дуканов, у печей булочных, торгующих горячими, тонкими, как лист картона, лепешками.

И еще одна черта Востока. Ремесленники одной профессии, торговцы, продающие одинаковые товары, жмутся друг к другу, образуя целые «специализированные» ряды — улицы. Их, по всей видимости, не смущает то, что сбываемые ими изделия или товары конкурируют между собой. Многовековая традиция корпоративности и сотрудничества все еще сильнее духа соперничества и приобретательства. Да и покупатель знает, в каком районе города его ждет наиболее широкий выбор нужных ему вещей.

В центре, неподалеку от «грязного рынка», крупнейшего базара столицы,— станция автобусов, соединяющих Кабул с Газни, Джелалабадом, Кандагаром, Гератом, с городами Севера. В толпе ожидающих своего автобуса — пестрое смешение всех многочисленных этнических групп Афганистана. Узбеки в плотных шерстяных халатах с длинными, чуть ли не до земли рукавами стоят бок о бок с горбоносыми, сухощавыми пуштунами в пиджаках и шароварах. Светлоглазые, светловолосые нуристанцы держатся небольшими группами. В шуме многоголосой толпы, если прислушаться, можно различить все языки, на которых говорит Афганистан: близкий персидскому дари, язык кочевников и земледельцев юга и юго-востока — пушту, язык Севера — узбекский. Звучат здесь и языки соседних Индии и Пакистана.

Были поразительны и сами автобусы, если так можно назвать приспособленные для перевозки людей грузовики с высокими бортами. Под руками народных художников каждый из них претерпел удивительную метаморфозу. Я словно присутствовал на празднике фантазии, самым неожиданным образом сочетавшей мифические образы с картинами современной действительности. Гирлянды удивительных цветов окружали на автобусных бортах панно, где рядом с ракетами, устремлявшимися в космос, можно было увидеть сказочных крылатых львов, черный куб Каабы соседствовал с пышноволосыми русалками, а огромный слон пытался догнать летящие куда-то самолеты. Краски были сочны, ярки. Зеленый, красный, оранжевый, синий, черный цвета применялись художниками с безудержной щедростью и смелостью, которые так характерны для народного творчества.

Автобусы приезжали, уезжали, и все новые и новые живописные сюжеты сменялись перед моими глазами. Постепенно они складывались в единую картину мировидения, где действительность тесно переплетается с мифом. Было ли это случайное и поверхностное впечатление? Наверное, нет. Я вспоминал, как сама история перерастала в народном сознании в миф, в легенду. В Кабуле мне рассказывали, что одна из крупнейших народностей страны — хазарейцы, населяющая центральный район Афганистана Хазараджат, будто бы происходит от осевших в стране монгольских завоевателей Чингисхана. Но еще более фантастична легенда о происхождении нуристанцев. Они обитают в горном изолированном крае, который прежде, до обращения нуристанцев в ислам в конце прошлого века эмиром Абдуррахманом, звался Кафиристаном — страной неверных. После того как его жители приняли новую веру, эмир повелел называть его Нуристаном — страной света. Так вот, нуристанцы, по народным преданиям,— это потомки воинов Александра Македонского. О королевском роде Дуррани и сегодня можно услышать, что он якобы происходит от евреев, покинувших некогда Вавилон.

Так исподволь, постепенно раскрывал Кабул какие-то черты своей жизни. И далеко не сразу почувствовал я, что за размеренным, внешне спокойным ритмом его повседневного быта скрывалась напряженная борьба — борьба идей, борьба политическая.

Хотя события 27 декабря 1979 года произошли недавно, они уже начали обрастать

легендами. И часто тенденциозными. Враги революции создавали все новые и новые версии свержения Хафизуллы Амина, распускали клеветнические, провокационные слухи.

Активисты Народно-демократической партии Афганистана разоблачали эти домыслы. По всему городу организовывались митинги, на которых разъяснялись цели и задачи нового правительства республики, характер нового этапа апрельской революции. Члены партии рассказывали, что́ действительно произошло в Кабуле в ночь с 27 на 28 декабря.

Как известно, решение о вооруженном выступлении против режима Амина было принято, говорили они, на подпольном заседании руководства НДПА. Его участникам стало известно, что Амин приказал казнить находящихся в тюрьме Пули-Чархи партийцев, причем массовая экзекуция должна была состояться до нового, 1980 года. Речь шла о судьбе многих сотен товарищей, среди которых находились некоторые видные партийные руководители. И поздним вечером 27 декабря группы бойцов НДПА пошли на штурм дворца, который Амин избрал своей резиденцией. В ходе ожесточенного боя диктатор был убит, дворец захвачен.

Разъяснительная работа партии приносила результаты, но и враги революции не складывали рук. Позднее станет известно, что в первой половине февраля они тщательно готовили в столице крупную антиправительственную провокацию. Из-за границы в Кабул забрасывались американские, китайские и пакистанские агенты, из соседних провинций стягивались вооруженные группы «душманов», или «врагов», как афганский народ прозвал бандитов-контрреволюционеров В город тайно завозилось оружие и до поры до времени укрывалось в земле.

...Утром 21 февраля специальный корреспондент агентства печати «Новости» Юрий Александрович Волков и я пошли по делам в министерство информации. День был холодный, мрачный. Тучи тяжело нависли над городом, падал дождь со снегом.

Проведя около получаса в министерстве, мы снова вышли на улицу. Обычно многолюдный центр города был пустынен. Снег и дождь смахнули с тротуаров торговцев, редкие прохожие, укутав головы шарфами, торопились к теплу, к домашнему уюту.

Не сразу заметили мы, что витрины лавок и магазинов закрыты стальными шторами. Был четверг, канун нерабочего дня — пятницы, а по четвергам государственные учреждения пустеют раньше обычного. Неполный день открыты и многие дуканы. К тому же и погода была скверная...

— Все это частники, сами себе хозяева,— обвел Юрий Александрович рукой закрытые витрины.— Покупателей нет, в лавках холодно. Вот они и не торгуют.

Но очень скоро мы поняли, что наши догадки далеки от истины.

Пройдя около километра, мы увидели вдруг открытый дукан В его тесном помещении никого, кроме хозяина, не было. Невысокого роста, желтолицый, с раскосыми глазами хазареец сразу же подошел к нам. Но неожиданно из-за нашей спины в лавке появилась еще одна фигура. Это был возбужденный, бурно размахивавший руками и что-то кричавший хозяину молодой человек. Юрий Александрович, прекрасно понимающий дари, повернулся ко мне и спокойно, не повышая голоса, сказал:

— Пожалуй, нам лучше уйти. Он требует от торговца, чтобы тот закрыл лавку. Угрожает...

Теперь нам было ясно, почему закрыты магазины. Но мы прошли еще несколько километров по заснеженным, пустеющим на наших глазах улицам, прежде чем вернулись в гостиницу.

«Забастовка» дукандаров готовилась не один день. Среди них распространялись листовки, их запугивали физической расправой. И многие из торговцев, еще не уверенные в силе новой власти, в ее способности обеспечить им безопасность, поддались давлению провокаторов. Но как только они убедились, что республика надежно защищает их жизнь и имущество, дуканы незамедлительно распахнули свои двери.

Начало провокации не случайно было приурочено к четвергу. На следующий день верующие должны были собраться в пятничных мечетях на совместную молитву. Если бы противники революции получили поддержку мулл и те призвали бы в мечетях выступить против правительства, десятки тысяч людей вышли бы на улицы. Но этот расчет провалился. В пятницу лозунги провокаторов не нашли отклика и поддержки в мечетях. Лишь в отдельных кварталах Кабула им удалось всколыхнуть городское дно — наиболее темные группы населения.

Насколько можно судить, организаторы беспорядков планировали направить толпу прежде всего против важнейших экономических объектов. Хлебозавод, авторемонтный завод стали первыми целями провокаторов. Однако и этот замысел потерпел неудачу. Налетчиков встретили рабочие и выстояли до прихода подразделений народной милиции. В торговом центре города провокаторы начали грабить лавки, жечь магазины. Во многих случаях само население осаживало бесчинствующие элементы. Решительно пресекала их вылазки милиция.

События в Кабуле должны были, по замыслу их организаторов, продемонстрировать слабость и непрочность революционной власти. Они вызвали прямо противоположный эффект. Тысячи людей ринулись в райкомы и горком НДПА, чтобы принять личное участие в защите завоеваний апрельской революции. Очень быстро вооруженные добровольцы оказались полными хозяевами положения на столичных улицах и площадях. Заговор империалистической агентуры был разгромлен.

■

Вскоре после этих событий мне представилась возможность поехать на Север, в провинцию Балх.

По пути из Кабула в Мазари-Шариф, центр провинции Балх, самолет переваливает через Гиндукуш. Мне повезло: был ясный, солнечный день, и видимость отличная. Огромные, дикие горы острыми вершинами доставали до неба. Внизу, в

бездне ущелий, сгущался мрак, поглощавший редкие, небольшие кишлаки.

Наконец самолет пошел на снижение. В иллюминаторы были хорошо видны переполненные весенней водой арыки, которые во всех направлениях пересекали долину левобережья Амударьи. Их поблескивающая на солнце паутина казалась стеклянной. Деревья, как и в Кабуле, стояли голыми, даже миндаль еще не зацвел. И сюда весна не торопилась.

Мазари-Шариф — старый торговый город, выросший вокруг мечети. Такси еще не вытеснили здесь извозчиков, и их лошади, украшенные красными помпонами, весело побрякивают многочисленными колокольчиками. Современные магазины еще не разрушили стародавних традиций восточной торговли. Зазывалы у дуканов красноречиво расхваливают товары. В лавках покупателя угощают чаем. Прямо на тротуары и мостовую выброшены яркие туркменские ковры.

Синий купол мазари-шарифской мечети виден издалека. И все же, когда выезжаешь на центральную площадь города и мечеть внезапно оказывается перед глазами в своем пышном величии и красоте, нужно сделать над собой усилие, чтобы поверить: нет, это не видение из арабских сказок. Первое впечатление — как от колоссального, сияющего в солнечных лучах куска бирюзы.

Здание мечети, увенчанное массивным синим куполом, со стенами, украшенными орнаментальными панно,— это символ неба. Высокие прямые минареты подобны молитвам, с которыми верующие обращаются к богу. Все сооружение, его многочисленные пристройки и приделы, облицовано голубой и цветной плиткой, образующей абстрактные, подобные ковровым композиции. Они создают иллюзию воплощенного в камне райского сада.

Вокруг мечети разбит парк, где в дни больших праздников собираются тысячи верующих. Холодным февральским утром, когда я пришел к мечети, он был почти безлюден. Несколько улемов в белоснежных халатах беседовали у стрельчатой арки центрального входа. Древний седобородый старик дремал у стены, разморенный солнцем. У бассейна верующий совершал омовение. Тишину нарушали лишь воркование и шум крыльев сотен белых голубей, живущих у мечети. Эти без единого темного пятна птицы были воплощением чистоты, к которой должен стремиться каждый мусульманин. Горе тому мальчишке, который осмелился бы их потревожить.

В Афганистане среди народа пользуются влиянием обе ветви ислама — суннизм и шиизм, причем шииты составляют меньшинство населения. Это главным образом таджики и хазарейцы. В Мазари-Шарифе мне объяснили, в чем состоят некоторые различия между этими главными сектами ислама. Под словом «сунна» местные улемы понимают деяния, поступки и слова пророка Мохаммеда, донесенные до потомства его соратниками. Сунна, будучи сводом примеров для поведения правоверного мусульманина, служила как бы дополнением Корана. Позднее предания о жизни Мохаммеда и его ближайших сподвижников — хадисы — были записаны и собраны в книги.

Сунну признают и шииты, но понимают ее несколько иначе, чем сунниты. Они считают авторитетными лишь членов семьи пророка, отвергая свидетельства его сподвижников. Само слово «шиит» произошло от арабского слова, означающего «сторонник». Шииты и являются «сторонниками» семьи пророка и прежде всего Али, который, по их представлениям, был незаконно отстранен от власти. Его двенадцать прямых потомков — имамы — и были «законными» лидерами всех мусульман. В силу того, что они были преемниками миссии пророка в результате снизошедшей на них божественной благодати, их считали безгрешными и непогрешимыми. Двенадцатый имам — Мохаммед — таинственным образом скрылся в подземелье, и шииты ждут его нового прихода в виде мессии — махди. Тем временем «скрытый имам» доводит до верующих свои мысли устами богословов. Эти выразители его воли пользуются среди шиитов авторитетом, который значительно выше престижа улемов у суннитов.

Клика Хафизуллы Амина пыталась столкнуть между собой суннитов и шиитов, а поскольку суннизм и шиизм распространены среди различных этнических групп, эта провокационная возня сопровождалась разжиганием националистических страстей, грязной, а временами кровавой игрой на националистических предубеждениях. Многие лидеры мусульманских общин были подвергнуты репрессиям, вынуждены покинуть родину.

— Сейчас мы живем в иной атмосфере,— слушал я слова верующих у мазарищарифской мечети.— Мы видим, что новая власть уважает наши религиозные убеждения.

Действительно, правительство ДРА настойчиво и последовательно проводит политику, основанную на уважении ислама, национальных обычаев и традиций. Оно считается с тем, что ислам охватывает не только собственно религиозные взгляды человека, определяет не только обрядность — формы отношений верующего с богом. Исторически ислам оказал мощное влияние на этику и мораль афганцев, на их быт, на все мировоззрение.

Утром 24 февраля я встретился с группой работников партийного комитета провинции. Разговор, естественно, зашел и об отношении партии и правительства республики к религии. Один из участников встречи заметил:

— Мы не можем не видеть того, что сам народ привнес в ислам. Один из хадисов приписывает пророку такие слова: «Люби бедных; всегда взирай на тех, которые стоят ниже тебя, и не взирай на тех, которые стоят выше тебя; не проси никогда ничего ни у кого; храни верность родственникам, хотя бы они и причиняли тебе горе; говори всегда правду, как бы она ни была горька». Мне кажется, ни один честный, благородный человек не останется равно-

душным к этим мыслям. А ведь в них выражены широко распространенные в народе этические принципы.

Мне рассказали, что губернатор провинции Балх, пожилой, глубоко всеми уважаемый человек, пригласил к себе членов совета улемов. Это особо авторитетные среди верующих люди. Долго продолжалась беседа. Губернатор говорил о политике правительства, об его стремлении обеспечить стране мир и национальную независимость, о работе над решением экономических проблем. Улемы задали губернатору немало вопросов об отношении руководства республики к исламу, и его ответы их, видимо, удовлетворили. После встречи они в своих проповедях выступили с поддержкой правительственного курса.

В жизни провинции это было событием немалой важности. Кто такие улемы? Очень часто их называют духовенством ислама. Такое определение создает не совсем верное представление о месте улемов в афганском обществе. Прежде всего по роду своих непосредственных занятий улем может быть ремесленником, торговцем, учителем, землевладельцем. В глазах верующих важно то, что он хорошо знает Коран, хадисы, шариат — мусульманское право, короче говоря, богословие и право. Наиболее почитаемые среди них выбираются имамами, руководителями отдельных мусульманских общин, объединяемых совместным участием в пятничной молитве. К улемам обращаются с просьбой рассудить возникающие между верующими конфликты, они заключают и расторгают браки. А поэтому помимо знания богословия и права улему необходимо обладать большим моральным авторитетом.

В Афганистане эта прослойка насчитывала свыше двухсот тысяч человек. В деревнях ей принадлежал фактический контроль не только над религиозной, но вообще над духовной жизнью крестьянства. Да и в городах она пользовалась заметным влиянием, с которым не могли не считаться революционно-демократические силы страны. Далеко не все улемы приветствовали апрельскую революцию. Одни заняли по отношению к ней выжидательную, другие — враждебную позицию. Но сейчас их умонастроения меняются. Настойчивая разъяснительная политика НДПА и правительства приносит свои плоды. Главное же — сама реальность революционного Афганистана. Улемы видят, что свобода вероисповедания охраняется властью. Те из них, кто действительно связан с народом, понимают к тому же, что начавшийся после 27 декабря новый этап апрельской революции несет народу благосостояние, открывает ему доступ к образованию, обеспечивает мирную жизнь. И это — впервые в афганской истории.

Почему же, возникает вопрос, враги афганского народа выступают сегодня под лозунгами «защиты ислама»? По этому поводу мне пришлось слышать несколько предположений. На мой взгляд, они не исключают, а дополняют друг друга.

Один из моих собеседников, известный афганский журналист, объяснял:

— Американцы и вооружают наших врагов, и подсказывают им политический курс. В Иране США столкнулись с явлением, которое так и осталось ими непонятым,— революционным движением народа против шахского режима. Однако две черты движения не остались не замечены американскими политическими деятелями. Первая — это роль ислама как идеологической оболочки антиимпериалистических и антимонархических устремлений иранского народа, а вторая — высокий авторитет религиозных лидеров. В результате лица, разрабатывающие политику США в отношении Афганистана, пришли к выводу о необходимости сделать ставку на религиозные чувства афганского народа и привлечь к руководству организуемых банд деятелей, известных своим фанатизмом.

Американские политики, — продолжал мой знакомый, — рассуждали чисто механически. Они забыли, что в Иране ислам послужил формой выражения революционного порыва масс. В Афганистане исламу отводилась роль противоположная — «идеологической основы» контрреволюции. Это грубый просчет наших врагов.

Сторонники второго мнения подчеркивали другую сторону проблемы. Они отмечали, что сброд, который империалистическая пропаганда пытается изобразить «защитником ислама», включает мелких, грызущихся между собой политиканов, не имеющих и не способных разработать сколько-нибудь притягательную социальную и политическую программу. Что могли они предложить афганскому народу? Им остается лишь лживая националистическая и религиозная демагогия, прямой обман наиболее темных и отсталых групп афганского общества. Эти карты собравшиеся в Пешаваре отщепенцы и разыгрывают.

Факты показывают, что реальная борьба идет в Афганистане отнюдь не вокруг отношения к исламу. Агентура США и КНР преследует цели, которые ничего общего не имеют с защитой религиозных убеждений и культурных традиций народа.

В ночь с 26 на 27 февраля в Кабуле был захвачен главарь одной из банд. Его задержали активисты Демократической организации молодежи Афганистана, которые получили сообщение, что в 14-м корпусе микрорайона скрывается группа подозрительных лиц. Двое молодых добровольцев отправились проверить сигнал и постучали в дверь квартиры, где прятались душманы. Из-за двери раздались выстрелы. Один из юношей остался у дома, блокируя из укрытия его подъезд, второй поспешил за помощью. Главарю и двум его телохранителям уйти не удалось.

Арестованный душман оказался Меджидом Калакани. Это громкое имя в преступном мире Кабула. Свое первое убийство Калакани совершил при Захир-шахе и с тех пор скрывался от полиции, продолжая убивать и грабить Не лишенный честолюбия, он попытался создать вокруг себя некий политический ореол. Его заметила маоистская агентура, и некоторое время Калакани возглавлял одну из мелких пропекинских группировок. После начала нового этапа апрельской революции он связался с находящимися на американском содержании эмигрантами и действовал уже по их указаниям. Меджид Калакани — типичный

представитель среды, в которой американские разведслужбы вербуют свою агентуру. Они охотно включают в формируемые ими банды уголовные элементы. Их прошлое гарантирует: эти люди способны на любое злодеяние.

И в Кабуле, и в Мазари-Шарифе, и позднее в Джелалабаде я не раз беседовал с людьми, которые по роду своих занятий хорошо знакомы с действиями засылаемых из-за рубежа банд,— с работниками народной милиции, офицерами афганской армии. Из их рассказов складывается достаточно точное представление о целях, которые преследуют враги революции и их империалистические и маоистские покровители.

Один из главных ударов нацелен на создаваемую в республике систему народного образования. В Мазари-Шарифе мне сообщили, что за несколько дней до моего приезда в Хульме была разрушена школа. К счастью, ни учителя, ни учеников в это время там не было. В министерстве просвещения я узнал, что этот факт отнюдь не единичен. После апрельской революции крестьяне своими силами, на свои средства построили 600 школьных зданий. Душманами же было уничтожено более 800 школ. Когда в руки бандитов попадали учителя-патриоты, с ними беспощадно, зверски расправлялись. Известны случаи и массового убийства детей — учеников, захваченных во время уроков.

Второе направление — террор по отношению к крестьянам, получившим землю по декрету № 8 об аграрной реформе. Мне показывали листовки, в которых душманы угрожали расправой каждому, кто будет обрабатывать свои новые владения. В других листовках крестьян предупреждали, что эта земля рано или поздно будет у них отобрана. Душманы не ограничиваются угрозами. Ночами они налетают на глухие, изолированные деревни, врываются в дома бедняков, вырезают целые семьи. Очень часто, прежде чем расправиться со своими жертвами, душманы подвергают их чудовищным истязаниям.

Особую злобу у бандитов вызывают женщины и девушки, которые стремятся использовать созданные революцией возможности и посещают курсы по ликвидации неграмотности, идут в университеты, работают в учреждениях и на предприятиях. Насир Шамладар, губернатор провинции Нинграхар, дрожащим от гнева голосом рассказывал мне, что в середине января группа душманов проникла в Джелалабадский университет и похитила двенадцать студенток. Солдаты и офицеры афганской армии, преследуя душманов, часто обнаруживают страшные следы их преступлений — истерзанные тела убитых женщин. Немало детей Афганистана потеряли своих матерей, немало отцов и матерей оплакивают погибших от руки бандитов дочерей!

Наконец, экономика. Еще в конце января Генеральный секретарь ЦК НДПА, председатель Революционного совета и премьер-министр ДРА Бабрак Кармаль в обращении к народу говорил о том, что забрасываемые в страну из-за рубежа банды пытаются дезорганизовать национальную экономику, нарушить снабжение населения продовольствием и другими товарами. Это выступление передавалось по радио и телевидению, его слушала вся страна. Во многих деревнях, в провинциальных центрах и других городах в ответ на прозвучавший призыв были созданы вооруженные группы добровольцев. Они встали на защиту народного достояния.

Империалистическая пропаганда ни единым словом не упоминает о преступных деяниях душманов и их вожаков. Это понятно. Ведь правдивый рассказ о действиях банд показал бы мировому общественному мнению их подлинное лицо изуверов и мракобесов.

Если революция выдвигает лозунги социального раскрепощения деревни, то поддерживаемая Вашингтоном и Пекином реакция пытается увековечить зависимое положение крестьянина. Если революция борется за то, чтобы каждый афганец имел возможность получить образование, то ее враги хотели бы обречь народ на духовную и культурную темноту. Если революция дает беднейшим слоям народа средство вырваться, наконец, из извечных тисков нищеты и голода, то так называемые «защитники ислама» делают все для того, чтобы бедняк никогда не мог поднять головы и начать жить новой, лучшей жизнью. Революция несет народу благосостояние и мир, именно то, что пытаются разрушить направляемые из Вашингтона и Пекина силы.

Каждая новая встреча открывала какую-то новую грань революционных преобразований в Афганистане.

Вскоре после моего приезда в Кабул меня принял президент Академии наук ДРА Гуль Мохаммед Нурзаи, широко известный своими исследованиями по афганской истории XV—XVIII веков. Сейчас он все свое время отдает организации научной работы в республике. В институтах Академии широко изучаются культура, языки, литература различных народностей страны. Но не только. Налаживается разработка имеющих практическое значение вопросов биологии, математики и физики, геологии, некоторых других областей науки.

В ходе беседы доктор Нурзаи высказал одно наблюдение, которое показалось мне особенно интересным. Он говорил о том, что сегодня огромное число новых слов буквально врывается в народную речь, огромное число новых понятий осваивается народным сознанием. Умственный кругозор народа необычайно расширяется.

— Это не просто механический процесс,— развивал свою мысль ученый.— Вокруг каждого нового слова, нового понятия идет борьба. Скажем, слово «социализм». Есть силы, которые пытаются придать ему негативный смысл, сделать так, чтобы оно вызывало у людей негативную эмоциональную реакцию. А наш долг — разъяснить его истинное значение. Или слово «демократия». Вы знаете, как многообразно оно определяется, сколь различное содержание в него вкладывается. Для нас важно выявить рево-

люционный, прогрессивный смысл этого понятия.

Как бы продолжением этой беседы стала встреча с членом Политбюро ЦК НДПА, министром просвещения ДРА Анахитой Ратебзаде. Она подробно и откровенно говорила о проблемах, встающих в области образования в стране, где насчитывается около восьми миллионов неграмотных.

Многообразны сегодняшние нужды афганской школы: не хватает учебников, тетрадей, многие здания не приспособлены для занятий. За партами мальчиков в пять раз больше, чем девочек. Далеко не все дети охвачены школой. К тому же уровень преподавания и подготовки учеников не везде соответствует нуждам времени. Многие выпускники начальных школ испытывают трудности, продолжая образование в средних школах из-за пробелов в своих знаниях.

Особое внимание министерство уделяет ликвидации неграмотности. Эта работа ведется на добровольческих началах, в ней участвуют, не получая жалованья, учителя, студенты, учащиеся лицеев, инженерно-технические кадры. В кратчайшие сроки был подготовлен и выпущен специальный учебник «Грамота— народу».

Анахита Ратебзаде подчеркнула, что партия и правительство ставят перед министерством задачу — создать массовую общеобразовательную школу нового типа, основанную на современных педагогических и методических принципах. Установлен и ориентировочный срок ее решения — десять лет. Работа ведется напряженно, с отдачей всех сил. Уже составлены новые учебные программы, новые учебники для начальной школы по всем предметам. Они впервые изданы на пяти основных национальных языках Афганистана.

О масштабе проблем, которые предстоит решить, красноречиво говорят две цифры: в 1979 году в стране насчитывалось 1139 тысяч учащихся, к 1983 году их будет 2028 тысяч. Реальность этих планов подтверждает самоотверженный труд многих людей — учителей, работников министерства просвещения, партийных активистов.

В Мазари-Шарифе я встретился с работниками провинциального комитета партии. Партком занимает еще недостроенное здание, окруженное большим парком. Молодые лица, взволнованная, приподнятая атмосфера.

В деревнях провинции крестьяне начинали сев. Я видел, как волы тянули деревянные сохи, медленно пропахивая легкую, еще влажную после весенних дождей лессовую почву. Но в прошлом году не все земли были обработаны, часть полей была заброшена бежавшими от аминовских преследований крестьянами. И провинциальный комитет НДПА создал специальные летучие бригады, которые, разъезжая по кишлакам, объясняли земледельцам, что времена аминовского произвола безвозвратно канули в прошлое. Они рассказывали крестьянам, что правительство республики приняло решение повысить закупочные цены на хлопок и сахарную свеклу, выращиваемые в провинции, снизило цены на удобрения.

В результате сама атмосфера в кишлаках провинции изменилась. Кое-где крестьяне начали объединяться в товарищества взаимопомощи. С гор спускаются обманутые, запуганные люди, они торопятся к пахоте.

В Джелалабаде, на юго-востоке Афганистана, я долго беседовал с руководителем Управления по освоению Нангрхарской долины. Доктор Наим получил высшее сельскохозяйственное образование в Харькове, работал во многих провинциях страны. Он с гордостью говорил о том, как изменилась Нангрхарская долина после того, как с помощью советских специалистов и техники здесь была создана оросительная система, проложен магистральный канал протяженностью в 70 километров. Более 11 тысяч гектаров орошенных земель, сообщил доктор Наим, были распределены между безземельными и малоземельными крестьянами.

— Воду мы предоставляем им бесплатно,— подчеркнул товарищ Наим. Все значение этого замечания становится понятным, если вспомнить, что в засушливом, полупустынном крае вода всегда стоила дорого и крестьяне были вынуждены отдавать за нее значительную часть урожая.

■

Надо сказать, что империалистическая пропаганда не щадит усилий для того, чтобы создать извращенное представление об апрельской революции, о самой ее природе. Она пытается представить происшедшие в Афганистане 27 апреля 1978 года события как заурядный военный переворот, каких было много в развивающихся странах. Мол, сами марксисты утверждают, что только рабочий класс является революционной силой, а в Афганистане национального пролетариата практически нет. Революционеры в этих условиях оказываются кучкой изолированных от народа идеалистов. К тому же «атеистическое» мировоззрение еще больше углубляет их отрыв от масс, верных традиционным ценностям ислама.

Эта логика прослеживается во многих статьях и комментариях, которые империалистическая пропаганда в изобилии посвящает Афганистану. Она фальшива от начала до конца.

Сами афганские руководители характеризуют происходящий в стране революционный процесс как национально-демократический. Уточняя цели апрельской революции, ее нового этапа, ЦК НДПА отмечал, что они включают уничтожение всех феодальных и дофеодальных пережитков в социальных отношениях, ограничение крупного помещичьего землевладения и наделение землей малоземельных крестьян и батраков, подъем национальной экономики, повышение жизненного уровня населения, развитие образования и постепенную ликвидацию неграмотности, развитие национальных культур народов Афганистана, демократизацию общественной и политической жизни. Какие силы принимали участие 27 апреля 1978 года в свержении деспотического режима Мохаммеда Дауда? Конечно, в первую очередь руководимые НДПА подразделения афганской армии. Но разве можно не замечать того, что в революционных событиях активную роль играли представители самых широких слоев афганского общества? Лозунги и цели НДПА были подхвачены молодежью, рабо-

чими, значительной частью крестьянства и интеллигенции. Нет, НДПА действовала и действует не в некоем «вакууме», а окруженная и поддерживаемая всеми теми, кто мечтал о лучшем будущем для своей родины.

После начала второго этапа апрельской революции партия подняла вопрос о создании широкого национального фронта как опоры власти трудящихся. Выдвигая эту идею, руководство НДПА считало, что в ряды фронта вольются рабочие, крестьяне, кочевники, интеллигенция, женщины и молодежь, представители всех национальностей и племен, все прогрессивные, демократические и патриотические силы и общественно-политические организации страны. И во время поездок по провинциям ДРА я видел, как этот замысел осуществляется.

Сегодня Нангрхарская долина — это плодороднейший район республики. Еще два десятилетия назад местные крестьяне тысячами покидали свои деревни с наступлением летней жары: поля выгорали, и они искали заработка в городах. Желтовато-серые, невысокие горы полукольцом охватывают Джелалабад, небольшой, утопающий в зелени город. Обсаженная эвкалиптами дорога идет отсюда к афгано-пакистанской границе и далее на Пешавар. По обе стороны тянутся поля сахарного тростника, молодые оливковые рощи, плантации цитрусовых. Кое-где видны старые, напоминающие своими каменными башнями крепости крестьянские жилища, а рядом с ними—белые, в цветах и зелени современные поселки. Они построены уже в последние годы.

Партийный комитет провинции работает в двухэтажном здании. С утра до вечера в дворике перед домом толпятся люди. Они приходят и приезжают сюда со своими повседневными заботами и делами для того, чтобы получить совет, помощь, поддержку. Много крестьян со смуглыми от работы на солнце лицами, в плоских пуштунских шапочках из верблюжьей шерсти.

— Нас радует,— рассказывает секретарь парткома Махбуб Сангар,— что к нам тянутся люди. Это значит, что они доверяют партии, верят в то, что она защищает их интересы.

Мы разговаривали после окончания рабочего заседания партийного комитета. Его повестка дня была предельно насыщенной. Обсуждались вопросы единства партии, улучшения ее пропагандистской работы. Речь шла о помощи кадрами народной милиции. Задумывались члены парткома и над тем, как помочь семьям, пострадавшим от бандитского террора. Каждому хотелось бы сделать для них максимум возможного.

Трудное время, время напряженной работы, самоотверженной борьбы... В народе видят, что именно партия добивается того, чтобы в магазинах было больше товаров, чтобы не повышались цены. Партийные работники провинции не щадят ни сил, ни жизни для того, чтобы обеспечить безопасность простому труженику, чтобы он мог не беспокоиться за свою судьбу, за судьбу своих детей.

— Престиж партии у нас растет,— сказал товарищ Сангар.— Терпят провал попытки извратить ее политический курс. Засылаемые из-за рубежа банды в борьбе против партии прибегают к террору. Но эта тактика оборачивается против ее вдохновителей. Конечно, она несет с собой жертвы. Однако совершаемые бандами душманов преступления возмущают народ.

Один из участников заседания, немолодой, с утомленным лицом человек, заметил:

— Конечно, нам удалось бы добиться большего, если бы не вмешательство в наши внутренние дела из-за рубежа. У нас есть твердые доказательства того, что на территорию провинции вместе с бандами забрасываются американские, китайские, пакистанские и египетские инструкторы. Душманы получают современное американское вооружение. Им даже платят, как мы недавно убедились, в американских долларах и пакистанских рупиях.

В беседу вмешался губернатор провинции высокий, крупный мужчина с пышными черными усами:

— Я хочу добавить два слова... Помощь Советского Союза позволила нам остановить империализм. А с его тайной агентурой мы, надеюсь, справимся и собственными силами.

Из Джелалабада в Кабул я возвращался вертолетом. Быстро осталась позади зеленая долина вокруг Джелалабада, в иллюминаторы были видны голые, безжизненные горные гряды. Но нет, и здесь жили люди. Легкая, еле заметная паутина троп опутывала горы, соединяя между собой редко разбросанные кишлаки. Вертолет летел высоко, и казались игрушечными овцы, пасшиеся на скудных горных пастбищах.

Трудолюбив и мужествен афганский народ. Впервые за свою многовековую историю он увидел, что становится хозяином судеб родины. И больше никогда никому он не позволит лишить его этого права.

◆

РУТ ВЕРНЕР

СООБЩАЕТ СОНЯ...

В июне 1947 года отец получил отпуск и родители приехали ко мне. Незадолго до их отъезда, как-то ночью, около двух часов, я услышала, что у них в комнате кто-то стонет: с мамой случился сердечный приступ. Лекарство, судя по всему, не помогало. Единственный телефон, установленный на деревенской площади, не работал. Я помчалась на велосипеде за врачом в ближайший город. Обратно мы ехали на его машине, но опоздали: мама лежала при смерти. Даже если бы врач приехал раньше, он все равно уже не смог бы ничего сделать. Перед тем как я кинулась за врачом, мать, страдавшая от невыносимых болей, произнесла: «Ах, боже мой, мальчик». Она думала о Юргене, своем первенце, которого любила больше всех остальных детей.

Похоронили маму в нашей деревне на красивом старом кладбище. На могильном камне высечено ее имя, а ниже — имена мужа и шестерых детей, оплакивающих ее кончину.

Родители счастливо прожили вместе сорок пять лет, и мысль об одиноком возвращении в опустевшую квартиру пугала отца. Он остался у меня, продолжая работу над книгой о демографических проблемах колоний. Когда он выходил на прогулку, я всякий раз старалась сопровождать его. Он часто бывал на кладбище. Человек передовой, отец и сам смущенно посмеивался над этой своей привычкой, но ходил туда вновь и вновь. Я как-то сказала ему, что именно с кладбища открывается самый красивый вид на окрестности, и он был мне за это благодарен.

У фирмы, где работал Лен, заказов было мало, пластик тогда считался не более чем скверным заменителем кожи. Жить на два дома было слишком дорого, и я уговорила его переехать в Роллрайт. Летом 1947 года Леч поступил на алюминиевый завод в Банбери, в двадцати километрах от нас. Для ежедневных поездок туда он приобрел подержанный мотоцикл.

Из Центра вот уже более девяти месяцев не было никаких известий. Еще раз подчеркиваю, я не обижалась и не сердилась. Наверняка у Центра были свои причины для этого. Впоследствии так и оказалось. Тем не менее я чувствовала себя подавленной. Столько лет отдано этой работе, и теперь дни стали какими-то пустыми. Кроме того, нелегко было сообщить Джеймсу и Тому, что связи с Центром больше не существует. Том прошел курс обучения и мог бы приступить к работе радиста. Джеймс снабжал меня информацией, которой накопилось уже порядочно, но передать ее было некому. Кстати, Джеймс мог бы уйти из авиации и вернуться к своей гражданской профессии, однако, по нашей просьбе, остался пока на военной службе. О нем и о Томе я рассказала на этих страницах слишком мало, но, когда я думаю о лучшей части английского рабочего класса, именно они встают перед моими глазами.

Джеймс умер от лейкемии, еще молодым. Есть люди, с чьим обликом мысль о смерти совершенно не вяжется, и не только потому, что они тебе близки и дороги. Джеймс был на редкость чистым, жизнерадостным, неунывающим человеком! С Томом — даже после того как Центр прекратил с нами сотрудничать — нам не хотелось расставаться окончательно. Но и эту радость мы не могли себе позволить надолго, ведь скоро выяснилось, что простое общение с нами может поставить его под удар.

Мы с Леном не желали дольше оставаться политически пассивными, а потому решили вступить в Коммунистическую партию Великобритании. Но особых контактов с партией у меня не получилось, так как я принадлежала к отдаленной первичной организации в Банбери. У Лена дела обстояли ненамного лучше: на его предприятии было восемь членов партии, работавших в разные смены, так что вместе сходилось самое большее три человека, да и то лишь зимой.

Как я уже упоминала, в августе или сентябре 1947 года австрийский товарищ сообщил мне, что к нему явился Джим, чтобы предостеречь нас от дальнейшей работы. Увы, мы в то время и так уже не работали.

[1] Окончание. Начало см. в № 5.

Тогда же, в августе или сентябре (во всяком случае, отец жил еще с нами, а уехал он в октябре) однажды раздался стук в дверь. Я открыла. На пороге стояли два джентльмена; они поклонились, и один из них, не успев еще войти в дом, выпалил с ходу: «Вы несколько лет были русской агенткой, пока финская война не заставила вас разочароваться в коммунизме. По нашим данным, в Англии вы уже не работали, и мы пришли сюда не арестовывать вас, а предложить вам сотрудничество».

Этот «психологический» натиск был столь комичен и столь мало способен вывести меня из равновесия, что, с трудом удерживаясь от улыбки, я спросила: «Как насчет чашечки чаю?»

Джентльмены согласились, правда несколько кисло, и по моей просьбе предъявили документы.

Лен был чем-то занят в саду. Отец сидел наверху и работал. «Гости» перечислили несколько фактов из швейцарского периода, и мое подозрение, что Аллен Фут предал нас, еще усилилось. Они то и дело подчеркивали, что им известно о моем разочаровании в коммунизме после «нападения Советского Союза на Финляндию», что они знают, сколь лояльной английской гражданкой я являюсь. Следовательно, мне абсолютно нечего опасаться, так почему бы не пойти им навстречу и не рассказать о времени, проведенном в Швейцарии?

Я подтвердила свою лояльность, но дала понять, что это отнюдь не обязывает меня рассказывать о периоде, когда я еще не имела чести быть гражданкой Великобритании. Что же касается моего пребывания в Англии, то об этом я расскажу охотно.

Они продолжали твердить свое: им известно, что в Англии я не совершила ничего такого, что можно было бы поставить мне в вину. Обоих крайне удивляло, что я отказываюсь говорить, ведь я, дескать, поняла, чего он стоит, этот коммунизм.

Я быстро соображала: мы выписывали английскую партийную газету и состояли в партии; отец мой был председателем левого Свободного немецкого движения; политические труды Юргена пользовались известностью — и, наконец, ответила: пусть даже у меня были свои разочарования, но я не могу назвать себя антикоммунисткой. Кроме того, с моей точки зрения, лояльность, приличествующая английской гражданке, и левые взгляды не противоречат друг другу.

Чиновники пожелали побеседовать с Леном. Я позвала его и спросила, не выйти ли мне из комнаты. Зачем же, в этом нет необходимости. Первое, что они сказали Лену, было: «Нам известно, что вы хорошо знакомы с Алленом Футом». Лен в свою очередь спросил: «Фути [1]? Да. А что он сейчас поделывает?» Они обозлились, и я налила им свежего чаю. Разумеется, Лен тоже отказался говорить о швейцарском периоде своей жизни. И с ним они на первых порах обращались как с антикоммунистом. Мы не могли ни о чем условиться заранее, но Лен вел себя так же, как я, и заявил, что, несмотря на разочарования — мне кажется, он даже употребил те же самые слова: «несмотря на разочарования»,— он вовсе не ненавистник коммунистов.

Они отбыли не солоно хлебавши, но простились с нами миролюбиво. Уже уходя, один из них сказал: «А у вас здесь очень мило. Я и сам не прочь бы так пожить». Я ответила: «За чем же дело стало? У меня как раз сдается комната».

Этот визит дал нам пищу для размышлений. Неужели предатель Фут действительно «защитил» нас и подсунул MI-5 (пятый отдел военной секретной службы: контрразведка) версию насчет нашего «разочарования» из-за финской войны?

Поверила MI-5 Футу или пустила в ход этот трюк, чтобы усыпить нашу бдительность и заманить нас в ловушку? Слежки за нами не было ни до этого визита, ни после. Мы прошли достаточно хорошую школу, чтобы быть в состоянии судить об этом.

Уже не помню, когда опус Фута попал к нам в руки. Как бы там ни было, с момента визита сотрудников MI-5 мы исходили из того, что в Англии на Центр нам больше не работать. Но, судя по всему, Центр и без нас уже принял такое решение.

В октябре отец почувствовал себя плохо, вернулся в Лондон и лег в больницу. У него оказался рак.

Юргену, ноябрь 1947 года:

«Вам, наверное, уже сообщили о смерти папы. В последние недели я писала редко, мне казалось бессмысленным рисовать вам во всех трагических подробностях картину его медленного угасания...

До самого конца отец держался замечательно, иногда мы просто диву давались. Ведь раньше он никогда по-настоящему не болел и теперь вел себя мужественно и терпеливо. Почти не жаловался, был трогательно благодарен за каждое наше посещение и даже в последние дни улыбался, когда кто-нибудь из нас приходил навестить его. Еще за три дня до смерти он время от времени рассуждал о текущих политических событиях: о новом бюджете, отставке Дальтона [2] и т. п.

Он успел порадоваться, подержать в руках первый том своего труда о демографических проблемах в колониях. Твое письмо о праздновании 7 Ноября ему прочла Бригитта, когда мы с ней были у него. Вечером в понедельник он еще разговаривал обо всем, во вторник почти весь день проспал и бодрствовал только между шестью и восемью часами вечера. Потом снова уснул и больше не проснулся. Мы задолго до этого знали, что предстоит, и в последние две недели оставалось лишь желать, чтобы конец наступил поскорее. Но все равно это тяжелый удар».

Юрген получил много писем по случаю смерти отца. В письме с выражением соболезнования от Социалистической единой партии Германии, подписанном Вильгельмом Пиком и Отто Гротеволем, говорилось:

[1] Уменьшительное от Фут.
[2] Английский министр финансов.

Берлин, 12 декабря 1947 года.

«...Кончина профессора Кучинского — тяжкая утрата для немецкого народа, ибо он не только занимался актуальной прогрессивной научно-исследовательской работой, которую сознательно поставил на службу рабочему классу, но, даже находясь в эмиграции в Англии, чувствовал себя крепко связанным со своей немецкой родиной, страдал вместе с нею и боролся за нее. Всей силой своей личности он ратовал за единство немецких антигитлеровских сил. Безупречная объективность сделала его центром притяжения для передовых, демократически настроенных немцев в Великобритании...»

Товарищи Тюльпанов и Абрамов, в частности, писали от имени советской администрации:

«...Вся его жизнь являет собой пример бескорыстного служения своему народу и высоким целям всего прогрессивного человечества».

Мое письмо Юргену, 29 января 1948 года:

«Читая письма, я была глубоко тронута. Как хотелось, чтобы папа и мамочка могли при жизни ощутить хоть малую долю этого уважения и симпатии».

Я сделала ошибку, уговорив Лена переехать в Роллрайт. Он ненавидел монотонную и физически тяжелую работу в Банбери, а шансов на перемены не было никаких. Лен не бросил бы меня в беде, но чувствовать себя прикованным к этой фабричной каторге, быть обязанным содержать жену и троих детей и не видеть никакого выхода из создавшегося положения — нет, не так он представлял себе мирную жизнь. Вспоминая бурные годы в Испании, он тосковал по прошлому.

С той поры, когда Лен был водителем танка, ему осталась памятка: травмированный грохотом орудия слуховой нерв; малейшее переутомление вызывало шум в ушах и головные боли. Тяжелый труд выматывал Лена, а поскольку работать приходилось посменно, хроническая бессонница еще усилилась. Все чаще у него случались приступы депрессии. Сердце у меня обливалось кровью, но чем я могла ему помочь? Моя собственная жизнь тоже зашла в тупик. Дальше так продолжаться не могло.

Юргену (без даты):

«О себе самой рассказывать нечего. Если не считать, что я создаю семейный очаг детям и мужу, мое существование сейчас следует расценить как совершенно бесполезное. Не такая уж важная я персона, чтобы это было большим несчастьем, но для подобного прозябания каждый человек слишком хорош и слишком важен.

...Писать? Ах, с каким удовольствием я бы этим занялась! Как часто я подумывала о возможности писать для вас. Что-нибудь о настроениях немецких военнопленных здесь, об отношении рядовых членов лейбористской партии к кризису или о США? Ты можешь предложить мне какие-нибудь темы? Я тут написала статейку по-английски. Лен находит ее хорошей, а мой стиль — «живым и привлекательным». Я мечтаю, чтобы ее приняли, и тогда я смогу предложить им серию статей». (Статья была мне возвращена.)

Не следует думать, однако, что мы жили в атмосфере вечного уныния и подавленности. Дети вносили в нашу жизнь разнообразие и веселье, а кроме того, нас радовало общение с природой. Когда на душе становилось тоскливо, я бежала к тому месту, откуда открывался особенно любимый мною вид на луга, поля и гряды холмов.

Я использовала свободное время — а при наличии семьи, большого дома, сада, постояльцев и всякой домашней живности у меня его было не так уж много — для того, чтобы штудировать работы классиков марксизма-ленинизма, до которых у меня долго не доходили руки. Помимо этого я посещала Общество рабочего просвещения в соседнем городке Чиппинг-Нортон. Общество было близко к лейбористской партии.

Я всячески старалась заполнить свою жизнь. Но с того момента, как я убедилась, что Центр больше не возобновит со мной контакта, мною овладело желание вернуться в Германию. Вот о чем я должна была прежде всего поговорить с Юргеном. В январе 1948 года одна из попыток увидеться с ним сорвалась.

Юргену:

«Американское военное ведомство отказало мне в разрешении навестить вас. Они говорят, что поездки в Австрию и Германию дозволены только в чрезвычайных ситуациях.

Секретарша, типичная чинуша, лишила меня всякой надежды: сунула меня, то есть мое заявление, в папку и сказала, что я могу наведаться как-нибудь летом. Я не очень-то рассчитывала на удачу, но все равно страшно расстроилась. Тут я как рыба, вытащенная из воды. В Германии я бы могла что-нибудь делать. Рвусь туда всем сердцем.

В политическом смысле мир выглядит каким-то взбудораженным. Я вполне верю в будущее и нередко ощущаю радостное волнение. Многие сейчас допускают ошибку, смешивая активность реакции (а будет еще хуже) с ее силой. Впрочем, с другой стороны, меня нередко угнетает мысль о том, сколько же эта реакция натворит в мире бед, прежде чем с ней покончат».

Проблемы новой Германии интересовали меня с первого дня мирного строительства. Брат присылал мне текущие материалы.

Юргену (без даты):

«Стихи, которые вы прислали, я большей частью не поняла. Кто тут виноват: я или поэт? Вчера получила «Страну радостной уверенности» [1]. Прочла в тот же день, вернее в ту же ночь, и книга до того мне понравилась, что хочу порекомендовать тебе целиком переключиться на литературу для детей. Это заполняет пробел, который мне так хотелось бы заполнить самой. Однако твоя книга настолько лучше, чем была бы моя, что я вздохнула с полным облегчением: ты написал ее...

Большое спасибо, и особенно за номер «Виртшафт». В Обществе рабочего просвещения меня как раз просили сделать доклад о послевоенном экономическом развитии Германии и сопоставить его с общеевропейской экономикой, так что новейшие цифровые данные о производстве мне весьма кстати...

Впрочем, наибольший интерес у меня вызвала твоя статья «Капиталовложения и немецкие внешнеэкономические связи» в «Арбайт». После нее по крайней мере многое стало ясно, и вообще она действует освежающе после лавины нудных трескучих статей в британской прессе.

Твою идею написать семейную хронику я нахожу просто дикой. Но, может быть, я взгляну на это дело по-иному, если ты сообщишь мне подробности. Кроме папы и тебя, нашей семье некем чваниться. Один дед был богатым банкиром, другой растранжирил половину состояния. Один прадедушка торговал в Галиции шнурками для ботинок с тележки, другой был, как это тогда называлось, политически свободомыслящим, что ли? Но, может, ты придашь всему этому более историко-социальный оттенок? Четверть одиннадцатого. Пора готовить ужин Лену, он сейчас придет после вечерней смены».

В январе 1949 года мне, наконец, удалось встретиться в Праге с Юргеном. Он устроил меня у гостеприимных чешских друзей. Наверное, я слишком обрадовалась, увидев брата, но, так или иначе, в тот миг меня прямо-таки затопили мысли о нашем положении в Англии: прекращение связи с Центром, неудовлетворенность Лена своей жизнью, денежные заботы, неопределенное будущее. Какое огромное облегчение: хоть раз поделиться всем этим с другим человеком и получить совет. С повлажневшими глазами я обнимала Юргена и повторяла: «Я так счастлива, теперь все будет хорошо». При этом у меня напрочь вылетело из головы, что Юрген терпеть не мог сердечных излияний и сантиментов. Он хотел услышать от меня краткое изложение моих планов и выяснить, может ли он мне чем-нибудь помочь. В Праге Юрген все время был занят и только дважды сумел выкроить для меня по полчаса. Как он сказал мне, без согласия Центра мое пребывание в Германии очень осложнилось бы.

Тогда я решила пойти в советское посольство в Праге и оставить там письмо для Центра. На конверте стояло: «Военному атташе». На самом письме был адрес: «Директору армейской военной разведки. Москва. Арбат». Отправитель: «Соня, Бразилия».

Письмо было зашифровано. Я упоминала о прекращении связи и просила разрешения вернуться в Германию. Еще раз описывала местонахождение нашего тайника на случай утери контактов.

Юргену, зима 1949 года:

«Началась повторяющаяся из года в год борьба с окнами, из которых дует, и с водопроводными трубами, которые лопаются. Замерзла даже Нинина пара мышей — удар тем более тягостный, что мама-мышь ожидала прибавления семейства, и Нина уже заготовила список имен в ожидании счастливого события.

Читала «Встречи» Шеера, из которых две главы мне очень понравились, одолела том воспоминаний Кольвиц. Насколько же больше живет она в своих картинах, чем в дневниках».

Миша получил стипендию в Абердинском университете и изучал философию. Он был очень одарен, но к практическим вещам равнодушен и в этом отношении ненадежен.

Осенью 1949 года Лен попал на мотоцикле в аварию. Узнав, что он долго не сможет работать, администрация предприятия уволила его.

Юргену, 17 октября 1949 года:

«...Лен лежит в больнице в Банбери. Рука сломана в двух местах, на ноге два сложных перелома. По мнению врача, ногу придется держать в гипсе месяцев восемь...»

28 января 1950 года:

«...Петер, конечно, в восторге, что Лен теперь целыми днями дома. Они мастерят что-нибудь из «конструктора», а по вечерам Петеру даются полчаса, именуемые «все на свете». Под этим подразумеваются ответы на любые вопросы, которые придут ему в голову, и рассматривание книг с картинками о зверях, изобретениях, географии и машинах. У Лена великий дар объяснять вещи очень просто, часто его с интересом слушает Нина и даже я. Так что и сломанная нога имеет свои плюсы».

Как только Лен смог вставать и двигаться со своей гипсовой повязкой, я вновь навела справки насчет визы в Германию. Теперь возможность представилась быстрее. Что делать: рискнуть и поехать без разрешения Центра? Мое письмо, отправленное через посольство в Чехословакии, осталось без ответа. Я не желала больше сидеть без дела, к тому же у меня почти не было денег.

[1] Ю. Кучинский. Берлин. «Культур унд фортшритт». 1949.

Я опять съездила на велосипеде к туннелю и наконец-то нашла под нашим деревом записку. Моя поездка в Германию была одобрена. И сам факт получения известия, и его содержание сделали меня счастливой.

Накануне отъезда мы закопали в землю мой партийный билет и рацию и купили на складах старого американского армейского имущества четыре водонепроницаемых мешка из плотной ткани с застежками-молниями — вроде тех, в которых солдаты перевозят свои вещи. В них должны были уместиться все наши пожитки. Мешки были практичны, прочны и почти невесомы, мы и сейчас еще пользуемся ими во время отпуска и на каникулах.

Я пробовала уговорить Лена перебраться к одной из моих сестер: его приняла бы любая. Он, однако, решил остаться в Грейт-Роллрайте до полного выздоровления.

В сложившихся обстоятельствах Лен не мог строить никаких твердых планов на будущее. Он хотел после выздоровления переехать в какой-нибудь промышленный город, где он смог бы принести пользу партии и дождаться там вестей от меня и от Центра. Расставание наше было какое-то неопределенное, быть может, мы разлучались навсегда. Восемнадцатилетнему Мише пока тоже пришлось остаться в Англии. Нине и Петеру, как несовершеннолетним, вписанным в мой паспорт, было разрешено ехать со мной.

Официально я ехала в Германию в гости. Из Лондона мы прилетели через Гамбург в Западный Берлин, а оттуда добрались до вокзала Фридрихштрассе. Я позвонила Юргену, который жил на Шлахтензее. Было десять часов вечера, замерзшие дети сидели на мешках в здании вокзала, где гуляли сквозняки. Маргарита приехала на Фридрихштрассе и сообщила нам, что они как раз переезжают и Юрген живет у друзей. Вот тебе и на! Куда же нам приткнуться хотя бы на одну ночь? Мы с Маргаритой тщетно бегали из гостиницы в гостиницу. Около полуночи швейцар теперешнего отеля «София» сказал нам, что пожилая супружеская чета на улице, носящей теперь имя Вильгельма Пика, недалеко от Розенталерплац, сдает приезжим комнаты.

Мы разбудили хозяйку длинным звонком. Она приняла нас.

Дети спали вместе в одной постели на влажных и холодных простынях, я — в другой.

Было начало марта. Комнату топили через два дня на третий тремя-четырьмя брикетами угля. Все вокруг выглядело тогда еще довольно безрадостно: много пьяных, пивнушек и разбомбленных домов.

Юрген сообщил кому-то в посольстве или в СССР о моем приезде. Без Центра я не могла, как мне того хотелось, снова стать членом партии. На первых порах я ни с кем не общалась. Юрген договорился, чтобы нас кормили обедами в Культурбунде, и еженедельно снабжал нас деньгами. Продовольственных карточек у нас не было. Завтракали мы экономно, но зато по возможности долго, в кафе на Розенталерплац. Сколько-нибудь длительное пребывание в нашей холоднющей комнате было немыслимо. В середине дня мы уходили из дома, останавливались на мосту напротив вокзала Фридрихштрассе, смотрели на чаек, а потом бежали в Культурбунд на теперешнюю Отто-Нушкештрассе. Знакомых у нас там не было. Единственный, кто дружески заговаривал с нами, услышав, что дети говорят только по-английски, был Бодо Узе. После обеда мы чаще всего шли в Дом германо-советской дружбы, чтобы побыть в тепле, и смотрели там какой-нибудь фильм.

Детям необходимо было срочно учиться немецкому языку. Надо было устроить их в школу, но я еще не знала, как все обернется для меня самой. Немецких документов у меня не было. Поэтому я решила вновь расстаться с детьми, пока ситуация не прояснится.

В Финкенкруге еще существовал получастный не то детский дом, не то пансион. Моих ребят начальница приняла с распростертыми объятиями. Нина с головой ушла в школьные занятия и овладевала немецким гораздо быстрее, чем мечтательный и застенчивый Петер. Я осталась жить в нашей комнате.

Известие от Центра я получила только в конце апреля. Ответственный товарищ приехал ради этого из Москвы и пригласил меня на праздничный обед в чей-то дом.

Я подробно рассказала ему о последних годах в Англии. Он отнесся к делу с полным пониманием и вникал во все подробности. По его словам, Центру пришлось надолго прервать связь, но деньги и уведомление для меня были положены под дерево: под четвертое дерево за туннелем — и никакой тропинки, ведущей в лес! Только мое сообщение из ЧССР позволило разобраться с вопросом о местоположении тайника. Кто-то — либо они, либо я — допустил ошибку.

Товарищ спросил, как я представляю себе свое будущее: что касается работы, у них есть для меня различные варианты. Я не поверила своим ушам. После инцидента с Футом и долгого перерыва я вообще уже не думала о работе для Центра. Я хотела бы жить в своей стране как ее гражданка и член ее партии. Мой собеседник тоже был изумлен: он твердо рассчитывал, что я и впредь буду работать для Центра, и по-товарищески пытался убедить меня согласиться. Я сказала ему, что связь с Советским Союзом и моей прежней работой навсегда останется частью моей жизни, но нервы и способность сосредоточиваться у меня уже не те, что прежде, я считаю двадцать лет достаточным сроком и предпочла бы теперь поселиться в ГДР. Он должен понять, что после столь долгого отсутствия мне хочется жить на родине и вернуться в партию. Надо полагать, партия найдет для меня работу.

Беседовали мы долго. Товарищ просил меня взвесить все еще раз. Я осталась при своем мнении.

В действительности, я, несмотря на свое еще неясное положение, с первого дня была счастлива. Когда на улице меня называли «товарищем», у меня перехватывало дыхание; прохожий говорил на берлинском диалекте, и я расплывалась в радостной улыбке.

Из письма сестрам, весна 1950 года:

«Разумеется, моя жизнь здесь идет совсем по-иному, нежели в очаровательном, но оторванном от мира Грейт-Роллрайте. Я буквально с жадностью впитываю все: театры, кино, трудности, успехи, людей хороших и неважных; каждый день от первой до последней страницы прочитываю три газеты. Как пиявка, присасываюсь к каждому, кто готов разговаривать со мной, и выжимаю его, как лимон. Бываю на собраниях, постепенно вхожу в курс дела и готова приступить к работе. Что это будет за работа, еще не решено. Мне хотелось бы чего-нибудь серьезного, профессионального, с общественной нагрузкой по вечерам. Но тут примешиваются семейные проблемы — дети! Юрген, варвар, предлагает оставить их в пансионе, там, где они сейчас. Ну уж нет! Довольно и того, что семья расколота, быть может, на годы. Хочу иметь возле себя хотя бы двоих младших...»

Советские товарищи предоставили мне квартиру в своем городке Карлсхорсте, а через три недели, во второй половине мая — другую, вне Карлсхорста. Квартира мне не очень понравилась: темная, с огромной грудой строительного мусора у дверей, да еще пивная под боком. Почти весь день я проводила в парке, теперь это зоосад, и читала.

Примерно в середине мая исполнилось мое желание: Центр связал меня с немецкой партией. Я была принята товарищем Вилли Клингом из отдела кадров ЦК. С этого момента и вплоть до его смерти в 1973 году нас с ним связывала дружба, которой оба мы очень дорожили. Мне хотелось бы, чтобы кто-нибудь из многочисленных друзей Вилли Клинга, знавших его дольше, чем я, написал о жизни этого бесстрашного и непоколебимого немецкого большевика.

Летом 1950 года, посоветовавшись с Вилли Клингом, я приступила к работе в тогдашнем ведомстве информации как руководитель группы в отделе печати. Работа была незнакомой, но тут мне вновь повезло. Ведомство возглавлял Герхарт Эйслер, начальником моего отдела был товарищ Альберт Норден. Деба Виланд стояла во главе группы, реферирующей материалы из Советского Союза, а позднее вошла в состав руководства ведомства. Спустя приблизительно полчаса после начала работы руководители групп собирались в кабинете Герхарта. К этому времени он и товарищ Норден (тогда он был для нас Конни, это имя сохранилось от периода подполья) уже успевали просмотреть прессу Англии, Франции и США. Они оценивали ситуацию и нередко с ошеломляющей быстротой высказывали свои соображения, так что перед нами наглядно представала картина классовых боев в мире. Деба Виланд между тем прочитывала советскую периодику и спокойно излагала свои продуманные мнения.

Герхарт Эйслер был в высшей степени дисциплинированным работником. Он никогда не опаздывал. Вернувшись из командировки, скажем, часам к пяти утра, в восемь часов он, как всегда, был уже на работе. Во время беседы он, улучив момент, доставал из портфеля помятую алюминиевую коробку, извлекал свои два бутерброда — иногда к этому добавлялось еще яблоко — и, не прерывая работы, завтракал.

С Конни Норденом, моим непосредственным начальником, мне приходилось общаться ежедневно. Свои указания и критику он неизменно сдабривал шуткой и иронией. Я была приучена к подобному стилю Юргеном, и меня вполне устраивало это в высшей степени полезное для меня сотрудничество. Деба учила меня подходить к новому методически и основательно. Для меня много значила ее товарищеская помощь. Скоро я уже отвечала за выходивший дважды в месяц бюллетень, освещавший ход борьбы против американского империализма, а позднее — за поступавшие во все газеты ежедневные правительственные сообщения.

Мы получили квартиру получше, и я забрала детей к себе. Петер пошел в первый класс; после уроков он до вечера оставался в тогда еще тесном и переполненном помещении группы продленного дня. Мальчишка сначала выучил берлинский диалект и только потом — немецкий как таковой. Осваивался он в новой обстановке с трудом и очень радовался, если вечером я приходила домой вовремя. В жизни не забуду, как однажды он, едва я вошла, повис у меня на шее и, пользуясь своим новым лексиконом, радостно воскликнул: «Приветик, старая хавронья!»

Четырнадцатилетняя Нина быстрее почувствовала себя дома, забросила коллекцию фотографий английской королевской семьи и стала активным членом Союза свободной немецкой молодежи.

Центр дал согласие на переезд Лена в ГДР. Было договорено, что Социалистическая единая партия Германии найдет ему подходящую работу и вообще отнесется к нему с вниманием, которого он заслуживает как партиец и участник Сопротивления. Я написала об этом Лену, и он приехал.

При поддержке Вилли Клинга Лен начал работать в информационном агентстве АДН и сотрудничал там в течение двадцати лет. Руководители — сначала Георг Ханзен и Макс Кахане, а с 1953 года Деба Виланд — ценили его и с пониманием относились к трудностям, которые ему приходилось преодолевать. Честность Лена по отно-

шению к окружающим, его высокая порядочность, добросовестная и весьма квалифицированная работа — он занимался политическим анализом английской и американской прессы — снискали ему уважение.

Через год после приезда Лена Миша тоже решил перебраться в ГДР; я была счастлива, что вся наша семья снова вместе.

Контакты с Центром полностью прекратились. Я не получала никаких вестей из Советского Союза да и не ждала их. Думала, что с прошлым покончено, и спокойно занималась своей работой в ГДР. Только Вилли Клинг знал кое-что о моей прежней жизни и считал, что я обязательно должна получить свою награду — друзья в СССР упоминали о ней,— и, к моему великому изумлению, она действительно была мне вручена. Но об этом я уже писала.

В 1953 году наше ведомство сменило название, функции и руководство. С новым начальством я ладила хуже. Когда однажды я забыла запереть сейф (в нем, кстати, не было никаких секретных материалов), на меня наложили партийное взыскание за «недостаток бдительности» и даже намекнули на увольнение. Мне дали плохую характеристику, в частности упрекнув меня в «мелкобуржуазных тенденциях». Отмахнуться от всего этого как от «иронии судьбы» я не могла, это было не в моем характере. Я перешла во Внешнеторговую палату.

Еще в ведомстве информации я не упускала возможности заняться журналистикой или литературой. После моих первых публикаций в печати и Герхарт Эйслер, и Конни Норден поощряли мои литературные опыты. Во Внешнеторговой палате, где я начинала при поддержке Вилли Клинга, я наряду с выполнением своих прямых служебных обязанностей заведующей отделом печати писала рекламные брошюры для наших предприятий, работающих на экспорт. Отклики читателей и позитивная критика со стороны Ф. Вайскопфа прибавили мне уверенности. А уверенность была мне ох как нужна, разве без нее решишься почти в пятьдесят лет вновь сменить профессию во имя давнишней мечты.

В 1956 году я оставила постоянную работу, чтобы написать свою первую книгу. И с тех пор непрерывно занимаюсь литературной деятельностью, если не считать работы над этими воспоминаниями, которую я не считаю чисто литературной.

Просто замечательно и в старости иметь профессию, требующую такой отдачи. Возможно, радость творческого труда способствует тому, что я живу не прошлым, а настоящим. Однако совсем уйти от прошлого невозможно.

Если ночью меня мучает кошмар, то это всегда сон, в котором враг гонится за мною по пятам и у меня не остается времени уничтожить донесение.

Попадая в новые места, я инстинктивно приглядываю местечко для тайника.

А прощания детей с родителями на вокзалах я просто не в состоянии видеть.

Прошлое! Семь лет назад, во время поездки ветеранов в Москву я встретила на приеме старую советскую приятельницу. Обменявшись несколькими фразами, мы, счастливые, бросились друг другу в объятия. Наташа, коллега по тому времени, когда моим начальником был Андрей!

Быть может, только старики в состоянии понять, как взволновала нас эта встреча. Я пригласила Наташу в Берлин. Между прочим, Наташа поинтересовалась, не знаю ли я случайно автора книги «Ольга Бенарио»; во время визита в ГДР ей очень хотелось бы с ним повидаться. Когда я сказала, что автор перед нею, Наташа снова обняла меня. Сейчас Наташе семьдесят шесть лет. Она воевала — и теперь полковник в отставке. Мы часто видимся. Иногда смотрим друг на друга, и обеим кажется чудом, что мы живы...

Прошлое воскресло, когда меня попросили рассказать об этих двадцати годах моей жизни. Нелегко было преодолеть давно сложившийся у меня «комплекс молчания», но я сочла правильным, что партия обратилась к старым товарищам — я была не единственной — с просьбой написать воспоминания.

В 1969 году мне домой неожиданно принесли пригласительный билет. Как и тридцать два года назад, это означало, что я должна приодеться. На сей раз я была не в сером костюме, а в черном.

Меня наградили вторым орденом Красного Знамени.

Безмолвная, я стояла перед товарищами и думала о Михаиле Ивановиче Калинине, о грузовике, полном молодых красноармейцев, и о том, сколько их погибло в борьбе с фашизмом. Я думала о других товарищах, которые заслуживали бы трех таких орденов, но которых уже не было в живых.

И вот мне дано задание подготовить для печати свои воспоминания.

Посвящаю их всем тем, кто отдал свою жизнь борьбе, кто с радостью шел на жертвы во имя нашего сегодня, основы для лучшего, социалистического мира!

Перевод с немецкого И. БУЖИНСКОЙ

◆

Антирубрика

ЭРНЕСТ СЕТОН-ТОМПСОН

ПИЖОН СРЕДИ КОВБОЕВ

Глава из автобиографии

Перевод с английского ЛЮДМИЛЫ БИНДЕМАН

Вскоре после меня на ранчо «Л крос Ф» приехал еще один выходец из восточных штатов с рекомендательными письмами к управляющему. Звали его Чарльз Фитцуолт, по крайней мере так он произносил свое имя. Его родители жили в Массачусетсе, но отправили сына за университетским дипломом в Англию, в Оксфорд. Чарльз был почти шести футов ростом, превосходно сложен, занимался боксом и играл в университетской футбольной команде, что само по себе говорило о многом.

Закончив университет, Чарльз вернулся в Бостон, но родные пенаты быстро наскучили ему. Его воображение захватили рассказы о Диком Западе — Джимме Бриджере, Билли Уильямсе, Ките Карсоне и других первопроходцах. Чарльзу шел двадцать второй год, и, располагая кое-какими собственными средствами, он купил билет до Чикаго и провел целый день в огромном магазине «Монтгомери Уорд», где обзавелся «настоящей» ковбойской экипировкой, о которой судил, очевидно, по нарядам персонажей Буффало Билл Шоу [1].

Он кинул свой костюм в чемодан и тут же, в знаменитом магазине, облачился в новый наряд — рубаху из оленьей кожи, расшитую бисером, украшенную бахромой и затейливым узором из игл дикобраза, такие же гетры, высокие сапоги на каблуках с серебряными шпорами, огромную мексиканскую шляпу с серебристой зубчатой окантовкой и прочей мишурой и, наконец, ремень с длинным охотничьим ножом, патронташами и двумя шестизарядными кольтами.

Продавца чуть не хватил удар, когда он сообразил, что этот человек собрался куда-то ехать в таком облачении. На улице за Чарли увязалась шумная ватага ребятишек. Тогда он кликнул извозчика и поехал прямо на железнодорожную станцию, где купил билет и чикагскую газету. Не обращая внимания на улыбки окружающих, он углубился в чтение. Потом ему пришло в голову, что следует время от времени подтачивать нож о подошву сапога, чтоб еще больше походить на ковбоя. Железнодорожные служащие от души позабавились, когда услышали, что он едет на Запад, потому что «хочет стать лихим парнем, небось слыхали про таких?». Пять дней, пока поезд шел в Клейтон, Нью-Мексико, он веселил всех пассажиров.

Начитавшись про Джесса Джеймса [1], Неукротимого Билла Хикока [2] и других героев подобных историй, Чарльз твердо усвоил, что главный салун и есть настоящий клуб в городе, и тут он не дал промашки. Войдя с важным видом в кабак Гарри Уэллса, Чарльз остановился у стойки бара и потребовал:

— Стакан вина, пожалуйста!

Старый бармен Рыжий Мэрфи, который стоял за стойкой в тот день, глянул на клиента и произнес с расстановкой:

— Здесь пьют виски, пижон. Из оловянных кружек. Пьют и нахваливают, понял?

— Да, да, конечно,— спохватился новичок.— Виски и оловянную кружку! — Если хочешь стать своим парнем, надо усвоить местные обычаи.

К этому времени весь салун смотрел на него с любопытством: откуда, мол, взялся этот простофиля?

Шериф, старожил здешних мест, оглядев новичка с ног до головы, ухмыльнулся:

---

[1] Популярное шоу «Дикий Запад» было поставлено актером Уильямом Коди, по прозвищу Буффало Билл.

[1] Известный бандит, главарь шайки, грабившей банки и поезда.

[2] Шериф, отличавшийся большой личной храбростью.

— Все ясно как божий день. Малютка Уилли сбежал из воскресной школы на Запад, чтобы стать парнем оторви-да-брось. Ну что ж, наше дело — помочь ему в этой затее. Я как раз собирался завтра заарканить двух отчаянных головорезов, кстати очень метких стрелков. Мне нужен надежный помощник, так что я назначаю тебя помощником шерифа! — С этими словами он хлопнул Чарльза по плечу и протянул ему значок.

— Грандиозно, грандиозно! — обрадовался Чарльз.— Я затем сюда и приехал, небось слыхали? — И он весь засиял от удовольствия.

На следующий день он отбыл с шерифом, предоставив окружающим теряться в догадках. Вообразите всеобщее удивление на следующий день, когда шериф вернулся с одним бандитом, а немного позже наш пижон привез с другого ранчо второго бандита — обезоруженного и в наручниках.

— Честное слово,— сказал он,— все было совсем как в книгах.

Продемонстрировав таким образом свою храбрость, Чарльз занял подобающее положение в обществе. Он каждый день упражнялся в стрельбе из шестизарядных кольтов, пока не наловчился стрелять не хуже любого ковбоя. Он всегда был готов выполнить свой долг и завоевал уважение окружающих.

Мы с ним были единственными образованными людьми на всю округу, а потому невольно сблизились. Часто ездили вместе верхом или охотились на волков. Как-то раз он сказал в характерном для него духе:

— Честное слово, Сетон, я должен научиться ругаться. Здесь это принято. Надо следовать местным обычаям. Начну-ка я побольше общаться с Билли Бэнкамом. По части ругани он — виртуоз, да и репертуар у него неистощимый.

Через неделю он сообщил:

— Честное слово, Сетон, я осваиваюсь весьма успешно. Вчера я два раза выругался, и скоро это войдет у меня в привычку.

В округе Чарльз уже пользовался репутацией «настоящего мужчины», когда любопытный случай снискал ему лавры местной знаменитости.

Конец ноября выдался почти бесснежный, с жестокими холодами и шквальными ветрами. Однажды в морозный день в клейтонский салун ввалился отъявленный бандит из Техаса, по прозвищу Черный Джек; на ружье он имел несколько зарубок. До своего прихода он уже где-то набрался, но, коротая время, продолжал хлестать виски. Черный Джек болтал все развязнее и громче, похваляясь своими проделками, и, наконец, схватив ружье, прострелил циферблат часов.

За стойкой бара стоял Рыжий Мэрфи. Он вовсе не хотел затевать драку, и приход старого шерифа был бы как нельзя более кстати. Около четырех часов дня появился не кто иной, как наш пижон,— весь в снегу, дрожащий от холода после долгой скачки против ветра. Он отказался от выпивки и пошел погреться к большой толстопузой печке. Бретер Черный Джек заприметил его и заорал:

— А ну-ка вылезай оттуда, несчастный койот! Ковыляй сюда и угощай компанию! Слышишь? И не думай, что я прошу, я приказываю: сюда — быстро! Выставляй угощение! — И Джек пальнул в печную трубу, чтобы показать, что он не шутит.

Пижон медленно поднялся, подошел к ковбоям и тихо сказал:

— Честное слово, как-то неловко получается. У меня не было ни малейшего желания так поступить, но порой приходится делать то, что тебе не по душе. Мне это, поверьте, очень противно, но, полагаю, я должен это сделать и сделаю.— Обернувшись к Черному Джеку, он в мгновение ока нанес ему такой сокрушительный удар в челюсть, что бретер рухнул на пол. Прежде чем он пришел в себя, наш пижон выхватил у него нож и два ружья, надавал ему пинков и, распахнув заднюю дверь, выкинул все оружие в бадейку с помоями.— Честное слово,— сказал он,— я не хотел этого, но порой приходится заниматься тем, что тебе совсем не по душе.

Тут появился и старый шериф. Он надел на бандита наручники и отправил его в Лас Вегас, а потом в Санта Фе — отбывать годичный срок заключения.

Большой отель Клейтона, принадлежавший Гарри Уэллсу, считался культурным центром города. Разумеется, в отеле был большой бар, а за ним — танцевальный зал, весьма респектабельное заведение. Каждый субботний вечер там устраивали танцы в истинно западном духе.

Кроме пижона у старого шерифа был еще один помощник, по прозвищу Тощий Дженкс, шести с половиной футов ростом, тощий как жердь. В него частенько стреляли, но каждый раз промахивались: бандиты говорили, что стоит ему повернуться боком, как он вообще исчезает из виду.

Однажды я долго ехал верхом с Джимом Бендером. Разговор зашел о Тощем Дженксе. Джим его, конечно, знал и, как все в городе, очень уважал.

— Почти не пьет и женщинами не интересуется,— рассказывал Джим,— а в деле пару раз показал себя стоящим парнем. Почтмейстер сказывал: каждую неделю слал письма мамочке, а я потом узнал, что и половина его заработка отправлялась ежемесячно по тому же адресу. Как-то на родео в честь Дня независимости он выкинул такую штуку, что всем разом утер нос. Представляешь, взводит курок и кладет ружье поперек ладони, а на пальцы той же руки — жестянку с томатным соком. Потом подкидывает и ружье, и жестянку в воздух. Ружье летит футов на шесть, а жестянка — на все двенадцать. Так вот, сэр, он с ходу хватает ружье и стреляет в жестянку, пока та не коснулась земли. За такое тебя всякий уважать станет, потому его и взяли в помощники шерифа.

Так вот, сэр, как-то в городе появилась новая девушка. Она устроилась официанткой в ресторан. Страшна как смертный грех, но скромная, хорошего поведения, к тому же с отличными рекомендациями. Так вот, сэр, каждый субботний вечер в зале, что за баром, устраивались танцы, и все

парни и девушки собирались там, чтоб попрыгать по старинке. Однажды в субботу заявляется на танцы парень — сразу видно, что тертый калач,— и в Клондайке, и в Нью-Йорке, где он только не побывал и набрался там всего сверх всякой меры. А новенькая, надо сказать, танцорка была хоть куда, и кавалеры тут же записались к ней на все танцы, хоть личиком она ни в какое сравнение не шла с другими девушками.

Так вот, сэр, Клондайк с ходу записался у нее на третий танец, а тем временем рассмотрел ее получше и изрядно поостыл. Наступает его черед, а он — ни с места. «Эй, Клондайк, твой танец!» — говорит ему кто-то из ребят, а он сплевывает табачную жвачку на пол и отвечает: «К черту! Охота была скакать с этой образиной у всех на виду!» Громко сказал, на весь зал.

В общем, только он эти грубые слова произнес, как Тощий Дженкс, что стоял по соседству, хватает ружье вот таким образом, подходит к нему нос к носу и заявляет: «Слушай, сукин сын [1]! У нас не заведено, чтобы так говорить про девушку. Пусть она страшней огородного пугала, пусть веснушчата, будто индюшачье яйцо, пусть косит так, что, как заплачет, слезы катятся по затылку, она — видит бог — порядочная девушка, и мы требуем, чтоб с ней обходились уважительно. Изволь сейчас же встать перед ней на колени, чтобы все видели, и проси прощения».

Конечно, весь спектакль подпортило то, что девушка слышала, как Дженкс расписывал ее прелести. Клондайк решил было драться, но кто-то шепнул ему, что Тощему лучше не перечить, тем более что он, Клондайк, у него на мушке. И Клондайк как миленький плюхнулся на колени, попросил прощения, а потом — бочком, бочком, да к выходу. Больше его в здешних краях не видели.

А у Тощего Дженкса в ту зиму умерла мать, а ранней весной он женился на Веснушках. Теперь он был человек обеспеченный, мог себе это позволить. И стала она ему женой — первый класс! Счастливее их пары в Клейтоне не сыскать.

[1] Испанское слово, означающее «неприятная особа» *(прим. автора)*.

Когда я поселился на ранчо у Бендера, было наперед оговорено, что он будет вести хозяйство и готовить, я же займусь только охотой на волков. Однако я очень скоро обнаружил, что Бендер не любит рано вставать. Я привык подниматься в семь, он же мог проваляться в постели до девяти, если его оттуда не вытащить силком.

Вся моя забота была в том, кому из нас придется готовить завтрак. На третье утро, видя, что Бендер не подает признаков жизни, я часам к семи быстро сделал себе завтрак и, разумеется только из приличия, приготовил его на двоих.

На следующее утро, к моему огорчению, Бендер поднялся еще позднее, а на пятое я понял, что меня — хочешь не хочешь — вынудили стать поваром. Бендера такое положение дел, казалось, вполне устраивало. Он даже позволял себе с полчасика понежиться в постели, дожидаясь, пока его позовут: «Джим, завтракать!»

«Ха-ха,— сказал я про себя,— мне ли не знать, как поступают в таких случаях».

Джим был большой любитель свежего песочного печенья. На следующее утро я поднялся спозаранку, замесил печенье для себя, а потом сделал специальный замес для Джима. В тесто для Джима я вместо питьевой соды положил стиральной. Джим лениво поднялся после того, как я уже кончил завтракать, надкусил печенье, желтое и ужасно горькое, и тут же его выплюнул.

ОГУЗ МАКАЛ. Турция. Без слов.

— Что-нибудь не так? — невинно осведомился я.— Вон там лежит все, из чего оно делается,— и я махнул рукой на шкаф, где стояли жестянки с мукой,— мое было вполне съедобно.

На следующее утро, позавтракав, я высыпал целую пригоршню соли в кофейник и крикнул:

— Джим, вставай, завтрак готов!

Джим поднялся и налил себе чашку кофе.

— Слушай, Сетон, ты не из болота для кофе воду таскаешь? — взорвался он.— Чистая щелочь!

— Я варил этот кофе на воде, которую ты принес вечером. Ты говорил, что она ключевая. На мой вкус все нормально, а тебя, может быть, мучает изжога с похмелья? Не перепил ли ты вчера?

Джим, мрачнее тучи, давился завтраком.

Бифштекс был, разумеется, нашим главным мясным блюдом. На сей раз я не только крепко посолил кофе, но и изжарил бифштекс для Джима на колесной мази. Бедный Джим! Запаса обычных слов ему явно не хватило, он стал выражать свои чувства самым что ни на есть непарламентским языком.

— Мне кажется, Джим, последние дни тебя мучает изжога,— заявил я ему,— если тебе моя стряпня не по душе, ты знаешь, что надо делать.

— Да, знаю. Здесь так заведено: раз воротишь нос от чужой стряпни, готовь сам. Пусть так. Да, я ворочу нос! Больно мне нужно травиться твоей стряпней! Не знаю, как ты ее переваривать. Сам буду готовить!

И он сдержал свое слово. Я мужественно перенес отставку и не таил в сердце зла против Джима. Только через двадцать лет он узнал, как я вынудил его отстранить меня от поварского дела.

Но это вовсе не означало, что я не помогал ему по хозяйству. Джим заметил, что я — мастак по нарезанию бифштексов из куска туши, что всегда висела в тени дома, и поручил эту работу мне. Как-то я сказал ему:

— Джим, мяса и на неделю не хватит. Ты ведь не меньше меня любишь свежие бифштексы, со сковороды. Так, может, пополним свои запасы, чтоб уж было что «подвесить».

— Какой может быть разговор! Сегодня утром кого-нибудь и заарканим.

Сразу же после завтрака мы верхом отправились в путь. На огромном открытом пространстве темными пятнами выделялись стада скота. В ближайшем было голов тридцать — молодые волы и телки. Мы стали теснить их к нашему коррали, безуспешно пытаясь загнать их туда. Оказывается, два дня тому назад мексиканские пастухи забили барана и подвесили его к воротам, чтобы снять шкуру. Все ворота и изгородь были испачканы кровью. Запах крови всегда возбуждает и отпугивает скот; каждый раз, приблизившись к воротам, животные в ужасе отскакивали назад и обращались в паническое бегство, несмотря на все наши усилия.

Через полчаса безуспешных попыток загнать стадо я сказал:

— Джим, это бесполезно. Покажи, кого убить, и я уложу его на месте.

— Подранок перебудоражит воплями всю прерию.

Прошло еще полчаса — все впустую.

— Джим,— снова сказал я,— покажи, кого брать, и я гарантирую, что уложу его на месте.

— Ну, ладно, вали бурого бычка.

Я осадил лошадь и прицелился, но выстрелить не успел.

— В кого ты, черт подери, целишь? — заорал Джим.

— В бурого бычка,— ответил я.

— Вали телку,— указал он.

Я вогнал телке пулю в лоб, и она упала. Все остальное стадо разбежалось по прерии.

В воздухе было полно пыли. Опасаясь за ружейный замок, я поспешил к дому.

— Куда это ты направился? — крикнул Джим.

— Домой, отнести ружье.

— Оставь его здесь, может пригодиться,— последовал ответ.

Немало озадаченный, я молча подчинился.

Потом мы начали свежевать телку. Я никогда не видел, чтоб этим делом занимались так торопливо и небрежно. Мы отрубили голову, ноги и хвост, даже не обдирая шкуры, и Джим тут же отнес все это в мусорную яму. Тушу свежевали так быстро, что

ХУЛИО ГУТИЕРЕС
Боливия.
Без слов.

в отрубленных кусках с еще не ободранной шкурой подергивались мускулы. Когда мы перевернули телку на другой бок, я заметил тавро.

— Это не твое тавро! — воскликнул я.

— Здесь Нью-Мексико. У нас не любят знатоков по части тавра,— с грубоватой прямотой ответил он.

Я смолк. Тушу мы разрубили примерно на восемь кусков, сложили их в четыре больших луженых таза и занесли в дом. Я знал, что по закону шкура убитого животного должна месяц висеть на изгороди загона, чтобы всем было видно тавро. А потому, когда Джим поспешно скатал шкуру и засунул ее поглубже в помойную яму, я призадумался.

Тем временем мы приготовили обед и бездельничали.

Вдруг далеко в прерии я заметил характерное поблескивание. Джим тоже его увидел и вскочил. В здешних краях такое поблескивание означало, что едет мексиканец: серебряная окантовка его шляпы либо другие украшения всегда сверкали на солнце.

Всадник приближался. Джим вышел ему навстречу. Я же направился в заднюю комнату, где на полу стояли тазы с мясом. Вскоре я услышал сердитую перебранку на местном диалекте. Слов я не понимал, но тон мне явно не понравился. В комнате, где я сидел, был погреб. Открыв крышку, я спустил туда тазы с мясом. На столе в кувшине с водой стоял букет осенних цветов. Установив стол на крышке погреба, я сел, достал альбом и стал рисовать цветы.

Тем временем шум ссоры нарастал. Внезапно дверь резко распахнулась, и вошел мексиканский ковбой свирепого вида с револьвером в руке, а за ним — безоружный Джим. Я кивнул: «Buenas dias» [1]. Мексиканец хмуро оглядел комнату, прошел на кухню, озираясь по сторонам, потом обошел весь дом и, наконец, уехал, бормоча что-то себе под нос.

Когда тучи рассеялись, Джим, как мне показалось, вздохнул с облегчением, но ничего не сказал. Я продолжал рисовать цветы.

В тридцати милях от нас на маленьком уединенном ранчо жил известный охотник на волков Тэннери. Он знал множество способов, как ставить хитроумные ловушки, но никому не открывал своих секретов. Однажды в городском клубе он сказал невзначай Джиму Бендеру, что познакомил бы меня кое с чем, если бы я как-нибудь заехал к нему на ранчо.

Я работал добросовестно, каждый день ставил ловушку, раскладывал отравленную приманку, но особого успеха не добился. Попалось лишь несколько койотов, но ни одного волка, хотя было множество доказательств того, что они подходили к моей приманке, но с презрением от нее отворачивались.

Однажды после обеда я оседлал своего коня.

— Куда собрался? — поинтересовался Бендер.

— К Тэннери,— отвечал я,— может, он и впрямь научит меня, как перехитрить этих волков.

— Черт побери, ты не можешь к нему сейчас ехать,— сказал Джим,— до места доберешься лишь затемно.

— Ну и что? — возразил я.— Не всадник, так конь всегда отыщет дорогу.

— Не в этом дело. Видишь ли, Тэннери объявлен вне закона. Уже два ордера на его арест выдали. Если кто затемно подойдет к его дому, палит без предупреждения. Пять месяцев назад он так пристрелил своего старшего брата.

— Хм, это меняет дело, подожду до утра,— решил я.

В то утро я собрался спозаранку. Когда я проезжал мимо двери дома, вышел Джим и оказал мне маленькую услугу, принятую у ковбоев: наклонился и подтянул подпругу у моего коня. Большинство лошадей надувают брюхо, когда их седлают, так что минут через десять — пятнадцать приходится подтягивать подпругу.

Джим огляделся и, хотя вокруг не было никого на расстоянии десяти миль, прошептал:

— Я сказал Тэннери, что ты — надежный парень. Умеешь держать язык за зубами. Черт побери, как же я обрадовался на той неделе, когда вошел этот сумасшедший мексиканец, а ты уж успел припрятать мясо.

Итак, я попал в дом Тэннери благодаря этой рекомендации и повидал много такого, чего не хотел бы видеть.

На ранчо Тэннери я приехал до захода солнца и, следовательно, не опасался, что меня пристрелят. Я был раньше знаком с некоторыми членами этой семьи, так что представляться не было нужды. Семья состояла из родителей — рослых и суровых, родом, вероятно, с восточных гор, старшего сына, охотника на волков, объявленного вне закона, младшего сына, обыкновенного ковбоя, и его молодой жены.

В бревенчатом доме была лишь одна комната. Вся обстановка — огромная кровать шириной не меньше шестнадцати футов, кухонная плита, стол и несколько стульев.

Два дня тому назад мне пришлось объезжать полудикую лошадь, да и нынче я проделал тридцать миль по скверной дороге. Немудрено, что в девять часов я уже захотел спать. Полагая, что меня устроят на ночлег где-нибудь вне дома, я сказал немного смущенно:

— Ребята, я бы не прочь завалиться спать.

— А чего там, ложись,— последовал прямодушный ответ, и старший сын махнул рукой на широченную кровать.

— Куда? — усомнился я.

— Пожалуй, лучше ложись там,— и разбойник указал на кровать.

Я снял все, что можно было снять, и тихо скользнул под одеяло. Потом и молодая жена ковбоя заявила, что хочет спать. Она скинула платье и, укрывшись стеганым одеялом, продолжала расстегивать свои одежки.

Один за другим и все остальные улеглись на вместительное семейное ложе, расположившись безукоризненно правильно: старик отец — с одного краю, за ним — старуха мать, молодая жена, ее муж, потом

[1] Добрый день *(исп.)*.

старший брат-разбойник и, наконец, я. Порядок, идеально продуманный на все случаи жизни.

Поднялись мы в шесть утра, и разбойник предложил свой план. У него был скот на Канейдиан [1], а в тех местах водились волки, так что поездка туда представляла двойной интерес.

— Ты как поедешь — верхом или парой? — спросил он.

Вспомнив давешнего норовистого преступника, я сказал:

— Лучше парой.

Ноги у меня были в ссадинах, шея ныла от боли из-за коварных уловок черного полудикого скакуна. Были и другие болячки, так что насчет пары я сказал не задумываясь.

Мы сложили все снаряжение в дрожки, а затем началась привычная схватка с мустангами. В конце концов нам их запрячь удалось, но сначала двух свирепых дикарей пришлось заарканить и избить чуть ли не до полусмерти.

Я уселся поудобнее, упершись ногами вперед, намотав на запястья вожжи, и сказал ковбоям:

— Отпускайте!

Братья распустили узлы, мустанги тут же вскочили на ноги и понеслись вскачь. Я не возражал, пока не почувствовал, что вот-вот опрокинутся дрожки или порвется упряжь. Первые две мили мустанги неслись, закусив удила. Потом благородные животные решили замедлить свой бег.

— Ну нет,— сказал я.— Раньше вы резвились для своего удовольствия, теперь порезвитесь для моего,— и, хорошенько огрев коней кнутом, гнал их пять или шесть миль, пока они не проявили готовность выполнять приказы и перестали причинять беспокойство.

Было очень ветрено, когда мы отправились в путь, и порывы ветра все усиливались. К закату мы, наконец, добрались до Канейдиан. Стало ужасно холодно: дул северный пронизывающий ветер. Мы нашли место, открытое только с юга и защищенное с севера, востока и запада. Разожгли костер — первый в моей жизни костер на строганине из бизона — и поели. Затем двое техасцев достали свои трубки. Я никогда в жизни не курил. Пока мы коротали вечерок, старший брат, не ладивший с законом, срезал «испанский меч» — жесткий лист юкки, разровнял песок и начертил перед собой три ряда каких-то знаков. Обернувшись ко мне, он сказал:

— Джим Бендер говаривал, что ты вроде бы художник; одним, мол, карандашом изобразишь картинку — не отличишь от печатной. Можешь ты нарисовать такой знак, чтоб любой из этих стал точь-в-точь такой же, если добавить две-три черточки? — и он указал на изображенные им на песке тавра трех крупнейших скотоводческих компаний этих мест.

Скуки ради я стал водить палочкой по песку, пока не разрешил проблемы, добавив где точку, где линию. Каждый из этих странных знаков превращался в затейливую арабскую вязь, которую я изобразил на песке.

— Глянь-ка, Билли, вот здорово! Смотри не позабудь,— обрадовался старший.

Больше мы этой темы не касались и вскоре крепко уснули. Рано поутру нам удалось найти закрытое место для лагеря, где мы решили побыть пару дней.

Неподалеку братья поставили несколько капканов. Надо сказать, это была грубая работа. Потом они достали из дрожек железное тавро — им клеймят скот. На мой вопросительный взгляд последовал ответ: клейма-де быстро зарастает волосами, приходится его то и дело подновлять, а весь их скот — в этих местах.

Холодный ветер гнал стада с севера в защищенную от ветров долину. Раз, а то и два в день я видел, как вдалеке братья ловили скот. Оба, разумеется, были мастера кидать лассо. Вскоре я рассмотрел, чем они занимаются. Сначала они быстро разводили в ямке костерок из строганины бизона и щепок, чтобы раскалить железное тавро. Из какого-либо стада, пасущегося по соседству, выбирали породистое животное, обычно молодую корову. Если тавро на ней успело зарасти волосами — тем лучше. Они заарканивали корову, и, пока один при помощи хорошо обученной лошади удерживал ее на земле, крепко затянув лассо, другой прикладывал к ней раскаленное железо, которое мгновенно превращало первоначальное тавро в то, что я так неосмотрительно для них придумал. На всю операцию уходило не больше двадцати минут. А новое тавро они могли зарегистрировать в любой конторе округа потом, при случае. Прежде чем я сообразил, чем они занимаются, братья успели добавить к своему состоянию двадцать, а то и тридцать голов скота.

В то утро они работали совсем близко от лагеря. Убедившись, что глаза меня не обманывают, я за обедом обратился к ним с такими словами:

— Ребята, я ведь приехал в Нью-Мексико охотиться на волков, а не заниматься коровами. И не собираюсь втягиваться в это дело.

— Не собираешься, значит, черт тебя дери,— проворчал братец, не ладивший с законом, хватаясь за ружье.— Скажешь еще, что не имеешь в этом деле интереса?

— Не имею.

— А разве не ты придумал это хитрое фальшивое тавро?

— Я не знал, для чего оно предназначается.

Он уже держал меня на мушке, и стоило мне коснуться рукой ружья, он бы пристрелил меня, тем более что имел свидетеля. Но я не двигался. Тогда младший брат сказал:

— Послушай, Том, он — свой парень и будет держать язык за зубами.

— Хорошо,— подтвердил я свое согласие,— я буду помалкивать про ваши дела, а вы — про мои. Но возвращаюсь я сегодня же, даже если придется идти пешком.

Бандит был полон решимости покончить со мной, но младший брат отозвал его в сторону и что-то прошептал.

— Ладно,— нехотя сдался бандит,— все равно жратва кончилась. Пожалуй, вместе и воротимся.

И мы вернулись. На прощанье он сказал:

[1] Река в штате Нью-Мексико.

— Джим Бендер говорил, что ты, мол, свой в доску. Стало быть, умеешь держать рот на замке.

— Даю слово,— ответил я.

И я держал его — до сих пор.

Забегая вперед по ходу повествования, расскажу, как закончилась эта история. Однажды вечером (пятого февраля 1894 года) пижон зашел в мою лачужку, и, убедившись, что я один, понизив голос, сообщил мне нечто важное. Оказывается, неделю назад Тэннери, надравшись в клейтонском салуне, похвалялся, что он и его дружки изготовили замечательное контртавро, которое закроет тавро любой большой компании, и придумал его Сетон — мозговой трест этой шайки.

— Всем известно, что вы действительно ездили с ним и его братом на Канейдиан и они переклеймили фальшивым тавро массу скота,— сказал пижон.

— В том, что вы говорите, большая доля правды,— отвечал я.— Новое тавро и впрямь мое изобретение в том смысле, что я нарисовал его для них на песке. Но я был в полном неведении, для чего оно им нужно, а когда узнал, все им высказал и уехал.

— Не сомневаюсь, что так оно и было. Но одно дело я, а другое — мексиканский судья и присяжные. Им вы ничего не докажете. Ордер на ваш арест уже выдан. Это не значит, что я должен арестовать вас сегодня же, но завтра — крайний срок. На вашем месте я бы уехал немедленно. Поезд из Клейтона отходит в полночь. Могу подвезти.

Итак, я поспел в Клейтон прямо к отходу поезда и отправился в город под названием Нью-Йорк.

На следующее утро пижон арестовал братьев Тэннери. Старший получил пятнадцать лет тюрьмы, а младший — пять. Но они не просидели и года, как в политике произошел крутой поворот и оба попали под амнистию. Старший прислал мне письмо: «Дорогой друг, все о'кей. Мы вышли из тюряги. Приезжай, дорогуша, вместе позабавимся на Канейдиан».

Винтовка марки «винчестер» издавна считалась самой лучшей у ковбоев. В тот год фирма-конкурент начала производство новых ружей — реклама превозносила их до небес. Они должны были навсегда вытеснить «винчестер» с рынка.

Моя любимая тетя Шрайбер услышала об этом от своих приятелей из Торонто и решила к рождеству подарить мне ружье новой марки. Чтоб подарок поспел к сроку, она выслала его за месяц вперед. Я получил ружье в начале ноября и, сделав несколько пробных выстрелов, поместил его в чехол, где раньше держал «винчестер». И поплатился за неверность старому испытанному другу. Семнадцатого ноября 1893 года со мной произошел случай, который — по всем правилам — должен был положить конец моей охотничьей карьере.

Я искал крупную приманку для одного перспективного местечка, где, судя по всему, кишмя кишели койоты и волки. Я отыскал крупного широкомордого вола — трехили четырехлетку. Пока я гнал его в стаде, он был вол как вол, только что с норовом. Но, отделив его от стада, я задал себе тяжелую работу. Он увертывался, упирался и, наконец, совсем разошелся: злобно, отрывисто фыркал, тряс рогами и высоко задирал хвост. Все же мне удалось притащить упрямца к тому месту, где я собирался его убить.

К этому времени мой конь, как и вол, был страшно взбудоражен. Я не был уверен, что попаду в цель из седла, и прибег к старому проверенному способу: соскочил на землю и перебросил уздечку через голову коня. Любой обученный ковбойский конь стоит смирно на том месте, где уздечка касается земли. Я вполне полагался на своего коня, но, перебросив уздечку, не проверил, касается ли она земли: мои глаза были прикованы к разъяренному животному.

Очевидно, уздечка застряла на правом ухе коня и болталась довольно высоко. Он, почуяв свободу, тотчас убежал, а я, так ничего и не заметив, встал на колено для большей устойчивости и прицелился в вола, бежавшего прямо на меня.

Клик — осечка!

Я снова спустил курок. Снова осечка. Трижды я пытался вставить новый патрон. Затвор заклинило намертво. Вол стремительно приближался. Вол был уже в двадцати футах от меня. Я обернулся, чтобы вскочить на коня. КОНЬ БЫЛ В СТА ЯРДАХ И УБЕГАЛ ВСЕ ДАЛЬШЕ. Я понял, что это — конец. Ничто не могло спасти меня от разъяренного зверя, разве...

Я застыл на месте, словно изваяние, коленопреклоненный и даже не моргал. Вол перепрыгнул через меня и понесся к далекому стаду.

Я и вспоминать не хочу, как называлось это ружье. Очевидно, его затвор в холодную погоду заклинивало — смазка превращалась в воск. Но с тех пор и я, и мои друзья не расставались со старым добрым «винчестером».

Летом 1893 года на одном из соседних ранчо появилась замечательная девушка. Она расцвела в каком-то притоне на золотых приисках у Колорадских гор и получила соответствующее воспитание. Красивая

КАРАНДАШ. Болгария. Без слов.

рыжеволосая блондинка, она не уступала мужчинам в ругани, богохульстве и азартных играх. Не было такой игры, в которой она не достигла бы совершенства. Красотка прекрасно танцевала, метко стреляла из шестизарядного кольта и с убийственной точностью бросала нож на двадцать ярдов. По нынешним временам она бы сделала карьеру в Голливуде.

В ней было какое-то дьявольское обаяние. Приехав в Клейтон и впервые посетив салун, она сразу же обзавелась уймой поклонников. Все признали Красотку Боултон королевой здешних мест. Говорили, что за три месяца она обручилась с шестью ковбоями и заботилась лишь о том, как бы удержать их на расстоянии друг от друга.

Уже вошло в обычай, что каждый год поближе к рождеству старина Джонсон с ранчо «Трайангл бар» устраивал бал в испанском духе. Это было очень важное событие в округе. Веселье продолжалось три дня. Все участники праздника танцевали и угощались на ранчо «Трайангл бар», но должны были сами подумать о ночлеге. Каждый привозил собственное снаряжение, палатку, одеяло. Разбивали два лагеря — мужской и женский, их разделял глубокий овраг.

Самое большое ранчо «Л крос Ф», принадлежавшее компании, на которую я работал, служило традиционным местом встреч для ковбоев с других ранчо, чем-то вроде вспомогательного почтового отделения; а поскольку поблизости была школа и ранчо стояло на скрещении четырех дорог, там происходили всевозможные сборища. На ранчо было два больших загона и «баранье пастбище» — большой заезжий дом, куда любой ковбой мог прийти со своими одеялами и переночевать в тепле и уюте, когда холод стоял на дворе. Никто тебя ни о чем не спрашивал, и благодарности никто не ждал.

Хозяином ранчо считался мой непосредственный начальник, хоть дом Бендера был в семи милях отсюда. Однажды за месяц до бала в «Трайангл бар» в большой комнате ранчо «Л крос Ф» собрались ковбои — человек двенадцать. Все, разумеется, расположились поближе к печке — кто лежал, кто сидел, кто стоял, наслаждаясь теплом. В кресле восседала повелительница — Красотка Боултон и курила сигарету за сигаретой, болтая и перебрасываясь шутками со всеми сразу.

Основной темой разговоров был предстоящий бал, говорили о нем примерно так:

— Эй, Красотка, на этот раз ты идешь со мной, как договорились!

— Пошел к черту! Красотка мне обещала!

— Чего захотели,— возмущается Джим, по прозвищу Двойная Изгородь,— будто не знаете, что мы с Красоткой обручены и весной поженимся.

Я сидел за письменным столом в другом конце комнаты, писал и вполуха слушал галдеж и перебранку. Вдруг я отчетливо услышал, как Красотка изрекла:

— Больно вы мне нужны! Вот возьму и пойду с Сетоном!

Я не просил ее об этом. В зловещей тишине, последовавшей за Красоткиным заявлением, я почуял опасность. Виртуозом в стрельбе я не был, хоть, как и все, имел при себе ружье. Ковбои глядели на меня мрачно и угрожающе.

— У меня нет снаряжения для лагеря,— ответил я.

— Я все найду,— сказала Красотка.

— Ни лошадей нет, ни повозки,— не сдавался я.

— Положись на меня, я знаю, у кого их взять.

— К тому же я обещал старику управляющему, что не покину ранчо, пока он в отъезде.

— Не забивай себе голову, со стариком я сама все улажу,— тотчас нашлась Красотка.

Я был загнан в угол и замолк, положив конец дискуссии. К тому ж мне и впрямь хотелось посмотреть бал.

Дело неуклонно и весело шло к долгожданному празднику на ранчо «Трайангл бар». Оставалось еще целых три недели до рождества, но возбуждение толпы, собиравшейся на бал, уже переливалось через край. Мы иногда встречались с Красоткой в большой столовой ранчо, и ковбои, собиравшиеся у печки, обменивались грубыми шутками. Раз или два до меня доходили злые сплетни: пылкие влюбленные яростно негодовали. Но мы с Красоткой продолжали готовиться к балу.

Как-то поздним вечером ко мне наведался пижон и, удостоверившись, что я один, доверительно прошептал:

— Сетон, на вашем месте я бы не пошел на этот бал.

— Почему?

— Вы же знаете этого субчика — мексиканца Валверде. Он собирается с вами разделаться. Говорит, они с Красоткой якобы обручены и должны пожениться в июле. Как бы то ни было, у него есть обрез и крупная картечь. Он засядет в кустах и будет стрелять, когда лошади будут переходить речку. У вас нет и шанса на спасение. Может, он и девушку пристрелит, но это для него не главное. Главное — вы.

— Хм,— сказал я.— Надо подумать.

На следующее утро, приехав на ранчо, я первым делом подошел к письменному столу, достал телеграфный бланк и составил телеграмму самому себе: «Встречайте Прибываю Клейтон трехчасовым Управляющий».

Отчаянная девица с сигаретой во рту сидела возле печки, высоко подняв ноги.

— Слушай, Красотка,— сказал я,— кажется, с нашей затеей ничего не выйдет. Вот, глянь-ка.

Красотка протянула руку за телеграммой.

— Черт подери! — воскликнула она.— Чушь собачья. Нечего тебе за ним таскаться. Я сама все устрою.

— Не знаю, мне не хотелось бы остаться без работы, ведь это приказ управляющего.

— Ну и проваливай, трус несчастный, мне заморочить голову твоему управляющему — пара пустяков.

— Конечно, Красотка, но я не хочу рисковать.

— Тогда катись к черту.

— Если и покачусь, то не по твоей воле,— огрызнулся я.

Красотка отвернулась, преисполненная презрения.

Среди местных ковбоев славился Джек Фаулер, техасец. Парень выше шести футов ростом, обходительный, никогда не повышавший голоса, он отличался смелостью и хладнокровием. Но больше всего он был известен как меткий стрелок, никогда не вынимавший кольта: он стрелял прямо из кобуры.

Джек служил управляющим на соседнем ранчо. Его хозяин сказал мне как-то раз:

— Когда Джек увольняет кого-нибудь из ковбоев и говорит ему, чтоб шел в контору за расчетом, ему никто не перечит; идет себе и делает, как приказано.

Вот этого спокойного сероглазого Джека и выбрала своим кавалером Красотка. Он должен был занять мое место и в повозке, и на танцах.

Во всех подробностях эту историю уже не восстановишь. Каким-то образом Джеку и Красотке удалось благополучно миновать все засады, и они присоединились к веселой компании на ранчо «Трайангл бар». Примерно в полночь грянул оркестр, и веселье началось. Тогда музыканты играли в основном на скрипке, гитаре и губной гармошке, а самым популярным танцем был вальс.

Джек и Красотка беспечно кружились. Вдруг глаза Красотки расширились от ужаса. Джек это заметил и мягко развернул даму, чтобы увидеть все СВОИМИ глазами.

На пороге распахнутой настежь двери стоял на одном колене Валверде и целился из обреза в голову Джека, выжидая момент, чтобы, не задев Красотки, сразить его наверняка.

Джек медленно опустил руку, не вынимая из кобуры кольта, взвел курок и пристрелил Валверде на месте. И закружился с Красоткой, как ни в чем ни бывало. Все это считалось в порядке вещей, и никто даже глазом не моргнул.

В два часа ночи к Джеку подошли его друзья и сказали:

— Слушай, Джек, ты знаешь, что здесь живут мексиканцы, это их страна. У них свой дурацкий шериф, свой судья, свой суд присяжных. А ты им еще подсовываешь и мексиканский труп. Может, этот климат вреден для твоего здоровья, а?

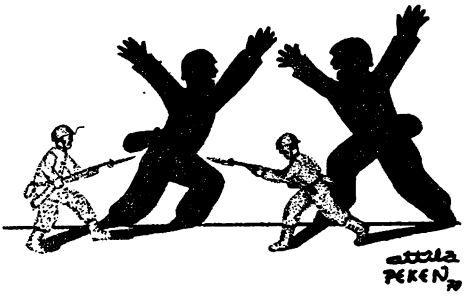
— Возможно,— отвечает Джек.

Тогда Билли, Нат, Коротышка, Жирнюга, Красноглазый и другие говорят:

— И мы так смекаем, Джек, смывайся, пока не поздно.

И Джек исчез.

АТИЛА ПЕКЕН. Турция. Без слов.



◆

Наши гости

Герман Кант, Гюнтер Дайке, Вольфганг Хельд

ГДР

Герман Кант хорошо известен советскому читателю. Журнал «Иностранная литература» опубликовал его романы «Актовый зал» (№ 1—3, 1968) и «Выходные данные» (№ 3—5, 1974), ряд рассказов. В конце 1979 года на русском языке вышел его третий роман — «Остановка в пути». Герман Кант как председатель Союза писателей возглавлял писательскую делегацию, участвовавшую в Днях культуры Германской Демократической Республики в СССР. В делегацию входили также члены правления Союза писателей — поэт и новеллист Гюнтер Дайке и прозаик и сценарист, автор книг для детей и юношества Вольфганг Хельд.

На встрече, организованной Всесоюзной государственной библиотекой иностранной литературы, писатели рассказали об основных направлениях развития литературы ГДР, ответили на вопросы о творчестве крупнейших писателей страны. Много вопросов было задано Герману Канту в связи с его новым романом «Остановка в пути». В частности, читателей интересовало, почему он обратился к прошлому, к теме второй мировой войны. Спрашивали о том, насколько герой романа немецкий солдат Марк Нибур связан с героями первых двух романов. Отвечая на эти вопросы, писатель сказал, что прошлое не представляется ему таким уж отдаленным, что события, о которых идет речь в книге, коснулись и тех, кто в них участвовал, как сам Кант, и совсем еще молодых... Что же касается степени родства Марка Нибура с Робертом Исвалем и Давидом Грстом, то «у каждого своя биография, у каждого свой облик, у каждого своя жизнь. Но мы можем рассматривать их как родственников, причем у них есть еще четвертый родственник, и это сам автор».

«Я с радостью отмечаю, что эта книга нашла отклик прежде всего у молодых читателей,— сказал Герман Кант в интервью журналу «Вопросы литературы».— Я замечаю это по реакции общественности, по письмам, по вопросам, мне задаваемым. Свершилось то, на что я и надеяться не смел, а именно: молодых людей заинтересовала эта история. Может быть, дело в том, что в книге рассказана история человека, которому едва сравнялось девятнадцать... и если мы проследим за ним, то обретем веру в человека и веру в человеческие силы...».

Беседа в редакции «Иностранной литературы» начинается с поэзии.

— В течение многих лет,— говорит Гюнтер Дайке,— у нас шли споры между сторонниками «традиционной» и «новой» поэзии. Спорили в основном о рифмах — нужны ли они? Сейчас можно сказать, что споры эти устарели. Одни молодые поэты пришли к рифмованной поэзии, другие по-прежнему не рифмуют. Но терпимости и взаимопонимания в этом вопросе стало больше. Рифма в немецком языке — дело трудное, в сложной поэзии она необязательна. Но когда стихи пишутся для музыки — тут, видимо, без рифмы не обойдешься. Надо отметить, что в последнее время наметилась тенденция к преобладанию классических форм поэзии, снова стал очень популярен сонет.

Хотелось бы еще отметить, что в поэзию приходит все больше женщин. Большой интерес вызывают стихи Эвы Штриттматтер. Однако мы все помним, каким трудным путем шла она в поэзию. Сейчас ее читают, хвалят, сравнивают с Есениным, но ведь было время, когда простота стихов Эвы Штриттматтер, их близость к народной поэзии вызывали протест, и три издательства отвергли ее прекрасную книгу «Я творю песню из безмолвия». А признание эта книга получила после того, как послесловие к ней написал Герман Кант.

Поэзия самого Гюнтера Дайке очень популярна в ГДР. Знают его творчество и в Советском Союзе. В 1967 году издательство «Прогресс» выпустило сборник стихов Дайке «Облака», а несколько лет назад наш журнал познакомил читателей с его рассказом «Путь домой» (№ 10, 1974). Недавно он написал поэтический текст оратории, посвященной тридцатилетию республики, сейчас работает над либретто для оперы «Шагреневая кожа» по роману Бальзака. На открытии школы имени Сухомлинского Гюнтер Дайке прочел «Балладу о Сухомлинском», написанную специально для этого торжественного акта.

Наш третий гость — Вольфганг Хельд — опубликовал в 1978 году роман «Испытание на прочность», посвященный судьбам современной молодежи. Он был экранизирован и показан по телевидению ГДР (сценарий написал сам Хельд). И книга, и фильм получили положительные отзывы критики, а писатель был удостоен премии имени Теодора Кёрнера. На русском языке в журнале «Звезда Востока» вышел в 1979 году другой его роман, «Свет черной свечи».

— Для прозы последнего времени,— отмечает Вольфганг Хельд,— характерен переход к повествованию «от первого лица». Очень много внимания прозаики уделяют человеческим отношениям, месту, которое занимает человек в коллективе.

Речь заходит о романе Ио Шульца «Бег без лидера». И Хельд, и Дайке считают его значительным произведением.

— Мне трудно судить о романе Ио Шульца,— вступает в беседу Герман Кант.— Наши книги появились почти одновременно.— Г. Кант имеет в виду свой роман «Остановка в пути».— Но я согласен с моими товарищами и считаю, что роман «Бег без лидера» — книга хорошая. Я вообще назвал бы последний год очень урожайным. Осенью состоялся книжный базар, в котором приняло участие сто сорок три писателя. Из множества представленных на нем интересных книг я бы выделил три. Во-первых, роман Петера Эделя «Если дело идет о жизни». Имя Эделя уже известно немецкому читателю. Несколько лет назад вышел его роман «Картины свидетеля Шатмана». Теперь читатели получили два тома его автобиографии, над которой тяжело больной писатель долго работал. Книга содержит огромный исторический материал: это и Веймарская республика, и начало фашизма, террор, Освенцим... Хочется отметить и прекрасный язык романа. Если бы я был критиком — обязательно бы написал об этом романе.

Во-вторых, книга Стефана Хермлина «Вечерний свет». Она тоже носит автобиографический характер, в основном это воспоминания о детстве и юности. Книга очень эмоциональна, направлена, как и книга Эделя, против фашизма, хотя и отличается от нее небольшим объемом. Но ведь объем — не главное. Мы помним четыре тома «Войны и мира» Толстого, но мы помним также и всего четыре строчки Гёте... «Вечерний свет» Хермлина я считаю событием в нашей литературе.

И, наконец, третья книга — «Легенда о счастье» Ульриха Пленцдорфа. В свое время привлек к себе внимание фильм «Пауль и Паула», сделанный по сценарию Пленцдорфа. Теперь по мотивам сценария писатель создал очень интересную повесть.

Из других книг последнего времени выделяется повесть Кристы Вольф «Нет места. Нигде», которая поднимает много важных вопросов, в частности о роли литературы. Много говорят и о «Бранденбургских исследованиях» Гюнтера де Бройна. Они безусловно заслуживают внимания, но мне кажется, что это не главная книга писателя. Все эти произведения свидетельствуют о многообразии нашей литературы. Не со всеми положениями в них я могу согласиться, кое-что вызывает возражения, с чем-то хочется спорить. Но ведь это и хорошо. Литература должна быть «неудобной»...

О новинках вообще трудно говорить. Часто они умирают сразу, едва появившись, а иногда книга столетней давности продолжает жить, не теряя своей актуальности. Надо следить за новыми именами, работать с молодыми писателями, помогать им найти верный путь. Вот недавно журнал «Веймарер байтреге» поместил беседу с выпускниками Литературного института имени Бехера. Это очень интересная публикация. В высказываниях молодых литераторов много незрелого, иногда даже такого, что кажется глупым, но ведь это дает повод дискутировать, спорить, искать...

А над чем сейчас работает Герман Кант?

— Роман называется «Концепция». Я не очень люблю рассказывать о книгах, над которыми работаю. Могу только сказать, что это будет история нескольких людей, а время действия — от середины 20-х до начала 80-х годов. Боюсь, что роман снова будет длинным и очень сложным...

Л. ХАРЛАП

◆

ПЕЙЗАЖИ КУСЛАНА БУДИМАНА

Пейзажи мастеров Юго-Восточной Азии издревле отличались высокой профессиональной культурой, поэтичностью мироощущения, тонкостью настроения. Именно эти качества присущи пейзажным акварелям современного индонезийского художника Куслана Будимана.

Куслан Будиман родился в 1939 г. в небольшом городке Тренгалек на Восточной Яве. Куслан уже в детстве пристрастился к рисованию, но лишь спустя много лет смог заняться любимым искусством, сначала в самодеятельной Художественной студии, а затем в Академии изобразительных искусств в Джокьякарте.

Несколько лет назад Куслан Будиман приехал учиться живописи в Советский Союз. В 1979 г. в Москве состоялась его персональная выставка, на которой были представлены несколько десятков акварелей, созданных художником за последние годы.

Творчество Куслана Будимана имеет два истока — дальневосточное искусство, с одной стороны, и европейское, в первую очередь русское и советское искусство,— с другой. Именно в акварели эти очень различные традиции словно смыкаются, образуя своего рода универсальный живописный язык. Техника акварели очень близка к принципам письма японских и китайских мастеров, вернее, принципам одной из школ, в рамках которой писали по пористой, хорошо впитывающей влагу бумаге широкой влажной кистью. Как и в технике акварели, в этой живописи практически невозможны были исправления, каждая работа тем самым фиксировала неповторимый момент творческого состояния художника.

Эти тончайшие, неуловимые настроения прекрасно отражает акварельная размывка, к которой обратился К. Будиман. Его акварели выразительно передают характерные пейзажи Индонезии, где тропическая растительность с ее яркими красками всегда как бы погружена в нежную влажную дымку, смягчающую цвета, сливая их в единое сине-зеленое марево. В то же время образы, созданные К. Будиманом,— своеобразные пейзажи-воспоминания, в которых облик родной природы как бы «размыт» пространством и временем. И это придает акварелям художника особую поэтичность. Его листы красивы по цвету, каждый из них решен в особой, «своей» тональности. Взятые вместе, они образуют единую, многокрасочную сюиту, тонкую и одухотворенную, мягкую и прозрачную.

Н. ЗАВАДСКАЯ

Среди книг

Издано в СССР

ПЕРЕД ОТКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ ВРЕМЕНИ

Ян Парандовский. Олимпийский диск. Перевод с польского. Составитель В. Борисов. Предисловие С. Бэлзы. Москва, «Прогресс», 1979.

Ян Парандовский неоднократно писал, что любовь к греческой культуре пришла к нему в гимназии, как любовь к античной мысли — с «Истории греческой философии», ожидавшей внимания на полке отцовской библиотеки. Всю жизнь потом этот обширно образованный ученый и писатель по разрозненным листам немногочисленных документов, по обмолвкам свидетелей и обломкам молчаливых памятников в исследованиях и романах воссоздавал для нас пленительный и мудрый мир истоков европейской культуры.

Эта книга составлена из работ разных лет, переведенных в последние годы, но в ее строе нет произвольности, обычной и простительной для избранного. При внешней разности материала и жанра — повесть о 76-х Олимпийских играх («Олимпийский диск») соседствует здесь с новеллой о мудрой возлюбленной Перикла («Аспасия») и биографическим романом о предвестнике Ренессанса («Петрарка») — книга предстает как единое целое, потому что все три составившие ее произведения — о духовно родственном времени, времени перехода, когда традиция расшатана, нравственные и культурные институты ищут обновления и дают ростки нового. Так наступала новая нравственность на закате Периклова века, так аскетическое средневековье процветало к концу XIII — началу XIV века грядущим Возрождением. Время еще глядит на это прорастание «старыми глазами», не узнавая обновленных отношений, и жизнь героев и времени едва-едва освещается утренним светом предчувствия.

Когда появляется в олимпийском гимнасии Иккос из Тарента и с прямодушием, которое можно принять за цинизм, говорит, что собирается сделать Игры своей профессией, продавать свое тело, чтобы не знать бедности, гимнасий разом отворачивается от него с гневом и непониманием, потому что до сих пор Олимпия была местом торжества чистого совершенства и искала одного — чтобы атлет, остановленный в любое мгновение бега, борьбы, кулачного боя, был совершенен и достоин изображения на краснофигурных вазах или в белом мраморе рядом с богами. Но мы уже не забудем этого человека в толпе олимпийцев, и совсем не случайно еще раз мелькнет в середине праздника эпизод, в котором все будет сказано напрямую: «Гиерон действительно перекушил Астила. Говорят, за несколько десятков талантов. Новость разносится с быстротой молнии, восторженные крики смолкают, люди поглядывают друг на друга с беспокойством. Никогда еще на их памяти не происходило ничего подобного. Астил не заслуживает венка! Но Капр уже призывает его в палатку и возлагает на голову три веточки дикой оливы». В этом жесте Капра — неумолимый ход судьбы: чистому спорту и красоте не устоять перед практической поступью времени, и в эпилоге автор с горечью свидетельствует о последствиях тех едва проступающих причин, которые занимали его в анализе 76-х Олимпийских игр.

Когда Аспасия вопреки обычаю, закреплявшему за афинской женщиной только место у очага и в детской, войдет в круг философов и политических деятелей и соберет вокруг Перикла высоких мудрецов, которые «в то время, когда все вокруг вооружались... провозглашали на первый взгляд бессмыслицу: говорили, что сильней всех то государство, где лучше всех танцуют, поют и играют на цитре, где скульпторы, художники, поэты и философы ревностней всех трудятся для того, чтобы приблизить к земле правду и красоту», мы уже предчувствуем вместе с автором, что добром это для правителя Афин и его жены не кончится, но и благословляем этот высокий союз, ибо взращенная в нем мысль отныне уже не умрет, соперничая в веках с расчетливым прагматизмом.

Когда Петрарка в хаосе политической и нравственной бессмыслицы своего времени с трепетом и любовью будет пробираться в темном уже к XIV веку мире латинской и греческой культуры, то он будет там искать именно этого периклова света поэзии и философии, искать диалога с ушед-

шим временем, того «ты», которое «возвращало человеческой личности право мыслить по-своему, свободу жестов, слов, сказанных не от порога, а лицом к лицу, в том человеческом равенстве, с которым все мы рождены», и тем будет сулить скорый приход времени, впоследствии названного Ренессансом.

Эта книга пронизана любовью автора к слову древних. Она написана с наслаждением, и всякое слово в ней ласково отделано. В ней скоро узнаешь классического филолога, ученика старых гуманистов из редеющего числа тех, кто уже в начертании слова умел различать интонацию истории и кто находил целебным чуть перехватывающий дыхание воздух старых библиотек, пропитанный сладкой пылью ветшающих книг. Наблюдая в Олимпии ликующую толпу зрителей, Парандовский не пишет историю сошедшихся на праздник народов — ему довольно сказать об их речи, чтобы перед нами встали века, шумящие за их плечами: «Здесь было представлено бесчисленное количество наречий и говоров, язык колоний заглушал сорняки чужих слов... Ударения, согласные, придыхания, грамматические роды подчинялись непостижимым капризам, невозможно оказывалось доверять даже гласным, настолько значительно видоизменялись они при раскрытии рта, движении губ, сжатии зубов. От слов часто оставался только голый костяк, сама сердцевина звука, которому далекие века поверяли сокровенный смысл предмета. Но как быстро и горделиво крепли эти отростки в речи и сердце. Однажды услышанные и понятые, они выявляли свои корни, давали новые побеги, распускали пышную листву, которая отбрасывала великолепную тень, тень пространства и времени».

Старое слово возбуждало воображение, наполнялось звуками, запахами, бытом, искало соседних слов и требовало воскрешения всего отошедшего мира. Вот Петрарка слушает в Авиньоне речь своего римского друга, следя, как в «резкий говор Рима, пропахший хлебом и вещевыми мешками древних легионеров, вливался поток латыни, удивительно густой, богатой и яркой, словно витражи в мерцании свечей, и этот язык амвона неожиданно падал на мостовую, на выщербленные плиты староримских улиц и несся вскачь по ним шумом запыхавшейся толпы. Его слова пахли потом и кровью». Но разве это слушает Петрарка? Разве не видно здесь, что автор, так воспринявший латынь, уже не удержится, чтобы следом за поэтом не возродить мир, который говорил на этом языке и был колыбелью европейской истории?

Как, очевидно, сложен был этот труд! Он требовал от автора полного перевоплощения, поисков в родном языке слов, которые хранили и передавали бы подобие утраченных ритмов тень ушедшей образности и след невозвратного миропонимания. Благо исследователю, который, оставаясь в своем времени, подробно оглядывает минувшее: он может пользоваться в нужных случаях всем сводом словаря и всей наработанной позже образностью. Но как быть автору, ушедшему в рощи и на стадионы Олимпии, чтобы вместе с героями готовиться к Играм? — для него нет времени впереди. «Увенчанный наготой атлета», он должен возвратиться и к нагой образности юного времени. Парандовский одолевает эту трудность, хотя временами кажется, что след труда остается. Из сложного нелегко возвращаться к простому, и не всегда сразу убедишь читателя, что образ рожден с естественностью дыхания: так вывод у него вылетает «бесшумно, как стрела, повисшая в просторе неба», так мелодия аулоса «окрепла, расширилась, как голубая струйка дыма от жертвенных фимиамов», так кулачные бойцы «стоят друг против друга, как по обе стороны ткацкого станка, и прядут воздух легкими движениями всевозможных уловок», так старые атлеты «растворились в океане жизни... словно жнецы в высокой пшенице».

В античности Парандовского нет глянцевой туристической дымки. Он уже знает, сколько раз античность «переигрывали» и предавали, пускаясь от восторгов в крайность отрицания, чтобы не обманывать нас нарядной школьной Элладой, но он не уступает ее несомненных ценностей.

Похоже, повесть «Олимпийский диск» была сложнее других для Парандовского еще и потому, что недостаточно было знать язык и живопись, быт и философию эллинов, надо было снова понять свое тело, вернуть ему упругость и силу, вслушаться в каждую мышцу, дать ей слово и не вызвать сомнения.

К сожалению, память тела послушна автору меньше памяти ума: тренировки и соревнования выдают в описаниях напряженность и статику, слово оглядывается на линию вазовых рисунков, но не достигает их легкости — мышцы сведены, словарь теряет свободу, обнаруживая робость и скованность автора.

Зато как он свободен в «Аспасии» и «Петрарке», в пьянящем воздухе умной игры, философской импровизации, творческого наслаждения! Тут он может быть ласково-ироничным и по отношению к героям и заметить, например, по поводу широкого образования Аспасии, что «в те времена, когда мир был молод и кончался у Геркулесовых столпов, курс наук был... не таким уж сложным — много музыки, много поэзии и философии, свободные дискуссии или лекции, дышащие вольным дыханием простора метафизики», а по поводу Петрарки, что он «умел смотреть сквозь пальцы на пороки сильных мира сего, если они относились к нему благосклонно и доброжелательно». Тут Парандовский «свой» и, разделив с героями годы, которые длилась работа над книгами, завоевал это дружеское право.

В конце романа о Петрарке он говорит, что был бы счастлив, «если бы, подобно тому как некогда говорилось «наш друг Марон», современный читатель мог сказать «наш друг Петрарка», но чтобы это стало возможно, первым должен был это сказать автор, и не только сказать, но подтвердить всем повествованием. Парандовский делает это ненавязчиво, обнаруживая дружбу уважительного и благородного свойства. Он написал Петрарку — политика, честолюбца, поэта, великого влюбленного, философа, пророка, изгнанника. Он написал живого

человека и гения в темном средневековом обиходе и в беспокойной славе и в каждом поступке, жесте, слове разглядел, как прорастает в человеке новое время и новая культура, как проступает в нем свет свободы и знания. В «Олимпийском диске» Парандовский наблюдал закат ясности, чтобы в «Петрарке» обернуть зеркало вперед и увидеть, как в истории светает и близится молодая пора Возрождения.

Одна из последних книг Парандовского по-польски называлась «Перед закрытыми вратами времени», и в первой главе ее он писал о том, что каждый прохожий уносит в себе историю — не житейскую только, но историю в хрестоматийном понимании,— ту, что впоследствии уходит в учебники, и как часто мы невнимательны к голосу времени в себе. Сам Парандовский всем творчеством раскрывает одни врата за другими, даря нас памятью минувших веков и вновь повторяя мудрую нестареющую истину, что мы все дети одной матери — Истории.

Олимпийский диск, на котором были выгравированы эти простые заветы памятливости и уважения к традиции, не погиб со смертью классической Олимпии. Сверкая на солнце, летит он из глубины пространств и времен, и хочется надеяться, что он не упадет никогда.

ВАЛЕНТИН КУРБАТОВ

«БОТИЧЕЛЛИ СЕМЕЙНОГО КРАХА»

Мартин Вальзер. Браки в Филиппсбурге. По ту сторону любви. Рассказы. Перевод с немецкого. Предисловие И. Млечиной. Москва, «Прогресс», 1979.

Немецкая критика всегда отличалась пристрастием к систематизирующей иерархии, к выстраиванию писателей в ряды и шеренги. Литературный процесс в ее изображении нередко выглядит как марш («литература на марше» и т. п.) или забег на длинную дистанцию, где есть свои лидеры, середнячки, отстающие.

Достаточно известный у нас Мартин Вальзер входит, согласно этим классификациям, в группу лидеров западногерманской прозы. После смерти Ганса Эриха Носсака и совсем недавней — Арно Шмидта, Альфреда Андерша вместе с ним в «первом ряду» остаются лишь Генрих Бёль, Гюнтер Грасс, Зигфрид Ленц. По традиции резервируют за собой места мало пишущие в последние годы Вольфганг Кёппен и Уве Йонсон. Претендуют на них и по-прежнему активные, испытанные мастера, такие как Герман Ленц, Вольфдитрих Шнурре, Вольфганг Хильдесхаймер, Дитер Веллерсхоф. Конечно, окончательное распределение мест (в котором примут участие также швейцарцы Макс Фриш, Фридрих Дюрренматт, Петер Биксель, Вальтер Мушг и австрийцы Герберт Айзенрайх, Элиас Канетти, Томас Бернгард, Петер Хандке, Барбара Фришмут) — дело будущего, всегда вносящего свои, порой существенные, коррективы. При этом будущее место Мартина Вальзера вызывает, пожалуй, наибольшие споры.

Мартин Вальзер — писатель «второго призыва» западногерманской литературы. Он вступил в нее во второй половине пятидесятых годов, когда военная и «возвращенческая» тематика стала все больше и больше связываться с сатирическим изобличением пороков и язв утвердившейся в ФРГ общественной системы, в которой художественное зрение увидело законную наследницу нацистского режима (вспомним, как обвалившаяся известка обнажает зловещую свастику в фильме «Мы — вундеркинды», сфокусировавшем тенденцию). Различные формы гротескно-сатирического изображения, постепенно нарастая, становятся к началу шестидесятых годов преобладающими. Гротеск выдвигается на передний план даже в творчестве тех писателей, чье мягко-лирическое дарование поначалу его вовсе не обещало (Бёль, Зигфрид Ленц). Тем более резким оказался сдвиг в эту сторону тех писателей, для кого сатира была делом самым естественным, у кого она была, так сказать, в крови.

Среди них наибольшее внимание привлекли к себе Гюнтер Грасс и Мартин Вальзер. «Нутряной» Грасс и «головной» Вальзер — писатели, казалось бы, слишком разные, в чем-то даже противоположные; так ли уж много у них совпадений? Оказывается, достаточно много, и эти совпадения относятся к сущностным признакам той части западногерманской прозы, которая прежде всего претендовала на успех в последние два десятилетия.

Но сначала об одной важной для любого писателя частности: по уверениям все той же подсчитывающей очки и баллы критики, и Грасс, и Вальзер отличаются большим лексическим азартом, позволяющим им (вместе со Шнурре) делить «призовое» третье место по объему своего словаря — после таких «писателей-филологов», как Арно Шмидт и Альберт Виголяйз Телен.

Есть, кроме того, целый ряд поэтологических признаков или понятий, которые становятся в западногерманской литературе в 60-е годы не только устойчивыми, но как бы даже обязательными для прохода «первого ряда». Это — ирония, гротеск, рефлексия, эссеизм, смена ракурсов и временных пластов изображения, точек зрения повествователя. Самой популярной авторской позицией становится своего рода «скромность» (которая, конечно, иной раз паче гордости): автор сомневается в глубине и подлинности своего знания действительности и «честно» признается в этом. Отсюда ослабление причинно-следственных связей при изображении действительности. Связь эта уступает место ассоциативности и «предположениям», «догадкам» многих лиц об одном и том же предмете, и, как следствие, происходит нарастание внутреннего монолога, потока сознания, механического монтажа разных точек зрения. «Обязательность» этих признаков для успеха приводит к известной унификации стиля.

Вписываясь в целом в изложенную поэтику, Вальзер, конечно, обладает целым рядом отличительных признаков, позволяющих все-таки распознать его голос в общем хоре. Думается, что изданное у нас «Избранное», включающее в себя образ его творческой деятельности на протяжении двадцати лет, дает читателю такую возможность. Собранные под одной обложкой ранние рассказы Вальзера из сборника «Самолет над крышей» (1955), его первый роман «Браки в Филиппсбурге» и одна из последних повестей «По ту сторону любви» (1976) показывают и неизменные черты этого автора, и свидетельства его эволюции.

Первое, что бросается в глаза в прозе Вальзера,— это резкий разрыв между сугубой традиционностью, даже банальностью материала («История одной карьеры») и подчеркнутой современностью средств: стремительность бегущего стиля, резкость язвительного графического рисунка, лобовая прямота анализа, энергия короткой, рубленой фразы, напоминающей постэкспрессионистскую «телеграфную» прозу 20-х годов (Вальзер написал диссертацию о Кафке, и все его поэтические корни связаны с творчеством этого писателя). «Бегущая лошадь» — так называется последняя (1978) повесть Вальзера. Иногда склоняешься к расширительно символическому толкованию названия, в котором хочется увидеть многомерный шифр, включающий в себя среди прочего и что-то от авторской самопародии.

«Сквозь жирные, черные облака, затянувшие заключительный кадр, проглянуло пронзительно-белое, с размытыми краями слово «конец» на французском языке: фильм был французский. Уцепившись за руку жены, я выбрался на волю и низко опустил голову, так как меня ослепило утреннее солнце...» — так начинается один из рассказов Вальзера, включенный в сборник. Никаких полутонов: черное — так «жирно», а белое — так «пронзительно». Слепящий, режущий свет. Выпирающая отчетливость изломанных карикатурных линий. Такова манера писателя, и она почти неизменна: «почти», потому что с годами линия становится все-таки более экономной и чистой, а рисунок более метким.

Бывает, что иной западный писатель искренне удивляется или даже негодует, когда критики разъясняют, что он в своих художественных произведениях «разоблачает» буржуазные общественные отношения или «бичует капитализм». Мартин Вальзер делает все это совершенно сознательно — в каждой своей книге он действительно «разоблачает» и ничего другого с такой страстью не делает, как именно «бичует». Содержательно и даже сюжетно-фабульно он при этом твердо держится стародавней традиции социальной сатиры, ни на йоту не отступая от классических схем XIX века: все его герои карабкаются «наверх», подобно бальзаковскому Растиньяку, все «копят злато до конца», говоря пушкинским словом. Однако полтораста лет неистовой гонки за златом не прошли, конечно, бесследно: если и Растиньяк и пушкинский Германн еще яркие личности, микроб чистогана лишь начал завладевать их душами, болезнь в ее начале не лишена даже некоего демонического ореола, то герои Вальзера (и не одного его, конечно,— здесь он представительствует за всю почти западную литературу наших дней) уже лишь обглоданные болезнью скелеты — не «индивидуумы», а, как называет их сам Вальзер в одной из статей, «дивидуумы», то есть некие безликие составляющие безликой же массы.

Однако характер этой социальной болезни остается, в сущности, неизменным, и механизм ее художественных запечатлений средствами социальной сатиры тоже, несмотря на естественные трансформации этих средств во времени. Начиная с Гоголя и Гофмана, суть отмеченного механизма — в показе жестокой, непримиримой схватки вещей (капитала) и душ (живой жизни). Вот уже четверть века Вальзер исследует в некотором смысле «демографические» последствия этой схватки, показывая, как всецелая, маниакальная преданность интересам карьеры разрушает и интимнейшие людские отношения, губит семью. Нет, кажется, ни одного произведения у Вальзера, где бы под натиском карьеры не рушилось семейное счастье. «Ботичелли семейного краха» — так назвал его швейцарский критик Д. Вебер.

И герой возникшей в начале шестидесятых годов трилогии Вальзера («Половина игры», «Единорог», «Крушение») Ансельм Кристляйн, и все три основных персонажа из романа «Браки в Филиппсбурге», и действующее лицо повести «По ту сторону любви» — коммивояжер зубопротезной фирмы Франц Хорн — одинаково жертвуют ростками истинного чувства самым пошлым требованиям социальной престижности, одинаково распинают свою любовь на Голгофе карьеры. В самое недавнее время к ним присоединились журналист Хальм из повести «Бегущая лошадь» (1978) и шофер Цюрн из романа «Труд души» (1979); болезнь, как видим, проникает на все ступени социальной пирамиды, всюду приводя к разрушению личности, к духовному и душевному убожеству. Герой Вальзера, таким образом, неизменен и неотличим от предшественника: как «дивидуум» он и не может быть иным.

Вместе с тем все заметнее становится в последние годы эволюция творческих установок автора. От многословия к краткости — так коротко можно определить ее смысл. Многословие было болезнью писателя Вальзера в первые десять лет его творчества. При переводе на другие языки романы Вальзера теряли, как правило, от четверти до трети своего объема. И сокращение, уверяют критики, шло им на пользу: исчезали повторы, длинноты, «леса» и «подпорки», которые автор не желал убирать сам, оправдываясь тем, что для него не существует второстепенных персонажей и событий.

В художественной палитре раннего Вальзера еще много случайного, схваченного на лету, второпях — и оставленного где и как придется. В «Браках в Филиппсбурге», например, он «проскакивает» целые звенья в развитии отношений героев, излагает их бегло и скомканно, как лихой рецензент, а не мудрый демиург, творец эпического зеркала жизни. В других эпизодах, напро-

тив, он становится вдруг неоправданно дотошным и однообразно подробным: смотри, например, избыточные описания притворства обманщика-мужа, возвращающегося после измены домой (стр. 140—142 в рецензируемом издании). Точно так же не хватает подчас точной меры другим компонентам художественности — композиции, языку, ритму, образности сравнений. Похож ли, например, трехколесный детский велосипед на «сухонькую старую деву»? Вообще-то представить себе можно, но при большой и явно неоправданной натуге воображения...

Зато Мартин Вальзер последнего десятилетия определенно научился вычеркивать. Начиная с «Болезни Галлистля» (1972) его романы и повести воспринимаются как тщательно отредактированные, значительно исправленные и сокращенные издания прежних, первых книг, как их экстракты или «рефераты». Продуманная экономия средств, обуздание захлебывающегося речеизвержения становятся первоочередной поэтической задачей. Книги Вальзера резко «худеют» и выстраиваются строго вокруг одной сюжетной линии, ограничиваясь минимумом действующих лиц.

Разумеется, это не означает, что художественная эволюция писателя образует тем самым ровно восходящую линию. Нет, речь у нас идет о тенденции, а не о непрерывном увеличении художественных завоеваний. Труд писателя зависит от многих мало поддающихся рациональному учету факторов, и книга на книгу, как говорится, не приходится. И у «нового», возлюбившего меру Вальзера на счету не одни лишь удачи. За довольно слабой «Болезнью Галлистля» последовала удачная повесть «По ту сторону любви», за блестящей повестью «Бегущая лошадь» появился «проходной», перепевами держащийся роман «Труд души».

Писателю, впрочем, лишь недавно минуло пятьдесят. Он вступил в классическую пору расцвета эпического таланта. Впереди, видимо, и «главная» книга Мартина Вальзера, и итоговые суждения о его художественном движении.

Ю. АРХИПОВ

Издано за рубежом

ЗАКРЫТЬ СТАРУЮ КНИГУ

(О произведениях франко-канадской прозы семидесятых годов)

В течение долгого времени франко-канадская словесность пребывала на положении, как выразился один канадский критик, «литературы-невидимки»: ведущими и любимыми канадскими писателями считались Флобер и Франс, Р. Мартен дю Гар и Камю, что же до местного литературного цеха, то его продукция выходила от случая к случаю и высоким качеством похвастаться не могла. Последние два десятилетия, однако, коренным образом изменили канадскую литературную ситуацию: о литературных успехах франко-канадских писателей сначала заговорили как о приятной неожиданности, потом как о чем-то привычном и само собой разумеющемся.

«Французы очень удивляются, когда мы называем классиками некоторых современных канадских писателей,— сказала в интервью журналу «Иностранная литература» одна из главных участниц современного литературного процесса во франкоязычной Канаде Антонин Майе.— Часто классиками называют тех, кто жил, как минимум, в прошлом веке. Но наша страна до недавнего времени вообще не имела литературных традиций, поэтому мы называем классиками тех, кто эти традиции создает, хотя многие из таких писателей не только живы, но и находятся в расцвете творческих сил» [1].

О некоторых из таких созидателей и пойдет речь. Анри Ланжевена (род. в 1927) хорошо знают за пределами Канады, он может по праву считаться одним из ведущих французских писателей. Как о крупном прозаике Ланжевен заявил о себе еще в пятидесятые годы (романы «Бегство из ночи», «Пыль над городом», «Время людей»). Ланжевену свойственно драматическое, подчас трагическое восприятие той самой действительности, которая у менее внимательных наблюдателей вызывает ощущение безмятежности и бессобытийности. Писателя интересуют люди, восставшие против догм — социальных, психологических, религиозных — и озабоченные поисками иной, лучшей жизни. Однако их бунт, как правило, несет им либо физическую гибель, либо разочарование в возможности изменить ненавистную действительность и — как следствие — опустошение и отчаяние. С наибольшей полнотой художественные поиски Ланжевена воплотились в романе «Цепь в парке», написанном в 1974 году, а в 1979-м вышедшем в русском переводе в издательстве «Прогресс».

Главный герой романа, восьмилетний Пьеро — сирота, проживший несколько лет в монастырском приюте. Или, точнее сказать, в монастырской тюрьме, ибо с оставшимися без родителей детьми «добродетельные святые сестры» обращались как с закоренелыми преступниками: побои, наказания, издевательства под видом соблюдения дисциплины и воспитания «в страхе божьем». Таким запоминается это богоугодное заведение мальчику, которого — о, радость — дальние родственники решили взять к себе домой (с этого, собственно, и начинается роман).

Разоблачая неприглядные нравы католического приюта, Ланжевен затрагивает очень важный аспект современной действительности французской Канады. Влияние церк-

[1] См. «ИЛ» № 7, 1977.

ви в ней достаточно сильно и по сей день. Когда-то, борясь против английских и американских веяний, франкоязычные канадцы видели в католицизме основу национального самосознания. Из поколения в поколение они воспитывали в своих детях покорность клерикальным догмам. Религия в современном обществе, по мысли Ланжевена, не соединяет людей, а разъединяет, отдавая их во власть враждебным личности силам, несет личности гибель.

«История одного мальчика» в контексте художественного мышления писателя воспринимается как метафора человеческого существования в деспотическом, лишенном любви и сострадания мире. Вырвавшись из католического приюта, Пьеро радуется долгожданной свободе, но радость его преждевременна. Мир его родственников насквозь упорядочен и регламентирован мещанскими заповедями, неумение приспособиться к которым становится для мальчика источником новых несчастий: он не нужен ни дяде Анри, ни сварливым теткам. Живой и непосредственный мальчик раздражает их тем, что вносит беспорядок в раз и навсегда заведенный мещанский уклад семьи. В монастыре за отступления от правил били, здесь читают нотации. Любить? Глупости, телячьи нежности, пусть скажет спасибо, что кормят. Рано, видно, расстался Пьеро с придуманным им еще в приюте Голубым человеком и его верным помощником рыжим котом Балибу, добрыми волшебниками, готовыми поспешить на выручку обиженным и угнетенным.

Недолгим оказывается «семейное счастье» Пьеро: мальчика, как не оправдавшего надежд, родственники отправляют в приют, на сей раз обыкновенный, не католический. Из одной тюрьмы в другую? Не совсем так, ибо к этому моменту Пьеро обретает настоящих, уже не вымышленных друзей. Это семья папы Пуфа, сапожника, целыми днями работающего в своей крошечной мастерской. Пуфы живут туго: у них много детей, а заработков едва хватает на то, чтобы сводить концы с концами. Но они всегда рады приходу Пьеро и не видят в нем ни лишнего рта, ни нарушителя семейного спокойствия (благо такового у них нет). Среди этих простых людей мальчик находит ласку и сочувствие, которых ему так не хватало в жизни. Когда же он уезжает в приют, папа Пуф обещает его брать к себе на каникулы. Счастье возможно только на каникулах — таков своеобразный вывод, напрашивающийся по прочтении книги. Отжившим догмам католического воспитания, лицемерной добропорядочности мещанства, взращенного на этих догмах, Ланжевен противопоставляет людей труда, не обученных почтению к священным заповедям буржуазности. Тяжелая работа не оставляет им времени на размышления, соответствует ли их поведение проповедям кюре. Они живут так, как велит им сердце. На таких людях, как папаша Пуф и его семья, простых, бесхитростных, грубоватых, не лишенных многих человеческих слабостей и недостатков, но сердечных и отзывчивых, и стоит мир, благодаря им живет в нем человечность, сострадание, любовь...

Драматизм и насыщенность конфликтами канадской повседневности, которую иные писатели и критики называли прежде скучной и провинциальной, открывается взору Анн Эбер. Она принадлежит к старшему поколению современных писателей Квебека: родилась в 1916 году, а первые рассказы и стихи опубликовала еще в тридцатые годы. Одно из самых зрелых ее произведений — роман «Камураска» (1970) [1]. Его действие происходит во второй половине XIX века. Повествование строится ретроспективно: у постели умирающего мужа сидит женщина и вспоминает прожитые годы.

Выясняется, что до Жерома Роллена, в заботах о котором, больном и беспомощном, проходят дни и месяцы, у героини был другой муж. Антуана Тасси именовали «сеньором Камураска» — большого и богатого поместья. Героиня, выросшая в бедности, с ранних лет мечтала о богатстве и «положении в обществе», но вскоре после свадьбы она понимает, сколь унизительно это положение: ее супруг — человек, лишенный каких бы то ни было моральных устоев, открыто содержит любовниц и на глазах жены устраивает оргии. Однако в обществе его считают воплощением респектабельности, и его женитьба на девушке из небогатой семьи только способствует укреплению мифа. Наконец терпение героини иссякает: она требует от влюбленного в нее врача Нельсона убить мужа. Тот предлагает ей развестись с мужем, но героиня не согласна: разведясь, она уронит себя в глазах общества, да и имение, а с ним и благополучная жизнь, о которой она столько мечтала, будут утрачены. Возникает ряд коллизий: жить в браке с развратным человеком нравственно, а развестись — безнравственно. С другой стороны, сама жертва общественных условностей неплохо выучила некоторые полезные практические правила, в том числе и те, что опровергают прописную истину: бедность — не порок. Виновато общество, поощряющее разврат и безнравственность, но не менее виноваты и члены этого общества, пытающиеся победить дурные условия существования дурными же средствами.

«Устранение» совершено удачно. Более того, героине удается избежать наказания за содеянное. Ее тетки и служанки идут на лжесвидетельство, показав на суде, что она не была близка с доктором Нельсоном. Все дальнейшее — сплошное исполнение желаний. Она выходит замуж за Жерома Роллена и познает истинное счастье: супруги живут душа в душу. Все было бы замечательно, если бы временами героине не казалось, что муж знает о ее преступлении. Героиня вспоминает о содеянном и терзается. Совесть замучила? Ничего подобного. Сам факт убийства Антуана Тасси не кажется ей чудовищным, героиня не может простить себе лжи, на которую она толкнула родственников, ведь ложные показания они давали, положив руку на Святую Книгу, то есть на Библию. Действие романа «Камураска» разворачивается почти столетие назад, но для настоящего пи-

[1] Anne Hébert. Kamouraska. P., 1970.

сателя взгляд в прошлое иногда оказывается художественным приемом, помогающим ярче и убедительнее высветить проблемы сегодняшнего дня. Через восприятие ли ребенка, как у Ланжевена, удалением ли в «век минувший», как у Эбер, лживость устоев буржуазного общества, извращающего связи между людьми, становится недвусмысленно очевидной.

Стремление говорить во всеуслышание о том, что общество, прикидывающееся благополучным, на самом деле порочно и поражено тяжкими социальными недугами, а литература сплошь и рядом избегает конфликтов с властями предержащими, предпочитая описывать то, что уже давным-давно описано,— отличительная черта Жака Годбу (род. в 1933). Его дебют — роман «Аквариум» (1962) — при всем изяществе, веселой лихости исполнения все-таки оставался на уровне неплохо выполненного литературного упражнения, где «было задано» синтезировать методы абсурдистов и представителей предметной прозы. Несколько человек прячутся от реальности в стеклянном жилище, куда не проникает ни свежий воздух, ни голоса людей. Однако отгородившись от ненавистной и антигуманной цивилизации, персонажи «Аквариума», не имея теперь другого объекта для ненависти, предаются самоуничтожению.

В 1967 году выходит роман Ж. Годбу «Привет, Галарно» [1], свидетельствующий о том, что подающий надежды новичок превратился в писателя, которого уже не спутаешь с другими его коллегами по перу. Герой книги Галарно — молодой человек, мечтающий стать писателем и вместе с тем писательства страшащийся, ибо знает: скажи он все, что думает, и люди отвернутся от него. До поры до времени он сочиняет стишки и развлекается устными импровизациями. Однако серьезные жизненные потрясения заставляют его всерьез взяться за перо. Замуровав входную дверь цементом, он наконец решается доверить бумаге плоды «сердца горестных замет». Но, закончив книгу, не выдерживает одиночества. «Мне нужны люди, цветы, встречи»,— говорит он. Цемент, которым замурована его дверь, он заменяет «бумажной стеной», на которой пишет «слова из своей тетрадки». Это важное решение для героя. Он понял, что может бороться против лжи и лицемерия, у него есть «бумажная стена», полная обвинений. Это и есть его главная книга, и написал он ее не для себя, а для людей, чтобы воздействовать на них, воззвать к их совести и здравому смыслу. Если раньше героя мучила дилемма: жить или писать, и он испробовал обе крайности — «наступая на горло собственной песне», влачил, как и прочие, существование обывателя и творил, уйдя в заточение и прервав контакты с окружающим миром, то в конце романа он формулирует свою позицию с помощью им самим выдуманного глагола «vecriire». В этом остроумном сращении двух слов vivre (жить) и ecriire (писать) — принцип, которым руководствуются те писатели, с чьими именами связаны художественные достижения канадской франкоязычной литературы, смысл которого — быть в контакте с реальностью родной страны, болеть ее горестями и радоваться ее радостям.

Герой романа «Парижские связи» (1975) писательницы Мари-Клер Бле [1] (род. в 1941) Матье Летельер, подобно герою книги «Привет, Галарно», обуреваем жаждой творчества. Заручившись рекомендательным письмом к знаменитой французской писательнице Ивон д'Аржанти, он едет в Париж, где вскоре должен выйти его первый роман. Матье полон надежд: в семье д'Аржанти он надеется приобщиться к настоящей культуре и, прощаясь с друзьями, говорит, что направляется «к настоящей жизни». Подобно той части интеллигенции, которая по-прежнему не верит в жизнеспособность национальной культуры Канады, Матье опирается на французские традиции как на единственный источник вдохновения. Он надеется, что «душа квебекца сольется с Европой его предков, столь близкой его романтическому сердцу».

Развитие фабулы романа — это прогрессирующее разочарование героя. Поначалу, став любовником Ивон д'Аржанти, он чувствует себя своим в большой литературе современности. Но, как вскоре выясняется, Ивон и ее друзья охвачены отнюдь не творческими страстями. Корыстолюбие, мелочность и завистливость, отсутствие сколько-нибудь устойчивых моральных норм — такова суть охотно и подолгу рассуждающих о Царстве Духа интеллектуалов. Эти люди, лишенные не только творческого дарования, но и подлинно человеческих качеств, оказываются бесконечно чуждыми незадачливому покорителю литературного Парижа. Лишь в самом конце своего пребывания в Париже Матье находит семью, близкую ему по духу. Это месье Поль и его жена Мирей, владельцы маленького бистро, под крышей которого собираются разные люди и находят там тепло и привет.

В этих людях герой находит ту самую человечность, которую тщетно искал у Ивон и ее друзей. Он понимает, что в поисках этой человечности и заключается долг писателя. Перед возвращением на родину Матье звонит Мирей по телефону, чтобы «услышать голос друга, который заставил его забыть другой голос — полный расчетливых придыханий и вздохов». Матье возвращается в Канаду, ибо преодолел романтические иллюзии, а с ними и пренебрежительное отношение к «скучной» действительности своей родины.

«Матье,— читаем у М.-Клер Бле,— улетел в эту ночь в свою страну, он думал о том, что пережил историю, «как в книге», и теперь закрыл эту книгу». Рассказывая историю взросления и расставания с иллюзиями героя, Мари-Клер Бле выявляет те важные процессы, которые за последние два десятилетия наметились в культурной ситуации французской Канады. Кончилась

[1] Jacques Godbout. Salut, Galarneau. P., 1967.

[1] Marie-Claire Blais. Une liaison parisienne. Quebec, 1975.

эпоха «французов без Франции» — как назвал в свое время писателей франкоязычной Канады известный литературный критик и эссеист Жан-Шарль Арвей. Художественные открытия А. Ланжевена, А. Эбер, Ж. Годбу, М.-Клер Бле показали, что во французской Канаде есть большая и серьезная литература.

К этим именам можно добавить и Антонин Майе, которая стала историком и летописцем полуострова Акадия, запечатлев удивительную духовную красоту простого народа и показав, что в обращении к национальным корням, к родной почве — залог немалых творческих побед художника. Первые рассказы А. Майе вышли в начале шестидесятых годов. Широкую известность принесла писательнице пьеса-монолог «Грязнуха» о женщине из народа, которая с большим успехом была поставлена не только в Канаде, но и во Франции. Особый интерес вызвали к творчеству А. Майе два ее последних романа: «Cordes-des-bois», название которого можно перевести как «Бревенчатый холм» или «Поленница» (1979), и «Пелажи с повозкой» (1979), завоевавший в прошлом году Гонкуровскую премию. В «Cordes-des-bois» рассказывается о жизни и бунте акадийских бедняков против безжалостных предпринимателей в эпоху кризиса.

В романе «Пелажи с повозкой», написанном в форме народного сказа, оживает давняя история акадийцев, их ставшее легендарным возвращение на суровые акадийские земли после того, как в XVII веке они были изгнаны англичанами с обжитых мест и насильно вывезены в Америку [1].

Мари-Клер Бле заставила своего героя закрыть «романтическую книгу». Лучшие писатели французской Канады сделали то же самое. Теперь можно прочесть первые страницы новой. Они подобны «бумажной стене» Галарно из романа Ж. Годбу. Это начало книги, полной плодотворных идей и интересных соображений о реальности сегодняшнего дня и о прошлом страны, без которого невозможно понять настоящее, о радостях и невзгодах Канады, которую, вопреки ворчанию скептиков, не обошли стороной проблемы и заботы нашей планеты. Пока, правда, лучшие писатели французской Канады гораздо яснее и отчетливее говорят на тему «что такое плохо». Остается надеяться, что, внимательно вглядываясь в чреватую социальными конфликтами и потрясениями повседневность, они поймут и «что такое хорошо» и придут — самостоятельно, путем удач и неудач — к осознанию необходимости изменить неустраивающую их буржуазную действительность.

АНТОН ИВАНОВ

ФАНТОМЫ

Joseph Heller. Good as Gold. New York, Simon and Schuster, 1979.
Джозеф Хеллер. Словно чистое золото. 1979.

О новой книге Хеллера споры не умолкали на протяжении долгих месяцев — слишком актуальной оказалась ее тема. Вспоминали его первый роман «Пункт 22» (в русском переводе — «Уловка 22»). Кто-то из рецензентов написал, что Хеллеру суждено создавать «библии десятилетий»: в каждом его произведении подмечены не частности, а сущность, «нерв» текущей американской действительности, в каждом из них меняющееся время узнает свои родовые черты. Повествуя о войне, «Пункт 22» тем не менее своей горечью и язвительностью передавал преобладающее общественное настроение 60-х годов. А «Словно чистое золото», быть может, станет памятником завершившихся 70-х, тем более что эта книга посвящена сегодняшней Америке.

Итак, «Пункт 23»? Напрашивающаяся метафора — ведь сходство и в самом деле бросается в глаза. И там и здесь — стихия беспощадного гротеска. И американская правительственная бюрократия подвергнута в новой книге столь же сокрушительной критике, как в прежней — система подавления и оболванивания, созданная Пентагоном, вся ее логика и практика.

Но есть и различие. Капитан Есарьян из первого романа Хеллера был типичным чаплинским персонажем, «маленьким человеком» на большой войне. Слишком уж несхож с ним выведенный теперь на сцену Брюс Голд, сорокавосьмилетний нью-йоркский интеллектуал, то самое «чистое золото», чья истинная проба сделается ясна задолго до конца повествования. Перед нами история конформиста. Она проста до шаблонности. Но в ней проступают некоторые характерные черты американской жизни последних лет, как и типичные «комплексы» интеллигента, оказавшегося в глубоко кризисной ситуации.

Исходный парадокс в том, что для Голда эти времена подавленности и безверия, когда «единственным, что можно было уверенно предсказать наперед, была неудача» и «все выходило не так, как задумано», оказались полосой необыкновенного везения, удач, от которых голова идет кругом. Еще вчера это был заурядный университетский преподаватель, который пописывал в журналах, не строя иллюзий насчет серьезности своих убеждений и уж тем более насчет их независимости. Брюс Голд привык строго дозировать официозность и либерализм. Привык не подкреплять слова поступками. Привык существовать словно на качелях, раскачиваемых меняющимися ветрами общественной жизни: набирает силу негритянское движение, нарастает недовольство молодежи — и Голд розовеет на глазах, но ему ничего не стоит переметнуться на противоположный полюс, едва поколеблется конъюнктура.

Здесь первая забота — не отстать от «передовых» веяний, а вместе с тем обезопасить себя даже и от отдаленной необходимости серьезного, ответственного выбора. Голд, разумеется, за демократизм и за свободы, но только до той черты, пока не возникает реальной угрозы американскому «истеблишменту», к которому он недурно приладился. Он обожает пококетничать «левым» словечком или не вполне казенной мыслишкой, но только до той черты, пока не почувствует — или не вообразит —

[1] Об этом романе см. интервью А. Майе, опубликованное в «ИЛ» № 3, 1980 г.

опасности для своего житейского благополучия.

Когда он писал рецензию на книгу мемуаров Президента США, Голд, понятно, проявил максимум благожелательности, но все же позволил себе два-три суждения, которые сам он считал отчаянно крамольными,— то-то возликуют тайные вольнолюбцы вроде него самого. И удивительное дело — автору мемуаров как раз эти небезопасные намеки пришлись по вкусу всего больше. Последовал звонок из Вашингтона и предложение вступить в прямой контакт с Белым домом — намекнули, что со временем будет и должность. Причем любая по выбору Голда. Можно стать шефом ЦРУ, например. Или хозяином Пентагона. Или руководителем налогового ведомства. Или даже государственным секретарем, вторым лицом в правительстве.

Вот она, осуществленная «американская мечта» — из чистильщиков сапог прямиком на верхние ступени социальной иерархии. А впрочем, осуществленная ли? Когда, вдохновившись великими надеждами, Голд надумает оставить семью и породниться с мультимиллионером Коновером, сказку оборвут на самом интересном месте. Понаторевший политический интриган Коновер, не скрывающий своих фашистских пристрастий по части расы и крови, без обиняков растолкует нежеланному родичу, что политику делает избранный круг, а для прочих в лучшем случае предусмотрена хорошо оплачиваемая должность в «мозговом тресте», но уж никак не билет на вход в «хорошее общество». И вскоре для Голда все вернется на круги своя. В финале перед нами все тот же стареющий профессор со своими семейными трудностями, десятки раз пережеванными мыслями и никому не нужными статьями. Хотя еще порой звучат в его квартире ободряющие звонки из столицы и важные чиновники по-прежнему намекают на захватывающие перспективы, которые перед ним вот-вот откроются.

Действие описало круг, не завершившись для Голда ничем — разве что еще усилившимся страхом, еще большей неуверенностью в себе. Другой вопрос, почему так высоко вдруг вознесла его судьба, почему помаячили ему вершины власти и славы, пусть все это и оказалось лишь миражем, фантомом? Игра случая? Парадоксальное стечение обстоятельств? Для Хеллера — ни то и ни другое. Необыкновенная карьера Голда при всей ее нелепости для него закономерна. За нею в романе ясно обозначается американская общественная ситуация конца 70-х годов, которая и предопределила стремительный взлет никому не ведомого профессора, а затем — его стремительное падение.

В ожидании, когда его призовет к жертве бог большой политики, Голд урывками пишет свою новую книгу, озаглавленную «Еврейский опыт в Америке». Пишет с отвращением. Ему противна необходимость разделять этот опыт. Как было бы хорошо, чтобы отец убрался, наконец, во Флориду и не мозолил глаза, напоминая о полуголодном детстве и о мытарствах по грязному, перенаселенному предместью, где живут иммигранты! И до чего же надоело пустословие Либермана, его издателя, от которого Голд только и слышит, что о еврейском избранничестве, хотя сызмальства он наблюдал вокруг себя по большей части лишь убожество мещанского существования, духовную обезличенность да погоню за житейским успехом любой ценой.

У Либермана особых проблем нет: пламенный поклонник всех реакционеров в мире, он по любому поводу готов беззастенчиво спекулировать на жестоких сторонах исторического прошлого нации, почему-то предпочитая сытую жизнь в Америке тяготам жизни в Израиле и не находя здесь никакого противоречия. Но Либерман — фигура слишком одиозная, чтобы книга за его подписью нашла спрос хотя бы у «ястребов». А вот Голд другое дело, он либерален, умерен, интеллигентен, и для задуманного предприятия это личность самая подходящая — пусть он изложит общие соображения относительно особого пути и особого долга, страдания, духовной жажды и прочего, предоставив Либерману заботы о политической тенденции, раз сам автор оказался таким чистоплюем.

Но книга не пишется. За Голда ее в итоге напишет Хеллер: крутая траектория судьбы его героя говорит о сегодняшнем «еврейском опыте в Америке» куда больше, чем сказали бы любые глубокомысленные выкладки нью-йоркского профессора.

Впрочем, в истории Голда важнее, конечно, не национальные, а социальные корни. У каждой эпохи свои герои, и сегодняшней Америке требуются как раз голды — люди, в которых необыкновенно прочно укоренена психология конформизма, лавирования, прилаживания к «скверным временам», благо в них всегда найдется оправдание для собственной трусости, легко сходящей за разумный, даже «прогрессивный» выбор между большим и меньшим злом. Тем более что эта психология обладает незаменимым свойством прощать самому себе («жизнь заставила») то, что решительно не прощается другому, и не замечать в себе того, что так не хочется замечать.

Такого рода «золото» теперь особенно в цене и у облеченных настоящей властью, и у тех, кто только занимает в официальной субординации высокую ступеньку, в сущности не обладая никаким воздействием на ход событий. Как интеллектуал Голд может оказаться полезен и тем и другим, хотя по той же причине даже и для его исключительной удачливости быстро находится свой потолок — герой больно ударится о него, когда, вдохновленный знаками внимания крупных чинов, воспарит в заведомо недоступные ему сферы. И это тоже станет частицей «опыта», о котором он должен написать книгу.

Зато в жестко обозначенных для этой публики пределах Голд по-своему незаменим. И в самом деле «чистое золото», иметь ли в виду ловкость приспособленца или умение на лету схватывать дух времени. Ему, к примеру, ничего не стоит, «лишь слегка изменив акценты, произнести сегодня перед конгрегацией выживших из ума мракобесов ту же речь, что вчера была произнесена на съезде подростков-маои-

стов». Золотая середина негласно объявлена им правилом на все случаи жизни, и вот Голд «отвергает сегрегацию, но точно так же отвергает и интеграцию. Он, конечно, не считает оправданной дискриминацию женщин... но, вообще говоря, он против законов о равноправии». Он «гибок». Он «лишен предвзятости». Он обладает незаменимым даром «соотносить что угодно с чем угодно», доказывая «бесконечность взаимосцеплений и взаимовлияний» и поэтому уклоняясь от всякого решения, если необходима хоть какая-то определенность, позиция, убеждение — неважно, какое именно.

Просто находка для вашингтонских бюрократов вроде Ральфа Ньюсома, однокашника Голда, а ныне владельца какого-то очень важного кабинета в Белом доме, пусть его конкретные функции так и остаются неясными — ни Голду, ни ему самому. Совпадение принципов и интересов в данном случае чуть ли не идеальное. «Чем я буду у вас заниматься?» — недоумевает Голд, получив через Ньюсома приглашение работать в правительстве, и слышит в ответ: «Чем угодно в соответствии с нашими указаниями, что надо говорить и делать для поддержки нашей политики, согласен ты с нею или нет... Президент не любит поддакиваний. Нам нужны независимые и достойные люди, которые будут соглашаться с любым нашим решением после того, как мы сами его вынесем».

Голд словно самой природой создан для того, чтобы служить этому абсурдному (и — при всей гротескности — такому убийственно точному как характеристика действительных принципов вашингтонской администрации) кодексу, дополненному еще одним программным высказыванием Ньюсома: «У нас нет никаких идей, и мы намерены их твердо отстаивать». В романе Хеллера все происходит в полном согласии с этой формулой, столь емкой и достоверной для понимания духа 70-х годов в Америке. Никто и нигде не видит Президента, о котором, однако, всем известно, что он работает от зари до зари,— не над очередным ли томом мемуаров, которые потом восхвалит в печати еще какой-нибудь Голд? Заседают комиссии, участие в которых, согласно Ньюсому, может быть для Голда «исключительно важным, потому что их работа не представляет никакой важности ни для кого больше». Сочиняются доклады, чье высшее достоинство в том, что они написаны ни о чем и не обязывают ни к чему. Выносятся решения, о которых заранее известно, что «все выходит не так, как задумано»,— недаром Президент велел отпечатать плакат с этим афоризмом Голда и повесил его у себя в столовой рядом с изречением какого-то античного мудреца,— кажется, Плиния Старшего, а может быть, и Младшего.

Пока на множестве уровней приводятся в движение и притираются друг к другу компоненты огромного бюрократического механизма, в итоге исправно производящего пустоту, спивающийся в своем загородном поместье Коновер и техасец-губернатор с повадками мясника (разрубая одним ударом хитросплетения либерального мышления, он прямо предложил Голду взятку, отвергнутую после мучительных сомнений) двумя-тремя своевременными звонками решают по своему усмотрению важнейшие дела государства. Голд тоже мог бы в них участвовать — надо было попросту продаться, отбросив интеллигентские предрассудки. И может, действительно надо было? Ведь тогда он занял бы важный пост и — разумеется, в меру возможностей — постарался бы на благо прогресса, уж заодно двигая собственные карьерные интересы и — неизбежная цена — обеспечивая интересы техасского благодетеля.

Своей бесхребетностью он вполне устраивает систему. И еще — своей готовностью изобретать все новые и новые философические сентенции, которыми радостно пользуются, чтобы отделаться от докуки административных забот да хлопот, от необходимости что-то всерьез делать, чтобы вывести Америку из кризиса. Мир фантомов, изображенный Хеллером, порождает еще одну призрачную фигуру. Политик, с энтузиазмом признающий собственную ненужность и бессилие, нуждается в Мудреце, который подыщет интеллектуальное обоснование для подобного бездействия и словоблудия. Вселенная завершена: «Голд знал, что высшая стадия цивилизации достигается, когда Хаос предстает в маскарадном наряде порядка, и он стал свидетелем этой стадии». По его формуле, тоже вызвавшей восторги столичных знакомых, «всякая перемена — это изменение к худшему».

Верный своему принципу парадоксальности, Хеллер заставит героя на собственном опыте убедиться, насколько он был прав. Под родную крышу Голд вернется, не снискав лавров, и его дни пойдут привычным чередом, только «изменится к худшему» его позиция в спорах с Либерманом, требующим немедленных радикальных мер самого правого толка, да еще будет саднить в душе царапина, оставленная вашингтонской неудачей.

Впрочем, самое существенное как раз в том, что, строго говоря, не произойдет никаких изменений — ни к лучшему, ни к худшему. Иррациональность в ее бытовых преломлениях — давняя тема Хеллера — на этот раз подавляет даже самые слабые ростки гармоничности, которая еще присутствовала в прежних книгах писателя, хотя бы как робкая мечта его персонажей. Теперь сатирическая концентрация достигает предела, и жизнь предстает неподвижной, если не принимать за движение тот абсурдный круговорот, который совершается на страницах романа Хеллера. Сама эта замкнутость повествования безумными нормами, которые открылись Голду в Вашингтоне, содержит в себе образ сегодняшней Америки и свидетельство о том, насколько глубок охвативший ее «кризис доверия».

Тем значительнее, что в книге Хеллера так резко осуждены настроения безнадежности, невозможности что бы то ни было поколебать в развертывании событий, а как следствие — подретушированный, а то и открытый конформизм, для которого столь благодатна такая атмосфера.

А. ЗВЕРЕВ

Из месяца в месяц

БОЛГАРИЯ

«ПО ХОЛМАМ ВРЕМЕНИ»

С большим интересом и волнением, отмечает болгарская пресса, смотрели зрители многосерийный документальный фильм «По холмам времени», воскрешающий славные страницы борьбы болгарского народа против фашизма и этапы строительства нового общества после победы социалистической революции.

В тридцати пяти сериях этой масштабной эпопеи, как пишет еженедельник «Народна култура», создан обобщенный образ народа, отражены самые значительные исторические моменты в жизни страны, начиная с победного марша партизанских бригад и кончая полетом первого болгарина в космос.

Здесь показаны все слои народа: партийные и государственные деятели, ветераны антифашистской борьбы, творцы науки и искусства, передовики производства и сельского хозяйства, простые труженики Болгарии. Яркие документальные кадры заставляют зрителя безраздельно верить в то, что он видит на экране, ощущать себя участником происходящих событий, постигать уроки истории, испытывать законное чувство национальной гордости.

Большая заслуга в создании фильма, как подчеркивает печать, принадлежит сценаристу и ведущему фильма Ивану Славкову, который, опираясь на опыт советской кинематографии, по-своему, оригинально подошел к претворению имевшегося у него документального материала.

«Это яркое публицистическое произведение,— подчеркивает «Народна култура»,— открывает нам вершины развития и подъема свободного народа, с честью выдержавшего проверку историей».

«ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ» АЛЕКСЕЯ АРБУЗОВА НА СЦЕНЕ ТЕАТРА «СОФИЯ»

Постановка одним из ведущих театров пьесы А. Арбузова, по свидетельству болгарской прессы,— радостное событие в театральной жизни страны, ибо имя этого советского драматурга здесь хорошо и давно известно.

По мнению обозревателей, режиссеру спектакля Леону Даниелу удалось бережно перенести драматургию советского автора на болгарскую сцену, придав еще большую напряженность конфликтным взаимоотношениям героев, острее очертив поставленные драматургом проблемы.

В интервью болгарскому театральному критику Василу Стоеву сам драматург признался: «И сегодня, когда я думаю о «Жестоких играх», ловлю себя на мысли, что в этой пьесе я недостаточно рассердился. Если

На снимке: М. Владигерова в роли Маши и Р. Младенов в роли Мишки в спектакле «Жестокие игры».

(Журнал «Театр»)

бы я писал эту пьесу сегодня, она была бы значительно резче». Именно этот замысел драматурга — сделать пьесу сегодня еще резче, чем она когда-то задумывалась,— и удалось, по мнению В. Стоева, режиссеру-постановщику спектакля воплотить на сцене театра «София» — «заострить ее в нравственных императивах молодых героев пьесы».

В пьесе Арбузова трудно выделить отдельные группы героев, принимающих в общем конфликте ту или иную сторону,— каждый несет в себе свою внутреннюю драму и первоначально как будто бы стремится не к ее разрешению, а к ее углублению. «Поэтому все герои пьесы,—пишет В. Стоев,— прибегают к горькой иронии и игре в безответственность». Именно в удивительной «постепенности» часто трудно уловимых изменений — от закрытости к открытости в поведении героев — состоит, по мнению обозревателя, «наибольшая степень сценичности драматургии Арбузова».

Режиссер, поставив достаточно скромные задачи перед сценографическим и музыкальным оформлением, сосредоточил все внимание прежде всего на актерском ансамбле, проявив, в частности, доверие к молодым исполнителям, ранее мало занятым в театре. Благодаря щедрости актерской самоотдачи, через экспрессивное решение образов достигается «значительное эмоциональное воздействие», пишет Васил Стоев. Особенно отмечает критик работу Рашко Младенова над образом Мишки и Димитра Танева, создавшего интересный образ Терентия.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ТВОРЧЕСКОЕ СОДРУЖЕСТВО

По британскому телевидению с успехом демонстрировалась пьеса, написанная английским писателем и литературоведом Малькольмом Брэдбери по новелле Джоиа Фаулза «Тайна». (Она вышла в издательстве «Прогресс» в сборнике «Современная английская новелла».) Такое творческое содружество ярких, но разных в художественном отношении талантов дало, пишет Браун Крэйг в «Таймс литерари сапплмент», неожиданные, но очень интересные результаты.

В адаптации Малькольма Брэдбери, автора нашумевшего в Великобритании романа «Человек истории», детективно - психологическая новелла Фаулза о таинственном исчезновении члена парламента приобрела ярко выраженную социальную окраску.

Сохранив психологически тонкий и точный рисунок Фаулза, показывающего непредсказуемость поведения людей, роль интуиции и эмоций, Брэдбери, по словам Брауна Крэйга, сделал более ощутимой «фактуру времени». Он мастерски развил тончайшие «намеки» Фаулза и показал большую социальную детерминированность его героев. В пьесе появились и острые сатирические моменты, скорее свойственные Брэдбери, нежели Фаулзу.

Вероятно, замечает рецензент, Джон Фаулз не только допустил, но и одобрил вмешательство в свое произведение, потому что в манере самого автора «Тайны» произошли существенные изменения с момента написания новеллы. Социальное полотно, нарисованное такими широкими мазками Фаулзом в «Даниэле Мартине» в 1977-м, во многом близко «Человеку истории» Брэдбери, а отсюда и плодотворность сегодняшнего содружества писателей.

ВЕНГРИЯ

СКУЛЬПТОР О СВОЕМ ПОКОЛЕНИИ

На страницах журнала «Уй тюкор» опубликован очерк Ференца Самоши,

На снимке: скульптурный портрет Томаша Кёрёшеньи «Девушки».

(Журнал «Уй тюкор»)

посвященный молодому скульптору Тамашу Кёрёшеньи, в котором, в частности, говорится: неповторимость человеческой личности привлекала деятелей искусства всех времен и народов. Познание человека всегда являлось целью и задачей изобразительного искусства, и приоритет здесь всегда принадлежал портретному жанру.

Его работы экспонировались недавно в Будапеште, они отличаются глубиной проникновения во внутренний мир человека. Главное, что характеризует работы Кёрёшеньи, подчеркивает Симоши,— это обобщенность, типичность. Он сумел передать в скульптурах женщин характер поколения: непосредственность, открытость, раскованность, присущие сегодняшней молодежи.

«ЧУДО В ДЬЁРЕ»

Так назвала литературовед и критик Анна Фельдеш, выступившая со статьей на страницах журнала «Нёк лапъя», спектакль «Гроза», поставленный режиссером Дердем Харагом в Новом театре города Дьёра.

Драма Островского «Гроза» давно идет на сцене венгерских театров. Но Дердь Хараг не просто поставил известное классическое произведение, а подчеркнул современность его звучания. Два мира, две морали, две жизненных философии противоборствуют на глазах у зрителя: эгоизм и жертвенность, цинизм и внутренняя чистота, рабская психология и стремление к свободе, самодурство и человеческое достоинство.

В постановке нет никаких трюков, ничего искусственного, что служило бы «мостом» от нынешнего дня к прошлому. Но спектакль отличает глубина психологического анализа, в нем как бы приоткрыта «диалектика души», стремящейся к освобождению от гнета ложной морали.

По мнению рецензента, Мари Тёрёчёк, исполнительница роли Катерины, заставила зрителя почувствовать притягательность личности своей героини—ее задушевность, решительность, правдивость, чувство

На снимке: Мари Тёрёчёк в роли Катерины.

(Журнал «Нёк лапъя»)

внутренней независимости и долга.

Отмечает Анна Фельдеш и другие актерские работы — Ференца Бача в роли Кулибина, Дюлу Атш в роли Тихона, Ибойю Бараньян в роли Варвары, молодую актрису Шарлоту Янчо в роли Глаши.

ВЬЕТНАМ

ЛАУРЕАТЫ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРЕМИЙ

В Ханое названы имена первых лауреатов ежегодных премий за лучшие произведения прозы и поэзии, учрежденных в минувшем году Союзом писателей Вьетнама.

Премий удостоены известные литераторы Нгуен Шинь и Ву Ки Лан — за книгу очерков «Записки с огненной земли» и поэт Тхань Тхао — за книгу стихов «Следы на траве». Эти произведения повествуют о героической борьбе вьетнамского народа за свободу и независимость своей родины, о его мирном созидательном труде.

ЮБИЛЕЙ КИНОСТУДИИ

Исполнилось 35 лет одной из крупнейших студий социалистического Вьетнама — киностудии Народной армии. За прошедшие годы она подготовила большое количество документальных лент, выпусков кинохроники, в которых запечатлены многие важные события в жизни страны, подвиги бойцов Народной армии, их боевые будни.

Среди новых работ студии — «Клочок пограничной земли» (режиссер Нгок Минь), в которой рассказывается о воинских подразделениях, охраняющих северные границы Вьетнама; «Сила угольного края» (режиссер Фан Киеу и Чонг Хиен) воспевает трудовой энтузиазм и боевой дух армии и народа Вьетнама; в фильме «Записки из пограничного района» (режиссер Нгуен Тхонг) рассказывается о славной истории и традициях Вьетнамской народной армии.

Сейчас заканчивается работа над двумя фильмами: «Подстрекатели» — разоблачающий пекинские правящие круги, их экспансионистские замыслы и попытки использовать антинародную клику Пол Пота и Иенг Сари для осуществления политики геноцида на кампучийской земле, посягательства на территориальную целостность Вьетнама, и «Подлинное лицо», осуждающий преступные действия китайских агрессоров в отношении Вьетнама.

ГДР

«ВСТУПЛЕНИЕ В РАЙ»

Так называется роман Ганса Вебера, выпущенный издательством «Нойес лебен» (о Вебере см. «ИЛ» № 8, 1970; № 6, 1973).

...Пять семей въезжают в новый дом, в хорошие, благоустроенные квартиры, которые им кажутся «раем» после трудной жизни в общих квартирах без удобств. Да и квартал, в котором расположен дом, носит поэтичное название «Лесное уединение». Благодаря любознательности десятилетней Кат, обнаруживающей, что перегородки между балконами остались незаделанными, все быстро знакомятся. Это ведет к различным недоразумениям, иногда серьезным,

а часто смешным. Люди много узнают друг о друге, между ними возникают симпатии, завязываются дружеские связи.

Как отмечают рецензенты газет «Нойес Дойчланд» и «Берлинер цайтунг», роман Ганса Вебера отличается от его прежних произведений, где, как правило, прослеживалась судьба одного человека. Здесь рассказывается о многих судьбах, о разных характерах, взглядах, взаимоотношениях. Среди новоселов — люди самых различных профессий, у всех есть свои заботы, свои радости и печали, но их объединяет и общее стремление — начать новую, хорошую жизнь.

«Вебер пишет и серьезно, и с улыбкой, в его романе много иронии, юмора, а иногда и сарказма»,— отмечает газета «Берлинер цайтунг».

«Эта книга будет читаться с увлечением, — пишет рецензент газеты «Нойес Дойчланд». — Она посвящена людям, которые по-новому устраивают свой быт, она рассказывает о нашем сегодняшнем дне».

На снимке: сцена из спектакля по пьесе Гельмута Беца «Теплый дождь». В роли Курраса—Гарольд Вермбрунн, в роли его друга Бляшке — Ганс Линцер.

(Журнал «Театер дер цайт»)

НОВАЯ ПЬЕСА ГЕЛЬМУТА БЕЦА

Театр города Цвиккау поставил вторую пьесу Гельмута Беца—«Теплый дождь» (о его первой пьесе, «Ютта, или Дети Дамуца» см. «ИЛ» № 8, 1979).

Снова драматург показывает зрителю городок Дамуц, в котором живет главный герой Куррас. Оттуда он ежедневно ездит на завод, где проработал 33 года. Начав свой трудовой путь с простого рабочего, Куррас стал директором предприятия, а теперь ему предстоит повышение. Он должен встретиться со своим новым заместителем Липпольдом, который, видимо, станет в дальнейшем руководителем завода. И тут постепенно выясняется, что Липпольд хорошо знает производство, что он во многом превзошел Курраса, некоторые методы руководства которого уже устарели...

«Я должен признаться, что этот сюжет я выдумал не сам. Мне его подсказала статья в советской «Литературной газете», — сказал в интервью журналу «Театер дер цайт» Гельмут Бец. — Я хотел сделать пьесу для телевидения, но потом решил, что она лучше прозвучит в театре.

Я очень ценю пьесы Гельмана на так называемую «производственную тему», но я старался найти свой путь, старался, чтобы «Теплый дождь» сказал зрителям что-то новое.

Я вернулся к маленькому городку Дамуц потому, что он мне хорошо знаком, я чувствую себя там дома, я знаю его людей, знаю, чем они живут, люблю его живописные пейзажи. Кстати, природа играет в пьесе немаловажную роль. На берегу реки, где Куррас ловит со своим другом рыбу, обсуждаются серьезные вопросы, а «теплый дождь», который так нужен и которого так ждут жители Дамуца, имеет и другое значение. То, что понял Куррас благодаря Липпольду, — тоже ведь «теплый дождь», после которого все оживает...»

Рецензенты журнала «Театер дер цайт» и еженедельника «Зонntаг» отмечают, что пьеса Беца — важный шаг в современной драматургии. «Гельмут Бец ставит вопросы о творческом отношении к труду, об ответственности и честности», — пишет рецензент журнала «Театер дер цайт».

ИНДИЯ

КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

С рецензией на последние публикации для детей, выпущенные на языке хинди делийским издательством «Пиплз паблишинг хаус», выступил в газете «Джан юг» известный критик Агнимитра. Новые публикации входят в серию «Рассказы о жизни замечательных людей», в которой уже издано 24 книги.

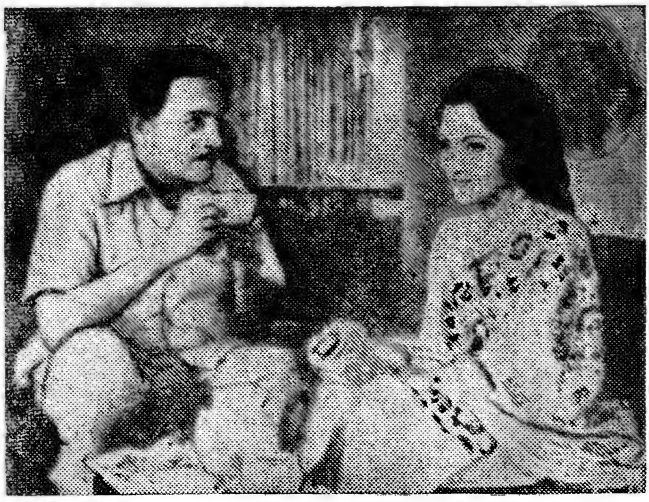
«Выпуская популярные, написанные доступным языком биографии замечательных людей, издательство оказывает нашим детям неоценимую услугу»,— пишет рецензент, воздавая должное издательству, которое выступило с таким почином в Год ребенка.

Новые публикации издательства повествуют о жизни и деятельности ряда выдающихся поэтов и прозаиков Индии: великого и муд-

рого поэта урду Мирзы Галиба (XIX в.), выдающихся представителей бенгальской литературы — романтика Бонкимчондро Чоттопадхая (1838—1894) и бытописателя-реалиста Шоротчондро Чоттопадхая (1876—1938), известного писателя, ученого и общественного деятеля Рахула Санкритьяяна (1893—1963), выдающихся мастеров слова хинди — прозаика Премчанда (1880—1936) и Сурьяканта Трипатхи Ниралы (1896—1961).

Авторами биографических очерков о замечательных людях Индии выступили известные писатели хинди и урду.

«Хотя все эти очерки вышли в серии «Рассказы о замечательных людях», рассчитанной на детей, — заключает рецензент, — нет никакого сомнения в том, что их с большой пользой для себя прочтут и взрослые, особенно молодые писатели, только вступающие в литературу».



На снимке: Утпаль Датт и Аша Парикх в фильме «Брак по любви».

(Газета «Джан юг»)

НА ЭКРАНЕ — КИНОКОМЕДИЯ

На экранах индийской столицы с успехом демонстрируется новый художественный фильм «Брак по любви», поставленный известным кинорежиссером Басу Чаттерджи (см. «ИЛ» № 1, 1977). Как и большинство фильмов, поставленных этим режиссером, «Брак по любви» — кинокомедия.

Сюжет фильма несложен: подыскивая для девушки жениха, немолодой уже человек сам влюбляется в невесту, и она становится его женой,— но эта безыскусственная история, как отмечает рецензент, перенесена на экран с таким блеском, наполнена таким теплом, обаянием и лукавым юмором, что фильм стал еще одной удачей постановщика. Басу Чаттерджи создал великолепную кинокомедию, в которой нет даже тени пошлости или грубого трюкачества.

Своим успехом фильм во многом обязан блистательной игре всего актерского ансамбля, прежде всего исполнителей заглавных ролей — недавно дебютировавшей актрисы Аши Парикх (см. «ИЛ» № 2, 1980) и известного киноактера Утпаля Датта.

Музыку к фильму написал популярный композитор Лакшмикант Пьярелал.

ИСПАНИЯ

ПАМЯТНИК ГАРСИА ЛОРКЕ

На родине испанского поэта Федерико Гарсиа Лорки — в селении Фуэнте-Вакерос, провинция Гранада,— начались работы по сооружению памятника, который станет данью памяти жителей южной провинции своему выдающемуся земляку, погибшему от рук франкистов в 1936 году. Создание памятника стало возможным только сейчас, в условиях демократических преобразований, происходящих в стране.

Решение о строительстве мемориала, как сообщает испанское информационное агентство, было принято под аплодисменты членами мэрии Фуэнте-Вакерос, в специальном заявлении говорится, что оно является «исполнением воли жителей провинции Гранада, свято хранящих память о своем великом сыне».

Автор проекта памятника — известный испанский скульптор Кайетано Аннибаль. Его сооружение осуществляется на пожертвования, поступившие от соотечественников и из-за рубежа.

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПИКАССО — В МУЗЕЯХ ИСПАНИИ

В Мадриде открылась выставка 104 гравюр Пабло Пикассо. Гравюры, а также его известное написанное маслом полотно «Золотые угри» приобретены испанским правительством. С новым приобретением коллекция работ художника, принадлежащая министерству культуры Испании, составит 125 произведений.

ИТАЛИЯ

ПОРТРЕТ УПАДКА ПОКОЛЕНИЯ

Все герои новой ленты «Терраса» режиссера Этторе Сколы, хорошо известного советскому зрителю по фильму «Мы так любили друг друга», завоевавшему золотой приз на одном из московских кинофестивалей, — интеллигенты, перевалившие за так называемый средний возраст, добившиеся прочного поло-

На снимке: исполнители главных ролей в фильме «Терраса» Уго Тоньяцци и Витторио Гассман.

(Газета «Унита»)

жения в обществе, успеха на своем поприще, вполне благополучные, респектабельные люди. Однако фильм проникнут элегическими мотивами, чувство неудовлетворенности, опустошенности стаиовится доминирующим у всех этих персонажей.

Все они собираются на некой террасе по вечерам в течение нескольких весенних и летних недель, чтобы здесь подвести итоги своей жизни, своей деятельности. В фильме перекрещиваются сюжетные линии, рассказывается о том, «что случилось в жизни каждого из них, и прошлое встает в поражениях и горестях куда более частых, чем чувство удовлетворения»,— пишет газета «Паэзе сера». «По существу, это портрет упадка поколения, — говорит создатель фильма Этторе Скола. — На террасе царит невыразимое беспокойство, ощущаемое в ситуациях, в душевном состоянии героев, хотя на самом деле вроде бы ничего не случается».

Корреспондент «Паэзе сера» называет свой репортаж о съемках фильма «Буржуазный интерьер глазами Сколы».

КАМПУЧИЯ

ВОЗРОЖДЕНИЕ КАМПУЧИЙСКОГО КИНО

На последнем МКФ в Лейпциге главный приз — Золотой голубь — был присужден документальной ленте «Кампучия: 3+4», снятой кампучийскими кинооператорами. Об этой многострадальной стране уже создано немало фильмов, но, пожалуй, самым потрясающим обличительным кинодокументом явилась эта лента — работа двух кинооператоров, бывших в составе подразделений революционных сил, освобождавших страну от режима Пол Пота — Иенг Сари.

В стране, некогда выпускавшей десятки фильмов в год, в живых осталось только несколько кинооператоров. Сейчас в Кампучии постепенно возрождается национальное кино, уже образованы и успешно работают две киногруппы, в составе которых более двадцати кинематографистов. Большую помощь в восстановлении национального кино в Кампучии оказывают кинематографисты Социалистической Республики Вьетнам. Уже открыты два больших кинотеатра. В окрестностях Пномпеня насчитывается более 20 передвижных киноустановок, они обслуживают и подразделения Народных вооруженных сил, и население различных районов страны. В столице открыты краткосрочные курсы киномехаников, на которых проходят обучение более 100 человек.

КАНАДА

НОВАЯ ВСТРЕЧА С ФОРДОМ

В издательстве «Хаунслоу» вышел новый поэтический сборник Роберта Артура Дугласа Форда «Дыра в космосе». Форд успешно сочетает дипломатическую деятельность, в течение многих лет являясь послом Канады в СССР, с поэтической — он автор книг «Окно на север» и «Одинокий город». Стихи Форда печатались в журнале «Иностранная литература» в № 11 за 1976 год.

Как признается сам Форд в одном из своих стихотворений, «я ослеплен поэзией, болен ее музыкой». Рецензент газеты «Глоб энд мейл» Энн Монтань отмечает, что пейзажи, нарисованные в стихотворениях Форда, в большинстве случаев порождены авторской фантазией, овеяны чувством утраты и разрушения. Старость, болезнь, потери — осиовные темы новой поэтической книги Форда, хотя время от времени, замечает рецензент, солнечный апрельский луч все же пронизывает эту мрачную атмосферу.

КУБА

ПРЕМИЯ «КАСА ДЕ ЛАС АМЕРИКАС» — ДЕТСКОЙ ПИСАТЕЛЬНИЦЕ

Известная кубинская детская писательница Дора Алонсо (на русском языке вышли ее роман «Беззащитная земля» и повесть «Приключения Гиля») стала ла-

уреатом премии «Каса де лас Америкас» по литературе для детей и юношества. Награда вручена писательнице за ее последнюю книгу под названием «Долина меченой птицы». Она состоит из семнадцати глав, и ее действие развивается в районе Виньялес, в провинции Пинар-дель-Рио. «Это местечко Кубы я очень люблю, — рассказала Дора Алонсо в интервью корреспонденту газеты «Хувентуд ребельде». — Люблю за его прекрасную природу и замечательных, сердечных людей. Я много раз туда ездила, и всегда испытывала там чувство гордости за жителей этого края, и чувствовала себя более сильной от того, что на свете есть такие люди. Моя книга — это благодарность за дни, проведенные вместе с жителями Виньялес, с детьми... В книге я рассказываю о флоре и фауне этого края, о легендах, людях, именах, принесших ему славу. Ну и, конечно, в книге много фантазии...»

Национальному кубинскому ансамблю танца исполнилось двадцать лет. Основанный в первый год Кубинской революции, он стал сейчас одним из ведущих художественных коллективов острова Свободы. С самого возникновения ансамбль поставил своей целью задачу возрождения подлинно национального искусства. Первые шаги коллектива были нелегки, и это в значительной степени объяснялось засильем в прежние годы массовой культуры США, душившей все исконно национальное.
Кубинские зрители и зрители десятков стран всех континентов могли познакомиться с постановками Эдуардо Риверы, Херардо Ластры, Хесуса Лопеса, Виктора Куэльяра.
«За два десятилетия упорной работы по совершенствованию техники и стиля,— пишет в связи с юбилеем ансамбля журнал «Боэмия»,—ансамбль многое сделал для пропаганды фольклорных традиций нашего народа». На снимке: выступление Национального ансамбля танца.

(Журнал «Боэмия»)

МАЛАЙЗИЯ

ВЕТЕРАНЫ НЕ СКЛАДЫВАЮТ ОРУЖИЯ

Новая малайская проза зародилась в 20-х годах нашего века, а поэзия на малайском языке начала стряхивать с себя груз многовековых традиций и того позже — в 30-х годах.

С итогами полувекового развития новой малайской поэзии позволяет познакомиться антология «Связь времен», изданная государственным Институтом языка и литературы в Куала-Лумпуре и включающая 98 избранных стихотворений, среди которых опыты довоенной поэзии на малайском языке, произведения поэтов 50-х годов — представителей местной «Бури и натиска» и образцы значительно более разнообразной по своей тематике и по гамме отражающихся в ней чувств и размышлений поэзии 60—70-х годов. Составители антологии — поэт и критик Исмаил Ахмад, выступающий под псевдонимом Аджикик, и поэт, прозаик и драматург Усман Аванг, один из наиболее ярких представителей поэзии пятидесятых годов.

Живой интерес вызвала в Малайзии и публикация другого ветерана малайской литературы — Криса Маса. В своих воспоминаниях «30 лет в литературе» он рассказывает о юношеских увлечениях политикой, заставивших его переселиться из Британской Малайи в Сингапур, о его приобщении к журналистике, о литературной и общественной деятельности, одной из высших точек которой было участие в создании «Союза литераторов-пятидесятников», сыгравшего огромную роль в обновлении малайской литературы. Книга написана живым и доступным языком, характерным для Криса Маса — прозаика, произведения которого, равно как и произведения Усмана Аванга, впервые стали известны русскому читателю еще в 1963 году.

МАЛЬТА

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ МАЛЬТЫ

В Ла-Валлетте состоялось присуждение Литературной премии Мальты. Премия была поделена между испанским поэтом Антонио Кастро-и-Кастро — автором сборника стихов «Отречение бога» и мальтийским литературоведом доктором Джузеппи Бринкатом, удостоенным этой награды за свою книгу «Рифма», в которой он исследует ранее не публиковавшиеся стихотворения итальянского поэта XV века ди Мельо.

В этом году намечено учредить также премию за лучшее произведение на мальтийском языке.

МЕКСИКА

ПРЕМИЯ КАРЛОСУ ФУЭНТЕСУ

Международная премия имени Альфонсо Рейеса, выдающегося мексиканского поэта, литературоведа и ученого, является одной из самых почетных наград, вручаемых ежегодно Мексиканской академией языка прозаикам и поэтам Латинской Америки и Испании.

В минувшем году ее лауреатом стал мексиканец — известный писатель и дипломат Карлос Фуэнтес (журнал «Иностранная литература» опубликовал в 1965 году в 7—8 номерах его роман «Смерть Артемио Круса», а в 1972 году пьесу «Все кошки серы» и рассказ «Кукла»).

НИДЕРЛАНДЫ

НОВЫЙ ПОЭТИЧЕСКИЙ СБОРНИК РЕНДРЫ

«Поэтические памфлеты» — так называется изданный здесь сборник крупнейшего индонезийского поэта Рендры, включающий стихотворения 1973—1978 гг. Не раз подвергавшийся преследованиям у себя на родине, главным образом в связи с постановками руководимого им театра-студии, а в 1978 г. отбывший трехмесячное заключение, которое последовало за публичным выступлением с чтением стихов, Рендра не имел возможности издать свой новый сборник на родине, и, таким образом, «Поэтические памфлеты» впервые увидели свет в голландских переводах. Братское чувство к трудящемуся люду, к студенчеству, к обездоленным городским низам, тревога за будущее Индонезии, где «единственные глаза, свободно зыркающие по сторонам, — это глаза шпиона», вера в нравственные ценности и уважение к основным правам человека являются эмоциональными доминантами стихов Рендры. В качестве переводчика, автора предисловия и примечаний к сборнику, опубликованному издательством «Томас зн Эрас», выступил известный голландский филолог, крупный специалист по истории современной индонезийской литературы профессор А. Тэу.

ПОЛЬША

В ПАМЯТЬ О ПОЭТЕ

В издательстве «Чительник» вышло в свет пятитомное собрание сочинений выдающегося поэта Константы Ильдефонса Галчинского, семидесятипятилетие со дня рождения которого было широко отмечено литературной общественностью в январе этого года. Издание тиражом в пятьдесят тысяч экземпляров предназначено для широкого круга читателей. В первый и второй тома включены поэтические произведения поэта в хронологическом порядке, в третий — драматические произведения, в том числе написанный для театра «Зеленый гусь», в четвертый том — проза: рассказы, цикл фельетонов «Письма с фиалкой», пятый том включает переводы Галчинского и библиографию произведений поэта.

Пятитомник, в отличие от других изданий, дополнен шестьюдесятью произведениями разного жанра, публиковавшимися ранее только в журналах или вообще не публиковавшихся и обнаруженных в рукописях Галчинского.

С большим успехом прошел в Мексике фильм «Разорванный флаг», снятый режиссером Габриэлем Ретесом по собственному сценарию. Этот фильм о сегодняшнем дне Мексики, о жестокости и насилии «власть имущих», способных на любое преступление, если им грозит разоблачение. В беседе с корреспондентами на XI Международном кинофестивале Габриэль Ретес сказал: «Своим фильмом мы хотели взорвать апатию мексиканских зрителей, приученных за долгие годы либо к развлекательным музыкальным комедиям, либо к оглушающим пальбой «боевикам». Это первый фильм, который мы называем «рабочим», объясняя тем самым его классовую принадлежность».

На снимке: кадр из фильма «Разорванный флаг».

(Журнал «Фильм»)

«ПЕРВЫЙ БЕЛОРУЧКА»

В издательстве «Чительник» вышел сборник рассказов Юлиана Кавальца, хорошо известного советскому читателю по произведениям «К земле приписанный», «Танцующий ястреб» и «Переплываешь реку...», опубликованным в журнале «Иностранная литература».

В журнале «Нове ксёнжки» с большой рецензней на новый сборник выступил Станислав Секерский. Эпиграфом к рецензии, которая называется «Способ действия», он взял слова самого Кавальца: «Для меня литература является способом действия или чем-то, что возникает из жизни и к жизни призывает».

«Если бы я писал монографию о Кавальце, — говорит Секерский, — я бы взял эти слова в качестве эпиграфа к ней. Не потому, что это высказывание какое-то исключительное, просто это справедливая и глубокая самооценка, свидетельствующая о том, как Кавалец понимает связь литературы с жизнью и функции литературы в создании культуры общества». Правы те критики, пишет далее Секерский, для которых творчество Кавальца — прежде всего отражение перемен, происходящих в современной культуре и прежде всего в сознании выходцев из деревни, людей, силой обстоятельств вырванных из родных гнезд. Однако нельзя согласиться с оценками тех критиков, которые сводят творчество писателя к социологическим записям, не учитывая высокий художественный уровень прозы Кавальца.

Отношение к литературе как «способу действия» побуждает Кавальца к поиску новых средств выражения, к отражению новых проблем. Об этом свидетельствует новый сборник рассказов «Первый белоручка». На место человека, страдающего среди городской цивилизации, приходит старый человек, умудренный опытом, сложно чувствующий себя в стремительном потоке современности. Кавалец тяготеет к простоте, в отсутствии которой его обычно упрекали критики его ранних произведений.

В газете «Трибуна люду» о новом сборнике пишет Р. Петшак: «Давно в польской прозе, в том числе условно именуемой «сельской», не звучал такой ясный голос при описании природы и животных. Видимо, — считает критик, — человек, находясь в центре стремительно развивающихся событий, видит природу мельком, и для литературы она явление второго плана».

В рассказах Кавальца отчетливо звучит голос писателя-гуманиста. Природа в рассказах Кавальца становится метафорой человеческой судьбы, символом извечного стремления к совершенству.

В «Культуре» помещена рецензия П. Пященского. Он дает высокую оценку сборнику, отмечая, что Кавальца продолжает волновать судьба крестьян, пытающихся войти в новый для них ритм жизни городской цивилизации. Этой проблематике в первую очередь посвящены рассказы «Одежда», «Первый белоручка», давший название всему сборнику.

САН-МАРИНО

ПОСВЯЩЕНО ЛЬВУ ТОЛСТОМУ

Весьма оригинальным образом отметила недавний 150-летний юбилей Льва Толстого Республика Сан-Марино. В этой стране была отчеканена и пущена в обращение монета достоинством в 1000 лир с изображением великого писателя. Газеты приводят некоторые подробности об этой монете, уже ставшей нумизматической редкостью: ее вес — 14,6 грамма, диаметр — 31,4 миллиметра, изготовлена из серебра 835 пробы.

Изображение Толстого на одной стороне и рисунок на обратной стороне принадлежат сан-маринскому художнику и скульптору Пьетро Аннигони.

СИРИЯ

РОМАН И МЕНЯЮЩЕЕСЯ ВРЕМЯ

Иракский журнал «Афак арабийя» опубликовал интервью критика Маджида ас-Самарран с известным сирийским писателем Хани ар-Рахибом, озаглавив его «Беседа с Хани ар-Рахибом о романе и меняющемся времени».

В начале беседы ар-Рахиб сказал: «Роман теперь — уже не просто повествование о событиях. Сегодня он действенное оружие».

После серии романов Нагиба Махфуза, определивших, благодаря своему большому воздействию, форму и содержание арабского романа и направивших его развитие по определенному пути, появилось новое поколение писателей («новое» не всегда в смысле возраста).

Ар-Рахиб остановился в ходе беседы на современном состоянии арабской романистики и рассказал о своем последнем романе «1002 ночь», имевшем немалый успех у читателей и критики.

«Я нашел себя, наконец, как романист. Это произведение меня вконец измучило. Я многое хотел сказать о нашей израненной родине, потерпевшей поражение 5 июня 1967 года, и долго искал форму романа, которая соответствовала бы переживаемой нами действительности». По мысли ар-Рахиба, нынешнее арабское общество представляет собой нечто аморфное, продолжающее жить в мире сказок «1001 ночи».

В то же время после поражения 5 июня началось пробуждение национального сознания арабского народа («наступила тысяча вторая ночь», по выражению романиста). Изобразить начало этого пробуждения было главной задачей писателя в его новом романе.

Хани ар-Рахиб продолжает выступать и в качестве новеллиста. Сюжеты рассказов его последнего сборника «Преступления Дон Кихота» почерпнуты из древней и современной истории арабов.

США

НЕПЕРЕИЗДАВАВШИЕСЯ РАССКАЗЫ ФОЛКНЕРА

Издательство «Рэндом хаус» выпустило объемистый том (в нем более семисот страниц), включающий в себя сорок пять рассказов Фолкнера, которые по различным причинам ни при жизни автора, ни после его смерти не входили ни в один сборник его рассказов, в том числе в «Собрание рассказов», вышедшее в 1950 году (русск. изд. — 1977). Четырнадцать рассказов этого тома вообще никогда не публиковались.

По мнению рецензента журнала «Тайм», эти рассказы явно уступают «тем блестящим произведениям, которые были собраны в издании 1950 года». Дело в том, что большинство ныне изданных рассказов было написано Фолкнером в 20—30-е годы, когда, подобно многим другим американским писателям межвоенного десятилетия, он был вынужден работать «на рынок». Финансовое положение Фолкнера было в те годы затруднительным, так как романы «Шум и ярость» (1929) и «Когда я умирала» (1930) не принесли писателю материального благополучия.

Тем не менее современного читателя, знающего и любящего мастерство Фолкнера, пишет рецензент, должны несомненно заинтересовать многие из этих рассказов, в частности те, которые стали своего рода «черновиками» будущих выдающихся произведений писателя. Таким, например, «черновиком» является рассказ «Медведь» (1942), который в том же году был превращен писателем в известную повесть (русск. изд. — 1964).

ТУРЦИЯ

НОВЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

Впервые в истории турецкой культуры в Стамбуле начал выходить журнал «Элештири», целиком посвященный литературной критике. В первых номерах журнала, выходящего под редакцией Хикмета Алтынкаяка, были помещены статьи и исследования крупнейших литературоведов и критиков страны, таких, как Конура Эртопа «История нашей литературной критики», Сулеймана Ягыза «О творчестве классического поэта XVII столетия Пир Султан Абдала», Хаяти Асылязыджи «О турецком театре после 1960 года».

Особый раздел составили беседы с зарубежными литературоведами - тюркологами Житкой Велтман (ЧССР), Ибрагимом Татарлы (БНР), Ксенией Челнаровой (ЧССР), Радием Фишем (СССР), в которых они поделились своими планами, рассказали о новых работах и высказались о последних явлениях в турецкой литературе.

Выход журнала «Элештири» был встречен с большим интересом широкой литературной общественностью. «Такой журнал, выступивший с основополагающими проблемными статьями и аргументирующий свои взгляды на конкретных литературных примерах, без сомнения заполнит пробел, давно уже ощущавшийся в нашей литературной жизни», — писал стамбульский еженедельник «Эдебият джепхеси».

ФРАНЦИЯ

«И... КАК ИКАР»

Так называется новый фильм Анри Вернея. На этот раз маститый режиссер, постановщик, сценарист

Жертвой турецких «ультра» стал молодой девятнадцатилетний художник Ибрагим Гюнгёр. Он был схвачен неофашистами, вывезен за город и после жестоких пыток умерщвлен. «Он многое еще нарисовал бы,—пишет стамбульский журнал «Эдебият джепхеси»,—стремясь показать народу истинное, бесчеловечное лицо фашизма. Но ему не дали этого сделать. Он был убит в расцвете своих творческих сил кровавыми безжалостными бандитами. Истинные патриоты с благоговением склоняют голову перед памятью мужественного художника».
На снимке: рисунок Ибрагима Гюнгёра.

(Журнал «Эдебият джепхеси»)

На снимке: кадр из фильма «И... как Икар». В роли испытуемого французский актер Марсель Марешаль, известный советскому зрителю по гастролям в Москве.

(Еженедельник «Юманите диманш»)

впервые выступил в жанре политической фантастики. Действие происходит в вымышленной стране, очень похожей на США. Убит президент. Расследование предполагаемого заговора ведет прокурор, готовый во имя справедливости на любые разоблачения, даже если это связано с риском для жизни. Он успевает раскрыть многие нити заговора и сам становится жертвой убийцы.

В «Юманите диманш» опубликовано интервью Самюэля Лашиза с Анри Вернеем. «Это потрясающий фильм»,— говорит С. Лашиз. «Приблизиться к солнцу, то есть к правде, значит ли это ринуться навстречу смерти?» — спрашивает он создателя фильма. «Это ужасный облик нашего мира,— отвечает Верней. — Его отправная точка — убийство президента... Разумеется, все узнают в нем убийство Кеннеди. Я читал доклад Уоррена и все, что публиковалось вслед за ним, все расследования. Они не прояснили тайны. И я представил себе некоего прокурора, человека, о котором мечтала вся Америка, но на самом деле не существовавшего. Приступив к расследованию с самого начала, он добирается до истоков правды. Едва лишь он касается ее, крылья Икара загораются... «Неприкосновенные» бдительно охраняют доступ к правде...».

«Эти «неприкосновенные» — скорее всего агенты ЦРУ,— замечает С. Лашиз. — Это — твой первый политический фильм!» — «Все фильмы имеют отношение к политике,— возражает Верней. — И в этом фильме убийство Кеннеди, так же как расследование его — всего лишь предлог, почти невыдуманные декорации для того, чтобы выявить главное, раскрыть подоплеку реальности: кто убивает и с помощью кого? Слишком быстро было решено, что в убийстве президента был виновен только один человек. У меня нет доказательств, но я убежден, что виновных было много и все они весьма высокопоставленные лица. Я не историк, а кинематографист. История нужна нам для того, чтобы заставить размышлять зрителей...»

А. Верней работал над фильмом четыре года. Его замысел возник под впечатлением эксперимента, проведенного в США, в лаборатории Йельского университета профессором Стэнли Милграмом. Участникам эксперимента было предложено воздействовать на больного, страдающего потерей памяти, электрическим током, «наказывая» его за каждую ошибку в запоминании определенного теста все более сильными разрядами тока, начиная с двадцати пяти вольт. Были случаи, когда «наказание» достигало смертельной дозы — 450 вольт. Милграм и его ассистенты предполагали, что только один или два процента испытуемых проявят такую жестокость. Эксперимент показал, что 60 человек из ста настолько добросовестно выполняли задание мнимых медиков, что, несмотря на непереносимые страдания своей жертвы, применяли все более высокое напряжение и доводили ее до смерти. На самом деле пациента не подключали к току. Это был актер, искусно имитировавший страдания жертвы. Так психологи установили, что люди становятся убийцами, послушно выполняя приказ. Этот эпизод был использован Вернеем в фильме. «Ни один диктатор не смог бы уничтожить всех своих врагов. Ему необходимы миллионы исполнителей, которые выполняют частицу его работы, сохраняя при этом чистую совесть. «Я лишь выполнял приказ» — это старая и слишком знакомая песня»,— говорит А. Верней.

По мнению С. Лашиза, фильм «И... как Икар» — настоящее событие в жизни французского кинематографа.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

ФИЛЬМ ОБ АНТОНИНЕ ДВОРЖАКЕ

На экраны Чехословакии вышел фильм «Концерт в конце лета», посвященный творчеству классика чешской музыки Антонина Дворжака. Режиссер фильма Франтишек Влачил, лауреат Государственной премии Клемента Готвальда, обратился к одной из самых сложных тем в истории отечественной культуры — биографии всемирно известного композитора. Но картина не биографична в традиционном понимании.

На снимке: кадр из фильма «Концерт в конце лета». В роли Антонина Дворжака — Йозеф Винкларж.

(Журнал «Кино»)

Автор не стремится объять всю жизнь великого композитора. Всего три момента из его жизни станут предметом размышлений постановщиков фильма.

Внезапный отъезд из Лондона, встреча с первой любовью, визит странного посетителя, заказавшего композитору «Реквием». Но эти узловые моменты нужны авторам, чтобы помочь зрителю открыть источники музыки Дворжака в его духовной жизни, переживаниях, ощущениях, размышлениях.

В предисловии к сценарию его автор Зденек Малер писал, что это будет фильм об этике творчества, потом о музыке и только затем об Антонине Дворжаке в биографическом плане. Основной темой в фильме становится музыкальная тема «Реквиема», тема смысла жизни и смерти, смысла творчества и смысла искусства.

«Что такое музыка — беспощадный ли она зонд в глубины совести или универсальное средство от болезней? Существуют ли правила создания музыки и всегда ли им нужно подчиняться?» Таков круг проблем, интересующих влачиловского Дворжака.

Самого Влачила волнует еще и другое — сам процесс художественного творчества, появление, зарождение художественной идеи. В полускрытой сфере внутренней жизни, в столкновениях образов реальной жизни и в глубинах человеческой души ищет и находит известный режиссер источники вечно живой музыки Дворжака.

◆

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
И. А. АБАЛКИН, Л. А. ГВИШИАНИ, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, А. А. КОСОРУКОВ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, Е. Н. ПРАЛЬНИКОВ (зам. главного редактора), **А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, М. Г. ФЕДОРОВ** (отв. секретарь), **К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ, Л. З. ЭЙДЛИН.**

Художественный редактор **Л. Б. Филиппова.** Технический редактор **Л. И. Иванова.**

Адрес редакции: 109017 Москва. Пятницкая ул., д. 41. Телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 8/IV 1980 г. А 11050. Подписано в печать 19/V 1980 г.
Бумага 70×108¹/₁₆ = 17 п. л. (23,8) усл. печ. л. Уч.-изд. л. 30,20.

Тираж 480.000 экз. (2-й завод 160.001—480.000 экз.). Зак. 02065.

Отпечатано с матриц ордена Трудового Красного Знамени типографии «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5, в типографии № 2 ордена Ленина комбината печати издательства «Радянська Україна». Киев-6, ул. Анри Барбюса, 51/2.

КУСЛАН БУДИМАН. Индонезия. Деревня

Цена номера 80 коп.

ИНДЕКС 70394